



Александр Малиновский

Голоса на обочине

...Мои доводы строятся не на том, чтобы мне желательно было, а на том, что есть и всегда было... Я только смотрю на то, что есть, стараюсь понять, для чего оно есть...

Л. Толстой, 1870 г.

Избранная проза

**Самара
2016**

Малиновский А.С.

М 19 Голоса на обочине: Повести. — Самара: Русское эхо, 2016. — 448 с.

ISBN 978-5-9906762-6-8

В предлагаемый сборник прозы известного русского писателя Александра Малиновского вошли пять повестей.

В них описаны самые, казалось бы, обычные жизненные ситуации. Но они дают возможность пытливому читателю приблизиться к осмыслению более чем полувекового пути России с его главными смыслами. Каждую отдельную судьбу человека автор видит вписанной в общую историю России.

Старшее поколение невольно найдёт в этой книге похожее из своей судьбы, молодые читатели — неразрывную связь с прошлым.

Портрет России

Читал и не мог оторваться от цикла рассказов «Голоса на обочине». Давно не испытываемое чувство боязни, что чтение скоро закончится, а я ещё не вполне насытился им, посетило меня при чтении новых трудов Александра Малиновского. А, казалось бы, что особенного: маленькие рассказы, истории из своей жизни и из жизни встреченных людей.

А ещё до этого читал его совершенно замечательную повесть «За тучами чистое небо», она о том, как Россия после страшных потрясений первой трети двадцатого века не просто выжила, но и смогла победить главную чуму земного шара — фашизм. И теперь, когда вновь непрерывно идут нападки на Россию, хочется напомнить всем не любящим её: Россия никогда и никем не была побеждена. Россия не Советский Союз, не Российская федерация — это наша Родина, Отечество, Русская Держава, Дом Пресвятой Богородицы, Иерусалим Нового Завета.

И это чувство сродни мистическому, оно живёт в тех, кто любит Россию на генном уровне, оно уже составная часть нашей души. Сколько было всего несправедливого по отношению к народу, сколько погибало безвинных людей, а любовь к России не уменьшалась. У меня оба деда — и по отцу, и по маме — пострадали в 30-е годы, но разве они хоть раз что-то плохое сказали о нашей Родине? Да, тосковали по царскому времени, но как-то переживали времена и большевиков, и коммунистов, как мы сейчас переживаем время демократов, но Россия как была, так и остаётся единственной и любимой. Это оттого, что в ней есть великая инерция тех жизненных установок, по которым жили многие поколения, оставившие нам и свои могилы, и свои, во многом нами забытые, имена.

И лучше всего это понимается не при чтении общих рассуждений, а при показе конкретных человеческих судеб.

Малиновский начинал с обычных очерков, но уже в них проглядывало его стремление — видеть в отдельной судьбе вписанность в историю России. Много раз переиздавалась его книга о художнике-иконописце из крестьян Григории Журавлёве. Благодаря писателю известность о нём сейчас повсеместна. Вот образец служения Богу, Царю и Отечеству: безрукий человек пишет духоносные иконы. Да, безрукий, движимый желанием оправдать данный от Бога талант.

Чем для меня дорог писатель Малиновский — тем, что о самых тяжёлых страданиях людей он пишет предельно правдиво и при этом старается всех оправдать, всех как-то пожалеть. Это христианское чувство высветляет даже самые грустные страницы его прозы.

Привёл отец на ночлег случайного человека, а тот их обокрал подчистую. И пошёл мальчишка босиком в училище. Но и учительница, и одноклассники помогли его горю, собрали кто сколько мог и купили ему ботинки. И как он потом старается всем отдать деньги, как ему не хочется, чтобы его считали нищим. Человек стремится в небо, рвётся в армию, но для страны нужно, чтобы он работал на железной дороге. И он не просто работает, он любит свою работу. Но небо уже навсегда живёт в его душе, в его памяти. И замирает сердце, когда его друга — укладчика парашютов — заставляют прыгать с парашютом, который только что не раскрылся. Жестокая проверка! Нет, не виноват укладчик. Парашютист погиб ещё до выброса из самолёта.

С какой болью и страданием помнит автор о друзьях детства, юности, армии, как трогательно описывает деточек. Голод, холод, сиротство, бараки, коммуналки — всё описывается с таким мастерством, что кажется, тыходишь в эти жилища, знакомишься с описанными людьми, и они становятся родными тебе. Кратко, но выразительно показаны врач Екатерина Михайловна, учительница Вера Михайловна, учлёт Коля Рябов и всех объединяющий герой,

от имени которого идёт повествование. Фактически короткая повесть «За тучами чистое небо» охватывает историю страны с начала века по настоящее время. Читатель видит нашу любимую Россию от востока да запада, проходит вместе с автором огромный путь тяжелейших испытаний тридцатых годов, войны, послевоенной нищеты и голода, трясушки перестройки и... и проникается ещё большей любовью к Отечеству, в которое мы, несмотря ни на что, верим, которому остаёмся верны.

И нигде не найдёшь у Малиновского того, чтобы люди упрекали в своих бедах свою страну. Более того, они безропотно переносят испытания: если тяжело стране, почему должно быть хорошо мне?

Моё поколение обязательно найдёт в книгах Малиновского отклики своей судьбы, когда мы могли планировать свою судьбу только по призванию и одновременно по потребностям своего Отечества. Хотелось быть моряком, а тебя посылают в артиллерию. И ты не рассуждаешь, ибо это назначение становится и твоим выбором. Молодёжи нынешней нас трудно понять: они выбирают профессию выгодную, денежную, а девушки, страшно молвить, могут выходить замуж не по любви, а по расчёту. Какие неумные, не понимают, что готовят себе несчастье всей жизни.

И особые страницы рассказов А. Малиновского о страшных ударах по России в конце двадцатого века. Смело можно сказать, что никакое бы государство не выжило после такого нашествия на оборону, на школу, на культуру, на народное хозяйство, после такого бандитского ограбления российских богатств, после вывоза их за границу. Именно трагедия России спасла Соединённые Штаты от окончательного кризиса. Да и Бог с ними, с этими Штатами, нам самим для себя важно, что конец двадцатого и начало двадцать первого века показал, что Россия по-прежнему единственная и последняя страна в этом мире, хранящая Веру Православную. Книги Александра Малиновского показывают огромные запасы духовных сил и душевной щедрости нашего народа.

Может, кому покажется, что громко сказано о трудах писателя, что они живописуют портрет России, но, думаю, тут нет ни претензии, ни преувеличения. Именно портрет души. Его трудно нарисовать, но почувствовать можно.

Владимир Крупин,
член Союза писателей России,
г. Москва

Голоса на обочине

Голоса

...Совсем седой старик. Сидит, как и в прошлый наш разговор, на разлапистом пне. У ног — широченная Волга. Мы уже несколько раз с ним говорили. Образование у него, как он сказал, ниже среднего. Мыслит всерьёз и сосредоточенно. Может, как раз благодаря отсутствию этого самого среднего образования...

— Тебе самому-то сколько? Седой уж... — встретил он меня вопросом, будто мы и не прерывали вчерашний наш разговор.

— За шестьдесят, — отвечаю.

— Вот так! Тожа, значит, маешься! Попал в тот круг, где вопросов больше, чем ответов... Говоришь, что хотел бы пройти с каким-то своим зеркалом по увечной нашей дороге?.. По которой бредём все мы... И услышать отразившиеся голоса и мысли?.. Что ж... Каждому своё... Что это за зеркало такое?.. Мне внук, когда последний раз из города приезжал, сказывал, что где-то читал, мол, человеку отпущено для жизни по норме шестьдесят лет. Так мудрецы на Памире считают! Не все. В одном месте где-то, высоко в горах.

— Что-то маловато, — засомневался я, присаживаясь рядом на массивный, вывернутый из песка корень.

— И я сказал ему, что больно уж вобрез. Я слышал другое. Он разъяснил: до шестидесяти лет человек должен успеть всё, что положено ему в жизни. Понять всё, разложить по полочкам...

— Не скучно ли тем, кто всё понял? До дна исчерпал. Интерес исчезнет!.. И сколько тех, кому за шестьдесят лет! Тут как? — вырвалось у меня.

— Как?! Всё определено, — отвечает бодро и, кажется, не лукавя. — Вот таким как мы с тобой — им отведено, кому сколько дополнительно ещё годков! Чтoб попыхтели ночами на подушке. Помучались, раз вовремя-то не осмыслили. Мне вот уже за восемьдесят. Как я маюсь! И не только по ночам... Думаешь, что седые волосы только от мудрости? Чуток ошибаешься...

Я намеренно молчу. Мне интересны слова старика — не мои. Он продолжает:

— Вот ты сам — наглядный пример! Что-то понять хочешь, а всё вдогонку! Чтоб оправдаться?.. Хочешь, а не торопишься... Вре-мя тянешь? Выбираешь, с какой скоростью двигаться?.. Хитришь?! Чтоб ещё добавили?.. Знаешь про этих горцев?

Говорит так — и не взять в толк: намеренно меня морочит? Либо так простодушен? Лица не видать — одни глаза. Остальное — седые космы волос. И глаза-то! Словно растворены синью волжского водного и небесного простора. Теряешься в них... И этот его голос...

...Отойду от старика, в сторонку от скрипучего голоса по кромке влажного волжского бережка... Чтоб помолчать... подумать одному. Отдохнуть от нависших вопросов... А не получается... Звучат голоса! Из всей моей жизни. И прошлой, и настоящей... Голоса тех, кого знал. Кого обидел ненароком, кто меня не понял... Во мне ли в одном такое многоголосье? Каждому в свой час... И своё... И нет разницы: в степи ли, в горах ли ты бредёшь... Или, как я, — по берегу великой, притихшей в осеннем ознобе реки...

Грешница

Она говорит, будто причитает:

— И что же я наделала?... Не знаю, зачем вам всё это говорю, для чего? Я в храме сколько раз уж молилась... И прощения про-сила. А легче не делается... И куда мне податься теперь? С такой-то моей бедой... Всё было устраивалось у моего сына. Про себя-то уж не говорю... Про себя перестала и думать... Но нет, на втором курсе медицинского училища сын заерепенился: «Не по мне это! Нищая профессия! Уйду в строительный техникум!» Ушёл. Не учился, а делал только вид. Не знал, чем заняться.

А тут пособили: сел на иглу. Колоться стал. Наркоман! Мой Владька — наркоман! Всё казалось, что эта напасть хоть и рядом, но где-то в стороне, а тут...

Ума не приложу. И так, и эдак: ни в какую... Учёбу забросил окончательно.

Когда муж спивался, а потом отравился палёной водкой — я прозевала. Винала себя... А тут! Развила деятельность!.. У меня во-енком знакомый. Несколько раз пиявки ему ставила.

— Помогите, Юрий Петрович, — завопила безудержно, — про-падает парень! Знаю, что непутёвый! Год уж не учится, только чис-лится студентом, и вас обманывает. В армии одно спасение!

А ему уж двадцатый год, Владиславу-то. Забрали! Год прослужил. Слава Богу, как все! Выправился.

Я настояла, чтоб оставили служить контрактником. Успокоилась! А тут: хлоп! Избил он молоденького солдатика. Да так, что суд будет теперь. Инвалидность получил солдатик этот. От наркоти сына увела, а в тюрьму толкнула...

Не грешница я, а преступница... На себя по-другому взглянула. Я-то?.. Сама-то?.. От меня идёт всё!.. Я три аборта сделала, муж жив был, думала, знаю, что делаю, к чему нищету плодить... А слепой оказалась... Тяжело было в девяностых: муж совсем остался без работы. А я врач — хоть плачь! Безденежье... Но как-то надо было... Что наделала!

Как прижало, тогда только и поняла... Этого тяну из трясины, а сама три невинные души загубила по глупости своей...

Если хоть один бы из них хорошим человеком стал, мне бы оправдание было за то, что живу! Глядишь, было бы к кому приклониться. А так... кому я нужна?..

...На мне всё висит это! На одной... И не замолить мне грех свой...

Рай в отдельно взятой семье

Вылет самолёта рейсом «Москва-Самара» откладывался несколько раз. Непогода!

Уже четвёртый час маюсь в зале ожидания аэропорта «Внуково». Рядом семейная чета. Тоже самарские, точнее из области. Она — солидная, крепко поначалу видно скроенная дама. Теперь ходит с палкой, подволакивая левую ногу. Директор сельской школы. Зовут Зинаидой Васильевной.

Он — худощавый, подвижный. Как подросток, в отличии от своей жены всё куда-то готов сорваться. Но жизненное пространство в зале ожидания ограничено. Компенсирует этот недостаток разговором. Сбивчивым, непоследовательным, но простодушно-доверительным. Жена включается в разговор вескими короткими фразами. То ли они соскучились по землякам, то ли так устроены оба.

Возвращаются из Марианских Лазней после лечения. Обоим за пятьдесят. Про болячки мы, кажется, уже наговорились. И Дмитрий как-то было даже заскучал, исчерпав тему.

Но встрепенулся, когда я спросил:

— Часто бываете в Лазнях? Недёшево.

— Часто! — удивился Дмитрий. — Первый раз!

...Жили в Казахстане. Пришла пора ехать в Россию. А куда? На голое место. Ни работы, ни жилья. Хотел к себе на родину, в Казань, но жена вот в свою рязань утянула — в Самару. Первые два года челночничал. Торговал часами, чем только не торговал... Вымотался... Желудок я тогда посадил. Мотался с часами этими...

...Уехали в район к дяде моей Зины. Нашли халупу, где жить. Кроликов разводили, потом свиней... Выращивал капусту, морковь, картошку. Морока.

Как повезло мне механиком устроиться к одному местному предпринимателю, легче стало дышать... Вся автотранспортная техника на мне теперь. А Зина стала директором школы.

— Вы же говорили, что она бухгалтер по образованию?

— Ну да. Сначала бухгалтером в школе, а потом школой командовать стала. Ну, шеф мой, он авторитет в районе, помог, конечно... А что вообще-то? В школе главное: учёт, бухгалтерию поставить как надо. А учителя своё дело знают!

— Если б не Ася, был бы ты здесь во Внуково? Механик, директор!

— Да, да, — с готовностью подхватил Дмитрий, — дочь удачно вышла замуж! Она окончила школу с отличием, потом плановый институт с красным дипломом. Но это бы ничего! Поехала когда на практику в Швейцарию, познакомилась с немцем. Поженились. Теперь она живёт в Швейцарии. Два языка знает — немецкий и английский. Это заслуга Зины вот. Немец — активный такой! Купили нам путёвки в Чехию. Такое увидеть! Заграница! — кивнул на сумку. — Она приезжала к нам туда, Ася. Привезла компьютер. Себе новый купила. Это, конечно, всё благодаря Зине. Она тянула её на золотую медаль в школе. Всё положили и для учёбы в городе... Снимали квартиру ей. Я через два дня за 150 километров ездил, возил ей еду: мать готовила. Только учись! И вот результат! Живёт теперь в собственной квартире в Швейцарии. Это после нашей деревни! Нам повезло! Жизнь удалась, можно сказать! Взлёт! За дочерью и сын потянулся. Такая же методика. В школе мать держала в руках руль. Потом я! А кто, кроме нас самих? От армии я его отмазал. В аспирантуру заочную оформили. Выложился, конечно. Всё удачно! А что? Он и в институте отличник. Уже съездил на стажировку в Германию. Предлагают остаться работать. Они оба, и дочь, и сын, учили немецкий ещё в школе.

Заметив, очевидно, некоторую мою раздумчивость при таком его рассказе, повторил вновь с напором:

— А что? Если государство так к кадрам относится, то кто должен? Он отличник! Ему дорогу надо давать!..

— Дмитрий, а помнишь? — говорю я. — В наше время, в 60-70-х годах ещё, если в армию не брали, как бы дефектным считался. И девчонки на таких по-другому смотрели!..

— Помню, как же не помню. Сам на флот рвался безудержно! На море хотелось после наших степей. Но — не судьба!..

Он было воодушевился, начав вспоминать о службе, но... вдруг смолк. Прошёлся туда-сюда вдоль ряда кресел неровной своей походкой, видно, борясь с чем-то в себе. Произнёс, остановившись:

— Это раньше! Так было. А ещё как было? Подзабыли!.. Вот Карловы Вары... Я их, только когда служил, видел. Возили нас, солдатиков, на экскурсию. И всю жизнь потом их вспоминал, как чудо! Когда б мне такое ещё увидеть?! А тут мы с Зиной сели в Лазнях на поезд, и через тридцать минут вот они — Карловы Вары! Жизнь удалась! Натерпелись! Намыкались, но удалась! Когда бы я мог махнуть за границу?! И дети мои когда?!

В этом его «когда» было и удивление, и досада, и... сразу не скажешь, что ещё...

— Рай в отдельно взятой семье? — невольно вырвалось у меня.

Он вперился в меня жгучим взглядом. Видно было, что механизмы в голове заработали ускоренно, но жена опередила:

— А что? В отдельной семье? В каждой семье упираться надо! Тогда и толк... Кто мешает?

«Какой толк? О чём она? Если так, то надо всем упереться и... всем уехать?! — язвил во мне мой маленький язычок. — А кто останется?»

А большим языком сказал, не имея никакого желания обидеть своих собеседников, может, даже наоборот:

— Не каждый так может, как в вашей семье...

— Ну тогда какие претензии? — развёл руками Дмитрий.

Я молчал. «Претензии!» Действительно: какие претензии?..

...Радоваться бы безоглядно за них, за такую слаженную семью. Да что-то, что не сразу выразить словом, удерживает...

Мстительница

Унылое это дело — сидеть перед кабинками пенсионного фонда и ждать своей очереди. Чисто, уютно. Электронное табло высвечивает номер очередного посетителя. Всё чинно и упорядочено. Но народу...

...Рядом две старушки. Совсем пожилые. Ведут беседу. Ближняя ко мне, остроносенькая, лет за восемьдесят, божий одуванчик, рассказывает:

— Теперь, когда моих всех давно нет уже, даже внучки, взялась я изучать и восстанавливать свою родословную. Много чего интересного! Как мы умудрялись ничего не знать! Прислали на мой запрос из Перми, что прадед мой, Михаил Леонтьевич, был крупный предприниматель и купец. В революцию отобрали у него много чего. Лошадей только около сотни. Коров, овец, имущества — на двух листах перечень. А в конце, представляешь, указано, что забрали пуд золота.

— И что? — её собеседница, крупная, с мясистым носом, с трудом умещающаяся в кресле женщина, смотрит через толстые стёкла очков иронично. — Обещали пару гнедых с тарантасом вернуть? И грамм сто золота?

— Я об этом и не помышляю, — говорит «одуванчик». — Другое придумала! Я отомщу! Стыд! Сижу на такой пенсии!

Собеседница её повернулась к говорившей всем корпусом. Да так, что кресло под ней колыхнулось из стороны в сторону. Поинтересовалась:

— Как же ты отомстишь?

— А вот так! Возьму три миллиона рублей в кредит в государственном банке. И раздам студентам. Они у соседки моей живут. Насмотрелась. Без ничевошеньки маются.

— А дальше?

— Что дальше? Возьму — отдам студентам! И помру. Взятки с меня гладки!

Соседка громко удивилась:

— Голубка дряхлая моя, кто ж тебе даст-то? Три миллиона! У тебя ж поручителей нет! Это раз! Кто поручится? Второе: нужен залог! А твоя однокомнатная хрущёвка — кому нужна?

— Не дадут? — спокойно удивилась «голубка».

— Не дадут! — последовал уверенный ответ.

Наступила было значительная пауза, но «голубка» встрепенулась и пролепетала, будто прошелестела маленькими и лёгкими крылышками:

— Тогда я приму свои категорические меры! Отомщу всё равно! За всех!

— Какие такие меры?

— Буду как можно дольше жить! И пусть маются со мной — платят мне мою законную пенсию. Для меня оскорбительно маленькую, а для них — сверхнепосильную!

— Не надорвались бы, — скороговоркойотреагировала соседка и забегала суетливо взглядом по ряду светящихся электронных табло, боясь пропустить свою очередь.

«Голубка» сидела неподвижно. Глядя остановившимся взглядом поверх голов рядом сидящих.

Что она видела? И о чём думала? Наверняка не о злосчастном пуде золота печалилась. Скорее, о том, чему нет цены, нет измерения: о загубленных в лихие годы жизни печалилась...

Петька-звездочёт

На носу учебный год. Начали съезжаться в интернат его шумные воспитанники. Среди них неприметный четвероклассник Петька. Новенький.

Вечером — отбой. А Петьки нет! Ушёл из интерната? Куда ушёл? ЧП! Обыскали все помещения. Нет Петьки! Слышу какой-то шум на верху здания интерната. Я — к пожарной лестнице! По лестнице — наверх, к потолку! Вот он — люк! Не закрыт. Я — на чердак! С чердака — на крышу! А там, вот он: сидит на шифере Петька. И смотрит...

— Ты чего тут?

— Марь Ивановна, какая тут красота! Интересно так! Вот, посмотрите, — и тычет пальцем в небо.

У него и в голове нет мыслей о том, в каком я состоянии.

— Смотрите! Вон лес, а за ним горы... А за ними что? И что за горизонтом? Это ж так интересно!

Я вытянула шею, смотрю.

— В нашем посёлке все дома одноэтажные, а здесь! Как здорово! Я не ожидал такого... Думал, скукота будет в интернате.

Встал, схватил меня за руку:

— Смотрите, одна звезда за другой гонится!

Смотрю. И правда: две таких крупных звезды на небе! Летят вместе вниз. Гляжу и не могу оторваться: завораживает.

— Марь Ивановна, темно ведь как! Они, наверное, разбились? Их не стало... А осколки куда подевались? Марь Ивановна? Их кто-то там за горами подберёт? Уже четыре звезды так упали. Как вы

думаете, у нас что-то похожее на тунгусский метеорит может пролететь? Вот бы!

Вопросы сыплются, как горох. У меня вся злость пропала. Вместе с ним смотрю на небо, как впервые вижу... Стыдно стало отчего-то, будто стала взрослой и предала что-то в себе, а он... обезоружил меня, поставил на место.

...Посидели мы, посмотрели. Прижавшись ко мне, согрелся под боком Петька. Стал сонным.

...Начали спускаться вниз. Спустились. Народ нас ждёт. Успокоились, пошли спать.

На другой день я распорядилась закрыть лаз на замок. Петя такими грустными глазами стал на меня смотреть. И я сдалась... Полезет ещё по пожарной лестнице.

Вместе с ним украдкой несколько раз потом поднимались на крышу. Я трубу раздобыла... Наблюдали за звёздами, за небом. Он так много хотел знать! Я ему помогала книжки по астрономии доставать. А он несколько раз доклады делал для ребят. Важный такой... Поход с ребятами на крышу делали. Его все так и звали — звездочёт.

...Родители его переехали в Ульяновск, и наш звездочёт вместе с ними.

...А мне грустно так стало, будто во второй раз с детством своим простилась.

На обочине

Опять этот старик на берегу Волги. Мы с ним говорим не один уже раз.

Вернее говорил-то больше он. Моё дело — слушать.

— Зовут меня Иваном Сергеевичем, как Тургенева, — сказал он мне сегодня. — Про вас я узнал. Вы книжки пишете. Мне про то пастух коровий Володя сказал. У него есть одна ваша, тоненькая такая.

«Вот почему, — отметил я про себя, — он назвал меня впервые на «вы»».

...И сегодня в разговоре старик часто повторялся, как и прежде. Видно по всему, что постоянно думает над тем, что говорит. Пытается выбраться из плена, а всё ж не по силам.

Одному не по силам, вот опять попался ему я...

Но от меня большая ли помощь?..

А он, кажется, на меня и не надеется:

— Говорил, что тоже силишься понять жизнь? Таковую какая есть, какой она стала. И почему она такая? Определена граница,

двух твоих институтов не хватит... Понял ли я, что такое жизнь, в свои восемьдесят лет? А как её успеешь понять, когда будто в одну дверь вошёл, а в другую тотчас вышел!.. — он оказывается помнил наши разговоры дословно. — Написать хочешь повесть о простом человеке? Но ведь была уже «Повесть о настоящем человеке»? По-другому хочешь сказать? Ну-ну...

Старик было смолк. Но его тут же толкнуло изнутри, он встряхнул большой белой головой:

— У нас на магистрали, на большаке сейчас кто? Скажи мне? — он перешёл, не заметив на «ты». — Молчишь! А я отвечу! Не сразу, потерпи.

Встал, чуть прошёлся, разминая ноги. Остановился около меня, заговорил нервно:

— Жизнь наша — Россия! Без России мы никто! А какой Россия стала?.. Помнишь, у Шукшина кино было? Там один мужик начитался Гоголя и придавил себя вопросом: «Если Россия — птица-тройка. И мчится, как птица, то кто на тройке? Ответь мне?» Так, по-моему, спрашивал? Михаил Ульянов, ну, который играл этого дошлого мужика. Вон когда ещё накренились мы... И домчались такими до конца двадцатого века. Перенесла Россия нанесённый удар, переживём и нынешние беды... А пока у нас на самом виду Бога не ведающие люди. Торгаши! Разворовывают, растаскивают всё, что могут. По алчности. Не моргнув глазом, считая это за доблесть, успех любой ценой! и сколько тех, кто от безысходности, от нужды переступил черту?! Копошатся... Многие на обочине оказались. Те, которые не торгуют ни ворованным, никаким... Мильёны таких!.. Трудятся как и раньше. Или доживают своё, кто стар. И ненужным оказался... Если их и видят пока, то смотрят на них, как на дефектных каких... Вот тебе и матерьял для второго тома «Мёртвых душ». Бери его прямо из жизни. Черпай по полной... Только душу не выступи...

Весна в интернате

В наш интернат брали из больших семей и где не было одного родителя.

Без интерната, не знаю, что бы из меня получилось в жизни... У мамы нас четверо, она неграмотная...

В интернате были свиньи, коровы, огороды. Одежда всегда у всех аккуратная. Я до интерната никогда не носила туфли, откуда им взяться? А тут одели, обули нас. Всё как положено. Научили шить. За выходные я могла сшить два сарафанчика. Во как!

Кормили хорошо. Полдник. Сыр, масло, пельмени сами делали. А нас — около трёхсот человек. Дядя Коля поваром был, такой добрый. А жена его Зина — завхоз. Они часто брали меня к себе на выходные. Люди такие сердечные. Хоть и хорошо было в интернате, а в семью хотелось...

...Нас родители не брали на лето домой. Нечем было кормить. Зато походы какие! На всю жизнь в памяти остались...

У меня, кроме походов и рисования, ещё одно увлечение было. Перед самыми окнами интерната был лесок: старые тополя, клёны, три огромных ясеня. А вдоль этого леска посажены молодые деревья, рядком. Я до сих пор хорошо помню. Слева направо: две сосёнки, клён, потом вяз, совсем от него недалеко — дубок, затем — три черёмухи (одна за одной), два куста сирени. И, наконец, последняя в ряду — ива. Такая кустистая и развесистая. Плакучая.

Как я любила возиться с этими деревьями! Завела дневник наблюдений и старалась заносить в него всё примечательное. Тогда ведь не было ещё ни телевизоров, ни магнитофонов, ни сотовых телефонов, как теперь. Свободными были...

Книги и природа!.. Экологически чистое детство! Так теперь я скажу.

Помню, весна пришла. Да такая скорая! К апрелю сильно разогрело. Лето! Весь апрель солнечный! И только к самому концу похолодало. Пошли дожди, да с грозами!

Промыло всё весенним дождичком. Чистенько так стало. И небо ясное. Мы дня за три артелью весь лесок почистили, вырубку организовали. Красота! И... скужились! Что же это мы? В леске-то обычно соловьи в чащобе распевают, а теперь всё поредело. Прилетят ли певцы наши? Прилетели! В ночь на первое мая, в третьем часу запел первый соловей. Да так звонко! Как я проснулась, сама не знаю. Будто кто толкнул меня. Распахнула окно... сказка!..

Выскочила я через окно в соловьиную ночь к сизой весенней зелени, освещённой луной, и не могла успокоиться. Смотрела на луну, на всё вокруг, ставшее под вязкой прохладой неба неузнаваемым, и готова была разрыдаться, сама не зная от чего. Станный свет луны, её многозначительное молчание и торжественность говорили о чём-то таком важном, чего днём мы не замечаем, не чувствуем... Лунный свет будто давал сигнал того, что скоро дано мне будет понять сердцем...

До конца соловьиной ночи я так и не смогла уснуть... Как я в те годы любила весну! За то, что она приносила простор зелёно-

го мира, море тепла, свободу светло-голубого, прорвавшегося из зимних холодов, утреннего неба... Приносила тревожное ожидание чего-то неясного, смутного, обещающего такое, чего в твоей жизни ещё не было, но непременно должно быть... Весенний свет вершил во мне какую-то важную для меня работу.

...Первые дни мая. Солнце парит крепко. А зайдёшь в тенёчек — холодно так! Земля от зимы ещё не отошла. Держит холод.

...Всякое дерево по-своему оживает в такое время. Сосёнки хоть и зелёные, а обновления особого не чувствуется, кончики ветвей украсились мутовками, но всё сдержанно, суховато...

Другое дело — разрогатившийся клён. Весь покрыт листвой, совсем летней! У вяза — своё. Толстый уже, почти в руку внизу, стоит с чуть ожившими почками. Еле-еле проглядывает из них тугая зелень.

А дубочек, чуть потоньше вяза, совсем будто неживой: почки набухают, а никакой зелени. Стоит стройный, повыше вяза, не похожий на своих сородичей в леске. Ему Колька Таликин уже два года обрезает боковые ветки, и он тянется вверх. Стройнее всех!

— Я сделаю так, чтобы он был тонким и высоким, как тополь! — заявляет.

— Зачем? — спрашиваю Кольку.

— Мне интересно.

У черёмухи уже висят фонарики, но белые только наполовину. К кончику такой фонарик сходит на конце маленькими, уменьшающимися в диаметре шариками. В каждом из них проглядывает цветок.

...Цветочки, если взять в руки, уже едва уловимо источают свой удивительный запах. Не то, что цветки сирени, которые пока тёмные ещё совсем и пахнут только одной зеленью.

Зато плакучая ива — царевна на всю округу. Её тонкие ветки свисают вниз, образуя девичью причёску. И каждая веточка, кроме изящных, тонких и узких листиков, украшена золотистыми серёжками. Их очень много, серёжек этих! Присмотришься и увидишь, что едва ли не из каждой почки, выпустившей свой листочек, выскочила и золотистая, извивающаяся, мохнатая, похожая на тонкую гусеницу, серёжка.

К иве нестерпимо хочется подойти и потрогать её или что-нибудь сказать ей. Но подойти очень близко не так-то просто. Около неё, вокруг, зеленеют всю ландыши. Боязно ступить ногой... Нигде нет, а под ивой столько их, ландышей! Мраморных ландышевых колокольчиков ещё нет. Но, кажется, если проспишь, при-

ждёшь утром попозже, а они вот уже позванивают хрустальным, холодноватым звоном.

У вишни, которая в мой рост, цветки тугие и кругленькие. Вот-вот стрельнут бело-розовыми бутончиками... Любопытно так!

В лес весна приходит раньше, чем куда-либо. Потому и тянешься к нему. Ждёшь чуда...

Весна вся соткана из ожидания.

...А кругом столько забот и игр! Надо побывать на холмах, поиграть в салки. Мальчишки гурьбой выливают сусликов... То тут, то там гуртуются...

...Теплынь! Девчата в майках. Одно только... мальчишки начали щупать девчат. Какая зазевается... схватит до боли раз, другой... и убежит тут же... Девчонки идут жаловаться к Вере Ивановне. А она успокаивает, как может: «Мальчишки растут, и вы растёте. Ничего у вас тут вот не было, а теперь... Что это у вас за буторки растут? Как почечки по весне... Им, мальчишкам, интересно».

...Были у нас две девочки-близнецы: Лида и Таня. Их никто не различал. Заставили Лиду косички носить, а Тане короткую стрижку определили. Лиды уже нет. А с Таней я списалась недавно, она в тех краях так и живёт. «Озера, в котором мы с ребятами ловили раков и тут же в большом ведре варили, — пишет, — уже давно нет. Так, болотце осталось... не узнать... Ни раков, ни ежевики нет. Того дома, в котором интернат был, тоже нет. Кафе и бензозаправка теперь там».

А те, наши деревья, сообщает Татьяна, стоят. Вымахали! Больше пятидесяти лет минуло. Хочется съездить, посмотреть...

Но с моими-то ногами как теперь?..

Враги

Перед самой смертью дед мой рассказывал, как каялся:

«Прибыл и к нам уполномоченный в 37-ом году.

— От вас должно быть три врага народа, — заявляет.

— Да как это? У нас нет таких!..

— В соседней Лобачёвке пятерых арестовали, а у вас вдвое больше народу и никого нет? — говорит и смотрит поверх наших голов. — Не вникнете в ситуацию, будем разбираться с вами лично. Укрывательство — дело куда как серьёзное!..

Уехал уполномоченный.

Надо что-то делать... Сидим, думаем. Я — председатель сельсовета и ещё двое из активистов. Пётр Конкин — из бывших бал-

тийских моряков, безрукий. И этот, Кандауров Сашуня, вёрткий такой...

Кандауров говорит:

— Давайте Кичигина: у него отец, чтобы в гражданскую Чапаеву не давать коня, загнал животине в копыто гвоздь.

Пётр Конкин вскинулся:

— Это ж твой отец, Сашуня, загнал коню гвоздь, мне рассказывали...

— Ну, мой, не мой! Их обоих уже нет. Чего ты хочешь? В Сибирь?

Молчит Конкин. Понял, кто перед ним.

А Кандауров дальше:

— Второй — Ванька Лашманкин. Он в колхозе украл гужи, чтобы валенки подшивать.

— Было это? — спрашиваю.

— А ты проверь теперь! — отвечает.

Вижу, Конкин какой-то другой стал. Лицо багровое. Потное. Переживает, что ли? Проникся ответственностью.

Говорит бывший матросик:

— Третьим пусть будет Мотькин Захар. Ходит, смотрит и всё время молчит! А вижу, ненавидит нас. Этот точно — контра. От него всего можно ждать, затаившийся враг! В церковь ходит за пятнадцать вёрст в Петряевку.

...Ещё двух подобрали. Пятерых в общей сложности. На двоих последних не стали пока искать провинность. Написали на бумажках фамилии. Скатали и бросили в картуз. Жребий чтоб тянуть. Сашуня Кандауров запустил ручонку и вытащил бумажки с первыми тремя кандидатами, которым мы определили вину.

Какое-то даже облегчение наступило: не надо на тех двоих чего-то там писать. Всё в аккурат: трое есть! Так и определились.

Приехал уполномоченный. Поблагодарил за бдительность и уехал.

Никто из троих, которых следом забрали, в нашу Осиновку потом не вернулся...»

Как сусликов...

Добираемся с женой из Галича в Москву. Попутчик в купе пожилой, уступчивый. Предложил моей жене нижнюю полку. Часто выходит курить, когда возвращается, дышать в купе становится тяжелее. Сам говорить не начинает, а на разговор идёт, но не спрашивает.

зу... Я же, почувствовав за сдержанностью нелёгкую судьбу, исподволь пытаюсь его разговорить.

Рассказывает:

— Наступили девяностые. Шахта стала убыточной. Я — горный мастер, брат — начальник участка. Оба работаем на одной шахте. У нас в городе многие так. Предприятие — градообразующее. Шахту закрыли. И сразу залили водой. Нас, как сусликов, вылили из шахты. Кто сразу задохнулся, кто, отдышавшись, пополз в сторону... Директор наш, всего мужику пятьдесят лет, ходил темнее тучи. Недолго ходил. Инфаркт — и не стало его.

— Что же, — спрашиваю, — совсем негде было устроиться на работу?

— Нас сколько таких? — усмехнулся. — По такой специальности, как у нас с братом, горный инженер, негде. Да и по какой другой — тоже.

Мне сорок два года, ему — тридцать пять. Зарабатывали до того хорошо. У меня выходило около четырёхсот рублей в месяц. И вдруг на обочине, как вы говорите, оказались. Что-то скопилось раньше. Первое время жили. Мать: «Только б не было войны». А что ей остаётся говорить больше?.. Она вроде не видит, что война-то уже идёт. Выкашивает на ходу нашего брата...

А тут ещё дефолт обрушился. Окаянные дни! И у меня, и у брата всё сгорело в сбербанке. Брат запил по-чёрному. Недолго это длилось, месяца три. Хватанул палёной водки и сгорел в больнице. Полметра кишок вырезали, а всё едино — не выцарапался.

— Как же вы выживали? — спрашиваю.

— Как? У матери огородишко. Он спасал. У неё ноги никудышные — куда я от неё поеду? У моего дружка, тоже горного мастера, только с другого участка — инфаркт. Похоронил я его. На свои. Сначала я запил. Только чувствую: моя очередь настает... Обидно...

Устроился на лесоповал обрубщиком. Платили не шибко, но нам не до жиру. Насмотрелся в тайге и натерпелся. Когда до пенсии дожил (она у меня льготная, в пятьдесят лет), как-то вздохнул. Ну, в смысле — хоть какие-то деньги. А так-то лёгкие после шахты никудышные...

Теперь уж, когда за шестьдесят, ничего, кажется, не надо. Перегорел на выживании. Ничего не интересно. Разве это жизнь? Мамы давно нет. Никому не нужен. Уже и не на обочине, а не знай где... Вот только внучка... Свет в окошке. К ней на недельку в Ярославль еду... Сына второй год уж нет...

Он смолк. Мне хотелось спросить что-нибудь про сына. Но мельком взглянул на собеседника, и стало неловко. Столько в выражении его глаз было боли...

А он, словно услышав мои мысли, только-то и обронил:

— Война продолжается...

Не опохмелил

Как идёт, значит, мимо нас сапожник Сидоркин Матвей, так отцу моему:

— Илларионыч, ставь бутылку самогона, опохмели! Добром прошу! Туды-т, растуды!

— Да я непьющий, сам знаешь!

— Опять непьющий? Вчера так заявлял: непьющий! Сегодня? Сколько можно? Чураешься ты нас, бедноты, Илларион... И подозрительный очень. В хоре церковном поёшь... Молишься... Раскулачим мы тебя, вот увидишь, как дойдёт очередь до нашего села...

— На всё воля Божья, — смиренно так отвечает тятка, — но самогона у меня нет... Тем более для тебя.

«Может, меж них и ещё в чём-то разногласия, — думаю я, — были. Кто теперь знает?»

А я, десятилетний малец, смотрю на Матвея — щуплого с жиденькой бородёнкой мужичка, потом на родителя — крепкого, с огромными, пудовыми кулаками, и никак не верю! Мне даже смешно! Как этот слабосильный человечек может осилить моего папаню — раскулачить?

У нас в то время частенько сходилась народ в селе на кулачные бои. Конец на конец! Бились усердно по своим правилам, я несколько раз видел кровавые сопли на снегу. Папаня мой в кулачках не участвовал. Я не видел, как он бьётся. Но всё равно не верилось, что его победит такой как Матвей Сидоркин. Никакого раскулачивания мы ещё в селе не знали, и угрозу дядьки Матвея я связывал вот с этой дракой на кулаках.

Но пришло время. И прибежала тётка Маня — двоюродная сестра папы:

— Всё, Илларион, завтра планируют у нас начать раскулачивать. Муж Гриша сказал. Он от Сидоркина узнал.

— И почто так всполошилась? — говорит папа.

— Да ты первый в списке! — отвечает.

— Не может такого быть, — уверенно возражает родитель, — у нас одна лошадь всего, одна корова. Да лобогрейка...

— Эт так, но они уж бумагу составили. До революции, мол, у вас было десять лошадей, десять коров, два батрака, земли сколько-то много... У них эта, разнарядка, сколько семей раскулачивать. Говорят, ты — замаскированный враг, затаился только! Так вот! Родители твои мироеды были.

— Что же делать?

— Вот меня Гриша и послал упредить! Он говорит, будто есть такой порядок: если главы семейства нет на месте, то раскулачивают без высылки. Просто отбирают всё... вместе с домом. Один выход: бежать тебе надо! И себя, и детишек спасёшь.

...Папа ушёл в ночь на станцию Грачёвка. С одной котомкой за плечами. А нас утром раскулачивали. Всё подчистую отобрали. И нас всех вытряхнули из дома, как из кошёлки цыплят. Помню почему-то, как мама моя не отдавала горшок с большим цветком. Упёрлась! Паршивец Матвей рвал его из рук мамы моей, матерился до потолка, горшок-то и грохнулся мне на ногу. Пальцы отбил сильно. Я орать, а мама схватила Матвея за бородёнку да как звезданёт правой-то рукой ему в урыльник. Что началось тут! Пыль столбом!

...Папа в Самаре сначала конюхом работал, потом сторожем где-то, ещё кем-то. Вернулся домой. Сидоркина уже не было в живых. Допился.

Пришёл папа, а его и не трогают! Схлынуло вроде всё. Забыли про него или как?.. Нет, потом вспомнили. Вызывали. Проверяли. А что с нас возьмёшь? Всё, что можно, уже отобрали тогда, живём в землянке. Куда уж глубже в землю вгонять... В могилку разве?

Так папу и не забрали, оказался ненужным, что ли?.. Ему уже за пятьдесят было...

Светлое будущее

Не понимаю, почему я должен называть 60-70-е годы застойными? Столько тогда было построено! Я в этом водовороте был. На моих глазах такое вершилось. И моими руками кое-что тоже...

После техникума — на буровую! Не сразу всё давалось. Но вот я — буровой мастер!

Приглашают в партком:

— Тебе надо быть в партии. Ты энергичен, грамотен. Рабочие за тебя горой! Ни к чему быть в последних рядах. В передние шагай! Коммунизм строим!

...Сел писать заявление. А как писать? Непонятно было, какой он — коммунизм. Но я всей душой! Как все! Кругом не глупее

меня! Тогда так хотелось знать: какое оно, наше светлое будущее? Написал: «Хочу быть в первых рядах строителей светлого будущего». С искренним желанием написал. И продолжал бурить, то есть строить светлое будущее. Как мог!

Мы бурили! И там, наверху... тоже бурили! И набурили! Чего теперь строим — не понять! Но в одном продвинулся: я теперь на пенсии. Подрабатываю в коммунальном хозяйстве дворником. Три тысячи платят да моих пенсионных пять. Вот оно, моё светлое будущее. Когда-то не знал, какое оно. Теперь знаю!

Сказал бедняк...

Идём с моей случайной попутчицей вдоль порядка кособоких нежилых избёнок к чудом ещё сохранившемуся магазину. Я за хлебом. Она за спичками. Она бывший преподаватель. Школу закрыли оттого, что некого учить. Продолжая наш вчерашний разговор, произносит:

— Привезли, что ли, утром спички? Слов нет. Хозяин-то вторую неделю как запил.

— Я слышал, что когда-то тут более-менее был приличный колхоз. Даже не верится теперь?.. — говорю, а сам всё смотрю на завалившиеся тёмные мазанки.

— Моя мама лет двадцать проработала в этом колхозе. То поварихой, то прицепщицей, а то дояркой. Умела она говорить коротко. Могла обронить как ненароком:

— Так, сказал бедняк, хорошо в колхозе жить! А сам и заплакал...

Давно уже нет в живых её.

Не удержался, спрашиваю:

— А что бы вы сказали сейчас о нашей жизни? В наши лихие девяностые?

— О теперешней? Как мы живём? — подняв на меня усталые глаза, спросила удивлённо и недоверчиво. — Не видите разве? Я не могу сказать так как мама... Хоть и пограмотней вроде...

— Вы же учитель. И, кажется, историк?

— Нет уж, Бог миловал, я преподавала математику. Просите, чтоб я сказала о таком... Слов нужных нет, говорила уже... А слюны не хватит...

Сказала так и изменилась в лице. Сама, видимо, за свою оценку, за жизнь свою испугалась... Не до конца ещё, видать, разуверилась.

Молитва

Как живу? Молюсь! Каждый день в молитвах. Последняя надежда осталась. Выйду на берег Волги, как сейчас, а то прямо на серёдку её. Одна стою среди снегов. Надеюсь, так одну меня, в отрыве от людей, ангелы мои или Боженька быстрее услышат. Последнее время, чтоб облегчить им меня определить, так и шепчу: «Водовозова я. Мария Алексеевна, живу в России, в посёлке Гранном Самарской губернии, улица такая-то, дом такой-то. Помогите! Приберите моего муженька! Совсем невмоготу. Уже и не плачу...

...Муж Николай вконец из рук Божьих выпал. Теперь ведь ни парткомов, ни нормальных завкомов нет. Вот товарищеские суды были... Как какой заерепенится, от жены к другой сиганёт, его раз... и на место... Кто детей растить будет?.. Нищету разводить?! Правильно — неправильно, а порядку больше было.

Хотя что я плету? Какие теперь товарищеские суды? Заводы-то юлдыкнулись. И наш тожа... Который год уже стоит...

Как уволился Николай, так и начал куролесить. Спервачка он только пил...

Я вначале соседей стеснялась. Не в обычай, чтоб хуже, чем у людей было. А теперь соседи-то тоже все пьют. Некого стесняться...

Как быть? Пьёт! А на что пить? Пенсию ещё не успел заработать. И у меня нет. Вначале телевизор пропил. Потом швейную машинку «Зингер». Её отец мой из Германии привёз, военный был. Он пьёт и из дому всё тащит, а тут зять Василий, как без привычного дела остался, на наркоту сел. Дочь Нюра бессловесная. Терпела, терпела. В двух магазинах убирала, да ещё у дачников тут... Девчонок-то надо содержать! Надорвалась. Одни стропила у неё остались. Худющая. Лежит в больнице с сердцем. И войны нет, а косит смертушка. Выйдет ли из больницы? А Василия вторую неделю нигде нет. Я думаю, скорей всего, утонул: вон полынья-то на Волге какая. Его уж разок вытаскивали. Я дочери не говорю. Куда ей? Не выдержит.

А мой теперь по мелочам начал. Босоножки младшенькой внучки утащил. Вчера схватилась: куртки дочерней нет. А ну как её выпишут из больницы. Вот и молю Бога. Прибрал бы он мужа мово к себе, по-доброму. Без меня. Ведь всё равно жилец никакой. Он уже ничего не может ни по хозяйству, нигде. Руки трясутся, одно на уме... Молитву творю! Уберёт бы меня Спаситель от греха. А то пришибу его. Чтоб спаси Настю с Леной. На дочь-то какая

надежда, если и выйдет из больницы... Одна я у внучек опора... Хорошо обе учатся, самостоятельно всё. Лена — круглая отличница.

А мой трясун уже к холодильнику примеривается. Мямлит, что отвезти надо его в ремонт. Я знаю, какой у него на уме ремонт. Они с соседом, таким же как он, уже отремонтировали один. Полина теперь без холодильника, погреб у них обвалился. А у нас совсем нет. Стараюсь из дома не уходить надолго, но разве уследишь?

Молюсь... молюсь...

Устала. Приготовила молоточек. Только тюкнуть осталось по затылку...

Спокойно и отрешённо пощипывая у только что купленной в поселковом магазинчике буханки хлеба жёсткую краюшку, повторила снова: «Только тюкнуть осталось...»

И так она это сказала, ещё раз спокойно, так обыденно... А мне показалось после её слов, что небо рухнет сейчас на нас обугленным пологом... Что и эта женщина, и две её внучки, которых я никогда не видел, и я... и те, двое бедолаг мужичков, которые как бы уже и не в этой жизни, оказались в адовом кругу. И круг этот очерчен жёстко и неумолимо. Мы теперь в кругу, где едва мерцает грань между добром и злом...

Возникли в смешавшемся сознании, как истлевшие, полусгнившие стропилины когда-то добротного дома, слова: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт». И о ней ведь, Марии Алексеевне, слова эти сказаны. Как издёвка они звучат в наши дни...

— Что вы, Мария Алексеевна, — не находя нужных слов, говорю я, — даже подумать об этом... грешно...

— А что? — отзывается обречённо. — Не радость, конечно. А разве не грех — две души загубить разом, двух девочек по миру пустить. На мне всё сошлось. Мне решение принимать. Вот и молюсь: Бог дал, пусть он и возьмёт его... Без меня... Поможет мне... И пожалеет нас всех...

Она повторяет уже сказанное. И я понимаю, что слова эти из её молитвы... Она с ними сроднилась.

...Мы стоим на берегу Волги, у крохотного продовольственного магазинчика — посреди неохватного вселенского простора. И глядя на эту, совсем почти незнакомую мне женщину, я чувствую свою чудовищную неспособность что-либо существенное предпринять, чтобы помочь ей выбраться из этого адского круга. Не чувствую в себе нужных для этого сил.

И невольно молюсь. Шепчу малодушно: «Господи. Убереги и сохрани! Отведи беду... По её ли грехам ей такое?!»

Эпоха не та...

Сходи вон в тот здоровенный кирпичный дом на том порядке, к Мотькину. Наберись ума. У него у одного такой домина в нашем посёлке. Мимо не пройдёшь... Он, кажется, понял жизнь. По-своему. Когда я в школе тутошней учителем труда работал, он у меня в учениках был. Мотькин один, как я ни бился, нормальную табуретку на уроках труда сделать не мог. Не хотел!

— И зачем, говорит, мне это? Когда за деньги всё купить можно? Так проживу!..

И верно ведь: живёт, ничего делать не умея. Кроме денег! Бабки рубить, толкует, надо в городе, а дышать приезжать сюда, в посёлок на берег Волги!

...Я с ним недавно калякал, тоже про жизнь, как с тобой...

«Жизнь, — говорит, — это эпидемия, распространяемая половым путём! Не успеешь своё взять вовремя, останешься ни с чем! На каждого сколько надо! А нас уже семь миллиардов ртов. Вот если бы до миллиарда было, тогда другое дело... А то от одного метана задохнёмся...»

...Он книжек-то не читает, я знаю. Где-то подцепил это, услышал и гнёт, как своё... Реактивный, на лету, словно блесну, хватает, когда дело касается наживы... Один он так из поселковых вознёсся. Дети в Англии учатся, жена живёт в Карловых Варах. Как? Откуда такое племя взялось?!

Хотя... его дед счетоводом ещё в колхозе был, помню. Отец — бухгалтером вот уж в наше время. Только и считали. Цифру уважали! А чтоб руками?..

...То ли мы не умеем считать? Или не так считаем, как они: «Тебе... мне-мне, ещё мне!» Цифра нас всех и съест!

Его сосед, старик Лунёв, который совсем ещё недавно жив был, тоже сокрушался:

— Эпоха не та! Ничего не поделаешь, — говорил.

А сам всё понять что-то хотел, больше, чем мог... Так и помер...

Рассказ хирурга Голубева

Я тогда служил в Забайкалье. До армии успел поработать немного медбратом. Готовил себя к учёбе на врача, к спасению человечества от болезней, не менее того! Что могло быть лучше этой мечты. И папа, и мама мои были врачами. Один мой дед прорабо-

тал сельским врачом всю жизнь. Известный был костоправ, между прочим.

Но я не об этом. Я о первой моей любви...

Не было у меня никакой любви до армии. Не встречался ни с кем ещё. Работая медбратом, видел всё больше грустное. Светлое, полагаю, впереди! У меня в то время даже усы ещё не росли.

Бунина любил очень, прозу его... Появился у меня его четырёхтомник. С него всё началось. Стихи писал, но скрывал ото всех. Совсем ещё не знал, какой я, но знал, что хочу быть хирургом. И надеялся в армии набраться кое-какого опыта, служить шёл с охотой.

И вот я попал в армейскую жизнь. Наш военный городок совсем маленький был. Медпунктом в нём заведовал прапорщик Водолазов, полусонный такой всегда. Одной таблеткой лечил от всего. Ну, если что серьёзное, сразу везли в другой военный городок, в госпиталь, где штаб дивизии...

Всё у меня шло поначалу размеренно и сносно. Мои способности медбрата сразу как-то все признали. Если что, обращались ко мне с вывихами, порезами, нарывами всякими. По-настоящему-то я как бы стал заведовать медпунктом, негласно так. Легенды поползли по городку: кому и как я здорово помог.

...Офицеров было у нас пятеро, трое с жёнами. Жили они на территории городка, чуть в сторонке от наших казарм. Там офицерское общежитие было.

Выделялся среди офицеров один особенно... И наружностью, и поведением. Худой, черноволосый такой. Старлей. Походка у него была какая-то... вертлявая. Глаза чёрные и так глубоко спрятаны под мохнатыми бровями...

Я его про себя называл Грушницким. Сам не знаю почему... Так-то его фамилия Лисовский была.

Настырный! Как вопьётся в кого, до посинения может довести. Его и офицеры не любили. Такие, наверное, до генералов и дальше вырастают... Безудержный!.. Узнать бы, какой и где он сейчас, хотя теперь-то уж, может, ни к чему?

...И вот приехала к этому Лисовскому жена. Лена. Совсем молоденькая. Но, как потом выяснилось, на три года старше меня. Она училась в педагогическом на четвёртом курсе. В Саратове. В городе, где я родился и вырос. Это мне как-то сразу запало в душу. Я теперь рассказываю легко, потому что не о главном говорю, о второстепенном...

О главном? Я и сейчас не смогу сказать, что со мной случилось. Появление Лены меня ввергло в смятение... Что это было?

Любовь? Не знаю. Она мне стала сниться с первого дня, как её увидел.

Там недалеко от офицерского общежития было кафе. Называлось оно «Солдатская чайная». Мы туда с ребятами забегали. Когда она встречалась мне, я делался деревянным. Она, кажется, поняла про меня что-то, и у неё на лице появлялась такая... полухлыбка при встрече...

Настал день, когда мы впервые поприветствовали друг друга при встрече. Она сказала мне как-то прожигающе просто: «Здравствуй!» Как я обрадовался, что шёл один! Это только мне одному так было сказано! Она прошелестела тихо и невесомо мимо меня, а я только-то всего глупо поднял молча руку. Будто честь отдал...

Она ходила в первые дни по городку больше в белом платье, которое просвечивалось на летнем солнце почти насквозь. Зачем она его надевала?! Я зажмурился. Не смел смотреть, а солдатики-ребята оборачивались, глядя ей вслед... Иногда отпускали резкие словечки. Безобидные. И не очень. Я внутренне негодовал: как они смеют?! Я успокоился, только когда увидел её в плотной тёмно-вишнёвой юбке и в розовой кофточке. Получилось такое вишнёвое пятно на нашем серо-зелёном армейском поле. Лицо у неё было особенное. Такое родное, знакомое с детства... Очень похожее на лицо моей мамы. И глаза такие же светло-голубые. Как у мамы!

Мы начали при встрече вскоре обмениваться короткими фразами. Но я чувствовал уже, что этим просто так для меня наше знакомство не закончится. То, что происходило во мне, — неудержимо, не утаишь! А вокруг столько глаз... И этот её... Лисовский!

Он стал смотреть на меня при встречах, не мигая. Длинный, похожий на удава... Они были такие разные. Муж и жена... А я совсем мальчишка! Взял и положил Лене на подоконник букетик ромашек, крадучись, в сумерках... И записочку приткнул в приткрытое окошко. И получил от неё что-то вроде обидной выволочки на следующий день: «Алёшенька, не надо больше. Я скоро уеду, и всё у тебя пройдёт... Ты просто ещё ребёнок. Чистый и невинный. Для всех, Боже мой, то, что происходит, так... нехорошо. Молодая офицерская жена и солдатик... Будь взрослым... прошу! Я боюсь... Он на всё способен».

Я слушал её, и мне казалось, что мы это не мы, а персонажи какого-то старинного романа... И не понять: глупого или какого. И про мужа сказала, как про средневекового злодея. Напугать меня хочет? Ещё пару недель назад мы не могли сказать друг дру-

гу целиком фразу, а сейчас она назвала меня Алёшенькой и говорила о таком, что у меня голова шла кругом. И мы прятались во время этого разговора от посторонних глаз за длинной стеной общежития. Под окнами. Мы были заговорщиками, сообщниками... Нас уже объединяло нечто. Я перестал спокойно спать...

Теперь я писал стихи не только ночами. Весь был погружён в нервный стихотворный плен. Я понимал, она скоро уедет. И то, что её скоро не будет здесь, ещё больше меня волновало.

В глубине сознания мерцало: «Вот Петрарка, Лаура!.. Другие времена? Пусть я не гений! Конечно, не гений в поэзии. Но как я чувствую! Какое во мне сокровище! И никому этого не надо?!»

...Я вложил в конверт три стихотворения, написанные накануне, и начертал письмо. В нём я уверял её, что для меня самое главное — иметь возможность называть её солнышком. Что я счастлив уже тем, что люблю! Только пусть солнышко будет каждый день. Пусть для неё это не имеет никакого значения, но я благодарен ей за то, что со мной происходит... И пусть я жалок в её глазах... пусть! Мне всё равно!..

Послание своё я вложил, как и прежде, в щель между рамой и карнизом её окна. Романтическое, наивное время было. И какое бесценное!

...Она не ответила на моё письмо. Ни письменно, ни устно. Я и тогда полагал, а теперь почти уверен, что письма этого она не видела. Попало оно в руки Лисовскому.

Дальше случилось то, что раздавило меня...

Дня два я Лену не видел, даже издали. И вот наступил тот день, вернее вечер... Прошёл ливень. Течёт со всех крыш. Ливня уже и нет, а идёт дождь. И вокруг тёмная мокрая мгла.

Прибегает посыльный в казарму:

— Голубев! Срочно в медпункт!

— Что? — спрашиваю. — У Сидорчука осложнения?

— Нет, гной весь вышел, уже и рана затягивается. Он ходил сегодня к Водолазову. А тот: «Чё, говорит, ходишь, если к лучшему?»

— Кто же?

— Лисовский этот! С женой.

...Когда я вошёл в медпункт, Лисовские были там. Лена сидела на кушетке, старлей у стола. Я не успел ничего сказать.

— Лена, раздевайся! — стальным голосом произнёс Лисовский.

— Женя, — голос у неё с надрывом, — может, всё-таки не надо?.. Не здесь! В госпиталь?

— В какой госпиталь? — металл в голосе его звенел.

Я посмотрел на Лену. Лицо измучено, необычно бледное.

— У Лены, возможно, температура, — попытался вмешаться я.

— Да, тридцать девять! Вот поэтому здесь всё и сделаем. У неё истерика была. Куда ей такой ехать?

— Жаропонижающее принимали? — спрашиваю.

— Только что, — последовал ответ Лисовского.

— А Водолазов где?

— Я его выставил! Не хватало, чтоб завтра весь городок хихикал. Ты — другое дело. Тем более — уникам. По крайней мере так говорят.

Наступило молчание. Потом он вновь скомандовал:

— Я сказал! Раздевайся! Сколько ждать?! Мы же договорились, — обрушился он на жену.

— Отвернитесь! Оба! — отозвалась почти истерично Лена.

Я стал смотреть в окно. Лихорадочно пытаюсь понять происходящее и необычно волнуясь. При мне раздевалась женщина. Такого со мной ещё не было.

— Мне холодно, — послышался голос Лены.

Я повернулся. Она лежала на кушетке в одном бюстгальтере, вытянувшись на спине. Я не мог смотреть. Меня слепило её большое, будто восковое, тело. Лена казалась мне здесь, в небольшой, тускло освещённой комнате, античной богиней. Не скульптурной, нет. Вся наполненная живым теплом!

«Богиня» шмыгнула носом. Я молча подал ей, чтобы укрылась, простынь.

«Но как я буду делать? Это для меня впервые», — крутилось в голове.

— Товарищ старший лейтенант, я никогда аборт не делал.

— Какой аборт?! — взорвался Лисовский.

Он выхватил из кобуры пистолет.

— Эскулап! Тоже мне... Смотри! Там другое... Внутри!

...Я подошёл вплотную к кушетке. Убрал с ног Лены простынь... И склонился над развилкой её длинных ног.

Было темновато. Невольно поднял голову...

Лисовский, поняв меня, опередил:

— Вон же! Справа настольная лампа, включи и пододвинь!

Я повиновался.

Когда трогал лампу, с тумбочки упали на пол узенькие розовые женские плавки. Меня дёрнуло, будто током.

...Кажется, я начал терять координацию движений. Я впервые видел перед собой так откровенно обнажённое женское тело.

Лена смотрела, не мигая, в потолок. Боясь встретиться с ней взглядом, я невольно пошатнулся в сторону. Лена догадалась закрыть глаза.

...Лампу я включил, но этого было мало. Мне надо было... Я почувствовал, что весь мокрый. Лоб, меж лопаток... А главное — руки, повлажнили ладони... Я не мог произнести нужные слова...

— Мне надо, ей надо... — мямлил я.

И тут Лисовский чётко, безоговорочным тоном распорядился:

— Солнышко, надо ножки...

«Солнышко!» — повторилось в моём сознании. Меня обдало жаром. Он так назвал её специально? Он потешается надо мной? Над нами? Получается, он читал моё письмо к Лене. Он намеренно не повёз её в госпиталь? Решил меня высечь! Или её? Я был унижен им. Оба с Леной унижены.

Но Лена причём? Ей надо помочь! Это из-за меня всё!

...Но что от меня требуется? На какой-то миг я перестал видеть. Потом будто с глаз моих сняли пелену. Я упёрся взглядом в пистолет Лисовского, который лежал на столе...

«Сейчас схвачу! И всю обойму — в него! И в себя!» Я перестал себя ощущать, я был в невесомости... А может, на грани безумия!

Лисовский перехватил мой взгляд, взял пистолет и вложил его в кобуру.

Он подошёл к кушетке. Встав у Лены в изголовье, руками взял сверху её под колени. Приподнял ей ноги, потянув их на себя. Развёл свои руки с зажатыми в них ногами в стороны.

— Ну! Долго ждать? — он смотрел на меня своими дикими глазами.

Я вновь склонился над Леной.

— Я помогу, — проговорила она.

Её длинные пальцы скользнули вниз живота. Там они невольно на миг соприкоснулись с моими...

...Внутри, не сразу различимый, сидел, впившись накрепко в мягкую розовую тёплую человечью плоть, клещ. Он уже явно распух от крови. Был не тёмный, а несколько посветлевший. Вокруг него покраснение и отёк.

Я взял пинцет и скальпель...

...Когда всё было сделано, я опустил на стул у окна и одеревенело упёрся взглядом в одну точку в темноте палисадника. Отстранённо, будто издали, слышал, как Лена одевалась.

— Не энцефалитный? — произнёс Лисовский. Не называя меня никак. Словно я послушно управляемый робот.

— Не знаю. Надо смотреть врачу-специалисту. Я его выкрутил полностью вместе с хоботком, но зараза могла пойти в кровь. Вре- мя терять ни к чему.

— Лёша, прости.

Я вздрогнул.

Лена стояла почти вплотную ко мне:

— Лёшенька, прости меня! — повторила она бесцветным го- лосом.

Я тогда не понимал и сейчас тоже: за что она просила проще- ния? За то, что было в медпункте? Или за другое?.. И понимала ли она сама, о чём просила?

Так мне до обидного дежурным показалось это её «прости». Данью вежливости, что ли... Или она так боялась рядом стоявшего Лисовского?

К тому времени я уже начал догадываться, как одинок в своей жизни человек... И с моей впечатлительностью столько мне ещё впереди предстоит всякого.

...Они ушли. Так захотелось куда-нибудь убежать. Но куда? Может, к Байкалу? Но где он?!

Продолжая сидеть у окна, я плакал... В голову вползла спаси- тельная мысль: сейчас найду чего-нибудь и траванусь. Я... обра- довался этой мысли. Всему сразу развязка... я не выдержу моей такой будущей жизни... Я не готов к ней... И никогда не буду готов с такой моей нервной организацией...

С шумом ввалился Водолазов, задев у порога ведро.

— Лёх, что стряслось-то у них? Долго так!

— Да, заноза была, — с усилием собирая себя в одно целое, от- ветил я.

— У кого?

— У Лены в пятке.

— У тебя лицо в слезах! — хохотнул он.

Я нашёлся:

— От нашатыря. Она в обморок падала, а я... пролил...

— Добегалась! Они вдвоём с женой начальника части всё шастали вдоль Оськина оврага. То им грибы, то ещё чего!.. Теперь, гляжу, еле идёт. На плече муженька повисла, полуживая. Мамень- кина дочка, одним словом... От занозы — в обморок?!

Он ещё что-то сказал. И хохотнул. Мне было не до него.

* * *

Больше Лены я не видел. На другой день Лисовский отвёз её в госпиталь, оттуда через пару дней проводил в Саратов. Об этом, ухмыляясь, сказал мне всё тот же Водолазов.

Лисовский вёл себя со мной так, будто вообще ничего не было. Не замечал меня, делал вид...

А потом его перевели куда-то в другую часть... Он — не знаю где, она — тоже. И живы ли?..

Меня-то уже точно нет прежнего...

...Хирургом я стал. Циником тоже... Это — профессиональное. Возвышенной и чище, чем с Леной, у меня потом уже ни с одной из моих женщин отношений не было...

Столько перегорело во мне тогда в одном коротком замыкании...

Правда

Спрашиваешь: страшно на фронте было, по правде? А как же не страшно? Живой, чай! Но когда опасность, некогда вроде и бояться. Начинаешь действовать, делать то, чему учили. Опять же по своей сноровке...

Правда — она то колючая, а то совсем не знаешь, как к ней подступиться...

...Помню миномётный обстрел, в первые дни, когда на передовую попал... Фриц как начал лупить! Мы врассыпную. Ещё и испугаться не успели...

Рядом ложбинка какая-то была, небольшая. Я — в неё. И тут же на меня ещё трое сверху. Придавили, дышать нечем. Я было задыхаться начал, рваться кверху. А тут мысль прожгла: «Стоп! Я так жив буду, прикрыли меня ребята собой...» Затаился... Даже как бы обрадовался... повезло... Съёжился, чтоб ничего не торчало...

...Смолкли взрывы. Двое, которые на мне лежали, — оба раненые, а тот, что сверху них, — мёртвый. Вот оно как... И стыдно, и вроде вины-то моей нет.

Санитары раненых и убитых подбирают, а я сижу целёхонький. И так не по себе...

Коля Меченый

Дружку моему Николаю на передовой не повезло спервоначала. При бомбёжке, смешно сказать, оторвало осколком ему краешек левой ноздри. А когда миномётный осколок надорвал ему мочку правого уха, ребята попритихли. Только нет-нет, да назовут его меж собой «Меченым». И правда ведь: меченый. У нас в селе так овец метят перед тем, как в стадо пускать, — ухо надрезают.

...А Николай стал настороженным каким-то. Задумчивым. Заметив, что ребята около него стараются долго не задерживаться, странно усмехался только...

...А тут идём втроем по нейтральной полосе. Вне зоны обстрела миномётов. И ему по нужде потребовалось, по лёгкой. Всего-то метров на десять отошёл от нас в реденькие кустики. И вдруг — как ахнет! Прямо в эти кустики. Поднялись и к нему. Голову у Николая, как лемехом, срезало. Лежат: отдельно он, отдельно голова его...

Пристрелочный, что ли, был выстрел, либо шальной снаряд этот. Больше-то не последовало. Всего один-единственный.

...Будто почуял Колька и вовремя отошёл от нас — беду отвёл. На себя взял... Или совпадение?.. Как хочешь думай...

Такой случай

— Стали нас принимать всем классом в октябрюта. А я отказываюсь. Не хочу.

Наша учительница Нина Ивановна внушает мне:

— Не волнуйся, я говорила с твоим отцом. Он тебе разрешает быть октябрёнком.

— Нет, — говорю, — пусть он об этом сам мне скажет!

И ушёл домой. Остальных Нина Ивановна повела во двор на площадку.

Шёл из школы и не мог понять, как мой отец священник мог разрешить такое. Значит, тогда Бога нет?

Оказалось, что отец ничего не знает. Моя учительница с ним не говорила.

На другой день я подложил ей кнопку на стул. Она сразу догадалась, что это моя проделка. Стала при всех меня стыдить. Что мне оставалось делать? Я сказал, что она врунья! В присутствии всего класса заявил.

Она оставила меня после урока одного и стала бить по спине, по рукам. Получилось так, что я ударился локтем о дверцу гол-

ландки, и у меня потекла кровь. Она, опомнившись, крепко испугалась. Выбежала из класса, оставив меня одного. Если б не кровь, досталось бы мне больше...

Она скрыла всё. И я ничего никому не сказал.

...Прошло более тридцати лет. В храме после службы подходит ко мне старушка:

— Батюшка, вы меня не узнаете?

— Нет, — говорю, — не припоминаю.

— А я узнала вас. Я Нина Ивановна — ваша первая учительница. Помните приём в октябрюта?

Тут-то я всё и вспомнил. Она рассказала о себе:

— Приехала я к младшей сестре, которая недавно стала жить в вашем городе. А она говорит: пойдём со мной в наш храм на службу, у нас такой батюшка!.. Один раз пришла, второй... Сегодня вот решила подойти, открыться... Судьба моя оказалась тяжёлой. Всякое было. Больно уж я нетерпеливая была во всём... Упорная... А разума... Живу давно одна, дети разъехались — и как и не было их... Слава Богу, встретила вас! Хочу попросить прощения. Снимите давний грех мой с души! Я и раньше-то, как постарше стала, очень себя корила за свой тот давний поступок, но к кому с этим пойдёшь?.. Время-то... А я не такая сильная, как вы...

...Как всё переменялось вокруг, одиноко стало. В церковь-то и потянуло... Всё хотелось потом узнать, где вы? Слышать-то слышала, что настоятелем стали... А где? И тут такой случай!

«Ты такая нам не нужна...»

Я тогда медсестрой работала в больничке с отказными больными детьми. До перестройки ещё.

Узнали, что я собираюсь за верующего, сына священника, замуж выходить, стали «пугать» меня. Что только не говорили! «Он тебя ночами будет заставлять молиться. Истязать будет постами!»

Я упёрлась.

Тогда мне сказали, что я такая в больнице не нужна! Могу изуродовать слабые детские души. Что надо мне уходить, другую работу искать...

Я и ушла.

Поженились мы с Алёшей и уехали жить в другой город. Замужем я уже около тридцати лет. И дети есть, и внуки...

Где теперь те люди, где те детки, за которыми я ухаживала? Неужто без веры живут? Беспокойно за них...

Сержант

Дело было в начале восьмидесятых. Получил я сержанта и прибыл, куда направили. В первый же день вызывает меня в красный уголок замполит.

Вхожу. Сидит он и ещё три офицера. Все смотрят на меня, как на музейный экспонат.

Замполит спрашивает:

— Ты как к нам попал?

Отвечаю:

— Это вопрос не ко мне!

Майор повёл головой из стороны в сторону, явно недовольный ответом, и вновь задаёт вопрос:

— Но ты понимаешь, что тебе у нас служить нельзя?

— Почему? — спрашиваю.

— Ты же верующий. В Бога веришь.

— Одно другому не мешает, — отвечаю.

Он своё:

— У нас же ракетные войска!!!

Замполит привстал над красным сукном. Видно, что разговор для него необычный. Но глаза ленивые такие...

— И что с того, что ракетные? — говорю.

Майор вышел из-за стола, подошёл сначала ко мне, потом зачем-то к окну. Со значением посмотрел через оконное стекло в просторное небо. Вернул взгляд в мою сторону. И сказал наигранно, с усмешкой:

— А вдруг Бог даст тебе команду нажать кнопку и выпустить ракету? Или ещё чего такое? Что будешь делать?

Я искренне удивился таким словам его. Спрашиваю:

— Товарищ майор! И вы тоже верите в Бога? Верите, что такая команда может поступить?

Он опешил от такого вопроса. Подошёл к столу, сел. Лицо оживилось, сделалось красным. Молчит. И остальные офицеры молчат. Не ожидали такого...

...После этого разговора никто со мной из офицеров не затевал беседу о вере. А замполит, как мне показалось, внутренне зауважал меня.

...И среди солдат потом много раз попадал я под каверзные вопросы. И каждый раз ответ находился вовремя.

Будто кто помогал мне в этом...

С голода не пухну...

Когда началась наша всеобщая «прихватизация», и я попал под её каток.

Я — главный инженер главка. Под началом до двух десятков заводов. Что началось вокруг и около: голова кругом! Терпел, не зная, что делать.

...Пошёл на подпись поток передаточных ведомостей на оборудование по остаточной стоимости. Заводы готовили к передаче в частные руки. Схватился за голову: стоимости смехотворно занижены. Три ведомости подписал, больше не мог. Перестал спать ночами. Иду к начальнику главка:

— Виктор Аркадьевич, это ж грабёж государства, народа. Понимаем ли, что творим? Будто не заводы готовят к передаче, а колхозные слесарки!

— Там понимают, — показывает пальцем над головой начальник.

— Но почему я должен это подписывать?

— А кто? — спрашивает. — Не я же! Ты отвечаешь за оборудование, ты — технический директор. Там, — опять показывает на потолок, — всё согласовано. Понял?

Я всё понял. И написал заявление об уходе. Никаких бумаг больше подписывать не стал. Это последняя была. Так я стал безработным.

А механизм по лишению состояния ста сорока миллионов россиян ладился на глазах, а мы обескураженно все молча взирали. Приватизация!..

Вначале было обесценено громадное богатство Советского Союза. Затем население было поставлено в такое положение, в котором оно готово было, вынуждено любую собственность обменивать на хлеб, молоко и так далее. Есть что-то надо было... И любой протест против такого ограбления всего народа был в то время невозможен...

...Так в течение всего нескольких лет появились собственники нефтяных, металлургических, химических гигантов...

И теперь утверждения, с таким усердием внушаемые нам, что план и государственная собственность, — самое главное препятствие эффективного развития нашей страны, разбились опять же на наших глазах о личные интересы жирующих на народном богатстве.

Поворот к капитализму для нас, россиян, оказался чудовищным откатом назад. Мы сползли к недоразвитому капитализму...

...Почему об этом молчат? Неужели я умнее всех! Быть того не может!.. Тогда в чём же дело?..

...Вместо столицы оказался я за Уралом. Но никто меня не тронул. Долго, правда, не работал. Кругом красные флажки. Теперь-то работаю. Глава фирмёшки одной. Проектными делами занимаемся. И по прежнему профилю работы, и не совсем... Но с голоду не пухну. Сердечко вот только теперь...

Чернослив в шоколаде

Я зашёл в отделение почты у нас во дворе и, кажется, в неудачное для меня время. А, может, наоборот... Где б услышал такое?.. Оказывается, сегодня день выдачи пенсии. Мне всего-то нужен почтовый конверт. Народу битком... И до окончания обеденного перерыва около двадцати минут. Все спокойно ждут момента начала выдачи денег. Идёт неспешный разговор. Я притулился у косяка, почувствовав интересное. Начало разговора я не слышал. Захватил, видимо, середину его.

Рассказывает интеллигентного вида пожилая женщина. Мне она показалась похожей на бывшую учительницу.

— Ну что мне делать? Болезнь есть болезнь, надо прорваться к этому доктору. А я никуда никогда не прорывалась. Тем более так! Но всё ж решилась. За меня договорились. Меня доктор примет. Мне только осталось, как сказали, обязательно купить солидную коробку шоколадных конфет. Боже мой, коробку-то конфет я купила, большущую такую. «Чернослив в шоколаде» называется. Сама никогда не пробовала такой. Сто семьдесят два рубчика стоила эта моя взятка. Пакет пластиковый большущий дома еле подобрала. Сама иду в поликлинику, а всё думаю: «Боже мой, как же это я буду, старушенция такая, взятку давать? Ведь это ж... он же на государственной работе...» А за спиной, над ухом всё вдогонку усмешка моего зятя: «Ну что вы, Серафима Илиодоровна, уже какой год как перестройка! А вы всё по каким-то махровым принципам живёте! Давно пора перестроиться! А то не выживете так...»

Иду. Под мышкой, как крыло самолёта, пакет такой большой с конфетами. Ветер на улице. Сумка парусит, я спотыкаюсь. И трушу... «А вдруг оскорбится? Мужик ведь! А я, какая-никакая, всё ж таки дама! Он же, наверное, в нашей нормальной школе учился. Доктор медицины, в любом случае не меньше меня, училки-пенсионерки, получает? Выставит за дверь ещё! Позору!.. В общем, иду, интеллигентка тощая, комплексую всюю... Но, как

велел зять, держу курс на перестройку: а то и впрямь... не выживешь теперь...

Не помню в подробностях, как я вошла в кабинет. А он, доктор, высокий такой, представительный. А у меня своё: «Неужели такие сейчас берут? Думала, какой-нибудь прыщавый будет, с наглым лицом...» Опыта у меня в этом деле никакого... Не обучены мы...

Как давать-то, думаю, с какими словами? Он чужое вдруг брать не будет, я ведь за работу, которую ему оплачивают, буду совать этот чернослив, будь он неладен!..

— Что же вы, проходите ближе к столу! — говорит и смотрит доктор не на меня, а куда-то мимо... Сам весь лицом смуглый, породистый такой. Лет сорока.

«Ну прям не доктор, — думаю, — а чернослив в шоколаде».

Шагнула я к столу... Не знаю, как у меня вырвалось:

— Доктор, тут вот вам...

И не успела я сама до конца вытащить из пакета коробку, как он ловко хватъ её! И не сумела я ничего: ни договорить, ни сесть ещё, он — шась! И за ширмочку, за занавеску — двумя быстрыми шажками, как в цирке. Оттенированно!.. Как между прочим. Легко так. А я вспотела вся... Меня больше всего поразило, как он шустро всё. Ну, думаю, такие как мы, верно, обречены на вымирание. Динозавры. Эта перестройка для таких вот, как этот...

Очередь молчала, внимательно слушая.

— И что, помог он вам? — с явным сомнением спросила дама у подоконника.

— Ну, где ж помог-то? Ещё раза три ходила с такими же коробками и поболее... И к нему, и к другим... Толку-то?!

...Окошечко на выдаче открылось, белокурая женщина лениво что-то сказала. Очередь колыхнулась и вновь замерла, зашелетели слова присутствующих. Но уже без внимания к рассказчице, которая повернулась к окошку.

Я вышел на улицу.

Митька-интеллигент

Говоришь, интеллигенция спасёт нас? Спорить не буду, может, и так...

...А я вот на прошлой неделе в своё село наведывался. Брательник рассказывал про Митьку-интеллигента. Есть в нашем конце такой. С детства чудачит. Лет под тридцать ему. Когда в себе, на народ, ну там в магазин, аптеку... ещё куда, обязательно выходит

в шляпе и с авторучкой на груди в кармашке слева, будь он в пиджаке ли, в рубашке ли... Солидно держится. Это когда он в себе, а бывает иначе...

В тот день мать заставила его огурцы полить. Он вроде в себе был в этот момент, просветление у него какое-то... Огород у Косяковых к речке спускается, у самой воды. Пошёл поливать.

Надо же! Соседка вздумала искупаться. Искупалась, вышла без ничегошеньки на берег, а он у кусточков стоит, Митька-то. Смотрит.

Дарья ему:

— Чё лупишься? Не видел никогда бабу голяком? Не знаешь, что делать?

Пошутила она так... Ага...

«Что делать?» Он, Митька-то, нахохлившись, коршуном и бросился на неё. Замкнуло в нём что-то... Стал кусать её за плечи, за грудь, за другие места. Кожа клочьями... Повалил и всё зубами, зубами её...

...Никогда не знал, что делать? Знал да забыл? Или что ещё у него?..

Сбежался народ. Еле отбили Дарью от Митьки-интеллигента!..

Курильщики

Никак не могли меня мать с отцом заставить бросить курить. Я и сам был не против, но... Сам с собой совладать не мог.

...А тут гуртуются около Ванькова палисадника парни. Курят. Пасха! Солнечно так. Все нарядные и весёлые. Меня зазывают к себе. Свернули и мне «козью ножку» из газеты. Я закурил. Стою фасонисто, дымлю.

Вдруг как жажнет! Они, паразиты, в махорку добавили мне пороху! Вот как! Брови мне опалило. Лицо в копоти всё. Сделали мне «козью морду».

Пошёл я отмываться к бочке с водой. А вослед мне Колька Лобастый, здоровенный парень, лет уж около двадцати ему было:

— Не серчай, Костя! Отец твой, Гордей, больно уж сокрушался, что куришь. Пособить просил, отвадить тебя. Дал нам на всех махорки авансом... порох мы сами нашли. Мы и пособили. Старших слушаться надо!

Все стоят, смеются — и кто курит, и кто не курит...

...Может, то, что бросил курить, спасло мне жизнь.

Когда уж был в плену в Норвегии у немцев, строили мы железную дорогу. Взрывали скалы и делали площадку для шпал. По-

скольку работа тяжёлая, нас как-то ещё кормили. В день давали двести пятьдесят граммов баланды, в основном из брюквы, часто нечищенной, сто пятьдесят граммов хлеба, около пятнадцати граммов маргарина и обязательно... одну сигарету.

Те, кто некурящие, скрывали это. Свою сигарету отдавали за маргарин курящим. Получалась у них двойная порция маргарина. Так и я поступал, некурящий. Тому, кто не курил, получалось, хоть что-то попадало в организм из жиров, они ещё как-то держались.

А курильщики быстро сдавали, у них двойная порция отравы получалась...

Как таскать камни, когда еле ноги передвигаешь? Когда смотрит на тебя охранник, стараешься двигаться с камнем в руках. Как только отвернётся, останавливаешься передохнуть. Надо было уметь вовремя начать движение, когда охранник вновь посмотрит в твою сторону. Не всем удавалось это...

Охрана в этом лагере не зверствовала особо. Вольнонаёмные у немцев были, из местных. За свой паёк служили. Помогали бедолагам по-своему... Грузили, которым не по силам была работа, на посудину человек по тридцать-сорок, выплывали чуток в море и сбрасывали. Помогали, как они говорили, отправиться на морской курорт. В основном курильщикам...

...Разных помощников повидал я на своём веку.

План

Отец мой рассказывал:

— Была одна такая, больно уж активная, из комитета бедноты в нашем селе, Веруня. Руководила раскулачиванием. У нас-то в селе вроде норму выполнили, так она в соседних сёлах помогала. Привела подводы с раскулаченными-то в Кирсановку, недалеко от нашего села. Там у них вроде сборного пункта было. Идёт вдоль повозок, а там бабы, ребятишки, зарёванные, всякие... Шагает так, больно-то не глядя на людей. А тут поднимает глаза, на подводу-то: её мать, отец, младшие сестрёнки, братишка сидят...

— А вы как тут оказались? У нас же одна лошадь...

— Дак, дочка, раскулачили нас... — отвечает отец. — Пока ты раскулачивала на стороне, нас тоже того... под одну гребёнку. Дали, проговорился сопляк этот, Стёпка Синицын, какой-то дополнительный план, мы и попали в него! Как вот Сарайкины с Мошниными, Зотов, Корней Остроухов...

Подарочек

Замаялась я совсем. Никак не думала, что так всё обернётся. Со мной ведь что случилось?

Лет десять назад у чалдонки этой, Анфисы, муж погиб. Мы тогда в одном ЖКО работали. Поехал он на аварию, а у них там колодец канализационный и ухнул. Двое из них провалились под землю. Её Михаил обварился сильно. От ожогов в больнице умер.

...И времени-то прошло совсем ничего, а она мово Николая и присмотрела. Как бычка на верёвочке, увела от меня к себе. Может, у них и раньше что-то было. Она видная, чёрненькая такая. И оторви — да брось...

Квартира хоть и Николая, а он махнул рукой: «У Анфисы своя двухкомнатная и ребёнок один только». Ушёл, ничего не взял.

Остались мы с дочкой одни. Сначала-то я тужила очень, потом смирилась. А года-то идут. Они оба перевелись на другое место работы. Мне уже и не за тридцать, а пошло за сорок пять... Возраст бабий такой... Хвори, какие положены с возрастом, какие не положены... всё в кучу.

А врач-то и говорит: «Нормальная вам супружеская жизнь нужна, а у вас её нет, вот и проблемы... Думайте...»

Хорошо сказать: «Думайте!..»

...Стала я потихоньку молиться. Просить ангелов небесных, чтоб муженька хоть какого-никакого помогли мне обрести... Молили чтоб за меня... Про бывшего-то своего Николая я и думать сто лет перестала...

И, наверное, либо грешна в чём-то сильно, либо что не так сказала в просьбе своей? Али они что напугали в списках своих каких. Помочь-то помогли, но как?!

Возвращаюсь 8 марта с работы, а у моего подъезда мой бывший муженёк Николай сидит. Смирненько так, на лавочке. Рядышком какая-никакая его одежонка кучкой. Улыбается детской такой невинной улыбкой, никому... так, всем сразу. А мне передавали раньше, что у него с головой что-то стало. Ну, эта болезнь, я всё путаю название: когда мозги отказываются работать... Анфиса так его закружила, что ли? Или что. Она безудержная, с ней вместе быть — с рельсов съедешь... Пил он сильно...

Что делать? И тут она не по-людски, Анфиса-то, с издёвкой... Подарочек, мол, прими...

Взяла я его вещи и повела в квартиру. Квартира-то его, ему принадлежит, Анфиса знает, что не выгоню. Попользовалась му-

женьком моим и... вернула... Больно, видать, я сильно просила, что тоже негоже... И не только своего ангела-хранителя просила. Ко всем взывала. Они и постарались. И, признаюсь, ничего хорошего-то Анфисе не желала. Разлучница ведь...

...И началось у меня... Он же совсем как маленький ребёнок — не понимает, что, когда, где... Только иногда голова заработает... и тут же провал. В больнице нашей больше трёх дней не держат таких.

Дочка приезжала к нам, не смогла неделю прожить вместе. То нервничает, то ревёт.

Я из дома стараюсь надолго не уходить, одного боюсь его оставлять...

На той неделе вздумала с ним съездить на экскурсию. Группа собралась, погрузились в автобус. А он не соображает же...

Неожиданность с ним случилась тут же, в автобусе. Как младенец... Дышать стало нечем... Кто шумит, кто, заткнув нос, молчит деликатно. Но таких мало. Что делать? Выдворили нас из автобуса. Морока.

Как быть дальше? Выхода не вижу... И жалко его...

Белый теплоход

Захотелось глотнуть чистого кислорода, и я нырнул с городской самарской улицы в художественный салон, что на Молодогвардейской. Не успел в зале сделать и трёх шагов, как передо мной возник человек:

— Ба! Вот уж не ожидал! Сколько не виделся!

Смотрю с удивлением на говорящего. Невысокого роста, опрятно, хорошо одет... Вот лицо... Лицо бомжа... опухшее, щетиристое, выцветшие глаза...

— Ты не гляди: я завязал с прошлым. У меня теперь дел невпроворот! А ты? Твои вещи здесь есть? Я ценил тебя. И очень...

Он явно путал меня с кем-то. Пытаюсь разругать ситуацию:

— Я не занимаюсь...

Не даёт договорить. Происходящее похоже на какую-то интермедию. Или розыгрыш...

— Знаю, знаю! Мне говорили, что ты забросил всё... Но какие были наши фотовыставки! Помнишь: одна за другой! В Нижнем Новгороде?! В Саранске!!!

Слава Богу, думаю, хоть кое-что прояснилось. Оказывается, он и я — фотохудожники. А он как будто чем-то только что подзаряжён, не стоит на месте. Ходит вокруг меня. И по-свойски мне:

— Ничего, Борис, я это тоже перенёс, пережил! Творческий спад, запой... известно всё...

«...Меня он называет Борисом, а мне и спросить, как его имя, уже как бы неудобно», — неуклюже соображаю про себя.

А он вводит меня в курс дела:

— Ты помнишь, — он называет какую-то фамилию, я не слышал, скороговоркой, как если бы мы все были давними корешами, — он же у меня в Ширяево последние два года жил. Сначала я его козьим молоком отпаивал. У матери моей коза была. Ну и... кормили его. У него же ничего не было. И он как бы никто. Эти мастодонты из Союза художников близко его к себе не подпускали.

И тут началось. С год он работал неистово. Набросился на работу, как с цепи! Не по-человечески. Только спал, остальное время писал. И этого... ни грамма. Я ему только овощи таскал, молоко. Мясо совсем не ел. Всё у нас заставил в пятистеннике картинами.

...А потом враз уехал. В конце 90-х в Германию, а после оказался в Австралии. Картины забрал с собой.

И хоп! В Австралии стал самым известным художником. Выставки, репродукции... Разбогател! Он мне писал об этом, а я не верил... Как поверишь?

Я слушаю худого, с вывернутой вовнутрь левой рукой человека и нахожусь в смятении: что всё-таки это — розыгрыш, блажь? И почему со мной? Но отойти от говорящего не могу. Доверительный тон, наше, по его мнению, общее прошлое к чему-то меня обязывают...

А его захлёстывает случившееся:

— ...Но годы... И эта жизнь его, когда бедствовал... Короче, не стало полтора года назад Анатолия. А родственников у него почти нет... Опять: хоп! Оставил мне по завещанию наследство — три миллиона евро и двадцать картин. Таким оказался Анатолий! А мне уже и деньги не нужны. Чувствую: недолговечен я... Куда их? Туда, где все будем, даже ржавого гвоздя не возьмёшь. Ну, съездил в Сидней этот, где он жил. Голубые горы. Пляж Менли. Всё замечательно! Но у меня другое. Сколько мне осталось жить? Ну, не более пяти лет... Из них около года понадобилось, чтобы с наследством всё оформить. Тягомотина!

...Я слушаю сказочника, как я его про себя назвал, и жду, чем всё это кончится. И не хочется, чтобы сказка разрушилась, как песочный замок... И... ну, есть же границы фантазии?

— Как-то с пользой надо бы распорядиться деньгами-то, — говорю, желая увидеть, как он будет продолжать сочинять...

— А я распоряджусь! — отвечает. — Хочу успеть (если заслужил), успеть построить на эти деньги в селе Ширяево детский дом. И купить для дома белый теплоход. Волга-то, вот она, рядом... Пусть ребятишки радуются!

Этими последними словами он меня совсем обезоружил. И покори! Стало совестно за моё неверие.

— А почему обязательно белый? — глуповато уточняю услышанное.

— Так хочется! С детства мечтал плавать на таком по Волге капитаном. Да, видишь, рука у меня после перелома какая... Ты же знаешь эту мою историю.

Взгляд его остановился на мне. Пронизывающий такой... После некоторой паузы сказал убито:

— Но время! Время летит! Успеть надо сделать что-то настоящее! Ты же хорошо маслом писал когда-то. Что фотография?! Вот! — он разжал поднятый до уровня своего подбородка кулак: — Время, как вода сквозь пальцы! Время пожрёт всё! Помнишь Державина? «Река времён в своём теченье // Уносит все дела людей...» А искусство вечно!

Смолк. Передохнул. И призывно уже:

— Напиши холст «Время и мы». Чтоб много было белого и голубого! Это тебе будет не «Чёрный квадрат» Малевича! Это сосем другое!.. Ты смог бы!

...Когда он ушёл, я спросил работника салона, сидящего за столом у компьютера:

— Кто это?

— А что?

— Да, чумовой какой-то. Так мне показалось.

— Не знай какой, но он заказал для одной из школ в подарок три картины, каждая более пяти тысяч стоит. Сказал, завтра придут — заберут. Вон в сторонке стоят, оплаченные...

— А можно фамилию его узнать?

— К чему вам? — холодно вато отреагировал работник.

— Ну так! Загляните в базу данных, — я кивнул на компьютер. И получил своё:

— Зачем это? Он сказал, чтоб было всё конфиденциально. И кто вы такой?..

Сиреневые колокольчики

Я тогда уже пятый год вдовой жила. Сыновей попереженала давно. Разъехались они. Живу одна, шестой десяток пошёл...

Всё бы ничего, но дом на отшибе в посёлке. Боязно порой одной-то.

И по хозяйству без мужика не так ладно всё, как могло быть...

Вот меня и познакомил с Леонтием муж моей двоюродной сестры Миша. В детском садике, где я когда-то нянечкой работала, они оба стихи читали ребятишкам. Сошлись мы с Леонтием. Я с самого начала условие поставила: только не пить! Не хочу на старости в пьянке жить. Леонтий условие принял.

Старательным таким Леонтий-то оказался. Перед домом у калитки площадочку вымостил. Осенью все яблони обрезал, какие старые очень — совсем спилил. И в доме светлей стало, и во дворе. И так порядок постоянно наводил во всём. Чистюля. Каждый вечер, как спать лечь, ноги обязательно моет. Иной раз, если в доме моль увидит, не успокоится, пока не прихлопнет. Но временами срывался и запивал. Замыкало что-то в нём. Плакал пьяный. Мало совсем о себе рассказывал. «Нечего, — говорил, — вспомнить. А как что вспомнишь, голова болеть начинает...»

У него случай был. Как он говорил, работал сварщиком на электростанции и упал с высоты, с тридцати метров аж...

Падал, говорил, как-то поэтапно. Цеплялся за что-то несколько раз, то там, то тут, одеждой. Ну и получил сотрясение мозга, руку сломал, два ребра.

...Деньги мы не делили. Он приносит свою пенсию, кладёт в шкаф на полку. Я приношу — на ту же полку кладу. Соседка моя, Нюра Мижавова, позавидовала: «Везёт: третий мужик у тебя». Она всему завидует.

Знала бы, как мне дались первые два. Помучилась. Она недавно дом-то рядом купила. Издалека откуда-то.

Я всю жизнь то нянечкой, то воспитательницей в детских садах проработала.

На пенсию ушла, а всё около детсада «Мишки», тут у меня через дорогу. Кружусь. Там помогу, там что-нибудь по мелочи... Вот его стихи, Леонтия-то, раздавала. Читали деткам, очень нравились.

...А через год у Леонтия книжка целая вышла для детей. Было в ней одно стихотворение, где мне очень нравились две строчки:

*Вечно солнышку светить,
Если будем всех любить!*

Это стихотворение называется «Сиреневые колокольчики». Оно и о природе, и о войне. Мы-то в детстве с подружками так любили по весне ходить за этими сиреневыми колокольчиками. Лес-то рядом совсем.

До сих пор вспоминаю эти денёчки. Иной раз во сне колокольчики приснятся — и позванивают из детства!..

...А тут как обухом по голове. Не придумать страшнее. Миша рассказывал мне: приглашают председателя ихней областной организации писателей в обком партии и спрашивают:

— Вы кого печатаете? Фашистского пособника! Гестаповского палача!

Оказывается, на Леонтия пришла бумага из соседней области. А в ней такое... свихнуться можно. По ней Леонтий родился и жил до войны в Поволжье, по соседству с немецкой колонией. С детства знал немецкий язык. Когда началась война, его определили в армию переводчиком. Он и попал в плен.

Немцы зачислили его в эту, в зондеркоманду. Потом направили в Грецию, в команду, которая занималась уничтожением греческих партизан.

Расстреливали целыми семьями. Детей бросали живыми в костёр. И во всём этом, получалось, Леонтий — прямой участник.

После войны за то, что был в услужении у немцев, Леонтий отсидел десять лет.

Приехал сюда и жил на квартире у одной старушки в посёлке, недалеко от города.

Незаметно жил, пока не начал писать стихи и печататься. Вот как!

...Председатель-то пригласил потом Леонтия к себе в кабинет, спрашивает напрямую:

— Служил у немцев?

— Служил, — отвечает Леонтий.

— В расстрелах участвовал?

— Вам же бумагу прислали. Что спрашивать? — так вроде Леонтий отвечал. Мне Миша рассказывал.

Председатель долго тоже не стал разговаривать:

— Ну, раз эдак, то вот что скажу: стихи запретить писать вам никто не сможет. Но печатать мы вас не будем. Точка!

Я говорю брату Мише:

— Как же так? Каратель, и такие стихи хорошие? Не верится.

А он мне:

— Талант — он как чирый! Может и на заднице выскочить!

А тут утечка произошла. По посёлку про Леонтия слухок пошёл...

Что же делать? Как быть? Ума не приложу: полицай в моём доме? Жить-то как вместилах?

Леонтий-то пропал сразу. Не появлялся у меня. Всё решилось враз. Пришла домой — его вещей нет. Туда-сюда. На столе записка: «Уехал. Прости».

И всё! Куда? Чего?

Он даже деньги в шкафу не тронул. Вот ведь?..

...Я до сих пор не могу его представить палачом. Слово-то какое? К нему не идёт...

Вот умом допускаю: документы есть. И всякое другое... Сидел опять же... Судили...

А сердцем никак. Не принимает сердце... А вдруг ошибка? Не соединяется во мне всё в одно целое. С этим теперь и живу...

Недавно ездила к той старушке, у которой он жил до меня. Может, думаю, что узнаю о нём. Увижу.

«Нет, — шамкает хозяйка, — как съехал в тот раз, больше его не видала. А ты кем ему приходишься? — спрашивает. — У него, сердешного, ведь никого, как знаю, не было».

Дожить до весны!..

Говоришь, в голодные годы твой дед с семьёй уехал в Сибирь, и потому все они остались живы? Случалось и такое... Только с нашей-то семьёй по-другому было. Если б только с нашей...

— Вы хорошо помните те годы? — спрашиваю.

Лицо старика трогает вялое подобие усмешки:

— Ещё бы! В памяти такие зарубы остались...

— Могли бы рассказать? — спрашиваю.

— Мог бы, только не сейчас. Неважно себя чувствую после операции. Недели через две, может быть...

* * *

...Старик рассказывал несколько вечеров. Я редко перебивал его вопросами. То, что я услышал от него, сидя вместе с ним в скверике во дворе, меня выбило из равновесия. Я несколько дней приходил в себя. Не мог ничем заняться сосредоточенно, пока не понял, что надо услышанное записать. Перенести на бумагу. Не мог носить в себе...

...Рассказ его я, как сумел, сгруппировал, удалил из него повторы... Нигде и ничего от себя... Местами опустил подробности, которые показались мне невероятно дикими... Всплывали в памяти отрывочные сведения из архивных документов. Но передо мной был живой свидетель...

«Видишь ли, в некоторых уездах Самарской губернии в 1920 году не выпало ни одного дождя. Поля и луга на глазах выгорали. Появились полчища саранчи.

Уже в 20-м году у нас в деревне начали есть жёлуди. Ели их пока наполовину с мукой, потом с мякиной, лебедой. Ещё с репейником этим.

...И 21-й год оказался таким же засушливым. Так много стало пожаров. Горели леса, горели деревни вокруг. А тут холера! Тогда говорили, что она пришла из города. Наступил форменный мор.

Мой родитель с зятем Николаем поехали в Уральск на двух подводах за продуктами. Они не вернулись живыми. Нашли их убиенными, когда, значит, они уже возвращались. Недалёко нашли, тут, за околицей. Лошадей увели. Продукты пропали тожа...

Я догадывался, кто это свершил, седёлку нашу опознал. Но куда с этим? Пришибут только...

...Все, кто мог, к концу 21-го года гужом потянулись кто куда. Кто на скрипучих телегах, кто в кибитках, кто как... Мимо нашей деревни день и ночь шумели повозки, мычали коровы, тянулись верблюды...

Плач детский и стон взрослых слышались отовсюду.

Пошло страшное воровство. У кого корову, у кого овцу уведут со двора. И зарежут.

И нашенские уезжали.

Мама у нас года три уж как умерла. Вдвоём мы с сестрой Настёной остались. А она на сносях. Вот-вот родит. Куда мне деваться из деревни? Всё на меня легло, на двенадцатилетнего парнишку.

А мор продолжал косить народишко. Ели корни и камыш. Разные мослы, которые много лет валялись в пыли, начали сушить и тереть. Получалась костная мука. Ели речной ил, глину...

Так было и у нас, и в других местах. Дети и взрослые ежедневно ползли в помещение сельсовета с милостью дать хлеба. Кто высохший, как скелет, кто до безобразия опухший.

С наступлением холодов ни травы, ни кореньев не стало. Поели почти всех собак и кошек. Ели всё, что казалось съедобным.

Тут уж начали вымирать целыми семьями. Обезумевшие родители бросали замерзать своих детей на морозе в поле.

Пока земля не замёрзла, как-то ещё хоронили. И то не везде. Уцелевшие, одичавшие собаки растаскивали трупы. В нашей деревне умирало человек по шесть в день. Маленькие дети от голода грызли себе ручонки. Их связывали.

Начали есть древесные опилки, размалывали ветки молодняка. Спасало не надолго. Болели и мёрли.

...Тут зачали воровать трупы с могилок. Перестали приносить умерших детей на кладбище, оставляли для еды.

Я раньше читал тогда, что людей едят. Но это там где-то, за семи морями, а тут у нас...

Меня спасали мои ноги. Я был бегун. Утащу что-нибудь съесть! И лови меня!.. А как обессилел, плохо стало.

Разок срезал у Родичевых в сельнице гужи у хомута, а они не поддаются. Сколько ни варил, ни в какую... Твёрдые и хомутом пахнут.

Другое дело, когда у них отелилась корова. Место, ну этот, послед, они повесили на переруб в сарае. Я его и умыкнул. С мяском мы оказались с Настёной. Но когда это было? Чуть не год назад ещё.

Бояться я начал, когда плохо стал двигаться. Как бы не прибили. Доступным оказался...

...Разок братья Зуйкины пожаловали разбираться. Я у них из погребницы меж делом капкан стибрил. Придёт весна, думаю, вдруг суслики ещё остались...

...Уже сумерки наступили. Они к мазанке нашей направились. Один из них с лопатой. А я уже давно почувствовал, что они меня пасут. Перебрался ночевать в сарайчик. Пока братья в избе были, я ползком к Дунькиному оврагу. А сил-то нет, как раньша... Ткнулся в кусты сирени на полпути передохнуть. Эта сиреневая кулишка и спасла меня. Лежу и вижу перед носом два черепа человеческих и кости разные. Вспомнил, как летом ещё отца с сыном Кичайкиных здесь видел брошенными. Они это.

Мне бы вскочить, да — к оврагу! А не могу, прижало к земле... Всё же скатился я под уклон и поколтыхал, подальше от дома.

Настёну они не тронули.

А вскоре старший из братьев Зуйкиных отравился, не знай чем...

* * *

...А тут роды у Настёны. Сосед Степан принимал. Кому же ещё? Все, кто рядом, немощные.

Пуповину дядька Степан резал отцовским сапожным ножом.

...Настёна умерла после родов как-то быстро. Отвезли мы её со Степаном в амбар. Земля уж как железная была. В амбаре том складывали людей до весны, когда земля оттаёт.

Через неделю после матери умерла и девочка. Как ей жить? Я её одной водой с ложечки кормил. Не знал, что делать, советовать-ся не с кем. Степан тожа помер.

— Как помер? — спрашиваешь.

Расскажу.

В соседнем селе утром толпа голодных, человек в сорок, подвезла на салазках к дому волостного председателя разрубленный труп, взятый из такого же как у нас амбара. И потребовала хлеба. Заявили твёрдо: если не будет исполнено их требование, они съедят и самого председателя.

Труп члены совета у толпы отобрали.

Что повлияло, не знай!.. Только и у нас вскоре, и у них стали раздавать кукурузу. Говорили, навроде того, американскую. По четыре кило на человека дали. Вот Степан и наелся досыта. Закупорка получилась у него. Живот и лопнул.

А со мной-то как было?

Как раз повезло мне. У Сироткиных солдаты стояли. Я у одного в мешке кусочек сальца и нашарил. С кукурузой его ел. Эта вот смазка спасла меня.

К тому времени я уже знал, что нельзя много есть костной муки. Нельзя употреблять овчину. Был опыт...

* * *

...Надо девочку хоронить, как положено. А как? Пойду, думаю, к дядьке Илье в соседнюю деревню. Они с отцом когда-то знали. Вместе их призывали на войну с германцем. Он вернулся в село потом с простреленной рукой. Это уже было в гражданскую.

«Может, повезёт чем поживиться у них, а может, по дороге где?» — так я думал.

Дотащился до села, а без толку. Все у них еле двигаются. Топят одну избу поочерёдно с соседями на пять дворов. Где натопят, туда и сходятся греться. Лежат вповалку, еле живые. Дядьки Ильи дома нет.

Что оказалось-то?

Когда стало совсем нечего есть, они съели умершую у них квартирантку из Грачёвки, кажется, Ручникова фамилия её была. Когда съели, дядька Илья послал свою бабу в совет, чтобы она, значит,

сказала, что едят человеческое мясо. Сделал так, чтобы его двух ребятишек приписали к общественной столовой. Увезли дядьку Илью в Самару.

Очень он просил дать ему хоть какую-нибудь работу. Говорил, везите хоть куда, только чтоб можно капельку какую заработать детишкам из еды. Он умел работать.

У него ещё в 20-м году было крепкое хозяйство: пять лошадей, три коровы, овцы. Две лошади увели белые, потом в засуху двух съели волки. Остальное сами проели.

* * *

Когда я возвращался домой, решил сходить к нашей родственнице Агафье. Она на дальнем конце улицы жила.

Иду, значит, к Агафье и оглядываюсь. Боязно. Она малость чокнутая была. И это ещё... двусбруйная, то есть ну... и баба, и мужик — так говорили.

Я её у нас в доме раза два видел. Лицо мужичье, а так навроде женщина... Её больше Агафоном звали, промеж собой-то.

Иду по переулку как могу. А пороша выпала. Светло так! И никаких следов на снегу.

Ну, ладно, думаю, кошек и собак поели. Но люди-то должны остаться, хоть сколько-то... Неужто никого?..

...Я ещё в сених насторожился. Запах...

А как открыл дверь: дух мясных щей волной ударил в ноздри. Смотрю, в печке огонёк сверкает. Агафья с ухватом стоит.

— Проходи, проходи, сродничек! Давненько тебя не видела. С чем пожаловал, Ванечка?

Разговорчивая такая...

Она спрашивает, а я молчу. Одно на уме: «Откуда у неё мясо? Неужто она?..»

Не знаю, что делать! Говорить с ней или удрать сразу. Страх обуял...

— Вот сейчас щец налью, тогда и расскажешь.

И достаёт хозяйка глиняную чашку с отбитыми краями, тёмную такую.

Я еле выдавливаю из себя, не подходя к столу:

— Настя родила и скончалась. Теперича девочка её померла. Племянница моя. Похоронить бы надо.

— Похоронить? — быстро переспрашивает Агафья. И поворачивается ко мне всем лицом. Глаза у неё пустые. Ничего, рона, в них нет, прозрачные...

— Привези её мне, — говорит.

— Зачем? — вырвалось у меня.

Ни с того, ни с чего лицо её, не лицо, а небритый гаденький урыльник с редкими чёрными усами, затряслось в едком мне смехе:

— Затем, что ребятёнки вкуснее. Уж я-то знаю!.. Скажет тожа: похоронить, — пустые её глаза, обращённые в меня, её мерзкий дребезжащий голос лишили меня последних сил.

Я попятился в сенцы и вывалился на улицу.

Не помню, как пришёл домой.

...Потом-то у тех, кто переступил черту, вроде Агафьи, лица, я заметил, становились, как у неё, — урыльниками. Да и жили они опосля совсем недолго... Хотя и голод уже малость отступил.

* * *

...Решил я отвезти девочку на салазках в этот покойницкий амбар, где и Настёна. Недалеко совсем.

...Привёз кое-как. Замка на двери нет. Взобрался на порог. Что я увидел?.. Трупы лежали и штабелями, как дрова, и... как попало.

Сеструху я нашёл быстро. Она распласталась вдоль бревенчатой стены. С левой ноги её, начиная от бедра, кусками была срезана вся мякоть. Отсечены обе груди. Многие были искалечены, не токмо она...

Как я тогда не сошёл с ума, не ведаю.

...Чтобы девочку не достали и не утащили, я, как мог, за несколько приёмов, распихал в серёдке амбара тела и опустил её на самый пол. Потом прикрыл, чем мог.

Голова соображала тупо. Когда, шатаясь из стороны в сторону, шёл домой, дал себе слово, что обязательно доживу до весны и захороню Настёну с дочкой у нас в огороде. На виду, чтобы, значит, не раскопали...

Эта вот задача, которую я себе определил, может, и помогла мне выжить тогда.

* * *

...Пришла весна 22-го года. Сиреневые почки за огородом набухли, вот-вот распустятся...

Народ иссох за зиму. Кто как, кто на четвереньках, стали выползать на полянки. Ели любую зелень, любую травку, которая попадалась...

Некоторые тут же, померев, валялись.

...Я, как мог, поволокся к амбару. Два раза падал, лежал по-долгу. Набравшись сил, вставал и снова колтыхал.

...Трупов в амбаре было уже меньше, чем зимой. Растащили. Настёна лежала теперь в углу, ближе к выходу. Видать, собирались утащить, дак не успели. У неё не было правой ноги совсем.

Девочку я не нашёл, как ни старался...

* * *

...Тут вскоре тех, которые в амбаре уцелели, власти захоронили. И Настёну тожа. По улицам собирали тех, которые из-под снега, значит...

Девочку-то я тогда не назвал никак. Теперь вот, когда поминаю в церкви всех, кого знал, её без имени называю... Просто девочкой.

Хоронили из амбара прямо на наших задах, где эти самые кусты сирени, которые когда-то укрыли меня.

И сейчас эта сирень на своём месте. Последний раз я там лет десять назад был. Удивительное дело: чахленькая эта сирень жива, цветёт себе. А столько людей, когда-то розовощёких, рослых, деловых, разных, не стало. Как ветром выдуло, унесло. Теперь всех уж и не вспомнить.

...Как так случилось, что живу я более уже девяноста лет? На каких таких дрожжах?

Те, кто родился потом в нашей деревне и живут теперь, в большинстве не ведают, что там случилось... И мало интересуются.

И надо ли знать, как всё было?

Но ты вот спросил.

...Мыслимо ли, чтобы такое случилось ещё?

Озорник

Хочешь, я тебе одну маленькую историю расскажу? Хочешь? Всё равно скучно сидеть в этом аквариуме. Не скоро дождёшься своей очереди. Я потихоньку, чтобы этих старушек болезных не разбудить. Не думал, что по поликлиникам буду бегать. Было это давно, ещё в первые годы перестройки, когда я работал директором большого завода. Тогда ещё завод был крепок. Итак, провожу я приём по личным вопросам. Он у меня по понедельникам два раза в месяц был: так легче этот страстной день переносить. И вот, когда я уже плохо начинаю соображать, разбив всё своё терпение о бесконечные жалобы, просьбы, неувязки в личной жизни, разбив о собственную неспособность помочь человеку — ведь идут

со всем, что наболело, — под конец приёма, уже в седьмом часу вечера, заходит мой старый знакомый Михаил Галкин. Да ты его знаешь, помнишь! Он на моё пятидесятилетие тогда огромный астраханский арбуз принёс.

— И танцевал лезгинку, да?

— Во, во, он самый! всю жизнь протанцевал и пропел. У него коронная была: «Хороши весной в саду цветочки». Мы с ним с одной ремеслухи, только он подзастрял в слесарях. Я ж, окончив институт, чёрт те дери, выдвинулся. Теперь у меня в активе два инфаркта, а он и сейчас танцует. Ну ладно, ближе к истории.

Он, понизив голос, продолжал:

— Входит, значит, он и: «Вот, — кладёт мне на стол заявление. — Прошу материальной помощи, поиздержался», — поясняет. «Что так? — спрашиваю. — Не мог запросто зайти, в обычное время?» — «Не мог, — говорит, — пользоваться давней дружбой, да и замаялся совсем с женой. Для неё и помощь прошу, Романыч! Уважь, она у меня ноги обморозила. Лежит, сердечная, с волдырями, а местами кожа сошла, жуть...» Ну я, замороженный напрочь, пишу резолюцию: «Бух.: выдать две минимальные заводские зарплаты согласно Положению». Он берёт заявление и быстро уходит.

И уже потом, когда секретарь все бумаги забрала и я остался один, вдруг опомнился: «Чёрт, на дворе июль, разгар лета, где же жена Галкина ноги обморозила?» Метнулся к окну, Михаил ещё только вышел из подъезда и идёт через скверик перед заводоуправлением. Кричу: «Михаил, как же твоя Ираида ноги обморозила? Лето же, июль месяц?» Он остановился, внимательно так посмотрел на меня и вежливо с укоризной говорит: «Романыч, это дело интимное, на площади об этом не кричат». — «Что, — шумлю, — за чертовщина! Иди сюда в кабинет, объясни. Бабу твою жалко!» Заходит, сукин кот, садится и подчёркнуто вежливо говорит: «Вот скажи, Романыч, хотя мы с тобой и друзья, а ведь живём мы по-разному?» — «Как так?» — спрашиваю. «Ну, у тебя что висит в спальне на стенах? Ковры, — сам себе он отвечает, — а у меня географическая карта мира. Смекаешь, разница какая?» — «Ни черта не смекаю», — отвечаю. «Верно, ты не сразу и в училище соображал: карта мира на стене над кроватью». — «Ну и что? — реву я. — Что?» — «А то, Романыч, значит, что вверху у меня в спальне над кроватью Ледовитый океан — Арктика! Внизу соответственно — Антарктика. Вечные льды! Смекаешь?» — и он многозначительно поднял вверх правую руку с прямым, как но-

вый гвоздь, указательным пальцем. «Ни черта не смекаю!» — «Ну как же? В такой, извини меня, ситуации, где бы ножки моей дражайшей супруги ни были — они всегда аккурат во льдах. А там, сам понимаешь, до минус пятидесяти градусов! Жуть какая! — он схватился руками за голову и стал её качать сокрушённо. — Жуть какая, а?» — «Что ты городишь? Причём здесь это?» — «Причём, причём! Вот она и обморозилась! И твоя бы не выдержала, извини меня, сгубила ноженьки свои! Верно ведь?» — сказанул... и выскользнул из кабинета... до следующего своего фокуса.

Серая сонька

В Чёрновке был завод верёвок, а Сонька этому заводу принадлежала. Лошадь старая была очень. Плохо уже видела.

Её и решили пустить на колбасу. Но наши поселковые упростили отдать её нам — молоко возить.

И возили. Собирали с окрестных деревень и доставляли на молокозавод. Этот завод был тут, на старых графских развалинах.

Сонька в посёлке у каждого во дворе жила поочерёдно. Всем принадлежала.

Когда у нас жила — у меня наступал праздник. Хлеба нарежу, солью посыплю — лошадушка моя и ходит за мной, как на верёвочке, ждёт, когда дам ей.

У моего папы Звезда Героя была, именные часы за храбрость. Он был на войне наводчиком. Разворотило ему левое плечо снарядом, а он выжил. Комиссовали его.

Во время войны работал он на заводе в Самаре. То кузнецом, то трактористом. Ночью самолёты вывозит с завода, а днём кузнецом работает. Домой неделями не появлялся. Тогда так работали.

Выдохся. После войны стал трудиться, где верёвки делали. У нас в посёлке.

Как и Сонька, быстро слепнуть начал. У него с войны контузия была. Обоим досталось в жизни. Сонька папу нашего больше, чем меня, любила. Так любила, без хлеба с солью. Он ей и упряжь ремонтировал, и телегу лёгонькую такую приспособил.

В пятидесятые годы сахара у нас не было. Откуда ему взяться? Папа посылал меня за мёдом на пасеку к своему дядьке Винокурову. Мы ему с Сонькой молока, а он нам — мёду.

До пасеки больше семи километров дороги, чуть не половина — лесом. А я с Сонькой не боялась в лесу. Не знай — почему? С ней как дома везде...

Когда проезжали мимо молокозавода, Сонька всегда останавливалась. По привычке ждала, когда фляги порожние принесут. Такая обязательная.

...Школа у нас была километров за пять от посёлка. После занятий за нами чаще всех приезжал мой папа.

А один раз, февраль был, метелица, занятия отменили. Нас отпустили. А я не стала ждать, когда за нами папаня приедет. Чего ждать целый день? Одна и умыкнула домой из школы.

Папа с Сонькой прибыли за нами, а меня нет. Домой, говорят, ушла. Вернулись они домой, а меня и там нет. Что делать? Поехали двое слепых искать одну неумную.

А я в метель сбилась с дороги. Пошла в степь, в сторону от посёлка...

Папа рассказывал: «...Уже совсем было надежду потеряли. Не знай, что и делать? Голоса уж нет кричать... Сил самому идти нету. И Сонька выдохлась, вижу...»

Долго они маялись в метель эту.

...А тут она, Сонька-то, свернула с дороги и, как могла, пошла полем. Чуть не по брюхо в снегу. Подошла к заснеженному бугорку и остановилась. Отец подходит, а это я сижу. Уже никакая.

Спасла меня Сонька!

Дальнобойщик

Что, блин, рассоливать? Любовь — любовь!.. Если она есть, то есть! А нету — ищи ветра в поле.

Я — дальнобойщик. Вернулся домой, а она мне подарочек приготовила:

— Всё, Коля, не нужны мне никакие твои денежки. Не жена я тебе больше. Ушла от тебя, с другим живу. Мне муж нужен, а не эти твои: приехал-уехал. Как морячка. На фига мне твои подарки, квартира?

Сгоряча разговоры разговаривать начал, а потом думаю: «А мне на фига это, если она уже полгода с другим живёт?» Половину вещичек своих к нему перетащила, а я и не заметил.

Ушёл сам, без скандала. Квартиру оставил: с ней же наш сын Ванька. У меня вторая однокомнатная есть. Небольшая, правда, но... перетрусь.

Запил было сначала. Один же! Что делать?

Скоро в рейс снова, как быть? Задача! Думал, думал — ничего путного в голову не идёт. Мне что? В сорок лет по дискотекам под-

ругу искать? Или в клуб «Кому за 30», в нафталине копать? Не для меня. Один мой приятель по Интернету себе нашел подружку — приехала такая горилла, еле через месяц выпроводил.

Ничего не придумал я. А тут из магазина с продуктами выхожу, смотрю: очередь на троллейбус. Ага, приличная такая очередь на остановке. Жмутся все, холодно. Одни женщины, как будто кто нарочно так сделал для меня.

Мысль у меня высеклась. Подошёл к середине очереди и бабахнул прямой наводкой, открытым текстом:

— Женщины, дорогуши! Посмотрите на меня: ну я ж нормальный! Руки, ноги — всё при мне, не дефектный какой! Зарабатываю неплохо. Выпиваю так себе: от случая к случаю. Есть недостаток: рейсы длинные, надолго уезжаю. Но это же профессия! Мужикику работать надо!

— Чё тебе надо-то, сердешный? — спрашивают из толпы.

— Жена нужна, — отвечаю, — искать некогда мне: через два дня в рейс. Кто смелая — соглашайтесь!

— А прежняя где? — спрашивают.

— Нету, не выдержала моей профессии! Ушла. А квартира есть, — отвечаю. — Бить женщин не умею. Не гуляю.

Какая-то пухленькая дамочка объявила то ли в насмешку, то ли всерьёз:

— Бабоньки, так это ж почти идеальный жених!

В толпе засмеялись, так, по-доброму. И тут вышла одна, невысокого роста, черноглазая:

— Я согласна.

И мы пошли ко мне. Как пришли — так и живём. Маша разведённая была. Расписались, обвенчались. Судьба.

Сыну Егору полтора уже. За вторым пошла, УЗИ подтвердило. Всё по науке. Решили Ванькой назвать. Так Маша хочет. Не могу возражать. У меня два сына Ваньки будут. А!

Такая она — любовь-морковь.

Жених

Поздним рейсом прилетел из Москвы. Взял такси, еду в Самару. Шофёр с виду симпатичный такой, разговорились. Рассказывает:

— Шесть лет как приехал из Бишкека с русской девушкой в Саратов, где живёт её мать. Денег на двоих — двести долларов. Намеревались начать семейную жизнь, сняли квартиру. Хозяйка сварливая, квартира двухкомнатная. В одной — она, в другой —

мы. Недолго выдержали. Уехал с Надеждой в Калининград. Но жилья нет, снова маета по квартирам. Она не выдержала, уехала домой к матери. И я не задержался, махнул в Самару.

Работаю вот таксистом. Единственный способ устроить жизнь — найти женщину лет тридцати пяти-сорока с квартирой. Знаю, таких немало, но они ходят где-то... Трудно встретиться.

У хозяйки дочь есть. Ей тридцать лет. Бухгалтер. Но молчунья. Полгода знакомы — не пойму, что в ней сидит?..

Начал в фитнес-клуб ходить, вот таксистом работаю: может, через клиентов познакомлюсь. Нет у меня опыта в таких делах. Когда молодым был, меня выбирали. Я тогда в оркестре играл: проблем не было... А теперь застопорило.

...Недавно познакомился с одной: она с деньгами. Муж умер. Пустила в свой богатенький круг. Но мне сорок, ей — пятьдесят. Несерьёзно.

Так время и идёт.

Вчера взял билет в Бишкек. Мама написала, что приглядела мне невесту... А вдруг?..

Увлечённый

Лекции по химической термодинамике читал нам заведующий кафедрой, заслуженный деятель науки, седовласый и грузный профессор Дамаскин.

...Мы сидим, слушаем, едва ли не раскрыв рты. Размашисто, словно из рукава своего широкого светлого летнего костюма, низвергает он на доску серпантин длинных формул.

Ему не хватает места на доске, левой рукой он тут же стирает за собой написанное, правой продолжает своё действие. Мы не успеваем записывать. Но никто не ропщет. Все смотрят на происходящее зачарованно, как на фейерверк.

Ещё бы: светило! Всесоюзная известность!

Остановившись на миг, профессор вопрошает:

— Сам процесс понятен? Суть его?..

Мы не успеваем ответить, он машет левой рукой с тряпкой:

— Проще объясню! Автомобильный карбюратор, знаете что такое?

И, не дожидаясь ответа, начинает подробно излагать работу карбюратора.

— Уловили главное! — уверенно восклицает лектор. — Молодцы!

...Когда лекция закончилась и профессор ушёл, мы обступили Владьку Серова, работающего по совместительству у профессора на кафедре лаборантом — признанного нами безоговорочно восходящей звездой химической термодинамики.

— Послушай, а причём всё-таки карбюратор?

— А что вы хотите? Вот чудак! Мы два последних выходных с ним занимались ремонтом его «Волги». Еле карбюратор отрегулировали! Профессор вначале всё не мог понять, как он работает. Я несколько раз объяснял... Когда он разобрался, понял, рад был! А сегодня рассказал вам.

Зайка серенький

Мне семьдесят пять лет этой осенью будет. Кому нынче она интересна, жизнь моя? Тебе, говоришь? Ты свою-то слушал мать, когда жива была? То-то и оно... спохватился...

* * *

...Раньше-то я многое помнила, а теперь выветривается. Больше из детства застряло в голове. Иногда прям живые картинки перед глазами... Вот одна из них. Было давно, а будто вчера...

...Мама сунула в полотняный мешочек бутылку молока с газетной затычкой, два яичка, спичечный коробок с солью, хлеба: «Отнеси, Кать, отцу, мне неколи: на ферму к коровам надо».

Иду себе вдоль бровки просяного поля. Оглядываюсь, не забываю, назад. Так мама мне наказала, чтоб лошадь не задавила, как Миньку Сорокина. Он маленький был, четвёртый год ему шёл, а я уж не такая. Мне пять лет! Над головой, не знай где, жаворонки звенят, высоко! А из-под ног куропатки то и дело: фыр-фыр. Мне уж и пугаться надоело, правда! Жизнь — сплошной праздник! Радуюсь иду! А тут: заяц. Сидит в меже. И не убегает. Наверное, понял, что я маленькая и нечего меня бояться. И так он мне понравился! Он маленький, и я тоже безвредная. Уши у него длинные, с чёрными кончиками. А сам весь бурый с рыжеватым оттенком, голова и часть спины за ней — тёмненькие. Хочется рукой погладить.

Сидит себе и продолжает глядеть на меня своими красно-коричневыми глазёнками, обведёнными белыми кольцами. И я на него смотрю, глаз не могу оторвать. Такое живое чудо! И как домашний!

...Надо же: я уронила сумку на землю. Дёрнулась за ней — зайка и скакнул в сторону. Смотрю кругом. Как и не бывало его... Села на траву и реву, дурашка, в голос. Такое горе!

Папа подходит:

— Катюха, ты чего? Неужто опять волки пробежали?

— Нет, — отвечаю, — не волки! Зайка серенький ускакал!

— И что же ты плачешь? Вставай, пойдём. Там тенёк у меня есть. Давай обед-то мне, понесу.

...Мы идём с отцом к его стану. Вся моя пятерня в папиной широкой шершавой ладони. Папа такой большой и надёжный... А я продолжаю всё равно плакать. И сама не знаю, почему плачу. Не могу остановиться. Заливаюсь...

...Иду и словно сердцем чую, что не будет у меня больше такой... светлой моей печали... не хочется с ней расставаться...

Всё впереди будет оглушительным и страшным. На другой день объявят, что началась война. Папу в первые же месяцы войны ранят, и он вернётся без ноги. Братика Володю убьют через полгода, а потом и другого братика Серёжу убьют. И мама от такого горя станет никакая... сердечницей.

...Плакала я тогда, шагая вдоль просяного поля, будто прощались с детством, в пять-то годков своих...

Колода

Одно время папа с мамой держали гусей. Мороки с ними!..

Один гусак, мы его звали Гошей за то, что он всех громче кричал «го-го-го», был совсем особенный. Своей жизнью жил... Летом он улетал в другие деревни, а осенью возвращался и приводил с собой к нам во двор чужих гусей. «Добытчик», — смеялся папа.

Мужики, конечно, ругались. Грозилась застрелить Гошу. В одну осень он не вернулся. Исполнили, видать, мужики свою угрозу. Так папа горевал о Гоше. Он его уважал за его такой независимый нрав и за умение летать...

...Гонять гусей на озеро было моей заботой. Намаялась я с ними.

...Когда резали гусей, хранили мясо в погребе. Набивали его весной снегом и льдом, а сверху — опилки. Когда их не было, стелили ржаную солому. Гусятину солили. Я не могла есть солонину, вообще гусятину. Так за лето к гусям привыкала, каждого знала. Разговаривала с ними. И в погреб не могла спускаться за моло-

ком или ещё за чем-либо, когда мама попросит... Сама-то она не могла...

...Папа пожалел меня. Перестал держать гусей. На овец переключился. А я и с ними подружилась, с барашками. Они забавные. Не шипят, не гогочут громко. Тоже доверчивые, особенно маленькие когда...

Я по осени места себе не находила. Блеяли они, когда их из стада забирали, так жалобно. Точно знали, что с ними скоро будет, с наступлением осенних холодов, когда их начинали резать на мясо. Себе, на рынок...

Папа со мной и так уж, и сяк, а я только плачу...

«Вот графинечка-то у нас растёт, — досадовал он в сердцах, — достанется тебе в жизни».

Неудобная я была. Как колода поперёк дороги. Угадал отец: намыкалась я со своим характером за свою жизнь потом, когда мамы с папой не стало...

Куда денешься?

Середина 60-х годов. Я после техникума в колхозе работаю агрономом. Весенняя посевная. Из района поступила команда сеять кукурузу. Ходим который день с председателем понурые. Михаил Кириллыч зовёт меня в кабинет. Вхожу, сажусь.

— Ну что? — говорит председатель. — Надо принимать решение. Кроме угроз, последние дни из района ничего нет.

— Дак, — говорю, — не послушаемся — в тюрьме будем, а послушаемся, засеём кукурузой — без кормов останемся!

— Делать-то что? — спрашивает.

Молчу. Всё вроде бы уже сказала.

Входит секретарь наш партийный. Фронтвик. Бывший агроном наш, только без образования. И без руки. Сел на подоконник. Мы с председателем молчим.

— Что в молчанку-то играете? И меня сейчас отчитали по телефону. Кто-то донёс, что тянем с посевной. Сроки уходят!.. Куда денешься...

Я вся напряжинилась, вцепилась пальцами в край стола... Вот-вот взорвусь, молодая!

А секретарь попыхтел-попыхтел беломориной своей вонючей, прокашлялся и... говорит, глухо так:

— Неужто у нас своей головы нет?

И на меня смотрит:

— Как, Мельникова, есть головы у нас?

— Есть, — говорит Михаил Кириллыч, — только тюрьмой пахнет...

А секретарь ему обыденно так:

— Коли посадят, отсидим. Хуже всех, что ли? Будем считать, что этот вопрос мы обкашляли и приняли решение.

Такого я никак не ожидала. Так вот просто!

...Решили мы засеять одну полосу, что вдоль дороги из района, которая на виду, кукурузой. А всё остальное — клеверами. Клевера на полях колхоза «Новая жизнь» всегда хорошие были.

Я нетерпеливая была. Напереживалась...

А колхоз за пятьдесят километров от райцентра. Никто и не узнал толком о нашем поступке.

Подошла пора уборки урожая. Все, кто посеял кукурузу, остались без кормов, а у нас такая удача! Соседи, которые с кукурузой связались, явились к нам с протянутой рукой.

— Удачливая ты, — похваливал меня потом Михаил Кириллыч, — повезло нам, что ты у нас такая! Нам стыдно было, мужикам, труса праздновать у тебя на глазах.

Шутил, конечно.

— А я какая? Никакая ещё... Я невысеянную кукурузу, семенную, всю на остатках показала, как есть. Ничего не думала.

К концу года районная балансовая комиссия заработала. И возник вопрос: откуда у нас излишки кукурузы? Подсудное дело. Пришлось сознаться: куда денешься?

Комсомольский вожак

Лежу у хозяйки на печи. Простыла, грею пятки. А тут приходят и говорят:

— Вот, Кать, тебе комсомольский билет! Ты теперь комсомолка!

— Как так? — свесив ноги с печи, спрашиваю.

— А так! — отвечают ребята снизу. — Ты агроном наш, специалист — тебе надо!

А чуть позже, я ещё от простуды не избавилась, объявляют:

— Будешь нашим секретарём. Нам вожак нужен. Ты такая крепкая и разумная. Больше никому! Завтра будет комсомольское собрание.

— Да как же? Я не знаю, как это!

— Дело покажет как, — говорит наш партийный секретарь.

...И так помогло мне это в работе! Только комсомольцы и выручали. С песнями, прибаутками... За пять-девять километров в ночь приходили, на токах работали. Каждое зёрнышко берегли.

Наш колхоз передовой был. Так молодёжь гордилась этим!..

Церковь Михаила Архангела

Приехал к нам Андрей Петрович, председатель из Михайловки, и говорит:

— Давай-ка к нам агрономом. У нас дел! Как раз для тебя. С твоей-то энергией... Наше село не твоя деревенька Сухановка, районное... Опять же освобождается двухкомнатная квартира — считай, она твоя.

...Приехали, значит, мы к ним в Михайловку. Мне нравилось это село. Все трактористы — мужики хорошие, деловые. На полях порядок.

Пошли посмотреть гараж, где трактора да комбайны стоят. А гараж этот в церкви разместили.

Я как зашла! Там гул, дым синий. Матерком мужики перебрасываются. У меня сразу с головой что-то... Как же это я смогу так? В церкви-то? Хоть и неверующая, комсомолка, а не по себе стало...

Вышли на улицу. И тут старушка какая-то, как привидение... У стен красно-кирпичных... Смотрит... И лик у неё иконный... глядит на меня глазами моей давно умершей богомольной бабушки Прасковьи. И будто насквозь меня пронзает. Молча...

Андрей Петрович мне:

— Ты что? На тебе лица нет. Плохо со здоровьем?

А я ничего сказать не могу толком...

...Отказалась я тогда от предложения Андрея Петровича. Бог с ней, думаю, с квартирой. Поживём в однокомнатной.

...А теперь церковь Михаила Архангела восстановили. Красивая такая! И снаружи, и внутри! Народ потянулся отовсюду. И я помолиться прихожу. И у меня на душе благодать. Как хорошо-то, что я не согласилась тогда... Кто-то меня предостерёг...

Может, и живу долго поэтому?

Норма высева

Я теперь комсомольский вожак! Вокруг меня всё чаще молодняк. Все друг за дружку!

Наступили сроки сеять озимые. Мы всё по нормам высева развесили. Кому сколько надо ржи, на каждую сеялку раздали. И провели посевную.

А тут — нате вам! Ко мне с арестом. Будто мы засеяли сверх нормы, и теперь зерна не хватает. Моя вина, агронома! Начали разбираться, я стою на своём: всё по норме. Парни за меня: вместе, мол, развешивали зерно, тогда всех нас арестовывайте! Коллективный документ написали. Провели органы обыск. И нашли у нашего счетовода припрятанные мешки с зерном. Всё открылось. Счетовод получил по заслугам. А дружки-то остались, с которыми половину зерна он успел пропить...

Заведующий отделением, фамилия-то у него какая была — Молотов, стал сживать меня. Подсунул сначала такой мотоцикл, что я вся измучилась с ним на полях. На себе таскала.

Это бы ладно. Вижу, делает явные приписки в нарядах на вывоз навоза на поля, мёртвые души в нарядах... Сказала ему — как уж извивается: мол, замотался, то да сё... А сам втихую воюет против меня.

Когда мотоцикл стал совсем никакой, выделили мне лошадь. Да такую норовистую! Несколько раз она меня сбрасывала. Лежала я без сознания. Я потом домой с полей приходила пешком, еле живая. Сказала директору о приписках, не выдержала. А об издевательствах с мотоциклом и лошадью — молчок, не говорю. Гордая была. Думаю, как-нибудь утрясётся.

А он мне:

— Бери моего Вороного, остальным я позанимаюсь. А то совсем убьёшься, с кем мне работать? С этими «молотобойцами»?

Оказывается, он видел творившееся безобразие. Терпел до какого-то им определённого момента.

А Вороной! Слов нет! Чёрный! Носочки белые и звёздочка на голове белая. Высокий такой. Когда подходила садиться, он сам приседал. Так мы сдружились! Я его и не привязывала. Сяду в седло, на пробу, ребята кнутом машут, а он ни с места, пока я знак не дам! Никогда сам в галоп не переходил. И ни разу не уронил меня.

Ревела я, когда уезжала работать в другое село. От людей такой доброты не видела.

Выбор

Мама моя против была, чтоб я за Алёшу замуж выходила. Тракторист всего-то.

А Андрей! С высшим образоанием, агроном! И умница! Заслал он сватов, а я ни в какую. Упёрлась!

Мать корила:

— Смотри, девка, против судьбы идёшь! Что с того, что твой Алёшка и высок, и голубоглаз? С лица воду не пить!

...Прошло столько уж лет!..

Мой Алёша как трактористом был, так им и остался. А Андрей стал мэром города, а потом и главой всего нашего района. Он у нас наполовину сельский, район-то. Когда перемены начались, Алёшке моему пахать нечего стало, слесарем в ЖКХ устроился. Потом попивать начал... Пошло сокращение...

Тут уж мама моя есть меня начала:

— Говорила тебе! Теперь вот близок локоток, да не укусишь! Недосыгаемая вершина, — это она про Андрея. — А твой-то даже в слесарях не удержался...

А мне беспокожно как-то стало, не по себе. Уж больно богачи быстро стали некоторые. И Андрей богаченьким стал, тоже так быстренько. Мой Алёшка-то попивает, вроде как ущербный какой стал. То почести, уважение — лучший механизатор района, а то — никто?..

...А тут сначала старшего сына мэра нашего убили, он весь в бизнесе был. И маслобойка у него, и пекарня, и землю всю по паям этим скупил. Стал на ней зерновые сеять. Но это ладно: на этой, его теперь, земле были когда-то нефтяниками закрыты буровые. А когда открыли их заново и принялись нефть качать, начали платить аренду ему за землю. Деньги задарма потекли вместе с нефтью... Много чего этот вёрткий его сын крутил. Докрутился вот...

А потом Андрея, главу нашего района, посадили.

Вот тебе и судьба.

Все злорадствовали по поводу Андрея. А мне жалко его было. Тужила и об Алёшке, и об Андрее. Ведь оба какие были, а? Неиспорченные... Один красавец, другой умница. Комсомольским секретарём был. Родители его — чтоб чужое взять? Да никогда! А вот что получилось...

Вышла бы за Андрея, может, у всех судьба была бы другая?! И у Алёшки... Он знал, что Андрей сватал меня. На его глазах вырос до начальника всего района, видел. Переживал молча...

Хотя, что я плету: судьба другая! Кто я?.. Что я могу изменить?..

Говорят: «Кому что суждено». В такое времечко жить доведётся...

А всё равно тягостно, вина какая-то на мне...

Барсик

Звонит мне сестра из Богородского и говорит:

— Помер у нас тут бомж, остался от него один котёнок, чёрный с белым. Может, привезу тебе, у меня-то уж три?

— Ну, привези, — отвечаю. — Скучно одной-то.

Она и привезла: как с концлагеря. Худющий — ужас! И грязный. Отмыла, расчесала я бедолагу. Понесла в туалет, сказала: тут писать, тут другое делать. Строго так распорядилась, а сама не особо верю, что в пользу. А, батюшки! Он так всё послушно и начал делать, как велела!.. А от бомжа! Я обомлела прямо...

...Хозяин звал его Душманом. А я стала называть Барсиком. Спит и спит! Настолько, видать, настрадался при бомже-то. Отъедается. Но я слежу: постепенно чтоб... Тёпленькой водичкой пою. А он поест, попьёт и под ванну спрячется. Там коротает своё время, я не помеха его режиму.

Пришло время, стал он хоть куда. И мурлычит, и лижет меня. Куда я, туда и он!..

Последнее время недомогала я, а тут ноги ещё! И гудят, и немеют...

И вдруг замечаю: силы ко мне возвращаются. Откуда? От него?!

Приехала я в Богородское. Отец Дмитрий жалуется:

— Крысы одолели. Так много их, помоги найти хорошую кошку.

А где её такую найти? Чтоб против крыс! Не всякая...

...Когда засобиралась снова в Богородское, нечаянно подумала про Барсика. Он такой исполнительный! Попробую. А он уж вырос, мышей начал гонять всюю.

...Несу его в сумке через плечо в Богородское. Замяукал жалобно. До конца я сумку распахнула, он на обочине сходил в туалет и опять — прыг на место, в сумку. Диву даюсь! Умница какой! Кому расскажи — не поверят, что у меня такой кот-товарищ!

Принесла его к батюшке и говорю Барсику моему:

— Вот теперь твой хозяин, послужи ему! Чтоб не стыдно было мне за тебя.

Говорю, а сама думаю: что калякаю, нашлась приказчица!.. В уме ли?

А Барсик сидит смиреннько и внимательно смотрит на меня... Безобидный такой!

Уехала я, а в Богородском началось!..

Батюшка звонит мне:

— Кого ты мне привезла? Дикого барса! Он таскает крыс мне прямо к кровати. Беседу провёл с ним, начал приносить к порогу! Со всего прихода несёт...

...Месяца два Барсик пробыл в Богородском. Лисы всех кошек поели, а его не тронули. Он сильнее их оказался!.. Как порядок навёл, я и забрала его опять к себе.

Белые сапожки

Как набралось у меня чуть поболее пяти тысяч, поехала в город на барахолку. Сапоги надо было купить к зиме самой, да внучке куртёшку какую. Большая уж, двенадцать скоро, а из одежки ничего путного нет...

Присмотрела у одной сапоги. Беленькие такие, кожаные. Понравились мне. И совсем почти не одёванные. И просит вроде недорого. Сама-то, похоже, не от хорошей жизни продаёт. Видно, что не торгашка. Глаза грустные-грустные. Стала мерить я сапоги-то, а сумка мотается, мешает. А положить куда? Тут ещё жмутся рядом какие-то ребята, лет по пятнадцать...

— На, — говорю ей, — поддержи сумку, там денжат на трое твоих сапог! — и отдаю ей, неумёха.

А сама копошусь, копошусь... Левый сапог в подъёме малость жмёт... Носки на мне толстоватые... Так-то, может, ничего?.. «Возьму», — думаю.

Поднимаю голову, а её нет с моей сумкой-то. Как ветром сдуло. Умыкнула мои денежки. Ах, батюшки! Туда-сюда... Ребята эти ржут надо мной!

...Всю дороженьку до дома сама не своя была. Неужто так как она можно поступать! Такая на вид своя, а воровка?!

Приехала домой. Вхожу в избу, а муж Алексей, жив был ещё, говорит:

— Что ж ты, голова, на рынок-то без денег поехала?

Смотрю, а мой кошелёк на столе лежит. Забыла его, так я торопилась. Показываю с глупым видом мужу сапоги, а он ничего понять не может. Пришла в себя, рассказала, как дело было.

И не по себе так! Это ведь я нагрешила, я сунула ей в руки пустую сумку, а сказала, что с деньгами. Она и соблазнилась... А не сунула бы... У неё глаза-то добрые... Как это всё вместе?.. Сильно опечалена она была, что-то прижало крепко её...

Алексей-то помалкивает мой. А пришедший Василий, шабёр напротив, в своей манере шутит:

— Катерина! Не прикидывайся овечкой. Жалеешь её. А она знаешь, как про тебя думает?

— Как? — спрашиваю.

— Матёрая ты, думает она, аферистка! А кто же? За так, вернее за старую холщовую, причём совершенно пустую сумку, получила сапоги! Добытчица ты! У тебя всё отработано было. Название этому — махинация!

Мне так не по себе, а он ещё тут...

Вытолкала его во двор, он только лыбится... Его-то спровадила, а сапожки стоят. Нарядные такие. Радоваться бы... Но... как укор.

Поеду, думаю, на рынок, отвезу сапоги ей, может, передумала продавать. Либо деньги отдам. Всякое в жизни бывает. Коль беда у неё — теперь ещё горше ей...

И у меня были денёчки... Чужое не брала, а не доведись кому такое...

...Два раза на рынок ездила. Нет её! И не видел её никто больше там. Спрашивала я. Как сквозь землю провалилась.

Неужто я её подвела под новую какую беду?..

Голубенький платочек

Как я с будущим моим мужем познакомилась? Обыкновенно.

Это была моя первая посевная после окончания техникума. В Усманке. Жила я тогда у бабы Зои. Вдвоём квартировали с девочкой зоотехником. Ещё моложе меня была, Варей звали. Баба Зоя так хорошо нас кормила! И приглядывала за нами, как за своими дочками.

Послали сына нашей хозяйки сеять пшеницу. Он трактористом был. Лёшей звать, год как из армии пришёл. Жил он с матерью в другой половине пятистенки. Думаю, дай-ка проверю, как у них там в поле дела. Самой всё хотелось видеть, знать, потрогать... Я как агроном — первая в ответе.

...Пришла на место-то, а они и не начинали сеять. Лёша — никакой, спит пьяный на мешках с семенами. Трактор по одну сторо-

ну дороги, сеялки — по другую. Две сеяльщицы истомились ждать, когда он проснётся. Не знаю, что делать. Ах, батюшки ты мои!.. За день надо засеять четырнадцать гектаров по норме. А тут клин в девятнадцать гектаров. И уже вторая половина дня! Попыталась разбудить Лёшу. Куда там...

— Что с ним случилось? — спрашиваю. — Вроде парень-то ничего...

— Девчонка его Зинка, — говорят, — связалась тут с одним приезжим, он узнал вот только сегодня...

Ситуация!

Мы в техникуме трактор немножко изучали, даже катались чуток. Взяла и завела. Не с первого раза. Я — в кабинку, бабы по моей команде — к сеялкам.

...Засеяли мы за ночь все девятнадцать гектаров! Я всё старалась в конце загона на поворотах поаккуратнее, чтоб огрехов не было, ровненько чтоб... И чтоб трактор, миленький, не заглох. Радость-то какая! Сама!

Лёша только под утро проснулся. Извиняться начал.

А я каждое утро потом на этот клин у дороги бегала: взойдёт пшеничка или нет? На седьмой день всходы появились. И огрехов особых нет. Чудо! Сеяла-то впервые, да ночью ещё...

Я про Лёшину пьянку никому не сказала. А то бы его выгнали с работы. А тут премию объявили в колхозе за самые хорошие посевы. Лёше дали первую. Он купил и подарил мне платок. Хороший такой, голубенький! Так мне нравился голубой цвет... И молодая, и всё моё ещё впереди!..

Никто ничего так и не узнал о нашей с ним посевной. Лёша потом часто мне помогал. Безотказным оказался.

И настало время, когда он пригласил меня в клубе на танец. А потом впервые проводил до дома.

Варя смеялась:

— К себе домой провожает! Чудно!

...А в сентябре мы сыграли свадьбу, стали с Алёшей мужем и женой...

...Я на днях ездила в район. Не утерпела, попросила свернуть... Сходила на свои первые поля и на этот клин тоже... Прошлась в бурьяне по пояс...

Вернулась к машине, а меня спрашивают:

— Ты что, бабуль?

— А что? — говорю.

— У тебя вся куртка в репьях и лицо в слезах?..

Чилижные веники

Овдовела я в середине девяностых. Как всё случилось, спрашиваешь?

У мужа Мити ни работы, ни пенсии нет. Что-то надо делать? Вспомнил он давнее семейное ремесло. Родители его, кроме работы в рыбацкой артели, жали и вязали чилижные веники. Продавали в городе на разных предприятиях. Но то было раньше. А сейчас? И заводов-то тех, которые работают, — раз-два и обчёлся... На боку всё. Не до веников.

Съездил он туда, сюда. На две машины веников договорился. Мол, купят... Тридцать рублей за веник... деньги!..

Ну вот.

Всё лето мы жали чилигу за Самаркой. Напротив Песков. Чилига — ой да ну! Её ж там никто не трогал лет десять...

Люблю я работать на природе, с детства люблю. Это от родителей моих. Особенно, конечно, летом люблю. Река и небо летом! Разве это не чудо?!

Я часто мучаюсь, что не умею сказать то, что чувствую. Митя-то, мужик, много не говорит. А я и хочу сказать, и нету у меня нужных слов...

После избы, двора, вечных забот: то огород, то то, то сё... И вдруг: река! Мне всегда казалось, что не будь рек, не было бы людей. Люди часто забывают о реках, о родниках. А для меня едино всё.

И небо! Как будто само по себе свободное от всего! И в то же время оно — всему основа! Самое главное — оно, небо высокое! И ты под ним становишься больше: оно тебя поднимает.

Я Мите сказала разок об этом. Он назвал меня чудачкой. Я и не стала больше говорить...

Так вот про веники.

Работалось в охотку.

Договорился-то Митя на две, а взяли одну машину. В сентябре отвёз он машину веников. А вторую — ни в какую... Пообещали взять весной только.

Куда деваться, весной так весной...

Остались наши веники зимовать в лесу за Самаркой. И в голову мы не брали, что с ними что-нибудь случиться может. Кому они нужны?

Приходим весной, ещё по льду через Самарку, а веников и нет. Куча золы вместо них.

Кому же это так они мешали? Неужто не видно: труд какой? И не может быть, чтоб ребяташки похулиганили. Нету их, ребяташек, теперь в лесу. В селе-то нет.

Жалковали мы с Митей сильно.

А тут Клавдия, старшая сестра Петянихи, говорит мне:

— Есть у меня особая молитвочка. Дам тебе её. Читай на ночь месяц, каждый день. Виновник и объявится.

— А как он объявится? — удивляюсь.

— Сама увидишь, — отвечает.

Чудно вроде. А послушалась я.

Начала читать каждый день молитву эту. Интересно. Больше месяца прошло. Я и верить перестала. И читаю уж через раз, когда спохвачусь только.

И тут случилось!

Явился ни с того ни с чего дальний, седьмая вода на киселе, родственник Мити — сын Коли Комулятора — Степан. Они одноклассники с моим.

Я во дворе была. Митя возился в мастерской своей. Как стоял посредине двора, так и сказал, разведя руками, Степан-то:

— Ты того, Настя, прости меня.

— Чего это, — спрашиваю, — вдруг?

Невдомёк мне было, о чём он.

— Чего-чего? Уж догадалась, чай, давно! — громко так вскричал. Его будто изнутри закорёжило.

— Стёпа, скажи, зачем пришёл-то? — спрашиваю. А сама думаю: перепил, что ли, вчера? Сто лет у нас не был.

— Я это, того... — бормочет втихую. А потом как брякнет на весь двор: — Ну, я! Я поджёг эти ваши веники! Будь они прокляты! От зависти всё! Сорвался...

— А, батюшки! — я и рот распахнула. Обомлела. Онемела. — Как жеть, свой же? Родственники...

— Замучился я с собой. Прости!

Митя мой слышал всё из мастерской-то. Вышел он. В руки ему черенок от лопаты попался. Как хлопбытнёт, эдак как-то быстро черенком по голове Степана. Тот и брыкнулся на землю. Сам не ожидал Митя такого от себя. Стоим оба растерянные.

И началось тут.

То да сё...

У Степана сотрясение мозга, да какое-то особенное. Лежит в больнице в райцентре.

А мово Митю под суд было отдавать хотели. Но Степан бумагу подписал, что прощает его. Опять же — родственник, Степан-то. Учли и это.

Степан лечится. А Митя запил. Я истерзалась вся. Никогда такого не было. Напасть словно какая. Хужей нет пьющего в доме. Один лежит в больнице, а другой пьёт напропалую.

А тут из города один мужик привёз водку. Дёшево быстренько с машины продал. И уехал. Не из того спирта водка оказалась. Четверо померли. Мой Митя первый.

Всё порушилось у меня без Мити. Слов нет. И хотя дочь уж взрослая, замужем, а жизнь моя никакой стала.

Бесповоротно всё пропало.

Мужа похоронила, а Степан — вон он, живёхонький. Возненавидела я его. Всё моё поломал он.

...Через год, как у Степана жена умерла, пришёл он ко мне свататься. Вот что удумал!

Я, говорит, всю жизнь тебя люблю. Просто Минька опередил меня после армии. А тут я оказался свидетелем при вашей росписи. Куда мне деваться? Тогда первый раз не выдержал.

Я и вспомнила, как он напился на свадьбе нашей. В дым! А потом вывалился из-за стола и в баньке у родителей выстрелил себе из ружья в висок. Промашка вышла. Шрам только на всю жизнь оставил. Говорили тогда: «Чего только по пьяни не бывает».

Забылось всё как-то. Свадьба пела и плясала!

А потом денёчки, года заплясали-замелькали! Как листочки на кухне от календаря.

— Неужто, правда? — говорю. — До седых волос не забыл.

— Нет, — говорит. — Наоборот даже. Терзало меня всё это! Я Митю уважал даже. Но своя-то жизнь? Я на отшибе оказался...

— А Маруся твоя? А дети?

— А что они? Дал зарок забыть тебя. И пошло потом механически всё. Я слово держу своё... Женился, нарожали... Но жизнь-то моя! Как снятое молоко она! А теперь? Марья нет, Мити нет. Светлая им память. Неплохими людьми были... Дети твои и мои взрослые. И те, и эти живут отдельно. Мы с тобой — как вольные студенты. Заново можно начать! Решайся!

Гляжу на него и диву даюсь. Как так можно говорить, думать даже об этом?..

— Что ты, говорю, Степан? Ошелапутил? У нас детям по двадцать лет. Стыдно!..

— Одно другому не мешает, — говорит. — У них своя теперь жизнь, у нас своя будет. Может, мы и родим ещё ребёночка, не старые ведь.

Меня от такого его разговора аж в жар бросило. Слов не стало. Столько изуродовано, а он про любовь свою какую-то!

— Уходи! — говорю. — С глаз долой уходи! Со своей любовью.

Тороплюсь так говорить, а сама глаза его вижу. Печальные. Не злые. Виноватые глаза...

А всё равно остановиться не могу:

— Над нами тут смеяться будут. Никчёмная твоя любовь. Никому от неё добра нет. И не будет! В Воронеж зовёшь, уехать отсюда. Не по годам нашим это.

Он грустно так смотрит на меня... И ничего не говорит...

А я себя виноватой начинаю чувствовать. За что мне всё это, за какие грехи? Не понять мне... Успокоюсь... Не виноватая я!

...А тут ударило в голову: я ему жизнь искалечила. Из-за меня в его жизни многого не доставало.

Он потом, когда ещё раз приходил, всё также грустно смотрел на меня. И слушал молча...

А мне уж, чувствую, жалко его стало.

...Боялась: ещё раз придёт, не выдержу его молчания.

Не пришёл. Продал он всё и уехал, не попрощавшись. В Воронеж к сыну.

И зачем уехал?

Говорят, будто не хуже там, в Воронеже. Не как у нас, теплее... Но ведь чужая сторона?

...А может, нашёл там сын ему какую?.. Вот бы...

Так легче мне думать.

Больше недели без лёгкого

Не любитель я по врачам бегать. А тут вышел на пенсию. Не прошло и года, и... как мешок развязался: одна болячка за другой. То это, то другое... Раньше не было такого...

Подался к участковому терапевту.

— Голубчик, — говорит он мне, — а что же вы флюорографию два года уже не проходили? Непорядок!

Дал направление мне.

Пошёл делать флюорографию. Делов-то, думаю... Вон Сергеечу, он на год раньше меня ушёл на пенсию, так ему шланг гло-

тать приписали и ещё кое-что такое, о чём говорить не хочется. Гемоглобин понизился... Лицо стало серое...

Пришёл. Сделали снимок.

— Сегодня, — говорят, — после 14:00 в карманчике на стене в коридоре будут результаты. А лучше приходите завтра.

«Не пожар, — думаю, — по два раза бегать на день в поликлинику».

Явился на другой день, а в кармашке-то на стенке на мою букву «к» бумажки про меня и нет.

«Вот те на, — думаю, — то заверяют, что после 14:00 будет готово всё, а то «после дождичка в четверг»?

Захожу в кабинет, объясняю, как умею.

Врач говорит:

— Сейчас выйдет к вам медсестра, подождите в коридоре.

Жду.

Нескоро медсестра вышла, но я не возмущаюсь. Неудобно. Кто я? Пенсионер всего лишь! Всем кажется, времени у таких как я — прорва! А его совсем не хватает, времени-то. Поскольку все дела начали делаться медленнее, чем раньше, раза в три. И сам не пойму, почему это так... Ну ладно, это другая тема...

Выходит молоденькая такая медсестра, востроглазенькая. Смышлёная на вид-то. И говорит мне:

— И давно так у вас?

— Как? — спрашиваю.

— Ну, правое лёгкое ваше — сплошное тёмное пятно.

— Нет, — говорю, — в первый раз слышу об этом.

А сам заволновался. Сплошное тёмное пятно! «Ничего себе, — думаю, — вышел на пенсию, дождался заслуженного отдыха?!»

Чувствую, вспотел аж.

Молчим оба.

— Вы присядьте, — говорит. — А то у вас лицо изменилось.

— Да постою я, — говорю. А сам в какой-то невесомости трепыхаюсь. Как подвешенный за одно лёгкое.

И тут она задала такой вопрос, который враз всё поставил на своё место:

— А левое лёгкое когда у вас вырезали? — запросто так с моей грудной клеткой обращается.

Опустился я из невесомости на твёрдое. Враз понял, что меня с кем-то перепутали. Даже юмор у меня прорезался. Говорю:

— Девочка моя, мне никогда операций на лёгком не делали. И напивался я, чтоб не помнить себя, только два раза. Когда в учи-

лице ещё был. Не могли вырезать, чтоб я не знал, не в памяти находился.

Она плечиками так значительно пожимает. Личико серьёзное. Я ей:

— А давайте посмотрим! Шрамы должны остаться.

Нашёлся. Тоже мне.

И начал задирать рубаху.

— Ясненько, ясненько с вами, — говорит. — Подождите. Я скоро вернусь.

И ушла в кабинет с поджатыми губками.

Вышла ко мне сестра уже возрастом постарше.

— Знаете, — говорит, — можете прийти дня через два? Мы разберёмся с вами.

— Чего разбираться-то? — спрашиваю. — Вот он я! Вот мои лёгкие. Дышу нормально. Сделайте ещё раз снимок. И все дела!

Задумалась сестричка:

— Нет, у нас свой порядок, — говорит внушительно так, не грубо. Наоборот, как-то ласково даже. Будто я в психбольнице и меня как пациента давно уже здесь все знают, свой я у них.

Выждал я эти два дня. Спокойно выждал. А что волноваться-то? Лёгкие на месте у меня! Вот, правда, затемнение в одном, но это же наверняка ошибка! Они же ошиблись с другим лёгким: его мне не вырезали. А с другой стороны, думаю: вырезать-то не вырезали, но пятно-то могло и появиться. Мало ли таких случаев было...

Пришёл снова к кабинету флюорографии.

Долго ко мне не выходили.

Потом всё же вышла. Та, которая постарше и позадумчивее. И говорит прямо с ходу, не дав мне поздороваться:

— Знаете, у нас батарею отопления прорвало. Бумаги затопило. Приходите через неделю. Мы тогда разберёмся.

Опять это «разберёмся».

И смотрит в упор. Глаза бесстыжие. Видно, что придумала с батареей.

Я направился в кабинет.

— Вы куда?

— К врачу, сколько можно?..

— Он на пятиминутке.

— Правда, что ли? — чувствую, начинаю заводиться. — А батарея на месте? — интересуюсь.

— Какая?

— Как какая? Та, что лопнула! — говорю.

— А что, проверить хотите? Тоже, инспектор!

— Не инспектор я, а сантехником работал, — отвечаю. Но вижу: не прорваться.

Махнул я рукой. И вышел.

Как хорошо оказаться на улице, на свежем воздухе! Где нет монотонных белых халатов. Где всё пестрит жизнью!..

Прожил я, если верить врачам, ещё неделю без одного лёгкого. Ничего, выдержали нервишки.

Прибыл в больничку. Вышел ко мне уже сам доктор.

Протягивает мне бумажку:

— Извините, товарищ Коровин, неувязка получилась. Перепутали тут малость. С лёгкими у вас всё нормально.

А мне и говорить-то ничего не хочется. Молча сунул бумажку в карман — и на улицу из этой клетки.

Там посмотрел. И ещё раз подивился. Уже написанному.

Они дали мне ту бумажку, в которой было отмечено, что у меня одного лёгкого нет, а в другом — затемнение. То есть ту же самую. Только всё прежнее в ней перечёркнуто жирно крест-накрест. И штамп красуется с угла на угол: «Изменений в лёгких нет». Не удосужились даже переписать.

Стою и думаю: «Неужели они не понимают, что выдали свидетельство своей такой неряшливой работы? И не стыдно? И не боятся выглядеть такими?»

Это свидетельство о глупости я с усмешкой вклеил в свою медицинскую карту.

Как положено, так и сделал!

А вообще-то ей место в соответствующем музее...

Огурчики с пупырышками

На свою дачку я обычно добираюсь по дороге вдоль Волги.

В свой сезон здесь на обочине пожилые люди торгуют кто помидорчиками, кто огурчиками, земляникой, малиной. Песчаная почва, обилие света, справа дыхание Волги, слева — огромный массив озёр!

Всё это способствует тому, что урожай тутошние дачники начинают собирать на полторы-две недели раньше, чем в удалении от Волги.

Иногда я останавливаюсь, чтобы что-нибудь прикупить. Вот и сегодня подошёл к покрытому рыжеватой, выцветшей клеёнкой столу.

Здесь — то, что мне надо: молоденькие с пупырышками огурчики. Старик за столом поднял щетинистое с розовыми нездоровыми пятнами лицо. Я невольно жглся.

Передо мной был Иван Горохов.

«Сколько ж мы не виделись, — мелькнуло в голове. — Лет тридцать? Не менее...»

— Иван, — невольно вырвалось у меня. — Ты?

Иван был выпивши. И не слегка. Глянув на меня пустыми глазами, спросил:

— Сколько надо?

И потянулся к огурцам.

— Иван! — вновь повторил я, не веря ещё, что вижу перед собой человека, с которым прожил бок о бок когда-то три года в рабочем общежитии. Потом работал с ним в одном цехе на заводе. Я — слесарем. Он — токарем, да каким. Лет в тридцать Горох стал орденоносцем.

Он привстал над столом. Но тут же опустился вновь на толстенный обрезок доски, покоившийся на двух чурбаках. Да не совсем удачно опустился. Повело его в сторону. Наконец, сбалансировав, оказался над столом. Сел. Не надеясь на ноги.

— Сашка! Ты! Эх, ты! Как так? Вот те на! — он ещё что-то проносил в этом духе. Но, будто протрезвев, сказал в следующий момент довольно внятно: — Рад, что ты жив! Это для таких как мы с тобой сейчас редкость! Хотя какая это жизнь? Может, у тебя другая, а у меня она — торговая... Сам видишь. Я торгаш! Продаю вот эти: пур... пыр... пупырычки.

Он попытался встать. Это ему не удалось.

— Тебе сколько махнуть? Три кило? Сейчас. Хоть полпуда... бесплатно... только скажи!

— Потом, Иван! Потом. Давай поговорим.

— А что говорить? — он облокотился обеими руками о стол. И принял подобие вертикального положения. Произнёс тускло: — Я слышал, что ты тут где-то приобрёл дачку. А где? Думаю, увижу. А нет и нет...

— Давно тут? — спрашиваю.

— Дачка-то давно. А я второй сезон. Привезли меня сюда сын да моя. Она и сейчас как самолёт. Здесь тебе, говорят, санаторий будет. Волга, воздух! И при деле! Только торгуй! А мы на грядах будем все. Лихо? У меня орден Ленина. Лучший токарь в объединении! И торгуй огурцами? А? Зигзаг удачи! — он говорил громко. Две молодки, томящиеся рядом с банками солений, начали смо-

треть в нашу сторону. — А по-другому? Только эта дачка и спасает нас. Сын без работы. Моя пенсия как у студента стипендия.

— Что ж? — соглашаюсь. — Жить-то надо! У других и этого нет.

— Надо! — воскликнул. — Но разве так, — он, кажется, протрезвел. Встал над столом. Ткнул меня пальцем в грудь: — Скажи, что мужику важно в жизни?

— Смотря в каком возрасте, — отвечаю, догадываясь, о чём он.

Перекрывая хихиканье оживившихся молодок, Иван производит, глядя на меня уже знакомым мне твёрдым взглядом:

— Мужику серьёзное дело необходимо. В любое время. Крепкое дело в жизни! На этом жизнь его держится. И страна держится! Тебе ли это говорить?

— И интерес к нему таких вот, — он мотнул головой в сторону, — молодок будет тогда. А так что?

Я слушаю молча. И радуюсь за Ивана. Начинаю его узнавать таким, каким он был раньше. Напористым.

— Не будет этого у рабочего человека — превратимся все скопом в пыль.

Он замолчал, нахохлившись.

Глядя на меня из-под мохнатых бровей, сказал:

— Ты не смотри на меня так! Сегодня сороковины. С утра помянул.

— Кто-нибудь из родственников? — спросил я.

— Родственников, — повторил, как эхо, Иван, — ты помнишь Лёшку Каткова?

— Спросил тоже! — встрепенулся я. — Как не помнить нашего Жана Марэ?

— Нашего маленького Жана Марэ, так мы его звали, — поправил Иван.

— Да, да, — подхватываю я. — Красавец! Как Марэ. Только миниатюрный. Небольшого роста. Ладненький! Занимался шахматами, фехтованием.

— Носил рубашки, перекрашенные в чёрный или красный цвет. Обязательно причёска «канадка» и поднятый воротничок рубахи, — улыбается Иван.

— И брюки узкие, — продолжаю я.

Меня останавливает его сухое:

— Похоронил я его.

— Да что ж такое? Как? Он же моложе нас с тобой... И не пил совсем? Отличный компрессорщик-ремонтник.

— А я пил? Ну как сейчас, пил? Некогда было... Тут какая история. Ты-то в Саратов уехал, а мы здесь осели накрепко. У него не всё получалось с его мечтой. Три дочери — одна за одной. А сына нет! Он решил не сдаваться. «Мне сын нужен! — твердил. — Породку надо улучшить! Рослый сын... Найду красивую, какую мне надо, и попробую...»

— И что?

— Что! В Новополюк набирали бригаду на пуск завода. Он и подался вместе со всеми. Все-то в основном за квартирами ехали, а он со своей целью.

— Семью взял с собой?

— Конечно, нет. Зачем на данном этапе? И надо же! Подобрал себе пару. Мария чуть не на голову его выше. А симпатичная!

Загогулина вышла: родила она ему двойню — Ваню да Маню. Малость перестарался Алёшка. Как вернулся в прежнюю семью, скрывать ничего не стал. Ольга-то взбрыкнула вначале. Но что поделать? Одной с девками оставаться непросто. Стал он жить на две семьи.

Перевёз новополюцких потом сюда, к нам. У Марии была квартира однокомнатная, от бабушки осталась. Сумели поменьять. Чего стоили ему заботы о двух семьях, я знал. Но парень стойкий. То в рыбацких артелях на Волге подрабатывал, то с дикой бригадой сварщиком калымил. Дети были ухожены. Все. А тут как раз нас всех предали. Заводы стали рушиться. Всё вокруг закачалось, зашаталось. Разве мог он такое предвидеть? Наш стратег, Алексей? Совестьливый был — не просто ему было. За что только он ни брался! Лишь бы копейку добыть. Подолгу в отъездах был. Челночничал поболее года. Я любил его. Первый друг! По мелочам, как мог, помогал. Тогда, в середине девяностых, у нас ещё теплиц не было. Сын позже развернулся. Нас, середняков, из седла вышибли, дошла очередь до молодняка. Наркоту запустили.

А сын его, Игорь, подросток. Красавец. Опыт удался! Парнина ой-да ну! Под два метра ростом! Лёшкина мечта! Поступил, значит, Игорь в техникум. И тут же на первом курсе: беда!

Может, он и раньше кололся, кто знает? Нашли его в подьезде, помер вроде бы от передозировки. А кто его знает, как было дело?

Алексей чёрный стал от беды этой! Надсадился.

Ты скажи. Вот, если б работал завод, глядишь, коллектив как-то помог бы! Потом на глазах у других полегче всё ж... А тут! Считай в одиночку...

Если государству не нужны токари, компрессорщики — долго оно протянет? Государство такое? На огурцах?

Неужто я умнее тех, кто нами рулит? Не может быть! Значит, дело не в уме? Тогда в чём же? Вопрос! Мой сын — котельщик. А у них на ТЭЦ из двенадцати котлов всего два в работе. Как? Поувольняли многих.

— А Алексей?— спрашиваю. — Что дальше было с ним? Неужели спился?

— Здоровье малость пошатнулось, а голова-то у него всегда светлая была. Последние полгода на городском рынке за деньги давал сеанс одновременной игры в шахматы. В один день после игры, когда домой пошёл, там же, около рынка у пельменной, догнали его трое щелкопёров. Потребовали деньги. С угрозами. Не знали, на кого напоролись. У него видок-то был уже не того. Но характер! Он двоих мигом на асфальт положил, а третий — стервец — пырнул ножичком под ребро. Судили их потом. Алёшки не стало.

Не стало нашего Жана Марэ. Невмоготу мне. Будто с ним вся молодость ушла, без него жизнь тусклая стала... Такую жизнь нам подпустили — людоедку! И молодых, и не очень — всех под одну гребёнку косит...

Он достал из кармана куртки ополовиненную бутылку водки. Из другого кармана — стакан. С маху налил полстакана. Протянул мне.

— Давай за дружка нашего!

Я закрутил головой:

— Иван, я ж за рулём!

Он молча вылил остальное из бутылки в стакан. Без слов выпил. Дёрнувшись, проговорил, глядя перед собой в одну точку на столе:

— И за Лёшу, и за всё, что все мы потеряли.

Он замолчал, и я молчал. Всё было сказано.

Его опять повело.

— Столько огурцов, Иван! Закуси. Нельзя так.

Он глянул на меня чужим, отстранённым взглядом:

— Забери их! Все забери! Без денег. У меня мешок большой есть. Опротивели они мне!..

— С тебя ж твои спросят, — неловко пошутил я, — где, скажут, выручка?

— Я их ненавижу, огурцы эти! И себя вместе с ними. Я себя пупырышком чувствую никчёмным на этой... голой заднице нашего незаконнорожденного капитализма. Увидел тебя — стыдно стало.

— Иван, — непонятно зачем спросил я. — А ты знаешь, кем оказался любимец нашего Алексея, Жан Марэ?

— Кем?

— Ну писали же...

— А, а, — неопределённо мотнул рукой Иван. — Может, это враньё всё...

Он попытался пододвинуть большую эмалированную кастрюлю с огурцами к краю стола. Не рассчитал. Кастрюля скользнула и рухнула вниз. Отборные, один к одному, огурцы, упруго отскакивая друг от друга, полетели в придорожную пыль.

Я было нагнулся за огурцами. Он остановил:

— Зачем из пыли? Завтра приедешь с хорошей сумкой, наберём прямо в теплице.

Выйдя из-за стола, он начал давить непослушными ногами кучу огурцов. С остервенением.

— Я их видеть не могу!

Лицо его исказила брезгливая гримаса.

Торгующие соленьями девицы смотрели на это действие, как на бесплатный спектакль. Не каждый день такое бывает!..

— Вот набрался мужик! С самого утра! — прозвучало над моим ухом.

Я оглянулся. За моей спиной стоял крепкий парень лет тридцати, розовощёкий такой, с толстой золотой цепью на шее.

— Говорят, пенсионеры мрут от голода. Пенсии им не хватает. А этот молоток! Нашёл свою жилу! Его товар — его право!

Слова были сказаны громко.

— Не сговорились в цене? Чем за бесценок, лучше так! Закон капиталистов — держать цену, иначе останешься без прибыли.

Зря он это говорил, не подумавши...

Голос Ивана прозвучал твёрдо:

— Чего ты лопочешь? Откуда только вы берётесь такие мордастые?..

Он подобрал увесистую кастрюлю с земли и, откинув правую руку вместе с кастрюлей, как это делают при метании связки гранат под гусеницы вражеского танка, собранно пошёл на парня.

— Иду на реванш! — прозвучало в воздухе. — За Алёшку, за всё остальное...

Мне едва удалось схватить Ивана за руку со злосчастной тарой и оттеснить в сторону.

Схватки поколений не произошло.

* * *

...Вот уже и осень на исходе, а я с того случая с пупырчатыми огурчиками ни разу больше по этой удобной дороге не ездил на свою дачу. Сворачиваю чуть раньше.

Подчиняюсь установке жены: «Зачем и ему, и тебе лишний раз сердце рвать? Мало ль тебе недели, которую ты в провёл больнице после той вашей встречи? Не молодой уже...»

Сундук с приданым

Моя бабушка Вера рассказывала:

«Жили мы в Могилёвской области тогда с родителями, под Бобруйском. Бедно жили. Лён выращивали. Я всё время сидела за куделью. Пряли, ткали. Готовила себе приданое. Так заведено было. Целый сундук приготовила приданого.

А тогда часто пожары были. Мы три раза горели. Ваня сватал меня два раза. Мои родители против. Он хоть и хороший плотник был, но из бедных. В нищете жили.

А тут — пожар. Наш дом полыхает. Мечутся все, а что сделаешь?

Тут Иван:

— Отдадите за меня Веру, вытасу сундук с приданым!

Сдались родители мои.

Иван облил себя водой и кинулся в дом. Вытащил сундук.

Что делать? Вышла за Ивана. Судьба.

Ушла жить к нему. Так заведено было. Да и дом наш сгорел почти весь, перед самой войной еле-еле восстановили потом.

А у Ивана сестра и два младших брата. Места там нет. Ответил уголок в сенях. Пол глиняный. Сыро. Там прошла наша первая ночь.

Заболела я воспалением лёгких.

Как выцарапалась, сама не знаю. Все удивлялись...»

Везучий

...Ещё бабушка говорила, что немцы постоянно боялись подорваться в лесу на партизанских минах. Впрягали в повозки наших мужиков и гнали их по дорогам. Многие подрывались, а мой дедушка Иван три раза тащил телегу по таким дорогам и ни разу не попал под взрыв.

Везучий?! Но как судьба сложилась... Не успел он уйти к партизанам, его и призвали на службу немцы.

Один раз поставили его охранять мост. И придрался немец. Не понравилось тому что-то, начал кричать на деда Ивана. И дед горячий был... Влепил ему с маху оплеуху.

Думали, расстреляют. Нет. Забрали в плен. Отправили в Германию.

К концу войны, когда уж и надежда пропала на возвращение его, в дом бабушки зашла цыганка.

— Дай хоть что-нибудь, хозяйка!

А бабушка моя только-только из леса пришла. За сушняком для печи ходила. Уже осень, рассказывала, наступила. Снег выпал, а она босиком: обувки никакой.

Набрала вязанку, а тут волки! Цепочкой. И с этой стороны, и с этой... Опустила она вязанку свою на мёрзлую землю. И давай молиться. Молилась неистово. Стояла на одном месте. Никуда! И молилась...

Прошли волки цепочкой мимо неё, чуть не по босым ногам прямо её. Не тронули!

Ну вот, бабушка Вера у печки возится, спешит разжечь дрова. Ребятишкам холодно. Отвечает в сердцах откуда нивесть явившейся цыганке:

— Что я тебе дам? Одни ребятишки, видишь, в доме. И муж в плену. Жив ли, не ведаю...

Посмотрела на неё внимательно цыганка и говорит:

— А стакан воды дашь?

Подавала бабушка стакан с водой.

— Давай теперь две нитки, — молвит цыганка, — гадать буду на твоего мужа. Не утонут нитки в стакане с водой — вернётся твой суженый.

Положила она крестиком две нитки в стакан с водой. Потрясла им. А нитки-то и не тонут!

— Ну, вот! Жди своего мужа, — говорит гадалка, — а я пошла своей дорогой. Везучий он у тебя, муж твой. Как и ты сегодня у смерти на краю была...

Откуда она могла про волков знать? Бабушка никому не рассказывала...

Сверкнула глазами гадалка и ушла.

* * *

Не соврала цыганка. Вернулся мой дед из плена.

Как вернулся? В 46-м только заскочил на минутку в дом и дальше — в Сибирь.

Когда освободили их американцы, он отказался ехать в Америку. Только на Родину! На Родине-то и отсидел десять лет. Не роптал, знал, что виноват — в плену был, работал у немцев...

...Как освободился, направили на добычу серы под Самарой, в Алексеевку. Вскоре переехала к нему и моя бабушка с детьми.

Ивана Адамовича уважали на работе. Он многое умел делать руками. Бабушка говорила:

— Был он уже лысый, худощав, с четырёхзначным номером на руке, полученным в немецком концлагере.

В мае семидесятого ловили уголовников, сбежавших из тюрьмы на Кряже. В это время дед ехал из Алексеевки в областной центр. По чистой случайности он забыл взять с собой документы. Ничего с собой не было, кроме лагерного номера на руке. Его арестовали.

На этот раз он оказался не таким везучим, как в молодости. Бабушка, моя мама и я были в это время в Могилёве. Соседи рассказывали, что на третий день после отсутствия он вернулся домой и на глазах у них с буханкой хлеба в одной руке и ключом от входной двери в другой рухнул около порога. Сердце не выдержало.

Мы приехали, не ведая ни о чём.

Прямо на похороны.

«Какие песни тогда были...»

...Мой дед по отцу Михаил ушёл на войну вместе с нашими наступающими. Натерпелись от немцев. Среди тех, которые у нас на постое были во время оккупации, разные попадались. Пересказывать всё — долгая история.

Среди них был один — Хольт. То ли имя, то ли фамилия такая, не скажу. Бабушка говорила, что он был не злой. Водились среди них и такие. Так вот мой дед, когда заняли Берлин, встретил этого самого Хольта на улице в гражданском. Они сразу узнали друг друга. Немец испугался сильно, думал, его сразу, на месте расстреляют.

А обернулось по-другому. Вот как: пригласил немец к себе домой моего деда. И они за столом сидели, разговаривали. Сколько — не знаю.

Вышел от немца мой дед с чемоданом подарков и патефоном подмышкой, с двумя пластинками. Патефон этот, бабушка потом вспоминала, долго у них был. Танцевали под него. Говорила, что на одной из пластинок была наша песня «Катюша».

Часто повторяла:

— Какие песни тогда были!

А я после её рассказов не могу кино про войну смотреть.

До сих пор.

Выключаю телевизор. Или ухожу в другую комнату.

Рафаэль

Я видел его несколько раз издали, около кортежей с новобрачными. А тут мы столкнулись с ним лицом к лицу на лестнице, поднимающейся на площадь, украшенную храмом с золочёными куполами.

Небольшого росточка, широкий в плечах. Одет не то чтобы опрятно, но в соответствии с наступившими заморозками. Стёганая фуфайка, заячья шапка и крепкие массивные ботинки.

И улыбка: приветливая вроде... но заставляющая невольно вздрогнуть. Отчего — сразу не скажешь..

...Он остановился от меня метрах в трёх и произнёс непринуждённо:

— Здравствуйте.

— Добрый день, — невольно отозвался я, попав под зонтик неожиданной доброжелательности. Захотелось узнать: кто он, откуда?

Сам не ожидая, по-свойски спросил:

— Давно здесь?

Тут же подумал, что он скорее всего не расположен говорить. Будет просить денег.

Я ошибся, он ответил охотно.

«К чему это? — думалось мне. — Ему надо от меня чего-то большего?»

— И давно, и недавно. С осени. Как освободился, — звучал его бархатный голос.

— Сидели?

— Сидел.

Я не понимал, удобно ли спрашивать его о личной жизни вот так, всуе, тем более не зная даже его имени.

— Меня зовут Рафаэль, — сказал он. И добавил мягко спокойным голосом: — Отсидел два приличных срока.

— Сколько же вам сейчас? — невольно вырвалось у меня.

— Сорок, — последовал ответ. — Третий месяц на свободе.

Таких собеседников у меня ещё не было. Мне хотелось продолжить разговор, но я был зажат. Я, что называется, оторопел.

Передо мной стоял человек с голубыми, ясными глазами, ясной речью и улыбался улыбкой не преступника, а... Я не знал, как это определить...

— Работаете? — спросил я.

— Нет, где ж мне работать? Видите, у меня нога отдавлена, хромаю. И возраст не пенсионный.

Странно, мы стояли на лестнице друг против друга. Разговор на ходу, на бегу. И в то же время о таком неподъёмном, как мне казалось. И всё говорилось моим собеседником свободно, обыденно... Монотонно.

— В первое-то время, как освободился, хотел в зону вновь вернуться. Ну нигде не приткнуться. На что жить? Где жить? Думаю, украду что-нибудь в магазине. Или надёжнее: кого-либо пырну ножичком легонько, чтоб, значит, засудили... Я и дамочку одну уже заметил. Она с работы всё в одиночку ходила, тут по переулку, где я под металлическим гаражом ночевал. Там свора собак жила, но их всех отстреляли... Я один остался.

Дамочка куда-то подевалась. А тут я к храму вот этому приблизился... Перебрался...

— А ночуете где?

— В туалете, он большой, вон, под горой. Подземный.

— А на что живёте?

— Подают кто сколько. На площадке, видите, постоянно люди к храму подъезжают. Тем более молодожёны когда...

Взглянул как-то даже иронично:

— Вы-то немножко дадите мне?

Я достал и протянул ему пятидесятирублёвую купюру.

Он принял её молча, как бы между прочим.

— У меня семьдесят-восемьдесят рублей в день набирается. Батюшка разрешил мне бывать у храма. Потом женщины в храме пирожки дают. А то насобираю денежек, пойду пельменей куплю. Они, женщины, мне сварят.

— А если холода прижмут крепко, тогда как?

Он ответил деловито:

— Дак страна у нас большая. Есть места, где потеплее... А я человек маленький. Приткнусь где-нибудь... Храмов теперь немало...

Уже когда направился вверх по лестнице, остановился, спросил:

— Нет ли какой одёжки старой, тюфяка? В туалете плитка холодная.

Я сказал, что посмотрю. На дачке кое-что есть.

Дня через три съездил на дачу, прихватил крепенький ненужный мне матрац, совсем уж старенький, выцветший спальный мешок давних моих студенческих лет. Ещё кое-что по мелочи.

Зашел в храм. Рафаэля не было. Разговорился с церковным сторожем.

— Он куда-то подевался. С ним это бывает. Через пару дней объявится... Человек непростой.

— Так думаете?

— Не думаю, знаю. Он за двойное убийство сидел.

— Как так?

— Отца его посадили на большой срок. Мать была беременная Рафаэлем. Родила и подбросила его в школу. Воспитывался без матери. Из интерната вышел, на втором году зарезал сверстника. Посадили на десять лет. В зоне убил охранника — ещё добавили десятку.

Я был в смятении.

— Он же такой кроткий?!

— Какой есть... Судьба выпала такая...

...По дороге из храма я всё думал о Рафаэле.

«Как я буду после того, что узнал, с ним разговаривать? Имя какое: Рафаэль!» — роились растрёпанные мысли.

«Мадонна Рафаэлевская — символ, гимн жизни...

Он ведь говорил мне, что сидел долго. Я не спросил, за что сидел? Как у него так всё случилось?..»

...Пытаюсь забыть. Успокоюсь вроде. Но отчего мне так не по себе. Вновь всплыли слова сторожа: «Судьба выпала такая...» Судьба? А сам он? Неужто всё у человека зависит только от случайно выпавшей карты?

Эта его тихая улыбка, неторопливый говор? И две загубленные им жизни?.. Как всё соединить? И всё рядом?! По одной лестнице ходим. Всё как из Средневековья... А век-то компьютеров? Вновь возвращаюсь к тому, что не знаю, как буду разговаривать теперь при встрече с Рафаэлем. И о чём говорить?..

Я обещал ему матрац... Надо передать бы обещанное... Или не стоит теперь?.. Пригревать под боком?.. После того, что узнал?..

* * *

...Рафаэль так и не появился.

Матрац и спальник до сих пор лежат в углу моего гаража...

Забуду о встрече на лестнице. А то встряхнусь: «Подался Рафаэль туда, где потеплее?.. Или ходит здесь, в нашем городе, поджидает жертву... Крещенские морозы скоро...»

Заклинило

Уборка на носу, а я клиноремни для автотракторной техники не могу достать. Хоть тресни!

Что делать?

Пришёл в который раз к Петру Гордеичу.

Морщим лбы оба с председателем колхоза. А что толку?!

А тут Влас Иванович, наш скотник, входит. Прислушался к разговору нашему. Заморгал часто так бесцветными глазами и говорит:

— Так скоро же сессия районного совета. Племяшка моя Настёна собирается в райцентр, пыняешь...

— И что? — спрашиваю.

— Что! Давайте ей поручим. Два мужика не сделают, а она смогёт. Фигура: депутат от народа!

— Ну, ты голова, Влас Иванович, — подхватил Гордеич. — Как я не сообразил? И ведь там, на сессии, сам Макар Ильич Скорохватов — начальник областной сельхозтехники будет! Вот ему при народе и задачку поставить!

А нашу Настёну в первый раз полгода назад в депутаты выбрали. Ну, как обычно, пришла разнарядка: дать кандидатуру в депутаты. Колхоз-то передовой!

И неперменные условия: чтоб женщину, чтоб была симпатичная, без среднего образования, не старше тридцати лет. Хорошо бы доярку или свиарку. Ну, это обычно так.

Мы прикинули: наша Настёна подходит по всем статьям. Всё в ней в аккурат для такого депутата, как требуют. Не урод вроде. Свиаркой работала, теперь коровами управляет.

Но маленькая заковыка у неё есть. Она вроде бы и ничего, но гундосит, и это... местами дырки у неё в голове. Ага... Не сразу порой у неё шестерёнки, шарики в голове начинают работать. Молчаливая к тому же. Разгон нужен немалый. Но уж ежели разойдётся, то нужна дистанция! Тормозной путь немаленький...

И это ещё: матерок у неё в разговоре порой выскакивает. Тут на общем дворе это вроде бы даже подмога. Рычаг. А там как с этим? Но раз уж честь нам такая оказана, как не дать? Других-то кандидатур нет, а Настёна в работе — ломовая лошадь. Выбрали Анастасию Карповну в депутаты в тот раз.

...Решились всё-таки мы вопрос о ремнях поручить поднять на сессии нашей Настёне.

Пригласил её Пётр Гордеич на инструктаж.

— Трактор К-700, — говорит он ей, — без клиноремней — это как мужик, к примеру, тот же начальник областной сельхозтехни-

ки, Макар Ильич, у которого из брюк вынули ремень. Ему ни туда, ни сюда, а его заставляют бежать, поняла?

— Поняла, — отвечает Настёна, — чё ж я мужиков, что ли, не видела?

— Я про трактора и комбайны, — уточняет на всякий случай председатель. — С мужиками потом разберёмся. Нам ремни нужны?

— Ясно всё, — чётко отвечает Настёна, — без ремней, как без штанов.

— Во, во! — с опаской соглашается председатель. И озирается. Поехала Настёна на сессию.

Потом нам рассказывали.

...Вышла наш депутат к трибуне и прямо к начальнику сельхозтехники:

— Уважаемый наш, Макар Ильич! Вот вы сидите в президиуме, бляха-муха! И с виду, и так навроде неплохой человек... А по делу если?.. Сидите... вместе со всеми, расплющили зады, животами кольшите... А нам каково? У нас социалистическое соревнование! Встречный план! А трактора и комбайны на приколе. По вашей вине, между прочим!

Здоровенный, лысый Макар Ильич сначала дёрнулся, как заведённый трактор, потом попытался своим тонким голосом что-то сказать. Но смолк, будто солярка кончилась под натиском Настёны. Её понесло без остановки. Как на дрожжах мчит:

— Вот пообрезать у вас пуговицы на штанах, выдернуть ремни и заставить бежать стометровку, что будет? Или хотя бы махнуть по этому помещению, где сидим все! Слабо!

Председательствующий попытался её остановить:

— Анастасия Карповна, вопрос понятен. Мы в рабочем порядке рассмотрим.

— «Рассмотрим», меня мужики ждут в Лопатино. Все без ремней. То исть трактора у них без штанов... Тьфу ты! Запутали вы меня. На это все тут мастера!.. Ё... ё... моё! Сколько вас тут! А в поле вас не видать чтой-та!

...Это было её первое и последнее выступление. Последнее потому, что нашему председателю строго-настрого запретили Настёну отпускать на сессии райсовета. А Пётр Гордеич был человек исполнительный.

Про ремни спрашиваете? Да мы к уборочной всё, что надо, тогда получили. Даже с запасом!

Такая она, Настёна, деловая!

Земляк

Под Сызранью дело было. Отец мой на заводе работал. Там добывали и перерабатывали горючие сланцы. И сейчас ихтиол получают: мазь такая лечебная. Многие знают.

Отец сызмальства на заводе работал. А главным инженером при нём был друг его, дядя Саня, то есть Александр Маркин. Оба они с тысяча девятьсот третьего. Вместе росли на одной улице. Их отцы были осмотрщиками вагонов тогда. Только он окончил индустриальный институт и воспарил, стал главным инженером нашего завода, потом директором. А отец мой после училища всю жизнь, считай, на одной должности — в токарях. А он химик! Они продолжали знаться. Свой жа!

Ну вот, перед войной забрали дядю Саню в Москву руководить уже сланцами всей страны. Ему и сорока ещё не было.

Потом ушёл на фронт. Отца-то забраковали: нога у него, вишь, с детства вывернута. А тут приезжает на побывку дядя Саня, значит, к своим, на родину. Изменился, конечно, а всё равно свой!..

Я его с Валерием Чкаловым сравнивал, обоих их видел. И по фотографиям, и так довелось. Волгари! Похожи друг на дружку. Ну, родные родными. И друзья... Всех дядя Саня обошёл, со многими, с кем хотел, повидался. И — на завод.

Два дня и со специалистами, и вообще со многими встречался, ходил, смотрел. Уж и не начальник теперь на заводе, а всё едино. Все уважительно к нему относятся.

Перед отъездом в Москву поехал он в Самару, в Куйбышев, то есть. По делам каким-то. Он потом рассказывал так отцу моему, ну, примерно:

— Еду, — говорит, — кругом народ всякий, разный. И вши! Ползают с одного пассажира на другого. С чемоданов на узлы всякие. Некуда от них деться. Маются все. Целый поезд вшей...

Думал, только в окопах так. Насмотрелся: на передовой вши заели нашего брата-солдатика. До крови расчёсывали себя. Зуд, невмоготу. Иной, не стерпев, выскакивал из окопа, потеряв разум от зуда, и... попадал под пулю. Живые мишени.

...Сижу, — говорит, — в вагоне, наблюдаю, как вши копошатся, и... спохватываюсь: меня-то они не трогают! С чего бы это?

Вначале не понял, что к чему.

А поразмыслив, потом сообразил, что едет он прямо с завода в той же одежде, в которой был. А она пропахла ароматами заводской продукции. Её-то и боятся насекомые. Так получается!

Нашёл он стеклянную банку, набрал в неё вшей этих. Случай, как с Ньютоном. Только тому яблоко упало на голову, а тут вша эта...

Вернулся на завод и проверил он свою догадку в заводской лаборатории. Всё подтвердилось: от мази, которую они там приготовили с химиками, вши бегут. А какие околевают тут же.

Уехал в Москву. А вскоре завод стал в бочках грузить эту серную мазь на фронт. Целыми партиями. Стратегическое оружие, не иначе! Во спасение наших солдатиков. Во как! Какой молодчина, земля наш!

Опосля в каждом поезде стояла бочка с этой мазью. В обязательном порядке.

Вот поразмысли. Левша, конечно, — великий талант! Аглицким мастерам нос утёр: блоху ихнюю подковал. Но ведь и забава это!..

А тут дядя Саня столько народу нашего от мук спас.

Ты книжки пишешь. Вот и упомяни про эту историю. Чтоб знали... Не только Левшу... А и про нашего земляка из Сызрани, Александра Маркина!

Некоторые сочиняют. Шут с ними. А ты напиши дельное. Как было!

Арбуз для мамы

Помню, погнали нас, школьников, на уборку арбузов.

День сентябрьский, а жарко. Умаялись. К вечеру — уже никакие. Стали ребята перед отъездом домой подворовывать арбузы. Откатывали в посадку, кто как мог...

А я не решалась никак. Не в обычай было чужое брать.

А так хотелось привезти маме подарок. Она болела бруцеллёзом и лежала в лёжку.

Я подошла к бригадиру тётке Паше Борисовой, она жила на нашей улице. Знала, что мы с мамой мыкаемся без папы, который с войны не вернулся. Знала, что мама болеет. Подошла к ней и молчу.

— Ты чего столбом стоишь? Каланча какая, язык проглотила? Я решилась. Мне показалась, что она не откажет:

— Тётя Паш, можно взять маленький арбузик для мамы. Она хворает сильно.

Спросила и получила своё:

— Чего ещё? Много вас таких! Арбузик ей! Придумала!

Шофёр дядя Коля, который знал мою маму, повернулся так к ней:

— Дай ты для Нюры арбуз, она ж безотказная в колхозе. Положи девчонке в сумку.

— Нет, не дозволено! И всё тут, — стояла бригадир на своём.

И я пошла к машине, чтоб дядя Коля не нервничал.

...А когда уже ехали на машине домой, смотрим, впереди нас тётя Паша разогнала лошадь так, что телега опрокинулась. Целая куча украденных ею арбузов выскочила из-под сена, и они оказались на дороге. И покатались в пыль.

Тётя Паша упала с телеги. Колёса переломали ей обе ноги. Как она кричала, когда мы её в кузов грузовика несли!

Больше уже потом нигде она не работала. А вскоре померла.

Вот такая история.

Что хочешь, то и думай...

Страшно становится

Случай какой со мной был!

Не видела б сама, не поверила.

Наварила я щей. А так получилось, что все мои разъехались разом. Есть некому. Пошла к Нюре, соседке, через пять дворов. Те, которые рядом, пустыют. Она тоже со своими в город подалась. Выбрасывать просто так жалко, щи-то. В погреб с моими ногами доступа нет. Решила отнести на помойку собакам. Во что-нибудь налью, думаю. Нашла посудину и налила.

Тут же бегут они, собаки. Штук пять. Я отскочила. А среди них вожак, что ли, большой такой, как телёнок.

Каждый из них подбежал и мордой в лоханку со щами. Толкают друг друга. Тут же вдруг из подворотни дома Неверовых, он который год пустует, выбежали ещё две собаки. Взлохмаченные, худые. Жмутся друг к другу, как ребятёнки какие... али бомжи эти...

Который вроде жоака как рывкнет на тех, кто щи хлебать начал, они и отпрянули. А эти две-то стали быстро есть из посудыны.

Псы, что раньше на щи набросились было, стояли теперь рядом. Смотрели только...

Когда щей осталось мало, вожак энтот ткнул лоханку мордой, те две отошли, а отстранённые собаки бросились снова к щам и долизали их. Во как!

Дивовалась я.

Они, собаки, как люди, что ли? Сочувствуют промеж собой?..

Хотя что я говорю? «Сочувствуют»?!. Где теперь это? Днём с огнём...

На той неделе приехали какие-то ушлые ночью на машине. У Марфушки погрузили поросёнка её. И ищи их, людей этих...

Вот я и говорю: сколько Марфуша лебеды да жирнухи* попарила для поросёнка-то...

Ладно труды такие положила, сама, хорошо, цела осталась. Хоть так...

Страшно становится...

С бугра всё видно...

Мама, я и мой брат Витька сажаем на Ваньковом бугре картошку. С бугра так хорошо видно вокруг. Вон наша школа, вон Вовки Кудряшкина голубятня. А немного сбочь, конечно, поболее, чем голубятня, но не сильно — наша саманная изба. Второй год после войны. Живём впроголодь. Был бы жив отец! А так надежда только на картошку.

— Беги, — говорит мама, — домой. Набери полведра картошки в погребе, а то кончается. Надо этот клин посадить до конца.

Я не рад такой команде.

До дома не близко. Да ещё по такой жаре. Очень хочется есть. В животе бурчит.

— Ты побыстрей, — говорит мама, — а то тут как на сковороде, прижухнем под солнцем.

...Бегу, а сам хватаю на ходу щепочки разные, прутики для огня. У меня при упоминании мамы о сковородке созрел план. Там, в погребице, в ларе должна быть мука. Как прибегу домой, поджарю на сковородке её с водой и съем. Невмоготу терпеть.

Так и сделал. Таганок у нас всегда стоял на загнетке в печи. Водрузил на него закопчённую сковородку с водой, насыпал муки, которую еле намёл на дне ларя ладошками. В мизинец под ноготь от доски влезла, чёрная, тоненькая, как ниточка, заноза, но мне до неё — потом. Развёл огонёк. Радуюсь. Вспомнил: «А картошка-то?» Пока, думаю, мука поджаривается, наберу семян. Метнул-ся в погреб. Всё шеметом, вприпрыжку делаю.

Вернулся к таганку, мука где прижарилась, где как месиво. Некогда уж. Огонёк потух. Собрал я ложкой в миску мою стряпню. И во двор!

Доедаю на ходу, зажав в горсти то ли блин, то ли тесто. Не утолил голод, а только раздражил. И пальцы вымазал.

Когда прибежал, мама спрашивает:

* Жирнуха — вид сорной травы.

— Что так долго? Картошку, что ли, варил?

— Не, — отвечаю, — не варил.

— Ну как же? Дым из нашей трубы шёл. С бугра всё видно.

Я обернулся, а там и вправду наша труба торчит, в сторонке так. Ни с чьей не спутаешь.

Растерялся я, вообразив, какой я маленький перед мамой, перед этой горой, с которой всё видно. Совсем таракашка. Упав духом, чувствую своё ничтожество, признаюсь:

— Я муку жарил.

— Как же ты её жарил, если она кончилась? Придумываешь...

— Наскрёб, — говорю.

И не смотрю на маму. И на Витьку тоже не смотрю. Стыдно. Как предатель какой...

А тут поднял глаза, а у мамы лицо не строгое, не сердитое. Печальное лицо, как у Богородицы в нашей церкви.

Заплакал я, сам не знаю отчего. Как сейчас помню. Стою и мизинец с занозой зубами тереблю, машинально.

— Чего у тебя там? — спрашивает мама.

— Так, заноза от ларя, — отвечаю.

— Иди сюда, — говорит мама.

Я покорно подхожу, думая, что получу оплеуху.

А мама отстёгивает на груди от своей кофты булавку и начинает вынимать у меня из пальца занозу.

— А то загноится, — говорит она, — деловуха ты моя.

Мама касается виском моей головы. Я остро чувствую из-под светлого платка запас её сухих льняных волос... И от пережитого ли, от прикосновения ли маминых тёплых рук, не сказать, от чего, напрочь забываю про голод...

В автобусе

Едва автобус тронулся, пожилая женщина, потом из её разговора я понял, что ей за семьдесят, начала говорить по сотовому телефону. Довольно громко, бодрым голосом и с ясной логикой. Не обращая на соседей никакого внимания.

— Настя, я к тебе сегодня не приеду. Ну, обещала, а не получится...

Еду сначала в больницу к внуку, а потом в школу, где он учится. Понимаешь, учитель физкультуры выгнал их на лыжах раздетых. Дима был в тонком трико. Слёг теперь. С его-то больными почками, в мороз двадцатиградусный... Сегодня, когда с утра уз-

нала, дочери говорю: что ж у них там в школе дурдом, что ли?! Ведь ты справку о его болезни относил! Классный руководитель и школьный врач знают?

— Что я могу сделать с ними? — отвечает. — Все только мычат. А мальчишка в больнице.

Вот и поеду, Настя, я в эту школу. В лицо скажу, что они нелюди! Сама за себя не постоишь, кто поможет? Теперь такое время!.. Это ж прямо круговая напасть какая-то!.. Куда ни кинь...

Выхожу сегодня из своей квартиры, закрываю дверь. Копашусь, замок стал заедать, не сразу ключ выдернешь. Смотрю: сосед, вот он! Нарисовался. Прапорщиком служит, а то и дело прибегаёт домой переодетый в штатское, да не просто, а в женское. Куртка, как у меня, зелёнькая. На голове шапочка вязаная.

Подрабатывает где-то по два-три дня в неделю, на стройке. А служба идёт! На кого-то он спихнул дела-то свои! Иль нет их у него?..

Вот тебе и Сердюков иль там Зурабов какой! В них, что ли, в одних причина? В начальниках? А мы-то где? Мы-то кем стали?

Полиция, ФСБ... Эти с бандитами борются... Хоть как-то, а борются. А с такими вот бандитами, как эти в школе, сосед? Кому с ними бороться?

Их, знаешь, сколько теперь? «Сбережение народа... Национальная идея...» Надо ещё каждому быть человеком!

Их вот таких в школах, в армии, в больницах как к порядку привести? Какими силами? Ну, какими? Каждый чудит по-своему. Одному государству не под силу против таких! Приеду в школу, посмотрю на чудо-учителей... Поговорю. А то и за волосы оттаскаю!

Царюю

Приехала из Самары к соседке моей Дарье Межавовой золовка её, Клавой зовут.

Несколько раз прошла мимо. Я в огороде копаюсь. А тут остановилась. Заговорила. То да сё, а потом:

— Царюешь ты, баб Зоя!

— Как это? — спрашиваю. — Слово-то какое?!

— А так! Под окнами цельная плантация с картошкой. Соток на десять. Да на задах не менее пяти с огурцами, капустой и всякой всячиной...

— И что? — говорю.

— А то, что у нас в городе на асфальте редиска не растёт. И зарплата такая, что коту на похмельку не хватит.

— Завидуешь, значит? — спрашиваю.

Она молчит. Я ей:

— А я, Клава, как поработаю часа два, особенно на солнце, так потом в мазанке лежу столько же. Прихожу в себя от такой плантации. Мне семьдесят первый годок пошёл. Не девка чать...

— Всё равно царюешь! — настаивает Клавдия. — Ведь, чай, зимой твои дети-то в городе и с картошкой, и с капустой. Верно? Всё отсюда! От тебя зависят.

— Не без этого, — отвечаю.

— Во, во!

Это мне её «во-во»!

Говорю:

— Раз такая разумная, то переезжай сюда. Вон в доме Каревых никого не стало. Огородище какой пустует! А там около леса вообще выгон цельный. И скотины-то вокруг нет. Сажай сколько хочешь! Поболее мово.

Молчит, как не ей говорю.

Покудахтала ещё малость и подалась в магазин.

Она ушла, а я думаю: а ведь не напрасно она так говорит. Царюю я. Видит Бог, царюю. Что бы я делала без этих трудов, без землицы? Кто я без этого? Гольтыба. А так... царюю...

В лунную ночь

Я тогда пэтэушником был. В 60-х годах аж прошлого века.

Учился на токаря.

И вот разок на октябрьские праздники поехал я домой в деревню.

Попутка шла до Фёдоровки. До дома надо ещё около десяти километров пёхом добираться.

Доехал я до Фёдоровки, которая на большаке, где-то около полуночи. Ещё не менее двух часов надо шагать. Дело привычное. Дошёл до Суходольской. Она у нас в один порядок вытянутая. Слева от неё овраг.

Иду, значит, я меж оврагом и улицей. Слева, где овраг, на отшибе избёнка была. Старуха скрюченная в ней обитала. Неумывакина её фамилия. У нас все звали её Неумоихой.

В деревне говорили, что вроде бы она то в свинью превращается, то в чёрную кошку. Ловили её, а никак не удавалось разобла-

чить. Вот всё вроде: и свинья лишняя не знай откуда взялась, и старухи дома нет... А раз: и ничего такого нет. Всё, как надо, в один миг... И свинья пропала, и старуха на месте.

Это мне сразу всё вспомнилось, как только пошёл я вдоль оврага.

А я Гоголя начитался. «Вечера на хуторе близ Диканьки», помните? Мастер он был на такие дела!.. Эх и писатель!

...Ну вот, иду. И такая на меня жуть страшная напала. Откуда? Раньше-то вроде ничего?

А тут полнолуние. И тишина! Мёртвая! И свет сверху струится лунный. Как на кладбище. Так и кажется, что кто-то сейчас руку костлявую протянет... И всё тебе! Какую!

Почему тишина?

Обычно собака залает то на одном конце, то на другом. То кошка мяукнет...

А тут молчок. Будто всё вымерло.

Чем дальше в конец наш иду, тем темнее и страшнее. А остановиться не могу... Мысль опять же возникает: если не идти, то что делать?

Назад — и в Фёдоровку? Кому я там нужен?

Смотрю, из оврага поднимается белый, нет, седой, шар! Как чья-то огромная голова. И плывёт эта голова прямо на меня. И пасть такая огромная у неё. И никакого туловища у этого чудища нет. Или его не видно? Замаскировано всё. Всё обволакивается лунным, похожим на топлёное молоко, светом. У меня зашевелились волосы на голове. До сих пор помню эту жуть!

Больше со мной за всю жизнь такого никогда не было. Чтоб волосы фуражку поднимали...

Думаю: «Надо засвистеть!»

Пробую, а никак! Губы мои ссохлись, не раздери их! В полубмороке стою, а шар мимо меня плывёт уже. И дальше так, к избушке Неумоихи подался.

Что оказалось-то? Соображаю: туман в овраге густой такой. Ключья его отрываются и поднимаются вверх из оврага... Просвечиваются лунным светом... Страшно. И стыдно за себя...

...Подошёл я к своему дому никакой.

Опять же необычная тишина во дворе. Дико!

Дворняги Полкана не слышно.

Трогаю кольцо у калитки.

Металлическое звяканье в ответ. Тишина мёртвая. Двор будто затаился.

«Живы ли родители?» — думаю.

Появляется отец из сеней. Тихо так, как привидение. Без звука, без света.

Когда вместе вошли в избу, упал я на лавку.

— Есть будешь, сынок? — слышу голос родителя.

А у меня всё перед глазами как в тумане.

И седая голова отца, и этот шар из оврага... всё слилось в единое. И поплыло куда-то. И я со всем вместе плыву, но придавленный такой тяжестью невообразимой...

Какое есть? Уснул, не раздеваясь, на лавке.

Утром спрашиваю:

— Пап, что в деревне у нас?

— А что?

— Ну, мёртвая она? Никаких признаков жизни. Голосов нет, собак не слышно. Света нет.

— Трансформатор забарахлил, ноне днём обещали дать свет, — отвечает. — Да, чай, ночью спят все. Предупреждение было про электричество. А собак мы постреляли.

— Как так? — опешил я.

— А как у Сидоровых их Пегайа взбесилась, покусала некоторых собак и ребятишек, мы и стрельнули всех. Заодно и кошек.

— И Полкана?

— Она его первого укусила. Куда деваться?.. Врачи из райцентра приезжали. Сегодня, сказывали, снова будут. Мы тебе писали, чтоб пока погодил с приездом. Или не дошло письмо-то?

Сактировали

Промаялся я своё в госпитале.

Подошёл срок, когда надо решать, что со мной делать.

А у меня, кроме ранений рук и ног, лёгкие никудышные. Когда сбили поздней осенью, самолёт упал в болото. Долго выходил к своим по холодной воде...

Про таких, кому осталось жить столько, сколько надо времени, чтобы доехать домой на собственные похороны, мы промеж себя говорили: «подлежит актированию».

Вот и мне выправили бумажки. И поехал я домой на Волгу. Война только что закончилась. Радость какая! А я еду умирать. И знаю об этом.

В вагоне духота, курят. К окну ближе не прорвёшься. Подступила дикая тошнота. Теряя сознание, выбрался в тамбур. Пошла

сильная рвота. Отхаркивался окровавленными шмотками. Мне кажется, из меня вышла половина моих гнилых лёгких. Не знаю, как это может быть и что из меня летело...

Но только наступило облегчение.

...Не сразу я начал дома выправляться.

Какой на дворе год наступил?

Даже не верится. Мне девяносто! Тогда в госпитале рановато меня сактировали! Как говорил наш ротный старшина: «раз на раз не приходится».

Киномеханик Гниломёдов

Когда я вошёл в уютный небольшой дворик своего нового знакомого Николая Петровича, хозяин его, подставив под голубенький дребезжащий ручной мойник у крыльца седую со всклокоченными волосами голову, ловил последние струи воды.

Ещё и не полдень, а солнце нещадно палит. Духота неимоверная.

Кто жил в степных наших заволжских местах, знает, что это такое...

Поздоровкались.

В разговоре Николай Петрович не утомим. Я не удивился, что он с ходу продолжил наш с ним вчерашний диалог.

Ему, кажется, и духота не помеха.

Промокая лицо коротким цветным утирником, излагает свои мысли довольно ясно. Многое в его рассуждениях не ново. Но я не могу уйти от прямого смысла его слов. Не тороплюсь даже мысленно упрекнуть в банальности. Ловлю обжигающую суть сказанного.

Если говорит так, значит, пришло время. Голос его негромок:

— Столько жизней повидал, понаблюдал на своём веку. И в кино, пока кинемехаником работаю в клубе, и так... Жизнь — как заряженная киноплёнкой бобина. Вначале, когда она едва початая, мы торопим её. Хотим, чтобы крутилась быстрее. Скачут кадры, как в детстве золотые денёчки... Потом разгон берёт она сама. Плавно, кажется, бесконечно так будет. Мелькают лица, города, годы, много чего...

...Вращаясь, бобина, кажется, убывает незаметно, однако ж со второй половины уже не удержишь... Потом стремительно! Пока на экране не появится: «Конец».

И тут уж всё: освобождай места для другого кина! Захлопают сиденья, зашаркают ноги... На выход!..

Он глянул из-под ломких бровей на меня взглядом чистым и ясным. Только-то и сказал спокойно:

— И я вот приготовился... да что уж?.. готов... на выход!..

Я было хотел возразить, уйти от такого разговора, когда сразу и обо всём. Приехал-то я на две недели в село с одной целью. Для задуманной документальной повести добрать недостающих подробностей, освежить полузабытое. А тут...

При первом знакомстве подарил я ему свою книжечку с короткими рассказами. И попал на эти вот разговоры.

«Надо терпеть, — думаю, — так бывает при первом знакомстве. Потом уравнивается».

...На фоне обветшалого белесого штакетника, висевшего наискосок от сеней до сарайчика серого постельного белья, показался он мне на миг древним греческим мыслителем. Холодноватого-гипсовым и сучноватым...

«Не так начинается день у меня, — досадовал я мысленно, — лучше бы пройти потихоньку мимо ворот его и — на Самарку! Окунуться в прохладную водицу...»

Но уйти от разговора почему-то не решаюсь. Ведёт хозяин меня тихим голосом за собой, как бычка на верёвочке.

Мы переместились уже в сени. Уселись за стол. Хозяйка принесла чайник и большие жёлтые бокалы.

Наблюдая, как я разливаю чай, Гниломёдов размышляет вслух:

— Это ж надо, ведь всю жизнь крутил в клубе кино! Столько всего пересмотрел. Думал, много так знаю. Книжки мало читал. Хватало экрана. А тут Дуся, сестра, ремонт с ребятами своими затеяла... Ну и привезла целую тележку книг к нам в предбанник.

— Топи! — говорит. Отслужили своё.

А там и Грибоедов, и Тютчев, и Толстой, и Шолохов. Как так можно? Баню книгами топить?!

Начал читать. И голова кругом. Неужда я! Да какой! И сколько таких! Тьма тьмуца! Толчок они мне дали, эти книги из предбанника!

Книга и кино — несравнимые вещи!

Вот возьми Пьера Безухова, Андрея Болконского, которых в кино играют Бондарчук и Тихонов! Я их так всех любил! И героев, и артистов.

Но сделал я для себя открытие: кино в сравнении с книгой — доска! Ведь сколько они, оказывается, о жизни думают и говорят в книгах: Безухов и Болконский! И как думают! Как говорят! А в кино: один процент всего! Остальное — картинки!

Промеж книгой и кино — пропасть! Читать надо было бы с ранних лет! Жалко упущенного...

Сижу, слушаю Николая Петровича и жалею:

«Не мне бы, — думаю, — слышать такое, а нашим с ним внукам, может, отлепились бы от телевизоров, а так...»

А Гниломёдов своё:

— На той неделе поехал в Самару на крытый рынок. Что надо, ничего для меня не нашлось.

А тут иду вдоль стены рынка, с улицы, там, где палатки стоят. Гляжу, в сторонке прямо на асфальте потрёпанный такой мужичок книжки разложил. Торгует. Много так книг у него. Стопками, рядами выложены.

Слева от него лежат солидные тома! Читаю: Токкерей, Диккенс; наши: Ключевский, Тургенев, Юлиан Семёнов... много всякого. Каждая толстая книга пять рублей стоит!

А рядом лежат тоненькие. Но какие! Грибоедов «Горе от ума», Некрасов «Стихотворения», Тютчев «Стихотворения», Крылов «Басни». Эти дешевле: рубль за штуку. Смехота да и только!

— Не стыдно, — говорю, — за такую цену продавать?

— А ты продай дороже! Ухарь нашёлся.

Сморчок такой, а свысока разговаривает. Дело своё знает. Сейчас много разных специалистов развелось.

— Подойди к любой свалке, — продолжает, — там такого товара! И за «так» не надо никому.

И прав он. Я знаю это. А противлюсь своему такому знанию.

Набрал я на полста рублей охапку целую.

«Не в одном нашем селе, — думаю, — такое творится. В городе — то же самое».

А то стыдно было как-то за село. И тут же ужаснулся другой своей мысли: чему радуюсь? Значит, вся страна такая. Это ж куда мы все идём?

Ты-то, Александр, думал об этом?

— Куда от этого деться? Думал, — отвечаю.

— И что?

— Это большая тема. Давайте оставим на завтра, меня, наверное, жена уже разыскивает.

— Тогда на вот, на дорожку. Не торопись. Жена обязана ждать.

И протягивает лист из ученической тетради.

— Что это?

— Стихи. Утром спускался в погреб за молоком, посетило.

— А что? — спрашиваю. — Холодильника в доме нет?

— Есть, но мне сноровистее в погребке. Как слезу туда: красота! Здесь мозги плавятся, а там у меня выше плюс пятнадцати не бывает. Представляешь, как слезу туда, так у меня стихи там рождаются. Народу никого, как в параллельном мире каком. Суеты тоже нет. Я даже часто предлог ищу, чтобы побыть в погребке.

— А свет? — спрашиваю.

— У меня свечка там на бочке в блюдецке стоит. И бумага лежит, и карандаш. Как кабинет! Полсотни стихотворений написал. Полка с книгами образовалась. Мне из погреба видней. Пишу сейчас одну вещь...

Он взглянул на меня оценивающе:

— Сродни шекспировской!

Я взял протянутый листок.

Начал вслух читать стихи:

*В чём наша суть? Куда идём? Я вновь и вновь,
Как юноша, терзаюсь по ночам:
Наш путь по-прежнему не ведом нам.
Слабеет дружба, растворяется любовь...
Что остаётся? Пред дыханьем ядерной зимы,
Пред вечностью? Невольно озираешься: кто мы?*

*Быть может, смысл всему рождается
в космической дали?
Он в пыль стирается в пути.
Его нам не понять с Земли.*

Когда прочёл, он спросил величаво:

— Как?

— Омара Хайяма читали? — спрашиваю.

— Ну вот! И вы туда же! Читал. И Хайяма! И Фета! И причём тут это? Вот! Опять стихами заговорил! Жена талдычит, она бухгалтер. Авторитет в своей конторе: «Гниломёдов, — говорит, — в тебе, как в твоей фамилии, всего намешано. Хватит уж, почудил за жизнь. Теперь это вот! Графоман ведь! Гра-фо-ман! А хочешь в гении?»

Чепуховину городит. Какой гений? Вон она, простая вода в ручкомойнике! Обычная вода! А как она появилась, отчего? Как постарел, так и поглупел. На многое не знаю ответов. Куда ни кинь, во всём тайна! Что такое небо, космос! Всё по воле Создателя? Может! А как возник Создатель? Раньше не задавал таких вопросов. И сходил за умного.

Это ей подруги наговорили про Хайяма, про гения. От невежества. Мне что? Псевдоним, что ли, брат? «Гниломёдов» ей не нравится!

— Но не очень ново, — осторожно пытаюсь вставить слово.

— Не ново! — он по-молодому дёрнулся. — «Не ново», «было!» А где было? С кем? Со мной такое впервые! И опять же, твой Омар Хайям в погребке писал? Нет! То-то! Он учёный был, при царском дворе служил. Киномехаником не был, это — да! Успел опять же раньше нас родиться... и сказать раньше... Мне бы его образование! А! Что бы было?! Я поздно себя открыл! Вот в чём промашка! Можно сказать, не промашка, а драма жизни! Не торопись судить, ещё раз прочитай вдумчиво, дома! Вообрази, что не я это написал. Кто-то другой, незнакомый и далёкий... Дело-то какое? Надо узнать себя, успеть. Сегодня живёшь, а завтра раз — и нет тебя... бобина кончилась...

...Домой я уходил не только с этим стихотворением. Вручил он мне на суд недавно законченную рукопись своей сатирической, как он сказал, повести. Обнаружив тем самым устойчивую заинтересованность в нашем с ним общении.

Задание не из простых, учитывая наши дружеские с ним отношения. Знаю, как непросто делать свои суждения о рукописях близких знакомых.

Вспомнилась его уместка: «Мне из погребка видней».

Ночной рейд

Зачем наговариваешь лишнего? Мол, сатрапы, гаишники эти!.. Есть, конечно! Но и свои они ребята. Как есть свои. Понятные. Вот послушай.

Еду я как-то на своём «жигуле» в первом часу ночи. Тороплюсь! Улица пустынная. Никого. Ни машин, ни людей. Один.

На перекрёстке красный свет загорелся. Ну, что? Глупо время терять!

Проскочил! И только свернул налево: вот они, нарисовались, сатрапы эти. Двое, блин.

Остановили.

Взял старшина мои документы и, не глядя, радостно так:

— Нарушаем!

— Так ночь, — говорю, — глухая. Ни души. Было бы днём, — лепечу своё.

Старшина зычным голосом:

— Правила движения на круглые сутки написаны! Вопросы есть? Ну, какие тут вопросы? Прав старшина.

— Просьба, — говорю, — есть. Отпустите. Первый раз такое. Поспать хотелось успеть. Завтра с утра в смену.

— Первый — не первый, гадать не будем! И штрафовать торопиться не будем! Погодим, раз просишь! Ты вот подбрось нас в отделение. Там видно будет.

Повёз я их. Куда деваться?

Велели подождать малость. И ушли.

Жду. Пока ждал, дал себе зарок: сроду на красный больше не поеду. Урок получил.

Вернулись они. Торопятся. Уже втроём. С капитаном.

Капитан здоровый такой, пухлый. Усики рыженькие на поносящем рыльце. Ну, весь свой, как мой старший дядька Володя. Только тот пониже ростом.

Как я понял из разговора: у них, видишь ли, рейд был по городу.

— Развези, — говорит старшина, — по домам. И будешь свободен. Сам понимаешь: отдохнуть надо, утром — к восьми.

Понимать-то я понимаю, но... Куда, блин, деваться? Повёз.

На первом же перекрёстке красный свет загорелся. Я по тормозам. Стою.

— У тебя что, бензин кончился? — удивился капитан. Голос у него бабий, визгливый. От такого хорошего не жди...

— Но ведь красный горит, — говорю.

— Так третий час ночи! Ни души вокруг! Гони, спать охота... — капитан уже не удивляется. Он гневится!

— А как же правила движения? — говорю. — Они же на круглые сутки!

— Ну и мямля! Не понимает ситуации, — нахмутив белёсые брови, скороговоркой продолжает своё капитан.

И к старшине:

— Где вы такого подцепили? Вечно что-нибудь!.. То понос, то золотуха! Накажу вас обоих!

Я включил скорость.

Приказ

Будто записано где про меня, что живым мне вернуться с войны.

Сколько раз на волоске жизнь моя висела, а вот, поди ж ты, как всё оборачивалось кажный раз.

Вот такой случай был.

Тянули мы связь. Команда, чтоб к девятнадцати ноль-ноль она была. Хоть застрелись! Идёт обстрел со стороны немцев. Наелись мы грязи. Впереди — столбик какой-то, около полуметра, ну чуть поболее. Дальше через полсотни шагов куст темнеет.

Ваня Орешкин не дополз с проводом до того столбика, лежит. Завалился на спину, подвернув под себя ногу. Наповал сразил фриц.

Наш лейтенантик молодой с мелкой такой головой и большим кадыком командует:

— Захаркин, вперед!

Захаркин дополз до облезлого столбика. Да расслабился, приподнялся малость и тут же ткнулся, как котёнок, лицом под этот столбик. Раскинул циркулем в разные стороны длинные ноги.

Лейтенант звонко и неумело выругался.

«Всё, — думаю, — очередь моя. Конец! Лежать мне через пять минут там же... Сейчас этот лейтенантик укажет на меня. Приказ не выполнять нельзя. Расстрел. Это мы уже слышали от него не раз...»

Я сжался весь. Слышу свою фамилию:

— Погудин!.. Совсем оробел?!

Я дёрнулся.

И тут невесть откуда возникает капитан. Раза в два старше нашего решительного командира.

— Отставить, — голос си́лный такой, в глазах дикая тоска. Видать, навоевался уже, насмотрелся.

— Лейтенант, ты что? Сдурел?! — кричит. — Видно же, что снайпер работает! А ты, салага...

— Товарищ капитан! Я не потерплю! При бойцах!.. У меня приказ! Связь должна быть! Погудин, — нервно вскинулся лейтенант, — чего ждёшь?

И схватился за кобуру.

— Отставить, — прохрипел капитан. — Команду повторно давать не буду.

В его руке был пистолет.

— Шлёпну тебя, лейтенант. Как пособника немцев. Как врага народа!

— Что вы несёте? — лейтенант заикался.

— Ты по дури истребляешь личный состав! — жёстко выкрикнул капитан.

Белый кадык лейтенанта заходил под подбородком:

— А что бы вы делали на моём месте? Вчера мы полёвку тащили по земле. А эта связь дивизионная. Я должен протянуть её надёжно. А где тут что взять, вот столбик попался... Кругом топь...

— Бросай провод по земле, вон, по овражку в обход. А ночью вернётесь, если надо, что-нибудь придумаете! Моя батарея рядом тут. Ты понял?

Он развернулся, и мы увидели у него на груди звезду Героя.

Я заметил, как вытянулся во весь рост наш длиннющий худой лейтенант.

...Эдак вот. В тот день и на следующий из нашей команды никто не погиб.

Верните мне мужа...

Сажу в зале ожидания Казанского вокзала. Рядом двое пассажиров ведут неспешный разговор. Вернее тот, который значительно старше, рассказывает, а другой, помоложе, больше слушает. Мы перезнакомились. Я среди них не чужой уже. Рассказал своё, теперь слушаю.

— Начало восьмидесятых годов. Только-только меня назначили директором огромного нефтехимического завода. А мне и сорока ещё нет. Тогда такое нечасто было. Но у меня так сложилось. От слесаря вырос до директора завода. Не миновал ни одной серьёзной должностной ступеньки. В ту пору это очень ценилось. По сути было системой.

Я смотрю на рассказчика, слушаю его глуховатый внушительный голос и проникаюсь доверием к каждому слову. Попутчик его, Серёжа, слушает внимательно. Я понимаю: для него то, что он слышит, необычно. Его не было ещё в то время, о котором речь.

Спрашивает:

— Михаил Алексеевич, если не перескакивали через ступеньки, значит, готовы были руководить? Хоть и молодой?..

— Опыт работы в производстве был, но вот чтобы активно решать судьбы людские... Давай тогда кое-что расскажу, коли интересно.

Чуть помолчав, заговорил раздумчиво:

— Работая техническим специалистом, привык к определённому кругу обязанностей, а тут... размытый, необъятный круг хлопот и забот. Завод — как государство в государстве. Кроме чисто производственной деятельности, двадцати пяти основных цехов,

ещё на балансе около ста пятиквартирных жилых дома, жилищно-коммунальный отдел с численностью в четыреста человек, строительство хозяйственным способом, то есть своими силами, жилья для заводчан по 30-40 квартир в год. Гаражи, дачи, подсобное хозяйство на селе, восемь детских садиков, музыкальная школа, дворец пионеров, профилакторий, туристическая база на Волге — всего сразу не перечесать!..

И не только надо построить, содержать всё это, обеспечивать бесперебойную работу, но и... распределить жильё и услуги так, чтобы не было особых обид... Иначе разбирательство будет неминуемо: либо в профкоме, либо в моём кабинете.

Рассказываю, чтобы у вас, молодняка, хоть какое-то представление было о том времени.

Помню один из первых моих приёмов работников завода по личным вопросам.

Надо ведь, пришёл на приём бригадир слесарей Василий Егорыч Рябинин. А у него ордена за труд. Уважаемый на заводе человек. Я с ним когда-то работал, под его началом в бригаде.

Вопрос ещё тот у бригадира. Рассказывает:

— Когда-то получил квартиру на заводе, трёхкомнатную. Всё было нормально. Но сын женился. Родилась двойня, радости через край.

Пока моя жена была жива, всё как-то по-человечески было. Хоть и две женщины на кухне, а войны не было. Какая война? Всё на себе жена несла, все заботы по готовке, по постирушке. Умерла она. И началось! Дошло до того, что готовить еду стали отдельно. Так сноха захотела. Сам стирать себе начал.

А тут перепутал кастрюли, и сноха отчитала, как школьника.

Рассказывает Василий Егорыч, губы у него дрожат.

— Саш, — говорит он мне, — я ж ничего сделать не в силах. Только ты можешь, завод — то есть.

Шмыгает носом, того гляди расплачется герой труда.

— Дайте мне самую маленькую комнатку где-нибудь, полгода до пенсии осталось. Или даже койку в общежитии — согласен. А то выйду на пенсию — никто мне уже не поможет. Стыдно просить, а куда мне деваться?

Сидим, чешем затылки. Что делать? Нету на поверхности решения вопроса. Ни под какие льготы не подходит бригадир Рябинин. Потому как уже получал в своё время на заводе квартиру.

— Ладно, — говорю, — Василь Егорыч, — дай нам недельки две на проработку вопроса.

Вышел он. Не успели мы вздохнуть свободно, входит бывший диспетчер гаража Мария Василенко. Энергичная, розовощёкая. Моя ровесница, чуть даже помоложе. Села за стол притихшая, непривычно сдержанная.

— Слушаем вас, Мария Петровна, — говорю ей академично. — Что у вас?

— Вот именно, у нас. У нашей семьи!

На глазах её — слёзы. А я слёз не могу видеть, никак...

— Ну что вы, Мария Петровна? Говорите по сути, — голос председателя заводского профсоюзного комитета, кажется, её успокаивает. — Говорите, какая проблема?

— Проблема такая! — нервно произносит Мария Петровна и бухает: — Муж у меня — сволочь!

Воцаряется тишина.

Первым подаёт голос секретарь парткома:

— И что теперь?

— Верните мне мужа!

— Откуда вернуть? — наводит мосты секретарь.

— Оттуда. Он ушёл к другой. К этой, Элеоноре Заплаткиной, заведующей нашей заводской столовой.

Мы невольно с профсоюзным боссом Лидией Петровной переглядываемся. Её кадры столовой. Она в ответе. Такой у нас с ней уговор.

— Ну, если он сволочь, то стоит ли?.. — подаёт голос Лидия Петровна.

Мария её перебивает:

— Вы пока бездетная, а мне как жить одной с двумя погодками? Я их ещё только в детский садик вожу. Детей надо растить, а он!.. Как я одна? Не подниму... Я и в день перевелась работать, убираюсь в гараже, специально из-за них. Ни родителей, ни родственников нет рядом. Мы оба из Ульяновской области приехали. Буду на каждый приём приходиться, пока не вернёте мне мужа!

Рассказчик смолк, а я спросил:

— Вернули?

— Конечно, вернули. Не дали детям бедствовать.

— А как?

— Так! Мало рычагов, что ли? Этот её Виктор в очереди на повышение разряда стоял. А какое ему повышение в таком случае? Второе: Заплаткина ждала расширения своего жилья. Стояла в очереди на получение двухкомнатной. Ну и будет ждать ещё пя-

тилетку, не менее — так ей и сказано было! Я ж говорю: завод был как государство в государстве. Рычагов воздействия хватало!

— Да, своеобразное государство. Не то, что нынешнее, — подал голос Сергей.

— А что? Когда кругом безотцовщина, лучше, что ли?

— Нет, конечно, но...

— Но... Мотай на ус. Без рычагов управления куда приедем?.. Какое-никакое, а оно было, местное самоуправление. И порядок был...

— Да уж, скорее, не самоуправление, а самоуправство, — возражает Сергей.

И тут же получает:

— Да, и это есть, но... Я только говорю, как было. У вас теперь своё...

...Видишь ли, у меня, когда я работал ещё начальником цеха, был заместитель, невзрачный на вид мужичок, а толк в нём был. Когда кто-нибудь начинал на что-то наводить критику, он тихо так и ядовито спрашивал: а сам-то ты что предлагаешь? Где выход? Коль знаешь, скажи, а лучше — сделай!.. Что тебе надо: рукавицы, ключи, калькулятор? А по-теперешнему времени он бы ещё добавил: компьютер?

На, бери и действуй!..

...Объявили посадку на поезд «Москва-Оренбург». Мы попрощались. И они направились на перрон.

Мне было жалко прерванного разговора.

Хотел бы я оказаться попугачиком Михаила Алексеевича.

Чужая жизнь, а будто моя... О многом бы можно было поговорить в дальней дороге. Разбредило.

Я ведь тоже из того времени...

Обида

— За что сидел-то?

Как сказать? Жить хотел.

В сорок седьмом по ночам в очередях за хлебом стояли. Встанешь в четвёртом часу и бежишь в магазин. По полбуханки в одни руки давали. Чтоб поболее взять, приводили с собой ребятишек. На них тоже давали. Некоторых мальцов-то по несколько раз туда-сюда гоняли из конца очереди в голову. Чтоб могли, кто попросит дополнительную порцию, получить.

А всё одно не хватало. Спасать надо детинят!

У меня трое, у Митяя Колобова — двое. Решили мы на току похозяйничать. Знали, как сделать.

Набрали, вернее намели, пшеницы килограммов по двадцать. С пылью вперемешку. Дома, решили, веять будем. Не здесь же! И понесли поклажу в мешках домой.

Ночью по полю идём. А до села около десяти вёрст. Взяли напрямки, без дороги. Непросто получилось по бездорожью-то. Оба задохлецы. Я после ранения на фронте, а он отощал крепко.

Но Митяй помоложе всё-таки. И покрепче. Останавливались через каждые метров сто. Как сползёт мешок у меня с плеч, он вернётся, подмогнёт одной рукой. Другой рукой держит свой мешок.

Умаялся он со мной.

Дошли до его дома. Темно ещё, но уже коровы мычат во дворах. Скоро Захар Чуносый стадо погонит по большой улице.

Поправил напоследок Митяй мне мешок.

— Дойдёшь? — спрашивает.

— Куда деваться, — отвечаю.

И я пошёл. Метров триста надо преодолеть. Здоровый-то был бы, ерунда! А так...

Как сползёт мешок с плеча, я и маюсь. Неспособный сразу поднять.

Приловчился всё же. Располовинил зерно в мешке и меж половинок этих голову просунул. По-пластунски под поклажу эту подлез.

А уже стадо идёт коровье. Светает. Я вдоль порядка хромаю с ворованной пшеницей.

Ну, думаю, ежели застукают, лет десять — не меньше дадут. Что будет с ребятишками? Сам-то ладно.

Последние метры до дома преодолевал на карачках, по-другому сил не было...

Около палисадника потерял сознание. Подобрали меня, да не свои.

Получили мы с Миней по заслугам нашим. Как я и полагал.

На то она и власть.

Отсидели.

Миня с тех пор предателем меня числит. Будто я его сдал.

«Сам попался, зачем других выдавать», — так корил он меня.

Если бы так!..

Из-за его только ребятёнок, чтоб сохранились, не выдал бы.

Ещё в поле кто-то следил за нами, как мы с мешками колтыхались. Это я потом понял.

Сначала Миня перестал со мной знаться, потом вся его родня. Опосля — внуки, хотя уже и не знают, поди, про наши дела... Я как баран клеймённый оказался. Они на меня обижаются, а я на них нет. Хотя и мог бы.

Прапорщик Старостин

Как развалили Советский Союз, служба стала невыносимой. Я тогда в Намангане служил во внутренних войсках. Пошло массовое дезертирство. Ребята из республик говорят:

— Мы присягу России не принимали. Кому служить?

Прямо в «парадке» уезжали по домам.

Докладываю командиру, что у меня уже пятнадцать парадных солдатских форм — некомплект. Он только руками разводит:

— Что я могу сделать? За ребятами родители приезжают. Просят, настаивают, чтоб в парадной. Как-нибудь выкрутимся. Ты вот следи, чтоб автоматы в сохранности были. Форму спишем, во всяком случае возмещать придётся. Но если пропадёт хоть один автомат, лет пять получишь.

Кончилось тем, что написал я рапорт. Психанул. Заклинило. И назад ни шагу!

Куда податься? Поехал туда, откуда призывали. Под Самару. Из родных — только младший брат.

Долго рассказывать, как прилеплялся к новой жизни. Нелегко. Ладно б был один, а то жена. Двое пацанов, дочка. Ещё школьники. Кое-как расселились у брата. А тут повезло с работой, устроился сторожем в бывший совхоз, где занимаются овощами.

Лето. Ящики с помидорами, огурцами под открытым небом, в поле. В первую же неделю — ситуация. Смеркалось уже. И вдруг заурчал уазик. Подъехал к моей будке. Выходят из него трое офицеров. Два старших лейтенанта и капитан. Лётчики! Я сразу-то и не понял, с какой целью этот десант высадился. Форма на них сидит отменно. Молодые все! Загляденье! А лица пасмурные, скучные... Мнутя. Ничего не говорят. Смотрят то на меня, то на ящики с овощами.

— Здравствуйте, отец! — подал голос капитан. Рослый такой симпатяга, глаза голубые, добрые.

— Здорово живёте! — отвечаю. И опять молчим.

В общем, оказалось, что они который месяц без зарплаты.

— Понимаешь, стыдно, отец, ехать домой ни с чем. Дома голодные все. У всех у нас семьи, — мямлит капитан.

Милостыню просят офицеры, а не умеют...

И так мне неловко стало, будто это мои все помидоры и огурцы. Я будто куркуль какой! А они — нищета.

— Да, свой я, — говорю. — Всё понятно, как дважды два. Я полгода только как демобилизовался. Прапорщик. Насмотрелся. А здесь неделю всего работаю.

Лица у всех посветлели. И мне легче.

— Берите, — говорю, — раз такое дело, по ящику огурцов и помидоров на каждого. Чего там!..

Опешили они:

— Не поместятся у нас.

— Поместятся, — говорю, — своя ноша не тянет.

Погрузили, что смогли. Чёрненький старлей опомнился:

— А как же вы?

— А что я? — спрашиваю.

— Ну, начальство накажет! Из-за нас работу можете потерять. Давайте мы вас свяжем. Силой как бы провизию взяли, спросу с вас меньше будет!

— Да ладно! Выкручусь, — говорю. — Связывать ещё. Вы офицеры. Держите марку. А то похоже будет и вправду на грабёж. Вам это надо?

Уехали они. Я нашёл пустые ящики. Кое-откуда переложил, вроде как не придерёшься.

Сошло с рук.

Когда уезжали они, грустно мне стало. Смотрел на них и завидовал. Вот хоть и бедствуют, а летают! Несмотря ни на что! Верят, что поправятся дела. Как без армии?.. Характеры! И молодость! А я? Сковырнулся. Мне уж не под силу такое...

...Они потом ещё два раза приезжали. Последний раз с бутылкой. Добрый народ, свой. Называли наши проделки «операцией «ы».

Поболее полугода прошло.

Поехал я по кой-каким делам в областной центр. Вот, в середине апреля. Иду по Матросова между старых деревянных домов. Смотрю, во дворе в закутке фирмочка «Шиномонтаж». Копошится народ возле тачек. Горячий сезон — меняют зимние шины на летние. Один-то в синем чумазом комбинезоне показался знакомым.

Подошёл.

Ё-моё! Капитан тот самый, симпатяга.

Окликнул я его:

— Женя, неужто ты?!

Я так его раньше не называл. А тут... по-отцовски... От волнения, что ли?

— Владимир Иванович, дорогой!

И обниматься ко мне.

...То да сё... Разговариваем стоим. Рады друг дружке. Как однополчане.

— А небо? — задаю самый главный вопрос. И боюсь ответа.

— Служу, но полётов-то нет совсем, — отвечает. — Горючки нема. Договорился вот с начальством — по вечерам подрабатываю. У меня ж, знаешь, двое пацанов растут.

— Ну, а как старлей Николай? Павел как? — решаюсь спросить, увильнув от выпавшего из рук капитана колеса. — Весёлые ребята!

— Николай? — на посеревшем лице бывшие когда-то голубые глаза отдавали теперь холодной сталью. — Горячая голова Николай, застрелился зимой.

— Как так?

— Просто. Не выдержал.

— А Павел? Он-то?

— С Павлом своя история. Стал пить и дебоширить. С кулаками на командира попёр... Тот, правда, стоил того... Списали от греха подальше Павла. Уехал он к другу в Находку. Пока без семьи. Обещал написать, как приедет. Ни одного письма не было. Я боюсь: доехал ли? Жив ли? Дорога такая длинная. А он не в небе, среди людей! Выдержал ли? Не расшибся бы. В небе проще.

Замолчал.

Поглядел на меня тускло:

— Ты, Владимир Иванович, если что, тачку надо твою посмотреть либо колёса отбалансировать, поменять — пригоняй! Всё без задержки сделаю... в любое время.

— Что балансировать-то? У меня во дворе из механизмов только лопата пока да вилы! Вот у коровы разве дойки отбалансировать? — так отвечаю. — Корову с братом купили в лето. Да тёлочку ещё. Попробуем молоко с творогом на продажу пустить. Кругом же заливные луга! Пойдёт дело — расширяться будем. Такие мои выражи. Пожиже ваших.

...Написал я ему на пачке сигарет свой телефон, на всякий случай.

И как-то быстренько попрощались мы. Даже неловко мне. Потом-то понял, отчего я торопился. Беспомощными нас видеть не мог.

Всех!..

Когда вышел со двора и пошёл вдоль домов, такой гнев нашёл. Сжатые пальцы в кулаках заболели... А позже такое опустошение внутри себя почувствовал. Плохо стало. Чего только не повидал, а тут втихую... в бараний рог нас...

...Горячая волна по рукам и ногам пошла. Она и лишила меня последних сил.

Сел на какую-ту дряхлую скамейку и... не поверишь ли, заплакал... Это я-то? Впервые за последние лет сорок заплакал.

Бомж

Я терпеть не могла бомжей этих. Бры!.. Запах один...

А тут стала бегать к массажистке Верочке. Пока она мою, непонятно по какой причине увеличивающуюся печень поглаживает, разговоры разговариваем.

Толкует мне:

— Нельзя такой резкой быть! «Не терплю, смотреть не могу». Не годится так. Всё, что вокруг нас, всё смысл имеет. Всё имеет право быть...

— Как это? — говорю.

— А так.

И рассказывает мне притчу не притчу, сказочку красивую такую. Она массаж делает по китайским да индийским методикам. Аюрведическим этим. Была и в Китае, и в Индии. Наслушалась там...

Ну вот, по её словам, вроде бы идут двое: учитель и совсем молодой ученик. Учитель весь в белом...

Дело было где-то на Востоке. В Индии или где-то ещё... я не очень вникала в её говорильню. Раз твоё дело, думаю, руками работать — ну так и работай, языком-то чё?

— Ну, идут они, — рассказывает Вера, — а тут бомж в болоте валяется. Грязный, взлохмаченный. Молодой-то сторонкой обходит болото, запачкаться боится. А учитель, который весь в белом, подходит к бомжу, а тот уже еле живой, едва дышит. Мог и захлебнуться.

Берёт учитель его на руки и, весь заляпанный грязью, выносит на сухое место.

— Учитель! — восклицает ученик. — Вы весь в грязи! Разве стоит этот опустившийся человек, чтобы вы так поступали.

— Стоит, — отвечает учитель. — Ибо он, этот несчастный человек, показывает нам: до чего может дойти каждый из нас, если на всё махнуть рукой. Раз это есть — это знак! Не каждому он виден...

Ну, рассказала и рассказала она, Вера, эту историю...

«Руками-то работает, а язык свободен, — думаю. — Пусть забавляется».

...А тут иду дня через три по Садовой. Не иду — бегу! К начальнику с отчётом. Опаздываю. Через газон зелёнький такой прямиком дёрнулась к автобусу. Заскочила. Уж двери закрываются — а тут бомж! Лицо: как жёлтая усохшая тыква, фуфайка не то в мазуте, не то не знай в чём... Пахнет. Я когда бежала, видела его: шёл вдоль газона. Руками, как большими непослушными рачьими клешнями, двери он затормозил с улицы, бормочет:

— Это, пыняешь, смотри что?! — и показывает на мои ноги.

А автобус уже дёрнулся.

Смотрю и глазам не верю. Вся моя левая нога ниже колена обмотана толстенной леской. Ну, вот какими рыбачат мужики. Только уж больно толстая она. И уходит эта леска туда, к газону. Концом-то другим она привязана к низенькой чугунной ограде, через которую я махнула, торопясь к автобусу.

Автобус тормознули, я вышла, стала выпутываться из лески. Представляешь, если б автобус тронулся? Ногу б либо оторвало, либо перерезало. Я же была в автобусе.

То ли ребятишки что мудрили с леской, то ли кто собачку привязывал так. А я, видать, наступила в спутанный этот клубок сама...

Стою одна. И всё не приду в себя, как сообразила, что могло бы быть, если б не этот бомж... Туда-сюда, а его и след простыл...

Посмотри на меня! Я ведь не дура какая! А как это всё понять? Всё одно к одному. И кто меня так пожалел? Рази только бомж один?

Придумал

В армии я начал курить.

Вернулся на гражданку, маме одно огорчение. Так она хотела, чтобы я бросил это дело.

Я и сам был не против. Но как?

Прошло какое-то время. И я придумал!

Дал друзьям своим слово, что бросаю. И если не сдержу, прыгну со второго этажа. На спор! Придумал такое. Зная, что на глазах друзей отступить не решусь. И повеселел.

...Не выдержал, закурил. Пришлось прыгать. Сломал ногу.

Выздоровел, вновь пробовал бросить курить. Даже во сне боролся с собой.

Сплю и вижу сон: курю всюю...

Курю, а сам думаю: надо проснуться быстрее, я же не должен курить!

Проснусь, а во рту тяжёлый запах от курева... Было такое.

...Снова дал слово: брошу, а если нарушу обещание, прыгну уже с третьего этажа.

Так и заявил друзьям своим. Сжёт мосты за спиной.

И бросил! Уже полгода не курю. Третий этаж всё-таки.

Струсил, а не переживаю.

Страховой случай

Поехал я к приятелю в деревню в гости на новенькой своей «Ладе-Калине». И попал в историю.

Выехал с его двора задом и дал резковато влево, а там поодаль торчал остаток от давних футбольных ворот — труба металлическая, чуть не метр высотой.

Когда подъезжал к дому, я её не видел, а тут на выезде нашёл...

Обновил свою покупку: аккуратно так к бамперу приложился. Вмятина получилась ровная. Сделай вторую похожую на другой стороне — можно подумать: дизайн такой...

Расстроился, конечно. Но — сам виноват. Куда и кому пожалуешься?

Приехав домой, на следующий день позвонил страховому агенту. Надо с чего-то начинать.

— Марина (я и имя её помнил ещё, страховал-то две недели назад), Марина, я машину стукнул. Признаюсь: сам виноват. Никого рядом не было.

И далее про бампер и прочее рассказываю ей.

— ГАИ вызывали? — спрашивает.

— Ну, какое ГАИ, — отвечаю, — за сорок километров от райцентра. Да и поздно уже было, десять вечера, а мне до города пилить ещё поболее 100 километров.

— Ну, ничего. Это дело знакомое, — заверяет, — страховой случай. Но нужна справка ГАИ о дорожно-транспортном происшествии.

— Поскольку я сам виноват, — говорю, — сколько фирма компенсирует — и ладно. Может, без ГАИ?

— Нет, так не пойдёт. Это большие мне заморочки. Нужна справка. Сделаем, как надо.

— А как надо?

— Просто. Поставьте свою «Ладу» где-нибудь на улице или во дворе. И вызывайте представителей страховой фирмы и ГАИ. Я их телефоны вам писала, когда договор оформляла. Скажете, что кто-то стукнул, когда вы куда-то уходили... И все дела!

— Марина, ну это ж подлог?

— Какой подлог? Обычная практика. Не вы первый! Договорились? А иначе езжайте в свою деревню эту. С утра ставьте машину, где стукнули её и вызывайте ГАИ. Привозите бумагу.

— Марина, это такая морока!..

— Ну вот, опять двадцать пять! Вы деньги получить хотите?

Я не знал, что отвечать. Она отключила сотовый.

На другой день я снова ей позвонил:

— Марина, я так не могу, я...

— Михал Михальч, ну вы прям чистюля какой-то. С вами пирога не испечёшь... Вот геморрой тоже. Не могу...

Разговор вновь закончился ничем.

У меня в ушах звенел её голос: «...С вами пирога не испечёшь».

...Я решил поставить машину около «Главпродукта», знаешь, за зданием цирка. На ровненькой такой площадочке. Всё чин-чинарём. Бей не хочу! И простор — хоть с разгона тарань...

Машину поставил, а звонить в страховую фирму и ГАИ не то-роплюсь.

Пошёл за чем-то в магазин. Постоял в колбасном отделе. Зашёл тут же в чебуречную. Съел чебурек с рыбой. Что ещё делать? С мясом, что ли, съесть?

Хватит, думаю, тянуть резину. Решаться надо! Собрался с духом и позвонил.

Первыми, через полчаса примерно, приехали двое парней из страхового агентства. Деловые такие. Сосредоточенные. Всё, что надо им, потрогали, посмотрели не раз. Сфотографировали. И стали что-то писать, сидя в машине.

И тут подъехала машина ГАИ.

Шустро так из неё выскочил молоденький лейтенантик и сходу крепко ударил ногой по бамперу в том самом месте, где была эта, будь она неладной, вмятина.

— Кто научил? — спросил резко меня лейтенант.

Я даже сначала не понял вопроса.

Из машины вышел его напарник, капитан. Встал рядом. Лейтенант повторил свой вопрос:

— Кто научил?

— Меня ударили. Вот тут, — мямлил я, — когда...

— Когда? — напирал лейтенант.

— Да вот, пока ходил в колбасный отдел, — продолжал я.

— Если б его ударили здесь, то на асфальте под машиной были бы отлетевшие сухие комки грязи. Их нет! Их нет и внутри на бампере, а то бы они отвалились от удара моей ноги! Мудрецы!

Лейтенант всё это говорил капитану, не обращая на меня никакого внимания. Меня будто и не было. Я ничего не значил для него.

Капитан флегматично молчал.

— Поехали, — махнул рукой лейтенант. — Нам тут нечего делать. И гаишники уехали.

Глядя им вслед, я даже позавидовал лейтенанту: какой молодец, знает своё дело!

— Вот тут надо ознакомиться и расписаться, — подали голос ребята из агентства, сидящие в машине.

Я сел к ним в машину.

— Понимаете, я вовсе... когда...

— Нас это не касается. Наше дело другое...

Я, не глядя, подписал листочки.

— А дальше что? — спросил их.

— Дальше со своим агентом по страховке работайте.

Я вышел из машины. Они уехали.

— И чем всё это закончилось? — спросил я Михаила.

— Чем закончилось? — нервно хохотнул он. — Кто его знает?..

Ещё не закончилось... Сегодня позвонил Марине.

— Приезжайте завтра, я уже в курсе, — отвечает металлическим голосом. — С вами, действительно, каши не сварить. Простое дело, а вы...

Что мне ей отвечать?

У неё то пироги, то каша какая-то...

Нарвался на стряпуху.

Солдат

Помню давний разговор из детства.

Был День Победы. После митинга на сельской площади около школы народ стал расходиться по домам. Зот Иванович зашёл к нам, узнав от своей дочки Веры — моей одноклассницы, что у меня есть книга Сергея Смирнова «Брестская крепость». Я книгу ему дал.

— Не задержу долго, — говорил Дзот Иванович, так его называли у нас в селе, — я быстро читаю. Интересно! Я бывал в тех краях. Довелось.

Он сидел в нашей горнице. Огромный и внушительный. От его наград на широченной груди было празднично и торжественно. Частица великой Победы перенеслась в нашу избу. У моего отца боевых наград не было.

— Скажи, Зот, как так могло получиться? Только без обиды. Ты же с первого дня войны должен бы переметнуться к немцам? — спросил мой отец.

— Почему так? — спокойно спросил Зот.

— Ну, как! Отбыл срок как кулак в Сибири, не знай за что. Только вернулся и — на фронт. Со всеми.

— И что же?

— Что же? Два ордена Славы, медалей сколько. За что получил? За что воевал?

— Как за что? За нас с вами воевал. Куда я должен был переметнуться? Куда бежать? Здесь мои дети. За огородом под крестами дед лежит, мать. А там что? Куда ты мне указываешь?..

— Ну как что? — не сразу нашёлся мой отец.

— Там для меня пустота, — чеканно ответил наш гость.

У Зота не было законченного среднего образования. И не был он ни на фронте, ни после политработником, куда ему?..

Был он русским человеком, вынужденно ставшим в суровое время солдатом. И по-крестьянски исполнившим с тихим мужеством свой долг. Как необходимую работу.

Так я сейчас мыслю. А тогда: эта ссылка его в Сибирь и фронтовые боевые награды?.. Они долго не давали мне успокоиться.

Не сходились концы с концами...

Случай с механиком Кудашовым

Семидесятые годы.

Перестройки и не видать ещё, а тоже чудес хватало.

Я тогда механиком в колхозе работал. Маялись мы от нехватки запчастей. Второй день, как собачонка, бегаю в областном центре. Толку никакого. Ноль — результат! Ни ремней, ни подшипников.

И вот иду по Молодогвардейской, понурый. Поднимаю голову — как наваждение какое: идёт навстречу старший лейтенант автомобильных войск. А я служил в таких. Знаю, как их снабжают. Сам не знаю, как так получилось, руку к виску:

— Разрешите обратиться, товарищ командир?

Смотрит он на меня насмешливо.

— Слушаю, — говорит.

— Извините, — говорю, — вы откуда родом? Из села или как?

— Зачем вам знать?

— Надо! — говорю. А сам чувствую, как чудно я выгляжу с вопросами своими. Но меня несёт, подталкивает безнадёга...

— Надо категорически! — повторяю.

— Ну, раз надо! Сельский, — говорит, — я. Кулешовский. Мать дояркой была, отец — трактористом.

Я аж подпрыгнул на асфальте от таких обстоятельств.

— Вопросы ещё есть? — спрашивает.

— Один, — говорю, — остался. Но самый главный. И вы должны меня понять!

Ну и выложил я ему свои заботы.

Он стоит, молчит. Смотрит внимательно.

— Вы должны понять! Загубим урожай! Нечем убирать. Рапорта требуют, а нечем убирать, — почти кричу уже. Одно и то же.

Прохожие оборачиваются на мой крик.

— Что народ пугаешь? — говорит лейтенант. — Пойдём со мной. Время есть?

— Да рази тут вопрос в этом? Мне нельзя домой без запчастей возвращаться!

— Понял, — говорит служивый. — У меня отец такой был.

Прибыли мы в часть. У меня голова кругом. Оказался он начальником склада автозапчастей. Иду меж стеллажей, глаза того гляди из орбит вылетят. Такого я не ожидал.

Начал я бегать туда-сюда: это есть, это есть!.. И это есть!.. Рехнуться можно!

— Ты вот что, — говорит Юрий Иванович, так звать лейтенанта, — успокойся. Побереги себя! Говори, что тебе надо. Конкретно, по пунктам.

Я достаю свою портянку с перечнем. Чудеса! Всё, что надо, есть!

У меня с собой чековая книжка была. Отобрали, отложили.

Озираюсь. Не верится, что всё целое будет, дождётся меня...

Успокоился только на второй день, когда забрал всё и помчал в своё Виловатое.

Вспоминал вслух сказки...

Мой дед Михаил так рассказывал про войну:

— Вошли в деревню, а её только что немцы разбомбили. Ни единого дома целого не осталось. Всё сгорело. Обошли — ни одной живой души.

...А тут на отшибе, ближе к овражку, банька стоит, целёхонькая. Саня заскочил в неё и кричит из предбанника:

— Ребя, вода ещё теплая в бочке. И кусок мыла!

Мы оживились. Надо же! И колодец близёхонько. Воду разбавить... подогреть можно... Решили мы тормознуться. «Догоним своих, — думали, — делов-то на полчаса».

Об этом мало как-то теперь говорят, но на передовой вошь после германца — враг номер один была. Иные расчёсывали себя до крови.

Набрали мы деревяшек, подтопили баньку.

Дым столбом из трубы. Как пароход наша банька!

Разделись, вчетвером толпимся голяком. Кто в баньке, кто в предбанничке.

А тут гул над головами.

Саня уже с полатей крикнул мне:

— Вась, глянь, наши, что ли? Уже пошли на подмогу?

Выскочил я наружу в чём мать родила. А он, зверина, прямо на нас напрямиком прёт. Фашист! Заорал я, ещё не поняв до конца, что может случиться:

— Немцы!

Не знаю, услышали мой крик в баньке, не ли? Неведомо мне. Взрывной волной отбросило меня к колодцу, ударило головой о срубовину. Сколько пролежал без сознания, трудно сказать.

Очнулся. От баньки и от ребят одни куски вокруг бесформенные. Как я с ума не сошёл — не знаю.

Что мог, собрал. Прикопал в воронке... А сам мычу, речь пропала...

Метнулся догонять своих в чём мать родила.

Зелень ел разную. Нарвал лопухов и вязовой корой навязал их к поясу. Прикрылся так, но это потом.

Несколько раз терял сознание. Ударился-то я крепко головой.

Почему-то боялся, что потеряю сознание надолго и не смогу говорить вообще. Тогда уж конец. А так верил, что доберусь до своих. Говорил вслух, чтоб удержать память и речь. Когда детские стишки, которые знал, все рассказал, стал вспоминать вслух сказки...

...Не пропал всё-таки. На третьи сутки подобрали.

Допросили. Поверили. И роту потом я свою отыскал.

Долги наши

Как же ты живёшь на одну пенсию? Говоришь: болячки-то не дают уже работать.

— Как-как? А как издавна повелось. По присказке, чай, слышал...

— Какой присказке?

— Какой? Такой! «Живу: долги возвращаю, сам живу. Да в долг ещё даю».

— Как это?

— А так вот. Родителям помогаю — это возврат долгов, себе оставляю, да детям, которые без работы остались. Даю. Авось когда вернут.

— Какая ж у тебя пенсия?

— А какая б ни была! По-другому как? Конешна, на своих сотках, как могу, корячусь. Может, ты придумал что-то новое?

Партизанка

Старая уже совсем. Лицо морщинистое, фигурка щупленькая. В чём душа держится, а голос не постарел. Или, вернее сказать, далеко отстал от общего дряхления его хозяйки.

Сидит на приёме к врачу, а не похоже. Будто зашла к подружкам, соскучилась...

Только хихиканье в очереди притихло, она заговорила вновь. И так легко, доверительно:

— Вот, говорят, при Советской власти у нас секса не было. Неправда всё это. Иначе б вымерли давно все...

Был секс! Но какой?!

Все строили коммунизм. Когда? Всеобщий напряг! Кино, радио, газеты не отвлекали от главного, от этого всеобщего строительства. Наоборот, совсем наоборот. Везде призыв — только вперёд!

А мы совестливые! Неудобно было, чтоб, когда все строят! Притом круглые сутки! По вахтам, по сменам... Как же в рабочее-то время? Это сейчас, когда ничего не строим, можно... Но... Всё позволено... И... неинтересно...

В Германии легализовали проституцию... В Норвегии?! Скукота! Прелесть пропала, игры нет... больше бизнеса... Никуда не годится!.. А мы партизанили молча, втихую... В этом, знаете ли, было даже что-то такое-эдакое... — она неопределённо повертела растопыренными пальчиками перед своим лицом.

Слушающие её очердники на приём к врачу каждый по-своему реагирует на такие слова: кто со снисходительной улыбкой, кто с удивлением, кто как...

Её не устраивает такой разницей!

Она, кажется, искренне удивляется непониманию очевидного:

— Никакая я не чумовая, со всеми вместе была, но... И никакого у меня в голове нет ералаша. В здравом уме я... Скажете, не так было? И я вот перед вами! Живой свидетель! Партизанили. Неистребимо и повсеместно...

И не поймёшь, придуривается она либо нет? И зачем ей это надо? Сама толком, очевидно, не знает...

Что-то ещё, видно, осталось в ней оттуда, из молодости, такое и не даёт смириться ей до сих пор со старостью, с унылостью...

Этим её желанием прогнать унылость и оправдываю старушку.

...Слушаю «живую свидетельницу» и невольно думаю: посмотреть бы на неё молодую. Интересно, всё-таки какая она тогда была?..

Книгочей

— Вот возьми любое предприятие, любой заводик! Ни то, ни другое не может работать без технического паспорта.

Прежде чем пустить завод в работу, дать ему жизнь, должен быть составлен этот самый паспорт. А в нём указано, для чего создано это предприятие. По какой технологии оно будет работать. Какое опять же сырьё, реагенты потреблять будет. Какие отходы? Вред от него какой? Огромная предпроектная подготовка идёт! Экспертиза.

...И если паспорт не согласован с органами охраны окружающей среды, то предприятие нельзя запускать в работу.

Говоривший эти слова, сухопарый, с аккуратной седой бородкой, нездешнего вида человек, на минуту замолчал. Распорядительная заведующая библиотекой Софья Яковлевна, пользуясь паузой, просительным тоном произнесла:

— Василий Василыч! У нас не производственное совещание, мы о литературе собрались поговорить.

— А я о чём? Софья Яковлевна?! Сами же говорили, нужна дискуссия, чтоб не сидели как воды в рот... Раскачать надо! Такая установка? А у меня как раз вопросы есть!

— Но вы ж про заводы опять свои?! Вчера отцу моему толковали про них...

— Это для разгону. Подожди! Не гони! В отца пошла. Тот то-ропыжка... Я говорю специально так, чтоб нагляднее было.

Теперь вопрос, раз подгоняешь: а у нас дела как обстоят? У че-ловеков? Говори! Молчишь! Плохо дела обстоят! Никакого поряд-ка. Самогёт! Бюрократизм чистой воды. Как рождаются заводы, теперь немножко знаем. А вот родился человечек?! Ему в свиде-тельство о рождении дату появления на свет — хлоп! Имя, отчет-ство зафиксировали, и... живи! А для чего ты появился на свет, с какой целью? По каким законам должен жить? Чего не должен переступить в настоящем? И в последующем? Кто это сказать или записать должен? Некому! Тебе вот, Софьюшка, много ли об этом говорили? Гонишь... Тоже мне...

— Ты больно глубоко это! Иль высоко берёшь, Василий! Вос-парил, — не выдержал грузный белоголовый Иващенко. — По-жалей мово бывшего соседа, — он кивнул на меня. — У него и отец дельный мужик был. А вот теперь сын выбился в писатели. Дай ему сказать.

— Дак он должен говорить о том, что вот, к примеру, меня ин-тересует на данном этапе. Направление надо дать.

— Ты с какого-то этапа сбежал что ли? Вроде давно уж у нас?! — попытался пошутить Иващенко.

— Поболее пяти лет как приехал. Но я тридцать лет после тех-никума на заводе проработал. Считаю, всю жизнь! Технарь. Мно-гое знал. А как на пенсию вышел, перебрался в деревню — стал размышлять кое о чём: иная жизнь открылась. Через литературу в том числе.

Он неожиданно, взыскующе глянув на меня, спросил:

— У вас есть, товарищ писатель, какие свои мысли на затро-нутую мной тему? Книжки пишете, а сами определились в этих вопросах?

Я не успел ничего ответить, «на выручку» мне поспешил тот же Иващенко:

— Василий, знаем мы тебя. Хватит форсить перед писателем! Он наш, а ты, между прочим, пришлый!..

— Иван Иваныч, пусть говорит, — повернулся я к Иващен-кову, — мне интересно. И даже очень!

— Вишь, вот товарищу интересно. И мне тоже!.. Я первый раз живого писателя так вот вижу, разговариваю с ним. Есть резон по-расспрашивать.

— Ты не с ним разговариваешь — сам с собой, — пробубнил уже примирительно Иван Иващенко.

Василий его уже не слушал. Его, очевидно, взбудрило моё одобрение. Он продолжал:

— Писателей назвали в своё время инженерами человеческих душ! Много ли литература сконструировала стоящих человеческих душ? И что получилось? Изъянов сколько внесла? Придумывают наперегонки жизнь.

Говоривший стрельнул не по возрасту живо глазами на сидящих в зальчике. Все молчали. Это ему понравилось. Он поднял большой палец над головой и торжественно выдал:

— «Соври, но так, чтобы красиво было», — кому это на пользу?! И каждый среди писателей друг перед другом. Кто первой и главней! Кто ведущий, кто уже при жизни классик? Кто в первом ряду, а кто поодаль? От тщеславия здесь много, от гордыни за себя великого... Особенно промеж поэтов...

Энергия заблуждения — с ней так много можно наворочать! Аховое дело! Об этом думают писатели? — он глянул на меня с укоризной, как на малолетку.

Я слушаю, притихнув. Не тороплюсь отвечать говорящему, пока мой ответ не требуется. Этот Василь Василич мне сейчас напоминает одного из героев Шукшина, и не одного, пожалуй... И потом, сам я просил Софью Петровну, чтобы публика была на встрече читающей. Вот и получил.

— Василь Василич, как-то у тебя всё в общем. Нужны конкретные вопросы. Мы их и обсудим, — пытается всё же управлять ситуацией Софья Петровна.

— А у меня все мои мысли из конкретных вопросов и проистекают, — непотопляемо парирует выступающий. — Я вот взрослый давно, а до сих пор, к примеру, не пойму, за что Тургенев заставил Герасима утопить Муму? За какие такие великие проступки? Никто во дворе, и даже барыня, Герасиму этого не приказывали. Верно? Все ж помните про Муму?..

Надо было автору показать тёмную душу народа, его непредсказуемость — вот и придумал классик такое! Как же: антикрепостник! Я родился в деревне и долго в ней жил. Много кой-чего повидал. Но таких как Герасим? Не было таких у нас! Не топили животину, вот так, с досады. Либо с чего ещё...

— Василич, ну дали тебе простор в разговоре. Ты хоть уважаемого всеми писателя Тургенева не трогай. Раздухарился, — это подал вновь голос из своего дальнего угла Иващенко.

— Ладно, не будем о Тургеневе, — согласился выступающий, — он гений! Тогда вот «Матрёнин двор» писателя Солже-

нищина. Классик — не классик? Пока не определили. Но величина!..

И слова-то у него Матрёна вымолвить не может, мычит, как у Тургенева Герасим. Таков народ русский у наших писателей. Ладно: первый барин. Это я про Тургенева. Приехал из Баден-Бадена, уехал в Баден-Баден... Но Солженицын-то: учитель. Говорят, теперь его в школе изучают?

Вот так и учили нас сотни лет. И поболее... Вдалбливали, что народ наш тёмный, непредсказуемый. Не ведает, что творит. Учили так с детства. Что этим достичь хотели?

Говоривший, увлечшись, вышел к столу, начал ходить вдоль него. Вид его был суров.

— А кто же тогда наши талантливые народные сказки сочинил? Кто придумал столько поговорок и пословиц? Глухонемые? Даль два тома поговорок насобирал. У него мать была немка, а отец, кажется, датчанин! Каково?! А мы своё не помним!

Говори тебе многократно, что ты свинья, пожалуй, захрюкаешь!.. Обвиняют тебя постоянно в тёмных грехах и во всяком таком прочем, обрезом-то и саданёшь помимо своей воли.

— Ты вот, Димитрий, — обратился он к сидящему в первом ряду человеку в ладной лоснящейся кожанке, — ты читал «Тупейного художника» Лескова Николая Степановича? Почитай! Не всё около тележника киснуть вечерами. Вот кто антикрепостник! Лесков!

Почему нам в школе про одного говорили, а про другого, который правдивее сказал, ни слова? А? Неправильно это! Не шикайте на меня, знаю, что говорю. Десятый год на пенсии. Погрузился в литературу по уши. Мои университеты!.. И хочу к жизни нормальной воротиться опять, а никак уже. Гляжу на всё глазами оттуда, из литературы...

Молчавшая всё это время тётка Даша тоже сказала своё слово:

— Тебе б надо пенсию не по выработке вредного стажа дать в пятьдесят лет, а сызмальства. Тогда б разгону для твоей головы больше стало. А то от вредности заводской места в ней больно, видать, мало осталось. Много впихнул в себя, всё и перемешалось. Не устоялось. Будоражит тебя.

— Может быть. Всё может быть, — согласился, лишь только б не мешали говорить Василий Васильевич.

Я слушал, оторопел. Я не ожидал услышать такое в сельской библиотеке. Невольно смотрел в зал. Много таких ещё?

...Он было сел уже, но стремительно вновь встал, схватившись рукой за поясницу. Поморщился от боли.

— Я вот забыл было совсем. А подготовил ведь! Послушайте!

Вынул из нагрудного кармана рубашки четвертушку бумаги, расправил. И, водрузив на переносицу подрагивающей рукой массивные очки, начал читать:

*От ликующих, праздноболтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!*

— Вот! — он поднял глаза на присутствующих. Лицо его сделалось молодым. — совсем было я забыл о Некрасове! Задвинули сейчас его куда-то? Забыли!

— Не забыли, Василий, — пробасил старик в телогрейке. — Как же? Помним: «В лесу раздавался топор дровосека...»

— Смеёшься, — гневно отреагировал Василий Васильевич, — а он всех ближе был к народу. Голосом народа, его душой говорил. Немым народ не делал! Злобным — тоже! Совсем даже наоборот!.. В наше время такого бы нам человека! А то пишут каждый о себе. Себя нянчат. И скулят при этом. О народе забыли.

А если даже и вспомнят, то: народ сам по себе, автор сам по себе. В сторонке. Какое уж там сочувствие. Сострадание?.. Где оно?

Писателю надо больше сердце иметь, чтобы вмещало всю боль народную, а так...

Тех, кто вредоносно бумагу марают, надо вызывать на люди, на лобное место, чтоб отвечали за своё слово. Но откуда взяться такому, если каждый из нас мельчает?! Поднапишет, денжат раздобудет — и в тираж! Самодеятельность какая?!

Он замолчал. Пристально, сняв очки, посмотрел на меня. Неожиданно по-детски улыбнулся, впервые за всё время. Прижав пятерню левой руки к груди, как-то даже театралью, видимо, от избытка чувств, произнёс:

— Я, конечно, ваших книг не читал. Взял из библиотеки, а не успел до нашей встречи.

— И хорошо, что не успел, — взглянув на меня, задорно выкрикнул Иващенко, — а то бы досталось. Раз уж Тургенева не пожалел! Костерил прошлый раз его за Муму. Мол, ни за что утопил...

И тут же получил ответ:

— Раз писатели говорят нам, что литература должна нести правду, то и читатели должны делать то же самое! Верно говорю? — подвижные густые его брови, отяжеляющие некрупное лицо, полезли наверх.

— Верно-то верно, — не хотел сдаваться Иващенко. — Только вот ты обещал прийти на подмогу, а не пришёл? Мы два дня восстанавливали завалившийся туалет. Библиотека без туалета? Это как? Говорить-то оно, конечно...

— Ну что ты говоришь? — в сердцах отозвался Василий Васильевич, — я неделю лежал. Радикулит свалил, а ты... Пришёл по просьбе сегодня. Я и сейчас не знаю, поднимусь ли завтра после этого...

Встала Софья Яковлевна и торжественным голосом, поверив, что Василий Васильевич на какое-то время выдохся, отчеканила:

— Дорогой наш Василий Васильевич, спасибо за содержательную лекцию. Это так неожиданно. А теперь, товарищи читатели, давайте представим слово нашему земляку писателю. И продолжим начатый уважаемым Василь Василычем такой серьёзный и необходимый разговор. Так же прямодушно, невзирая на лица!

Я встал и пошёл на «лобное место» — к столу, покрытому старым красным сукном.

Хоромины

Из наших-то никто в начальниках никогда не был. Разве вот я! Третий год начальствую, над коровами. В подчинении десять голов, наших, суходольских. Ничего, справляюсь. Тоже свой подход нужен к каждой. Иная блудница похуже человека...

Мы стоим в тени огромных осин. Жара под тридцать, а около воды да под укрытием отчего не поговорить. Тем более около недели не был на косе, не видел Владимира. И чувствую, рад он встрече нашей:

— Косил я все три последних дня в дальнем конце луговины, старший мой, Василий, вместо меня ходил за стадом.

Чтоб поддержать разговор, намеренно сомневаюсь:

— Так уж никто в начальниках и не был? Ни в одном поколении?

Посмотрел внимательно, будто соображал: всерьёз ли спрашиваю? Глаза на загоревшем до черноты лице зоркие, смотрят, не мигая, в упор:

— Соврал малость. Дед мой Влас Хоромин был начальником. Один день.

— Как это?

— Просто. Отец рассказывал.

Назначили деда моего, Власа, значит, завхозом в колхозе. Ну или избрали, а потом утвердили на правлении. Не знаю, как там у них в ту пору было. Начальником стал Влас Хоромин.

И вот идёт он в свой переулок, а навстречу ему одногодок его, с которым вместе воевали, Парфён. Хромает вдоль плетня.

— Ты чего, Парфён, у нас тут?

— Да, — отвечает, — ищу чего-нибудь. Вот повезло, в нашем конце ничего нет. А тут...

Глядит дед на дружка своего, а у него в руках пучёк лебеды.

У нас в то время говорили так: голод — это когда вообще нечего есть, а если можно лебеду раздобыть — это недоедание.

— Галю мою, помнишь, которая с твоим Петрухой в один день родилась, помнишь? Мы всё радовались: жених и невеста! — говорит Парфён.

— Как же не помню? Скажет тоже...

— Пухнет она от голоду, совсем ослабела, — молвит так Парфён, а сам за плетень держится. На ногах еле стоит, обессилел совсем.

Встрепенулся дед мой Влас:

— Туды-растуды! Давай я тебе четыре фунта пшена выпишу!

— Это как же? — вяло удивился Парфён.

— А так, у нас в колхозе припасено пшено, чтоб кормить мужиков, которые на уборке урожая будут работать. На стане каше-варить.

— А можно так? Пшено-то на дело? И как это ты выпишешь?

— Со вчерашнего дня я завхозом стал. Имею право выписывать.

— За так просто? — засомневался Парфён.

— Не за так! Трудодни ставят за работу, а потом в конце выдают на них что уродится. А тут наоборот: выдам, а потом отработаешь. Трудодень наоборот.

— А если я помру, к примеру? — спросил Парфён. — Вон Авдей. Тощий стал, иные пухнут, а он как доска. Как сидел на лавке, так и помер. Сидит, к плетню прислонившись, а не живой. Я уж такой почти, как Авдей.

— Молчи, тебе что наш председатель не раз говорил? Много лишних вопросов задаёшь. Понял? Помрёшь — другой разговор. Давай возвратиться в контору.

...Выписал Влас сколько сказал пшена, и пошёл Парфён вдоль всего длинного порядка к себе домой. Пока шёл, простодушно всем рассказывал что да как с пшеном-то.

И повалил народишко в контору к моему деду Власу. А предсе-

датель-то где-то был на стороне в это время. Выдавал Влас пшено не просто так, а по своему порядку. Под расписку, чтоб потом, когда надо, каждый отработал своё. И заструился из труб над домами дымок, оживились они.

...Сняли колхозного завхоза с такой серьёзной должности на другой же день. Не подошёл характером.

Все до сих пор такие Хоромины — слабохарактерные. Живут только своим делом, своими руками. Перестройка их не покалечила. Домишки у всех не ахти какие, не под железом и цвета шоколада, но крепенькие. Не в шоколаде живём, как некоторые особо шустрые...

...Доставшаяся дедова фамилия мне как добрая грамота. Помнит народ до сих пор про то пшено. Помнят деда. И меня заодно почитают.

Не все, конечно... Есть которые ухмыляются при встрече.

Грех

Мама моя молилась каждый день. И утром, и вечером. А я комсомолец! Сколько же, думаю, надо нагрешить, чтобы так молиться?

А когда маму мы схоронили, Захар Ребров остался после поминок во дворе, не уходит. Недолюбливал я его. Молчаливый такой. Всё что-то думает про своё, не со всеми...

Подсел ко мне. Сказал, не поднимая головы:

— Мать у тебя, Володя, святая была!

Я молчу, не знаю, в какую сторону разговор идёт. А он:

— В сорок седьмом увели мы с Фёдором Зуевым корову из «Заготскота». Контора такая за селом была.

Знали, что если попадёмся, двадцатник на двоих дадут точно. А что делать? У него трое ребятишек, у нас с Тоней — двое. Есть нечего. У меня руки вот нет. У него — одна нога. Заместо другой — деревяшка. Зато у каждого по ордену и медали там...

Животину надо расхетать. А где? И надо ведь, чтоб без чужого глаза! Решили всё это дело свершить у вас в подвале. Он большой. И дверь в него какая надо. У вас там кизяк хранился.

Пришли к Анне поздним вечером. Изложили задачу. Анна нам:

— Нет! И всё тут! Мужа посадили за два кармана пшеницы. Год уж как писем нет. А тут: корова!

Фёдор убеждает:

— Да пойми ты! У тебя Володька уже дистрофик, сама харкаешь кровью. Загнётеесь за зиму. Откуда помощь ждать? Мы тебя отблагодарим.

— И меня вместе с вами посадят, — отвечает, — как соучастницу. Лучше будет? Нашлись помощники! Век чужого не брала. Муж вот один раз попробовал...

— Ты пожалей и нас, — говорю ей. — Лучшего места, чем ваш подвал нет. А так? Попадёмся мы...

— У своих же украли, корова-то колхозная, — не сдаётся Анна, — грех-то какой!

— Нет, — говорит Фёдор, — гурт откель-то издалёка гонят.

Пожалела Анна нас.

...Управились мы с коровой в подвале под самое утро. Отходы и шкуру от беды подальше закопали в подвале. Выровняли пол. Выложили кизяк рядами, как было. Сошло.

Как-никак перезимовали мы. И ты вместе с нами. А так ещё неизвестно, был бы ты жив?..

С той зимы сильно набожной стала Анна. Виноватой больно себя чувствовала. И то, что отец твой не вернулся, считала карой за свой грех. Обходила меня при встрече стороной.

О себе не буду говорить, со мной всё ясно. Одно, может, оправдание моей жизни — сын Алёшка. Стал он главным инженером авиационного завода. Откуда у него что взялось?.. У нас-то с Марьей три класса на двоих, а тут... аэропланы!..

Бричка

Свекровь моя, царство ей небесное! Уж какая она голубка была, как она наших деток выхаживала!..

А то же вот... возраст наступил... за девяносто перевалило — сама как дитё малое стала. Втемяшилось в её голову, что надо вернуться ей домой, в деревню под Воронежем...

«Это что же? Я на могилке мамы и папы более десяти лет не была? Уехали мы, и всё как будто! Так и надо? А они там одни. Родни в живых никого».

...Каждый день сбивается на один и тот же разговор.

— У нас тут, слава богу, все одеты и обуты. Сыты. А они там заброшены...

...А тут мы пошли всей семьёй на кладбище, на родительские. У мово Володи все в одном краю лежат, под сиренью. Она у неухоженных могилочек остановится и в который уже раз:

— Наверно, детки их померли. Если б живыми были, рази б допустили такое? И крест скособочился, и лебеда эта...

Стоит и плачет, за всех одна. Зовём её — она не торопится. А рази слёз на всех хватит?

Сама не своя стала она после того похода. Задумчивая. И каждый день глаза на мокром месте. Всё продолжала сокрушаться:

— Как жеть так? Жили-жили родители. Жизнь свою положили на деток своих, а им некогда на могилки заглянуть? Ну, ладно, померли дети. Если эдак? Никого нет. Но это ж не всегда так? Кряду, одна к другой заброшены...

— Мама! Да не суди ты других! — говорю.

А она:

— И я вот? Живая! А что же родители мои лежат без заботы?

Приутихла вроде бы со своими причитаниями на несколько дней. Мы вздохнули свободнее. А тут — на тебе! Собрала огромный куль своего добра. И объявила нам:

— Всё! Уезжаю я в родные места. Одна. Вас не дождёшься.

— Мам, — говорю, — ну как же ты? До Воронежа дорога — не на зады сходить! Одна-то?

А она мне своё, не придумаешь такое:

— За мной бричка приедет! Знаешь, как красиво нас с подружкой моей сердечной Дашей, бывальчя, мой отец на бричке катал! Когда нам годков по десять было! С ветерком! По полевой дороге! Вокруг пшеничка золотая, а мы летим! Папаня молодой! И весёлый! И мы рядом хохотушки, обе-две! Как вспомню, и сейчас сердце заходится! Только вот не пропустить, когда бричка подъедет. Подмогните мне.

Мы с мужем переглядываемся только. Что тут поделаешь? Разные бывают болезни. Её выпала на старости лет такая.

Стала она по ночам колготиться:

— Володя, зашумело за окнами. Посмотри, бричка, видно, подъехала. За мной это!..

И смех, и грех! В третьем часу ночи... Бричка!..

И днём-то опять о том же. Рассказывает:

— Когда уже мне восемнадцать было, с Дашиным братом Серёжей далеко-далеко в поле уезжали на бричке, к Горюшину пруду. Дух захватывало! А потом война вдруг...

Я ждала его, а Серёжа, как забрали, так и не вернулся. Мы с его мамой, Верой Михайловной, часто вместе об нём плакали. Любила она меня. Вот так всё на головке моей волосы приглаживала, да...

Показывает, как приглаживала, а у самой рука не слушается, другой подмогает.

...Сидим за столом, обедаем. Она вдруг заспешит со своим кулем на крыльцо. Всё боялась, что бричка проскочит мимо.

Бывали дни, когда голова у неё становилась ясной. Но всё реже.

...Померещится тут. Духотища. Днём за тридцать градусов. Молодые-то как чумовые делаются.

— Володя, — говорю мужу, — ты бы перила какие-никакие приделал на крыльце, а то как бы чего не вышло. Вчера я её еле поймала, чуть не упала вместе с ней, высокогато ведь...

А он, муж-то, всё собирался только.

Прособирался.

Как накаркала я.

Упала мама с крыльца вместе со своим кулем, когда снова бричка ей померещилась.

Я-то полола на задах. Володя в своей мастерской возился.

Сломала она шейку бедра.

И умерла на десятый день.

Сердечко-то никудышное. А болело за всех.

Там, где капустные грядки...

С Карлом меня познакомила моя подруга Людмила в первый день моего приезда к ним. Она немка по корням, с Казахстана. Живёт теперь в Германии с мужем и свекровью лет уже пять.

Я всего-то прожила у них месяц, когда Карл предложил перебраться к нему. Пока так, а потом всё оформить официально. Я согласилась. А он устроил мне экзамен. Занудой оказался:

— Хлеба много не ешь, колбасы много не ешь! Воды много не расходуй.

Вода дорогая, по счётчику! Всё у него обосновано. Я, говорит, в партии «зелёных». Надо бороться за экономию мировых ресурсов. Это у вас в России пресной воды в одном Байкале на пятьдесят лет всему населению земного шара хватит. У нас по-другому. Неразумно просто так лить воду. Такой бережливый. Позеленеешь с ним.

А наши-то! Людка со своими проявляют русскую смекалку, без загибонов на зелёных. Когда жила у неё, захожу в ванную комнату, смотрю, ванна заполнена водой. Два ведра полные стоят. Из крана вода по капле булькает. Я прикрыла: на мозги действует, а она мне:

— Ты что? Это я воду так набираю: когда по капле, счётчик не успевает замерять. Наберу, потом расходую. На стирку, на унитаз...

До такого мой Карл не додумался, слабак! Но экономист тот ещё! Прямо Карл Маркс. Блокаду держит крепко: кругом вода, а я на лыжах.

Говорит:

— Помидоры не ешь, они вредны для печени.

Мне так говорит, а сам ест!..

Толкует мне:

— За тебя боюсь, ты у меня должна быть здоровой!

— Да не болит у меня печень, — говорю, — здоровая я!

— Но тебе рожать моих детей, — отвечает, — ты у меня с гарантией должна быть. Лучше перестраховаться! Как у русских: «Бережёного Бог бережёт».

Ничего себе, думаю, моя печень — одно, его — другое. Сама по себе?! Нудит и нудит.

...А тут говорит: «Вы, русские, не знаете меры. Вам ещё 500 лет до Европы шагать!» Ах, ты, думаю, европеец образованный! Сидишь в своём магазинчике, одну арифметику и изучил. Выручку свою пересчитывать. Что в магазине куплю, всё по чекам записывает. Сверяет.

Я Гёте томик купила, стихи. Великий Гёте! А он мне:

— Зачем? У моего брата есть эта книжка. Попросил бы на время для тебя. А так лишний расход! Другой раз предупреждай.

Вроде как и верно говорит. Но самой хочется купить.

А тут мне стало казаться, что дело в ином... придирки эти только внешнее...

У других как-то, кажется, по-другому сложилось. Моя подруга, не Люда, Ирочка, тоже за местного вышла. Нормально, всё ей муж разрешает. Но... правда, чувствуется напряжение. Разные! И надолго это... может, дети таких вот сравняются меж собой...

...На себя по-другому стала смотреть... Тунеядка ведь! Меня, правда, думаю, не за что кормить. Ничегошеньки не делаю. Так, подмету вокруг магазинчика, а потом сиди целый день пыль с сувениров смахивай. Вся забота.

А я всегда работать хотела, учитель русского языка и литературы. Только не пришлось серьёзно нигде потрудиться. Как Коля военное училище окончил, так и начали мотаться по гарнизонам. Негде было преподавать. И детьми не обзавелись. А тут Чечня, Коли не стало. Вдова в двадцать пять лет...

...Зачем уезжают за границу? У каждого по-своему. Но многие — за нормальной работой, за нормальной зарплатой. Уйти от постоянного зуда, суеты и беспокойства: тем ли занимаешься, сумел ли воспользоваться новыми возможностями для успеха? Чаще всего успеха любой ценой. И успеха: денежного. Ибо любые другие успехи уже как бы не в счёт... Некому их оценить... С такими вот думами и жила. Бегло уже говорила на немецком, а думала на своём — на русском. И думала о нашем общем. О том, от чего уехала... Карл потихоньку расширил свой бизнес. У него стало уже три магазина.

...Время шло, а не случилось моего потаённого и особо желанного: хотелось семьи, хотелось ребёнка очень, а этого не было... Карл смирился, что у нас нет детей.

...Вся устойчивость, надёжность, которые меня окружали, стали терять свою ценность для меня.

...Оказалось, уйти на спокойную жизнь молодой и обеспеченной — не для меня. Не поработала в жизни, не понянчила детишек. Это жизнь разве? А мне уже скоро сорок! И так до пенсионного возраста?

Многое из того, что надо человеку, есть у них. Нам до этого, русским, далеко... Но комфортабельное пенсионерство мне стало казаться ужасным делом. Да и какая я пенсионерка?

...Пока не старая: сёрфинг, дайвинг, туризм, прочая сказочная жизнь... Не по мне эта перспектива оказалась. И не перспектива это вовсе. Не к чему стремиться! Нет цели!

Встал колом вопрос: зачем мне всё это — обеспеченное запланированное такое дожитие?

Видела многих наших, кто доволен тем, как устроились. А мне вот не повезло. Невезуча я!

Маялась долго, а решилась сразу. Думала, не даст мне Карл денег на дорогу домой. Дал.

...Приехала в Самару. И закружило меня!

Объявился мой одноклассник Василий. Как-то узнал он про мои дела. Сграбастал и не отпускает до сих пор. Вдовый.

Он в меня с пятого класса был влюблён. Я всё тогда «принца» ждала. А он такой мужик потом оказался. Нашу русскую поэзию лучше меня, учителя литературы, знает:

*Моё имя Василий,
Так должна понимать!
Моё имя с Россией
Хорошо рифмовать!*

Говорит, что эти стихи про него, про Василия Ключева написаны.

Он учитель физики, а работает дальнобойщиком. Приедет — уедет. Свиданья — расставанья! Совсем дурёхой стала от счастья.

Тут же взял кредит, купил для меня дом в деревне под Борском. Дом бревенчатый! Земли целых двадцать соток. Огород концом прямо к Самарке выходит. А вокруг сосны! По утрам в Самарке купаюсь. В ней вода без счётчика.

Теперь у меня помидор этих чуть не двести корней, да здоровущая теплица для огурцов. Соседки старушки помогают. Крутят, вертят банки. И себе, и мне. Поём часто вместе. Наши русские песни. С сентября работаю в школе. Преподаю литературу. Что мне ещё надо? Ничего!

Вечером приду домой — не нагляжусь: сосны, жёлтенький песочек!

*Там, где капустные грядки
Алой зарёй поливает восход,
Кленёночек тоненький матке
Зелёное вымя сосёт!*

Такое в Мюнхенах разве увидишь!

*Хороша страна Германия,
А Россия лучше всех!*

Раньше-то, будто вне себя жила, а теперь вот вернулась.

— Что говоришь? Надолго ли это у меня? А посуди сама! Не сказала я тебе самого главного-то, подруга ты моя сердечная! Забеременела я. Вот так! Воздух тут у нас с Васей такой что ли?!

А ты говоришь: надолго ли?!

Косуля на красном снегу

Оказался я в этой рыбацкой компании, можно сказать, случайно. И, скорее всего, эта история не была бы рассказана, но мой приятель Алексей, пригласивший меня порыбачить, пустил среди своих друзей по кругу с месяц назад мою книжку рассказов. И теперь я чувствовал интерес ко мне. Не каждый день с писателем на рыбалку ходят.

Высоченный, со спокойными манерами, пенсионер Андрей Павлович пару раз терпеливо помогал распутывать мне «бороду». И каждый раз жалел, что не взял второй свой спиннинг с безынер-

ционной катушкой. Сгодился бы для меня. Мою приверженность к старой инерционной он раскритиковал, но деликатно так, когда мы были одни. При этом называл меня только по отчеству, без имени. Он-то и начал, когда мы уселись вокруг котелка с наваристой ухой, свой рассказ.

— Владимир, мой сосед по даче, давно приглашал меня поохотиться на кабана. Я все отнекивался.

— Правильно! — подал голос самый молодой из нашей компании, Геннадий, и добавил смешливо, — мово друга, однова чуть не подел хряк за одно место. Увернулся. Откажешься, пожалуй.

Все промолчали.

Умолк и Геннадий.

Андрей Павлович продолжил:

— Не очень-то мне нравилась его компании. У них какие-то свои дела с районными властями. Там бывшие заводские охотугодья огромнейшие. Теперь все распалось, но дичь и зверье есть. Друзья его молодые, азартные, а охотники никудышные. Никогда не занимались охотой. А теперь это как поветрие.

Накупили новые ружья. Владимир купил пятизарядную «вертикалку».

А я лет двадцать уже на охоту не хожу. Но ружье держу. Старенькая тулка двенадцатого калибра. Когда-то был страстный охотник. От запаха паленого пыжа и сейчас шалею.

Когда после сорока зрение стало садиться, уже не то стало. Какой стрелок, если мушки не видишь? В очках не привык никак. То потеют, то слетают.

Кое-что рассказывал Владимиру про охоту, он и привязался: поехали да поехали. А я, наверное, постарел изрядно. Не только из-за плохого зрения забросил охоту. Стыдно стало. Противоестественно выходить на живое с ружьем, да ещё многозарядным.

Ладно бы в голодный год, есть нечего, а то просто для забавы убивать...

— Зачем же, спрашивает, ружье держишь, если не ходишь на охоту?

— Так, чтобы было, — отвечаю, — я и оформил его без права ношения, только — хранения. Охотиться с ним не могу.

— Ладно, — смеется. — Кто нас проверять-то будет? Там в районе у нас все схвачено. Поехали, а то можно подумать, что кабана боишься.

Ну и загорелось во мне прежнее. Никогда на кабана не охотился. Зуд нашел.

Рассказчик встал, степенно прошелся к общей куче с рюкзаками. Начал рыться в своём. Вернулся с сигаретами.

Все выжидательно молчали.

Андрей Павлович уселся, не спеша, на прежнее место. Разговор продолжать не торопился. Было видно, что рассказывает не из желания удивить слушателей. Заново переживал случившееся.

— Ну, поехали с ними? — не выдержав, спросил Геннадий.

— Поехал, — отозвался рассказчик. — Добрались до домика егеря. Рядом два вагончика стоят. Из одного дым коромыслом. Рядом — снегоходы, сани. Лошади фыркают. Все основательно так.

...Сразу у них не заладилось. Отложили охоту на следующий день. Выяснилось, что лицензии на кабанов нет, завтра привезут на косулю. Мне стало не по себе. В косулю я стрелять не хотел. Ладно, думаю, как-нибудь от выстрела уклонюсь.

— Андрей Павлович, зачем же вообще ехали на охоту?

— Я же говорю: кабан не косуля. Сильный противник. Азарт возникает! Сила на силу!

— Да ладно вам! Какая сила? Вы с ружьем, а у него одни клыки... Не на равных...

— Оно, конечно, — стушевался рассказчик.

— Генка, не мешай, — урезонил его розовощекий Василий, — что ты как осенняя зелёная муха.

Андрей Павлович продолжил:

— Значит, отложили охоту на завтра, а что делать сегодня? Решено было посидеть, хорошенько поужинать. А до того пострелять. Говорят: у всех ружья новые, надо привыкать к ним.

Для меня было дико, когда начали палить по бутылкам. Видно стало окончательно, что за охотнички собрались. Тут-то я и пожалел, что согласился на поездку.

Влет ни в одну бутылку из них никто не попал. Привязались ко мне, что есть сил. Суют ружья. Сходил в вагончик за тулкой своей. Нельзя, думаю, опростоволоситься. Буду стрелять навскидку, как в чирков.

Ну, сшиб я подкинутые вверх одну за другой две пустые поллитровки. Всеобщее ликование. Пошли в тепло пить за моё здоровье. Как ребяташки. Вырвались на волю...

На следующий день кто на снегоходах, кто с загонщиками на санях двинули в дальний березняк. Разошлись по номерам.

Слева от меня, метрах в двадцати, совсем молоденький, но шустрый сынишка егеря, справа — Владимир. Меня поставили меж

ними явно в надежде, что, если зверь выйдет здесь, я-то уж не подведу.

Начали гнать. Я снял предохранитель. Шум, гам, треск веток — загонщики приближались. Смотрю внимательно на открывающуюся передо мной небольшую прогалину.

— Андрей Павлович, вы здесь? — послышался голос Владимира.

— А где же я должен быть? — отвечаю приглушенно.

— Что-то ничего нет.

— Жди, — отозвался. Чувствую, волнуется охотничек.

Загонщики, забирая левее, пошли мимо нас. Скоро их голоса стали еле слышны. Правая моя рука без перчатки замерзла. Я сунул её в карман куртки, оставив ружье в левой. Это заняло у меня доли минуты.

Только я это проделал, как хрустнула ветка. Мгновенно поднял лицо. Взрослая, прогонистая, удивительно грациозная самка легко, как при замедленной съемке, вальяжно в плавном прыжке появилась на самом краю поляны. Косуля от меня была метрах в пятнадцати. Даже не верилось. Она двигалась слева направо. Недоуменно, повернув голову, приостановилась и взглянула на меня. Я увидел её взгляд: доверчивый и невинный.

Не знаю, как все произошло. Охотничий инстинкт сработал: я прицелился чуть правее лопатки и нажал спусковой крючок. Как я потом благодарил судьбу! Моё ружье дало осечку. О втором выстреле я и не подумал.

Услышав щелчок, косуля так же, как и до того, словно это было домашнее существо, безбоязненно плавно скользнуло вправо.

Я опомнился от азарта и радостно смотрел на лесное чудо.

И тут прогремели один за другим два выстрела. Стрелял Владимир. Косуля рухнула на снег. Из разорванного горла била кровь. Голова её оказалась в красном снегу.

Я стоял, не двигаясь.

И к Владимиру пошёл не сразу. Дождался, когда у меня просохнут глаза.

Что-то уж больно долго стрелок не выходил к своей добыче. Когда я подошёл, он стоял, обняв обеими руками березу. Его сильно рвало. Ружье, ткнувшись дулом в рыхлый снег, лежало поодаль.

Я не успел с ним заговорить. На выстрел явились с большими санками помощники. Косулю погрузили. Повезли её, волоча голо-

вой по дороге к нашему стану. Кровавая дорожка на белом снегу резала глаза. Владимир понуро шёл далеко сзади.

Он, не заходя в будку егеря, не поужинав, отправился один в село. Оттуда с оказией уехал домой.

Я потом узнал: охоту он забросил. Ружье продал.

— А вы, Андрей Павлович? — не удержался я.

— Что я? Отвез своё с дачи в городскую квартиру, закрыл в металлический ящик, как это положено по условиям хранения, и... все. — Он махнул рукой.

— Завязал — так завязал, чего жалеть-то? Я вот ни разу не стрелял ни в кого, — сказал Геннадий. И замолчал.

Нарушил тишину все тот же Андрей Павлович. Задумчиво обхватив обеими руками алюминиевую кружку с чаем, произнёс:

— У моего рассказа есть продолжение: после того случая я не мог забыть коосулю. И тот красный снег на поляне... По ночам она мне начала сниться, сердешная. Взгляд её не мог забыть. Будто в кого из близких стрелял. Один раз проснулся в поту весь. Приснилось, что в себя ружье наставил. Будто не в неё стрелял: в себя. Мы в себя стреляем, понимаете? И косуля, и я, и вы — часть одной природы. Мы все имеем право на жизнь.

Геннадий внимательно, как школьник, смотрел на говорившего.

Опередил Геннадия все больше молчавший Василий:

— Ну ты, брат, даешь! Придумал. Надо же: «в себя стреляем»! Философия! Для писателя, — он мотнул чубатой головой в мою сторону, — что ли, стараешься? Сочиняешь! Если так начнет думать каждый, что будет? С голоду померем!

— Да ну вас, я доверился, а вы... — Андрей Павлович встал, глухо обронил: — Дровишек пойду посмотрю...

И пошёл к реке. Там замер у воды. Его высокая сутулая фигура показалась похожей мне на большое дерево с сухой вершиной, которое стоит в затоне, недалеко от моего дачного домика. Это дерево одно на всю округу подпирает гнездо чуткой серой цапли. Я часто в бинокль наблюдаю, что и как там?..

— Как начнет русский человек философствовать, — произнёс Василий, так хоть помирай... — А надо жить! — Он посмотрел сразу на всех, заранее уверенный в правоте своих слов, в нашей поддержке, — верно ведь?

Мы молчали.

Мне б такого сына...

Я в «Оптику» полгода назад устроилась работать. Многое в новинку. А иное и нет...

Вот на той неделе приходит одна, молоденькая совсем:

— Можно, — спрашивает, — завтра приехать очки подобрать?

— Отчего ж нельзя, — отвечаю, — с утра приезжайте, работаем с девяти часов. А какие вам нужны очки?

— Ну, такие... совсем простенькие, чтоб без всякого эдакого. Дешёвенькие.

— Плюс или минус? — спрашиваю.

— А, вот приедем, тогда и разберёмся.

— Кому очки-то? — интересуюсь.

— Да, матери, — небрежно так на ходу, с порога уже, отвечает.

Вышла она. Я смотрю в окно и вижу: вальяжно так села она в большущую чёрную машину. Цаца! Сама за рулём. И покатила, приложив огромный такой сотовый телефон к левому уху. Когда успела заработать машину такую? И как? из-за руля не видно. Грустно мне стало. И жалко мать этой пичуги.

Я стою рядом в очереди и невольно слышу разговор двух этих средних лет, видно хорошо знакомых меж собой, женщин.

— Ну, так я и говорю, молодежь стала никудышная, — откликнулась высокая сутулая собеседница, — глаза бы на таких не смотрели.

— Ты послушай дальше. Разные они молодые-то. Как мы с тобой, разные. Я вот такая, как есть, а ты — худющая.

— И что? Причём это? — обиженно протянула «худющая»

— Ни при чём, конечно, — великодушно согласилась рассказчица. — Слушай: в тот же день вечером заходит парень. Одет просто. Видно из рабочих.

— Мне бы очки посмотреть?

— А какие?

— На левый глаз плюс четыре, на правый: плюс шесть. Межцентровое расстояние шестьдесят один сантиметр. Чтоб посимпатичнее и удобные. Неважно, что дорогие.

— У вас такое зрение? — удивилась я.

— Нет, это для мамы моей.

Молодец какой. Всё знает. Какие, чего? Как для себя! Но это не всё:

— Вы, — говорит, — когда я с мамой приду, не называйте вслух цену за очки. Чтоб она не волновалась зря. Напишите мне на бумажке цифирки, я оплачу.

И ушёл. Посмотрела в окно: идёт пешком к остановке. Ладенький такой! Позавидовала я его матери, мне б такого сына.

Погоня

Набродившись по жаре, я расположился под старой ветлой близ узенькой высыхающей старицы. Редкие всплески доносились до меня. Стадо коров, разморенных июльским зноем и погрузившихся в воду, дремало.

Но вдруг вода в озере взбурлила, застоявшиеся буренки, вырывая ноги из тины, ринулись на берег. Сгрудившись, они взбили пыль на берегу и шарахнулись на бугор.

— Лось! — изумленно вскрикнул один из подпасков, очевидно, сынишка пастуха.

Я посмотрел в направлении, куда показывал подросток. Степенно неся горбоносую, увенчанную широкой чашей рогов голову, спускался к воде лось. Он был великолепен. Дикое дитя природы! Но всё-таки в этом заповедном звере как-то недоставало величия. Было похоже, что скрывался он от долгой, изнурительной погони. Но от кого мог бежать этот великан? Раздувающиеся его бока были мокрыми.

— Пашка, Генка, чего смотрите? Гони! — сипло громыкнул ещё не пришедший в себя от дремоты пастух.

И не успел я подойти, как ребяташки вскочили на одномастных низкорослых буланых лошадок и под залиvistый лай собачонки погнались к лосю. Тот, не дойдя до воды, метнулся, вскинув голову и, ускоряя бег, помчался по равнине к лесу, отгороженному широкой лентой пашни с молоденькими сосенками.

Поругиваясь, пастух начал собирать коров в кучу. С высокого берега старицы было видно, как, обогнув дальний её изгиб, лось отрывался от преследователей. А те, охваченные азартом погони, гнали вовсю галопом...

— Не случилось бы чего с ребятней, — забеспокоился пастух, — глупые ещё, заставил — и сам не рад. На-за-а-ад! — сложив рупором ладони, прокричал он. Но голос его тут же увяз в знойном воздухе.

В следующий момент лось резко повернул в сторону. Там, куда он направился, блеснуло на солнце кругленькое болотце. Лось, с разгону войдя в воду, нагнул голову. Видно было, что он жадно пил. Но что это? Выйдя из воды, зверь рухнул на землю...

— Хиляк попался, наверное сердечник, — выкрикнул радостно возбужденный Генка, старший сын пастуха, когда мы подошли к болоту.

Зверь был мёртв.

Было странно видеть, что дикая и, казалось, неуёмная сила рухнула так вот запросто, никчёмно.

— Папань, а рога ножовка возьмет? — Генка не мигая смотрит на отца.

— Да замолчи ты, — отмахнулся пастух.

Пашка сидит на траве молча, учащенно шмыгает носом. Старается не поднимать головы...

День померк.

Было стыдно, что никто не сумел, не догадался остановить эту нелепую погоню.

Учительница

Белой рубашки у меня в детстве не было. Но зато было два старших брата. Я донашивал их одежду. Время послевоенное.

Первого сентября, готовясь идти в 4-ый класс, я одеваю единственную у нас светлую Лёшину рубаху, из которой он давно вырос. Мама помогает мне. Желая выправить складки, она дёрнула обеими руками за подол, рубашка и лопнула. Остался один воротник на моей шее. Выносились так. Что делать? Другие братнины рубахи все велики мне. и рукава у них на четверть моей руки длиннее. И тёмные они.

Взяла мама какую поменьше, но она совсем чёрная. Не долго думая, закатала рукава мне по локти. Вот такие бугры по?учились! В отчаянной решительности толкнула в дверь:

— Иди, а то опоздаешь!

Пришёл я в школу. Один такой: чёрный как грач среди гомо-нящей пестроты.

Ребята тычут в меня пальцами, показывают на мои руки с закатанными рукавами:

— Палач! Ванька палач!

Первым Петька Косоруков такое придумал. Я не ожидал от него. У меня кровь прилила к щекам. Чувствую, как горит лицо от обиды жгучей.

Наша Клавдия Васильевна посмотрела на класс, на меня, и командует:

— Субботин, иди к доске!

«И она тут ещё? — думаю, — зачем?»

Вышел я к доске. Улыбаюсь от растерянности.

Учительница говорит классу:

— Ребята, ну разве похож он на палача?! Посмотрите какой улыбчивый да румяный! Где вы видели таких палачей?

Все разом притихли. А она продолжает:

— Кто видел? Кто скажет? Поднимите руки!

Тишина в классе. В ответ ни звука.

— А вы говорите? Глупости всё это!

И таким же ровным, домашним голосом в мою сторону:

— Садись, Ванечка! Что без дела стоять?..

Грушенька

Так хотелось, чтобы в моём саду росли груши. И вот наконец-то я посадил две красавицы. Трехлетки. Крепенькие и стройные такие. Одна из них — Куйбышевская золотистая. Сорт другой до сих пор не знаю. Её подарил мой приятель, которого сорт мало интересовал. Хотелось сделать подарок, он и сделал. Мы стали звать второе деревце Грушенькой.

Было это лет десять тому назад. Теперь та, которую приобрел я, стала большим раскидистым деревом, со свисающими ветвями. Она плодовита. Её удлиненных, бутылочной формы, желтых с небольшим румянцем плодов так много, что кажется, их больше, чем листья. Ветви её свисают над головой, образуя зеленый навес. Под этим навесом мы поставили круглый столик и шесть стульев. Моим домашним нравится собираться здесь. На свежем воздухе да в надежном тенёчке — что может быть лучше?

А у Грушеньки судьба сложилась по-иному. Уже через два года она была выше меня. И немудрено. Близость Волги, обилие света, благодатная почва и своевременный полив вершили своё. Обрезая ветки, я старался, чтобы она, в отличие от своей соседки, была стройной, не развесистой. Так мне захотелось. И деревце тянулось, отзываясь на такое моё желание.

...Как я ждал, когда деревца зацветут! Я в то время напряженно работал на заводе и вечерами, вырываясь на свою дачку, оттаивал в кругу своих зеленых подружек, в числе которых, кроме груши, были и яблоньки, и сливы.

Сильно начало тянуть к земле!

А вскоре случилась беда.

Я обнаружил у Грушеньки, на совсем небольшом расстоянии от земли, врезавшуюся в ствол синтетическую тонкую бечевку. Когда-то, сажая маленькое деревце, я привязал его к колышку. Колышек я потом убрал, а колечко из бечевки осталось. Груша продолжала расти, бечевка, окольцевав ствол, оказалась в её теле. Чуть припухшая в этом месте кора скрыла её от глаз. Петля, как острая пила, по окружности подрезала молодое тело.

Грушенька с самого начала её жизни в моём саду была обречена. И виновным в этой беде оказался я. Выдернуть бечевку я не смог, она глубоко сидела в древесном теле. Будь петля не из синтетического материала, она бы просто сгнила. Эта же оказалась смертоносной для дерева. Чем ствол становился толще и ветвистей выше петли, тем острее была опасность того, что деревце будет перерезано и та часть его, которая выше удавки, рухнет.

Я будто оказался около пораженного неизлечимой смертельной болезнью больного, готовый перенять у него боль и страдания. И не способный сделать это. Я не заметил, как стал, сидя рядом на скамейке, разговаривать с Грушенькой. Кого я утешал больше в такие минуты: себя или её? Сразу и не скажешь.

Роковое различие в диаметрах ствола деревца ниже удавки и выше неё за лето сильно усилилось. Сужение в месте перехвата становилось препятствием для роста Грушеньки. Ей не доставало соков земли. Я взял стамеску и в двух местах, углубившись в кору, перерезал бечеву, но результата это не дало.

В августе она начала желтеть и вскоре надломилась ровно по кольцевой канавке, очерченной бечевой. Все случилось так, как я в тихом отчаянии и предполагал.

Не трогая веток, не обрубая их, я целиком отнес деревце на кучу валежника в недалеком леске. Там Грушенька пролежала на виду до самого снега. Проходя мимо, я не мог спокойно смотреть на неё. Её стройное тело было видно издали. На темной куче валежника она странно мерцала матово-желтым неживым светом. Потом её занесло снегом.

Зимой я часто вспоминал Грушеньку, винил себя за досадную промашку.

А весной случилось чудо.

Из единственной почки на оставшемся невзрачном пеньке развился побег.

Я возрадовался! Появление побега было как бы моим неким оправданием и надеждой, что деревце все же вырастет, что я не загубил хрупкую жизнь. Не пресекалась веточка жизни...

За счет крепких родительских корней побег развивался бурно. Я усердно следил за кроной, едва успевая делать обрезку. Даже летом обрезал ветки, настолько Грушенька торопилась в росте.

Сильно меня беспокоило место сочленения старого ствола и нового. Была некая, по моему разумению, опасность в этом разветвлении. Ветром могло расщепить его.

Все образовалось само собой. Новый ствол так быстро рос, что на четвертый год пенечек пропал в крепком теле молодой груши. Оно его вобрало в себя. И в этом мне увиделся особый смысл.

В мае Грушенька зацвела.

Впереди было лето, и я задумал поменять трубу у баньки. Один из помогавших мне приятелей оступился на крыше и не удержал скользнувшую вниз металлическую лестницу. Она со всего маху обрушилась на Грушеньку.

Приятель тоже упал. Ему повезло: получил ушиб колена и легкий испуг. Грушеньку тяжелая лестница расщепила пополам. Половинки дерева повалились в разные стороны.

Когда я пришел в себя, ничего не оставалось делать, как спилить её, чуть ниже того места, где она раздвоилась. Место спила, большой такой белый пятак, замазал, как положено, садовым варом.

Я все надеялся, что будут побеги. Лето ещё впереди! Подходил к пеньку, на метр торчавшему из земли, и все высматривал: не появились ли? Мне так хотелось, чтобы именно Грушенька возродилась на этом месте. Другое дерево посадить? Я об этом не думал.

Но побегов так и не было.

Потом приехал из Москвы мой внук. Осенью мы сделали из сосновых желтеньких досочек в виде домика веселую кормушку для птиц. Поставили её на оставшийся от груши пенёк и прибили гвоздем. Получилось замечательно.

Прилетали в наш трактирчик подкрепиться и воробьи, и синицы, и даже прикочевавшие издалека, гонимые холодом, красивые свиристели. Радоваться бы! Внук и радовался! И не догадывался спросить: что это за пенёк, на котором так ладненько расположился птичий трактирчик?..

Не знал, что это груша. Он её никогда не видел. А я и на следующую весну все надеялся, что появятся побеги. Но этого не случилось.

Теперь, став с годами суеверным, я думаю: может зря мы приспособили кормушку на Грушеньке? Не поверили ей. В её возрождении усомнились. Лишив своей поддержки и веры — лишили её жизни. Все как у людей?!..

Или это у меня старческое?

Журавли

Это случилось со мной, когда я был ростом едва ли не вровень с моей одностволкой шестнадцатого калибра.

Дело было на вечерней зорьке. Помню, как было сумрачно и тихо. Лишь у крайней избы грудной ласкающий голос мерно разрезал податливый вечерний воздух. Звали чью-то запровавшую Звездочку. Но и этот голос затих.

Проскрипели неподалеку на молочной ферме выдавшие виды ворота, и все на некоторое время смолкло.

В селе, до которого от степного ильменька всего каких-то метров триста, текла своя вечерняя жизнь.

Заря кончалась, а уток не было.

И вдруг с вышины, где безраздельно властвовал один только звёздный, холодный свет, донёсся тревожный, тоскующий, удивительный звук. Казалось, кто-то на незнакомом языке кого-то звал за собой и в то же время прощался навсегда. И этот кто-то приближался ко мне. Голоса были уже, кажется, совсем рядом. Вот они — почти над головой! Там, где только что была одна Большая Медведица, распластался трепещущий клин.

«Журавли! Конечно же, журавли!» — упивался я своим открытием, забыв о ружье и махая им, как палкой.

Журавли сделали плавный полукруг над болотом, выровнялись и величаво потянулись в сторону утрюмо темнеющего леса. Их призывное картавое курлыкание смолкло.

Какая-то сила сорвала меня с болотной кочки. Они улетали! Я побежал за ними, замороженный сказочной, не перестающей литься с неба, мелодией. Потом, будто устыдившись чего-то, остановился. Вернулся к ружью, забытому на болотной кочке, и долго стоял, потрясённый. Я что-то потерял. Минуту назад я был богаче. С журавлями от меня оторвалось и улетело что-то большое и светлое, но что именно, мне мальчишке, понять было трудно.

С болота я ушёл поздно. Дома никому ничего не сказал и в саду под старой скрипучей яблоней долго пытался уснуть...

Много после этого случая провел я утренних и вечерних зорь на воде, но журавли не прилетали.

Позднее, став взрослым, я где-то прочитал, что журавли — это символ неуловимости человеческого счастья. Как верно!

«Так вот она, разгадка! — подумалось мне. — Значит, с тем, кто так сказал, было, может, то же самое, что и со мной в моём далё-

ком детстве. Только он сумел выразить это словом... Так я думал тогда, в свои тридцать пять лет. Как я позавидовал ему...

...Теперь же, когда мне за семьдесят, я завидую уже тому мальчишке (то есть себе самому) в ильменьке. Столько у него было всего впереди ещё! Нерастраченного... неотлетевшего...

Крестик

В четвертом классе нас принимали в пионеры.

Наша учительница, недавно приехавшая к нам из города, красивая Клавдия Васильевна, подошла ко мне. И стала мне, стоявшему в ряду притихших ребят, повязывать красный галстук.

И, вдруг, она увидела у меня на шее крестик. Я замер. И руки учительницы замерли. Глаза наши встретились.

Взгляд у неё стал задумчивым. Её рука, как крыло большой белой птицы, коснулась моей головы. Тихо и мягко сказал мне одному:

— Не я, Ванечка, вешала тебе крестик. Не мне его и снимать. Скажи маме, что пионерам крестик носить не положено.

...Дома у печки, смахнув рукой, ладонью наружу, пот со лба, мама сказала:

— У нас в переднем углу иконка висит. Она кому навредила? Одно другому не мешает. У тебя такой же крестик, как и у меня на груди. Посмотри! Под единым Богом ходим.

Мамин иконный лик замерцал в полутьме нашей кухни передо мной совсем рядом. Мне стало стыдно дальше говорить что-либо...

... Загадка для меня и сегодня: откуда у молоденькой, только начинающей работать учительницы сказался такой душевный такт? Потом она лет через пять вышла замуж и уехала куда-то из нашего села.

Я стал драматическим артистом. Прошло пятьдесят лет. Все эти годы моя жизнь была связана с работой в театре. Снялся в нескольких кинофильмах.

В этом году на моём бенефисе в нашем театре на сцену вдруг поднимается пожилая дама с букетом цветов. Я сразу узнал свою первую учительницу Клавдию Васильевну. Она оказалась проездом в Самаре. Увидела афишу и прорвалась.

В зале более полутысячи зрителей. А она шепчет мне после поздравления, прямо на сцене. Так же тихо, как тогда в четвёртом классе при приёме в пионеры:

— Ванечка, ты с крестиком?

— Да! — отвечаю.

— Я тоже! — произносит она с прежней своей мягкой улыбкой, — с крестиком...

И я чувствую как нам хорошо обоим. Как тогда в детстве!.. И мир по-прежнему к нам добр.

Предприниматели

Перестройка заставила шевелиться многих. Вот и мы втроем: я, Дмитрий Петрович и Анатолий завели двух поросят в деревне. Нам удобно: с Анатолием работаем вместе, он мой коллега — учитель физкультуры, а Петрович — сосед, пенсионер, постоянный партнер по шахматам.

Сговорились с бабой Настей — дальней родственницей Анатолия, что она выращивает двух поросят. Одного нам, другого — себе. Дробленку достает для корма она, мы же для этого поставляем ей водку. Договор дороже денег. Так многие делают. И вот ситуация: в начале ноября привет от бабки Насти, письменный: «Приезжайте, с дробленкой худо, председатель навел порядок. Хорошо, что на дворе холода уже, оттого можно резать скотину и забирать свою долю».

Собрались мы на легучку вечером у нашего подъезда.

— Ехать надо в субботу, — говорит Анатолий, — чего тянуть. Закономерный финиш.

— А как резать будем? — спрашиваю.

Оказалось, что с этим делом никто не знаком. Так, понаслышке кое-что знаем. Я предлагаю:

— Берем ружье, жикан и стреляем в ухо или чуть левее — это наверняка, также берем с собой баллон с пропаном и резак. Пропаном мы быстро опалим тушу.

— Не суетитесь, ружье, баллон. Миномет с собой возьмите — может, надежней будет. Венька Яшунин — академик в этом деле, я сбегая к нему и все дела. Прошлый раз я ему бутылку дал — он обещал всё сделать, — уверенно заявил Анатолий.

На том и решили.

...Субботнее утро. Красота кругом. Ночью подморозило, но с утра дорогу уже подразвезло, поэтому едем на «Москвиче» Анатолия осторожно. Разговариваем о том, о сем, обо всем помаленьку.

— Дмитрий Петрович, — Анатолий с веселым прищуром глядит на собеседника, — Расскажи хоть, а то скучновато, как воевал, ну как вообще на войне... мне твоя старуха говорит, что ты крови

видеть не можешь? На прошлые Октябрьские праздники был весь в орденах, а в этот раз наденешь?

Петрович тусклым взглядом посмотрел на говорившего и не спеша отреагировал:

— Тебе сразу на все вопросы отвечать или по порядку, как от микрофона на съезде?

— Давай, Петрович, без регламента, на все сразу.

— Если на все сразу, то скажу: война — не человеческое дело, а дьявольское. Я когда на фронт попал — мне было всего семнадцать лет... Так вот, идёт уже бой, мой первый. А я все не верю, что буду в другого человека стрелять. Не верю и все тут! И книги читал про войну, и в нормальной жизни я, вроде, все понимаю, а представить не могу.

— Ну и как, стрелял?

— Стрелял, несколько раз бесприцельно, а в человека — не довелось. И не знаю, смог бы я или нет. Я действительно кровь не выношу.

Он помолчал и виновато сказал:

— Вы уж тут, ребята, как-нибудь без меня... того, с поросенком. Я потом, когда палить, помогу...

— Ну, ты, Петрович, даешь, а с виду молоток. Откуда медали тогда?

Петрович, несколько не обидевшись, ответил не спеша:

— Так сколько потом праздников было, вот набралось.

Я впервые слышал от Петровича слова о войне, да ещё такие. Мы уже года два знали друг друга, когда-то съехались в один подъезд нового дома. Общались так: то в картишки перебросимся, то в шахматы. Никогда серьезно ни о чем и не говорили. Не знаю, как кому, а мне всегда казалось, что так легче общаться с соседями. Зачем в душу лезть?

Но Анатолий не может так. Он о самом сложном и больном готов напрапалую, в упор, спросить и ждать ответа. Гвоздодер — это его в 5-а как назвали, так теперь вся школа и зовет.

— Ну, а кто же воевал? Не все же такие? — продолжал «дергать гвозди» физрук.

— Не все, были люди геройские.

— Были, — подхватил Анатолий, — были, но их давно нет. Они и погибали потому, что геройские.

— Может, так. Но мой дружок Николай Манохин — герой! И пока жив-здоров.

— Расскажи о нём.

— Нет, Анатолий, о нем долгий разговор, человек прошел на войне все, а после войны ещё и лагеря. Ворошить походя не хочется, вон уже и поворот на грунтовку, — отвечал Петрович.

Действительно, мы подъезжали к селу. Тут уже мне захотелось продолжить разговор:

— Дмитрий Петрович, если можно, о Манохине, коротко?

— Коротко? — переспросил наш собеседник. — Если коротко, то Николай — мой земляк, из Кинеля, вот он ничего не боялся. В начале 44-го года получил Героя Советского Союза, а через неделю гвардии рядовой Николай Манохин снял звезду Героя и положил на стол командиру полка.

— Добровольно?

— Нет, конечно. Наделал он шуму, будь здоров. Прошил автоматной очередью в упор в окопе своего старшину.

— Как так? — удивился Анатолий.

— А вот так, сволочь этот старшина был хорошая, измывался над ребятами. Те молчали до времени. Нарвался старшина на Николая. А на передовой свои законы. Ну, донесли сразу, нашелся такой среди нас. Манохин и не собирался оправдываться, хотя знал, что за это грозит вышка — командира своего застрелил. Но спасло то, что он Герой. Поснимали все награды — и на передовую. А ему, как черту, это и надо будто. Ничего не боялся.

— Сейчас где? — толкал рассказчика Анатолий.

— После войны вновь набедокурил в своём тресте с начальством. Припомнили сразу все. Теперь после гулаговской жизни чахнет потихоньку. О войне всего не скажешь. В душе многое поменялось.

Приехали.

И началась проза сельской жизни. Все наши надежды на Веньку Яшунина лопнули, едва мы ступили на порог. У Веньки оказалась очередной запой-загул, и он третий день «лежал в лежку».

— Да что вы, в самделе, здоровенные мужики, — дивилась баба Настя, — и не сможете одолеть хряка, диво эко... ей-бо, — и она, укоризненно оглядывая нас, добавила: — Как вас жены ваши терпят, нагольная интеллигенция... связалась с вами... К жизни неспособные оказались...

Нам не хотелось выглядеть «неспособными к жизни», и мы деловито перебирали уже в который раз все варианты наших действий. Но баба Настя нас осчастливила:

— Т-п-ру, блудница, потерпи маленько, ишшо напужаешь моих городских.

Мы застыли в недоумении: она въехала во двор, сидя в фургоне, запряженном старой, очевидно, чуть моложе бабки Насти, буланой флегматичной кобылой, к которой бабкино обращение «блудница» явно показалось нам преувеличением. Мы почувствовали себя ещё более неуютно и не к месту в районе разворачивающихся событий.

Настасья Ильинична пояснила:

— Венька маленько очухался и сказал, что за поллитровку все споворит, но токмо у себя во дворе. Никуда он не пойдет, если надо, везите пороса к нему.

— Ну конечно, какой академик будет ходить по дворам с ножичком? Извольте подсуетиться, господа, — съязвил Анатолий.

Петрович флегматично посапывал над разобранным сепаратором на верандочке. Мне показалось, что он тем самым увиливает от наших хлопот.

Наш главнокомандующий уже действовала.

— Тебе на вот, Анатолий, веревку, готовься.

— К чему? — дурашливо спросил тот и накинул веревку себе на шею: — Ребята, репортаж с петлей на шее. Вас устраивает?

— Как только я выманю из клетки Борьку чашкой с дробленкой, не плошайте, мужики, вяжите его — и в фургон. — Баба Настя, казалось, начала сердиться на нас всерьёз.

Не буду говорить, что мы оправдали доверие бабы Насти своей сноровкой, но как-никак операцию «захват» исполнили. Правда, она стояла Анатолию заграничных брюк фирмы «Лемонти» — одна штанина снизу доверху была по шву разодрана, и теперь, когда Анатолий широко и воинственно шагал рядом с фургоном, эта штанина, как красно-зеленый флаг, развевалась за ним на осеннем ветру. Но Анатолия это не смущало, ведь мы все были приобщены к совершенно конкретному, хотя и непривычному делу. Это подтягивало нас. Из фургона доносилось похрюкивание Борьки, и нельзя было точно установить — было оно умиротворенное или угрожающее. Все — непривычно, и можно было ожидать всякой внезапности. Мы не расслаблялись.

Ворота, которые, очевидно, не открывали с времён Второй мировой, когда мы вынули железный мощный засов, осели и, оказавшись непомерно тяжелыми, оставляя жирный след в сырой земле, как циркуль, выписывали полукруг под нажимом двух довольно дюжих умельцев. Въехали во двор. Он был пустым. Цепь на двери в избу была наброшена на большое ржавое кольцо без замка, но весьма убедительно.

«Академик» появился из подвала. На Веньке была телогрейка, надетая прямо на синюю майку. Из кармана военных галифе торчала бутылка водки, заткнутая бумажной самодельной пробкой.

Во всем облике Веньки не было ничего необычного. Разве ж глаза — светло-голубые, ясные и как бы невидящие, обращенные в никуда. Странные глаза. Но к ним, наверное, здешние все привыкли уже.

— Давайте, мужики, вон туда, на ровненькое место сгружайте, я сейчас, — вялым голосом сказал Венья.

Мы, откинув задний борт, начали двигать вальняжного Борьку к краю. И тут произошло то, чего никак все мы, очевидно, и баба Настя, не ожидали.

Борька вдруг взвизгнул и стал судорожно биться в наших руках. Зафонтанировала кровь. Это тихонький и светленький наш Венька, невесть как оказавшийся в сутолоке у задка фургона, среди нас, неожиданно проворно, ловким коротким движением вогнал поросенку огромный нож под левую переднюю ногу и вращал его слева направо. Упавшая туша крепко придавила мне ногу, и я не сразу отозвался на вскрик бабки Насти. Когда же посмотрел вправо, увидел обмякшего Петровича, лежащего на голой земле с совершенно отрешенным лицом, обращенным в небо; левая рука его была вся в крови.

— Боже, его-то за что? — мелькнула несуразная мысль в тот момент событий, слипшихся в сознании воедино, когда захрипела кобыла и рванула упряжь на себя, когда Анатолий с перекошенным лицом бросился хватать её под уздцы, чтобы вывести на улицу.

— Нюра, Нюра, нашатырь давай, быстрее, обморок у мужика, — баба Настя кричала соседке, смотревшей через низкий забор это бесплатное кино, а сама уже брызгала проворно большой и темной ладонью воду из ведра в лицо Петровичу.

— Я же говорил, ребята, что не могу видеть кровь, — это были первые слова, которые произнёс виновато Петрович, чуть позже пришедший в себя.

Его повели к соседке Нюре отлеживаться, и на одно действующее лицо во дворе стало меньше.

— Ты что же не предупредил всех, начал резать без подготовки, спяну, что ли? — Анатолий вцепился взглядом в Веньку.

— Дык ты что? Вы же сами просили, бабка Настя приходила раза два, — он деловито обтер травой нож и бросил его тут же на скамейку, достал поллитровку, зубами вынул пробку и сделал два глотка.

— Не предупредил, без подготовки? — странные вопросы. Мне что, артподготовку надо было организовать, что ли? Мужики, это же поросенок, а не боевая точка противника.

— Венька, ты хулиган! — твердо и внятно произнёс Гвоздодер, распрямившись и встав во весь рост на своих пружинистых ногах.

Я понял, что в воздухе запахло горячим, и поторопился остудить атмосферу:

— Мужики, где солому брать?

— Да вон у фермы она. Идите и берите, сколько надо. Когда опалите поросенка, позовите меня, — великодушно простил нас Венька. Махнув рукой, он растворился в кустах акации на улице.

До фермы было километра полтора, и это обстоятельство меня всерьез удручало.

Но вернулась баба Настя, сказав, что Петрович пьет чай у соседки. Потихоньку разговаривает. На душе полегчало.

А, когда она скомандовала Анатолию садиться в фургон и ехать за соломой, чтоб разом привезти, сколько надо, все как-то встало на свои места.

От её зычного, крепкого голоса флегматичная кобылка пошла ходко, повинуваясь волевой хозяйке, и вскоре они скрылись в дальнем переулке.

Я сидел на бревне около большой белой туши и, то ли в оправдание своё, то ли в оправдание всей нашей безалаберно устроенной жизни, думал о том времени, когда каждый человек научится всё-таки наконец делать своё дело, и оно будет, может быть, организовано как-то лучше, умнее, грамотнее, просто цивилизованнее, а не так глупо и бездарно, как сейчас. Может, мы все же перестроимся хоть когда-нибудь, чтобы делать все по-человечески, а?

В сосновом бору

...Когда я впервые оказалась в Бузулукском бору, я обомлела. Стоят недалеко одна от другой две сосны. Каждой за триста лет. Великанши! Они наверняка видели Толстого, Пушкина, которые бывали здесь, на бузулукской земле!

Совсем недавно я узнала, что здесь были родовые усадьбы Карамзиных, Державиных и, уж крайне показалось мне неожиданным, — Набоковых.

Недаром у меня дух захватывало, когда мы бродили то в окружении освещённых утренним солнцем гладкоствольных, будто

облитых полудой сосен, то, когда оказывались в урёмной глуши, среди поверженных временем старовозрастных сосен-вековух, крепких, но уже лежащих, заставляющих остановиться и невольно замолчать.

* * *

В который раз по пружинистому насту из хвои, листьев, прелых и ломких стволов берёз возвращались мы с сыном к полюбившимся нам трёхсотлетним соснам...

Как возник Бузулукский бор? Как и кем посажены эти сосны? Я так ни от кого не смогла услышать, ни прочитать где... Штука ли: почти сто километров в длину и более сорока — в ширину: таков этот зелёный остров посреди голой степи...

...Мы потом вчетвером, с моими внучками, пытались обхватить одну из великанш-сосен — бесполезно!

Сын Коля всё говорил, что хотелось бы ему облететь на вертолёте Бузулукский бор. С высоты увидеть всё разом! А мне этого не надо. Что-то во мне противится вмешательству человека с техникой в животворный оазис. Инородна она в нём.

...Этим прелым воздухом, прелестным своей неповторимостью, дышали Пушкин, Толстой. Их давнее присутствие не осталось бесследно. Оно в чём-то закреплено, как-то засвидетельствовано. И хранится...

...Около сорока дубов когда-то посадил здесь в неохватной широте своей деятельности великий Лев Толстой. Теперь эти дубы в живом заслоне из ста тысяч гектаров зелёного лесного братства стоят на пути степных суховеев...

...Как могло случиться, что наши деятельные нефтяники, обнаружив под бором нефть, ринулись разворачивать нефтепромысел?

И как хорошо, что вовремя одумались!.. Вовремя ли? Более ста пятидесяти скважен пробурили. Просеки прорубили в бору. Начали было нефть качать. Остановились. Законсервировали скважины.

А что дальше? Под сто тысяч гектаров сосняка положена мина замедленного действия?..

Когда мы поехали в прошлый раз на свидание к «нашим» соснам, наткнулись на законсервированные скважины. Бетон у иных потрескался — разваливается. Сочится нефть, пахнет газом. Ну как — рванёт? Сосняк кругом! Полыхнёт! И от вековечного величия — одни головёшки?..

Спешно поехали к местному начальству. Доложили о скважине.

— Мы в курсе дел, — говорили нам с серыми лицами. — Пытаемся, что можем, делать. Вы не первые, кто бьёт тревогу... Занимаемся... Но ни средств достаточных, ни техники...

...Год прошёл. Не полыхнуло в бору. Может, и правда, что-то дельное предприняли.

Выходит, что мы с Колей всего лишь назойливые пенсионеры?..

Мне в последнее время наши сосны-великаны начали сниться. Вновь хочется вернуться к ним. Постоять около безмолвных свидетелей...

С возрастом начинаешь особо остро понимать, что все мы дети природы. Она породила нас, отпустила на какое-то время от себя. Теперь вот терпеливо дожидается...

Корзина, полная яблок

Вспомнилась картинка из далёкого детства. Я сильно болел, простудился. Который уже день лежу в постели, на день перебираясь в прохладную, выложенную из самана, погребницу. Она на меня производит чарующее впечатление. За ларем я нашёл в первый же день почти новенькую книжку «Казачьи» Льва Толстого и, потрясённый красотой и яркостью открывшейся мне жизни, забываю про болезнь.

Вообще эта мазанка замечательная. Совсем недавно, забравшись на чердак под её ветхую крышу за сушеной густерой, я увидел неопределённой формы предмет, завернутый в изъеденный молью мешок. Потянул его на себя из-под разного деревянного хлама и обнаружил боевую винтовку. Потом с дедом я имел разговор и пообещал, что трогать винтовку не буду. Но я уверен: её там уже нет. Дед — человек мудрый, он обязательно сделает всё правильно. В этом я убеждался не раз...

...Вот послышались шаги во дворе, это идёт бабушка. Я это чувствую всегда, не зная, как объяснить. Она входит с небольшой корзиной, накрытой белым в горошек платком. Корзина полна яблок.

— На вот, гостинец тебе.

— Откуда, бабушка?

— Ешь, тебе не всё равно? Выздоровливай быстрее.

Она с напускным равнодушием глядит на меня. А я догадываюсь, откуда яблоки. Они — краденные! Если бы они были куплены, то их было бы два, ну три, не больше. Яблоки из Самары ред-

ко привозили, не на что было покупать. А здесь — целая корзина! Яблоки в нашем селе растут только у одного Светика — внука давно умершего бывшего земского врача. Но он скряга, никого никогда не угостит. Мы давно с другом Мишкой сговорились забраться к нему в сад. И не столько от желания поесть яблок, сколько от нелюбви к хозяину.

— Бабушка, они же...

У меня не поворачивается язык сказать главное слово.

— Сейчас не в этом дело. Ешь и поправляйся. Бог простит.

Она тоже не говорит главное слово. Я, боясь обидеть бабушку, беру антоновку и впиваюсь в неё зубами.

— Вот так-то, — тихо заключает бабушка.

Я хрумкаю яблоко и чувствую, что нас с бабушкой теперь связывает что-то тайное, о чём я никогда не скажу никому. И никогда не смогу плохо подумать о бабушке.

— Когда мой первый сыночек Петенька заболел сахарным диабетом, я его чем только не лечила, но не помогло... Не стало Петеньки.

Помолчала. Потом сама себе сказала:

— Бог простит.

Она придвинулась ко мне и погладила мою голову своей большой шершавой ладонью. Это для меня было неожиданностью. Я не помню, чтобы кто-то нас в детстве гладил по голове или целовал. Таков был уклад жизни. Нас никто никогда и не бил.

...Я лежал на старом, самодельном диване в окружении ларей с мукой, пшеницей, в домовитом запахе луковых плетениц и овчин.

Свет пробивался в мою мазанку через крохотное оконце, которое я свободно мог закрыть своей фуражкой, что я иногда и делал, погружаясь в блаженный волнующий прохладный мрак и тишину. Тишину иногда нарушали осмелевшие мыши, но шугать мне их не хотелось.

Залетевшая большая противная зелёная муха сходу запуталась у меня в изголовье в паучьих сетях, и я с нетерпением ждал развязки события. Я мог бы предотвратить кровавый исход, тем более мне не очень приглянулся шустрый изобретательный умелец-паук. Но мне нравилась роль стороннего созерцателя — в этом была своя прелесть. Не хотелось нарушать спокойствия этого царства паучье-мышинного благополучия. А может, я так сильно ослаб от болезни...

Иногда в мазанку заходил мой весёлый дядька Сергей. Это он с ведома бабушки раздобыл яблоки.

Все эти дни дух антоновских яблок витал в мазанке вперемежку с бабушкиными рассказами из её жизни, дедом Ерошкой, из новой книжки про казаков, моим дедом, пахнувшим всегда сеном, сетями, передающим приветы от Карего — старого мерина, моего друга, оставшегося на далёком лесном кордоне в Моховом.

Через неделю я выздоровел.

* * *

В первое же воскресенье я упросил деда и бабушку взять меня с собой на Утёвский базар. Я любил этот многошумный, разноцветный праздник. Там всегда происходили всякие неожиданные события. Случилось одно и в этот раз. На обратном пути, когда мы уже отъехали в своём гроыхающем фургоне от базара метров сто, дедушка, что-то заметив на обочине в пыли, остановил лошадь, слез с фургона. Через минуту он вернулся к нам, держа в руках огромную пачку денег, кое-как завязанную в пропылившуюся серую косынку.

— Ванечка, это ж беда какая, потеряли...

— То, что потеряли, это точно, только вот, кто?

— Много? — бабушка протянула руку к свёртку. — Батюшки, да тут их ужас сколько! Убьются теперь до смерти от горя. Надо что-то делать!

— Кто сегодня коров да быков продавал, а? — Дед начал вспоминать: — Горюшины корову яловую продали, они ещё на базаре, Захар Гурьянов — быка полуторника приводил, но он сидит у сапожника Митяя разговоры разговаривает, было несколько зувских, но они по другой дороге должны ехать.

— Лукьян Янин, а? — Бабка, удивившись своей догадливости, обрадованно смотрит на нас.

— Ну, точно же, Лукьян с сыном Андреем быка продали! Вот неумехи. Поехали к ним, — согласился мой дед.

Когда мы подъехали к Яниным, они оба, отец и сын, выезжали со двора.

— Здорово, Лукьян, — дед приподнял над головой картуз. — Далёко ли собрался?

— Сам не знаю, куда! Деньги Андрей обронил, а где, не ведает.

— На, возьми твои деньги, — дед протянул серый свёрток.

Лукьян как-то даже внешне и не удивился. Взяв деньги, задумался, внимательно посмотрел на нас всех поочерёдно, хмыкнул и молча пошёл вглубь двора. Вскоре появился с чёрным вертлявым ягнёнком на руках.

— На, Иван, от души! У меня ещё есть. Такое дело!..

Но бабка моя опередила:

— Ваня не бери. Лукьян, спасибо тебе. Хороший ты мужик, но чужого нам не надо.

— Ну раз так, то хоть с поллитровкой-то приду вечером? Не прогонишь?

Ответил мой дед, легко засмеявшись?

— Не прогонит, не бойся. Я вступлюсь, так и быть.

И наш фургон загромыхал от Яниных ворот под залиvistый лай соседской собачонки.

Дорогой мне вспомнились яблоки из чужого сада и писклявый ягнёнок Яниных.

А ночью приснилось будто этого ягнёнка мой друг Мишка на дворе Яниных держит на руках и пытается насильно кормить из огромной и высокой, как бочка-сорокауша, ивовой кошёлки яблоками. Ягнёнок мотает головой, яблоки отлетают на землю, а Мишка озорно кричит ему: «Дуралей!». Ягнёнок мекает в ответ что-то своё, а что не понять...

А потом мы будто бы погнали с Мишкой на велосипедах на Самарку.

На любимой мной длинной песчаной отмели, где пахнет красноталом, речными лопухами и янтарным крупным влажным песком, на отмели с загадочным названием «Платово» дед Ерошка, давший мне пострелять из найденной мной винтовки, смеялся шумно и заразительно...

Я проснулся и мне стало весело и легко. Казалось, что весь мир наполнен моим выздоровлением...

Сомятник

...Едва я отошел от костра к воде, чтобы умыться, увидел рыбачка. Сидит себе на бревне у самого края завала посреди речки маленький круглолицый мужичок лет сорока. В соломенной шляпе, аккуратный такой. У ног его две удочки. А ниже — большой омут, который мы ещё вчера облюбовали для рыбалки. Место уж больно привлекательное. Приглушенно урчат большие воронки, выдавая глубину.

Взяв спиннинг, стараясь не шуметь и не оступиться на скользких бревнах, подошёл к рыбачку.

Не успел я заговорить, как довольно толстый конец одной из его удочек ушёл под воду.

Не торопясь, рыбачок подсек. Не опасаясь обрыва, дотянулся до леси и стал, как на мотовило, наматывать её на руку. Руки его были в кожаных потрепанных перчатках.

— Леска у меня один миллиметр толщиной, Ему не оборвать, — пояснил деловито.

Он подвел под рыбину большой самодельный черпак.

— Ловко вы его, — не удержался я. — Кэгэ на три будет.

— Будет, — прозвучал ответ.

Оказалось, что таких сомят у него в мешке, прижатом бревном, уже два.

— На вот, — он протянул несколько дождевых червей. — Насаживай прямо на тройник у блесны и бросай.

Я соорудил насадку и попробовал укрепить удилища меж бревен.

— Надежнее укрепи, утащит, — вполголоса посоветовал рыбак. Я послушался его.

Мы поймали по одному соменку. Он — такого же, как и предыдущий. Я — чуть меньше и рад был беспредельно.

Глубина ямы здесь, по его словам, до девяти метров. Приехал сюда на рыбалку Андрей на велосипеде из Сорочинска, где гостит у матери. Живет и работает в Оренбурге. По профессии — сварщик.

— Не могу летом без Самарки, к матери и к Самарке каждый выходной почти приезжаю. Эти места мои, с детства.

Вскоре он стал собираться.

— Хватит. Клева больше не будет, я с пяти часов здесь.

Подошёл Юрий, с которым мы сплаваемся по реке в резиновых лодках.

— Рыбка-то есть? — спросил он, поигрывая красивым и, кажется, не опробованным ещё спиннингом.

Лицо его, заросшее густой рыжей щетиной, сейчас было самым примечательным в нем. Походил он на какого-то сказочного персонажа. Будто специально придумано неким художником и собранно воедино: тельняшка, ладненькая куртка, брюки защитного цвета и большие, явно великоватые кроссовки. Глаза — синие, большие, широко открытые. Они поражают своим детским светом.

Рыбачок, видимо, уже освоился, понял, что мы не опасны. Повернув голову от полиэтиленового шевелящегося мешка с рыбой, который он собирался завязывать, поинтересовался, будто не слышал вопроса

— Лицо... того... красное какое... ошпарил, что ли?

— Да видишь, — доверительно признался Юрий, — не было со мной такого раньше: комары и занозы полюбили меня. Пухнет лицо от укусов. Не бреюсь, все равно жалят. Голова от укусов страшно болеть начала.

— А мазь? — спросил Андрей.

— А что — мазь? Они к ней привыкли, зверюги!

— Попы поют над мертвыми, а комары — над живыми, — утешил Андрей.

Увидев мою добычу, которую я, держа на кукане, прятал за спиной, Юрий сделал круглые глаза:

— Ты поймал соменка?

— Да, вот сейчас.

Он уперся взглядом в шевелящийся мешок с рыбой.

— Ну, вы, мужики, даете!

Отложив в сторону спиннинг, он левой рукой поддерживал край мешка, правой тронул за ус одну из рыбин.

— На червя? — деловито спросил он.

Андрей не спеша ответил:

— На пучок дождевых, штуки три-четыре на двойник сажаю и — хорошо! Первый раз, что ли, видишь сома так близко?

— Э-э-э, ошибаешься, молодой человек, — сказал Юрий и выпрямился, передав край мешка Андрею. — Я на Волге вырос! Обижаешь!

— Ну и что? Видел я некоторых. На Волге живут, а червяка на крючок не могут насадить. Один разок у моей мамы такой квартировал, только молоко козье пил да книжки читал. Шкет такой...

— На квок сома можешь ловить? — небрежно спросил Юрий.

— Слышал, но не довелось.

— А на воде живешь ещё. Деревня.

Парень не обиделся.

— Посмотреть бы, тогда, конечно...

— А зачем тебе, — вступил я. — У тебя и так все отработано. Без добычи, как я понял, не бываешь?

— Не-не, — возразил рыбачок, — сам процесс тоже очень важен.

— Процесс вот какой, слушай... — Юрий, нащупав в разговоре своё место, преобразился с полуборота: — Квок — это такая штука, которой лупят по воде для привлечения сома. Он думает, что его так зовут к завтраку его сородичи. А возможно, кумекает что-то другое — наукой не установлено. Но факт: идёт он на этот звук! Лодка должна быть деревянная, другие, резонируя, издают непривычные звуки, и сом пугается. Лупить надо так, чтобы лодка тряслась.

— А как квок сделать? — поинтересовался Андрей, закуривая и присаживаясь на лесину.

— Квок? — переспросил Юрий и молча потянула руку за сигаретой к Андрею.

Тот с готовностью подал курево. Потом ловко кинул коробку спичек, и Юрий так же ловко её поймал.

— Квок лучше купить, их сейчас продают. Конечно, «сомовку» можно сделать из чего угодно, хотя бы из надвое разрезанной пластиковой бутылки или стакана. Но самому сложно попасть на удачную конструкцию. Это что-то наподобие «ноу-хау».

— Сам-то рыбачил? — поинтересовался я осторожно.

— Жить на Волге и не рыбачить на сомов? Вы что, ребята! — удивился Юрий. И вдохновенно продолжал: — Рыбалки лучше, чем в дельте Волги, нет. Там водится до шестидесяти видов рыб. Некоторым везет, я видел: на квок ловят сомов до десяти пудов весом.

Мы слушали. Он продолжал смаковать:

— Звук образуется при выходе квока из воды. Длина ножа квока должна быть не менее двухсот двадцати миллиметров, ширина — от двух до шести миллиметров, смотря из какого материала: дюраль или дерево.

— Ловить-то на наживку? — уточнял Андрей.

— Конечно, — подтвердил Юрий неторопливо. — Он же хватает все: от утят до червей, ты знаешь.

— И лягушек, — подсказал я.

— Во! Лягушка для него — лучше всего!

— Я попробую обязательно в этой яме на квок, — загорелся наш новый знакомый. — Нож у квока делать деревянный или металлический? — уточнял он, обращаясь к Юрию.

Основательность ответов Юрия меня изумляла.

— Если металлический, то лучше брать титан, а деревянный — березу.

— Юрий, — не утерпел я, — ты так много наговорил, а я не понял, как устроен квок.

— У костра за чаем растолкую, малограмотным, — пообещал новоявленный сомятник.

«Странно, — думал я, когда мы, расставшись с Андреем, возвращались к костру. — Юрий так много знает, но порой обнаруживает удивительную непрактичность».

Вчера, вручая мне вентерь, который купил года два назад, он прочел мне целую лекцию о том, как его ставить.

Я спросил тогда:

— Юра, ты когда-нибудь сам это делал?

— Ты знаешь, — нисколько не смутившись, ответил он, — ни разу в жизни. Руки не доходили, но так хочется попробовать!

Врун

Едем с работы в вахтовом автобусе. Молчаливые. Уставшие все. И тут входит, уж недалечко от нашего посёлка, на остановке Василий Тершуков. Оживились некоторые. Знают: развеселый Василий, что-нибудь обязательно сейчас ловко соврёт. Напрополоу. Но складно и заразительно! И все от души будут смеяться. Откуда только он всё берёт?! Его все так и зовут: Вася-врун. Не обижается. Ему самому пресно жить без его баек.

Сел Василий. И молчит! Не в обычай как-то нам это?! Первой не выдержала я:

— Вась, соври что-нибудь. Для души!

Василий безмолствует. Только в окно смотри. Как и не он вроде.

— Вася? — вслед за мной просит подруга моя, Надя Карнаухова, — Ну, что-нибудь выдай, ты ж не собственник какой? Зажался...

— Да некогда мне тут с вами, — отзывается серым голосом Василий, — не до придумок. Вот видите с мешком еду. Самарка разлилась, затапливает склады в «Заготзерне». Стихия! А там сахар, окромя всего. Соли этой тонны... Того гляди поплывёт всё в Самарку. Решило начальство раздать бесплатно продукты. Лучше уж так, чем пропадать добру. Успеть бы мне к раздаче. Народ там нарасхват метёт всё!..

Сказал так и выпорхнул из автобуса. Лёгкий он на ноги. Едем мы дальше. Напряженная тишина в автобусе. Доехали до конечной остановки. Вышли из автобус, и... спохватились:

— Бабоньки, — возгласила Карнаухова, — а мы-то что же? Нам сахар не нужен что ли? И соль?

— Вот именно, — согласились все с ней. — В магазинах нет, а на складах гибнет!

... Захватили мы мешки, и айда пешочком вприпрыжку в «Заготзерно». А до него километра три с гаком.

Прибыли на склады, а там суший аврал. Только совсем другое, не как Василий нарисовал нам.

Баржа пришла, надо пока большая вода, зерно срочно загрузить и отправить в Самару.

— А где же здесь раздают соль и сахар? — спрашиваем.

— Какая соль, какой сахар? У нас тут сроду их не было! — отвечают. — Вот баржу загрузить надо! А на погрузке людей не хватает. Вы как раз прибыли! Он обещал нам подмогнуть грузчиками, Василий-то. Мы не поверили было? Где собрать народ, после рабочего дня?.. А он не обманул. Аж десять человек прислал.

Куда нам деваться? Хлеб ведь! Разве можно спиной повернуться?! До темна грузили баржу. Вспомнилось, как в былые времена с родителями на току лопатили... Ой да ну!..

...Встретила Тершукова я на следующий день и спрашиваю:

— Василий, что же ты с нами так?

— Как? — спрашивает, — вы же сами просили: соври, да соври!.. Я из уважения не отказал.

Истоки

Устав от назойливых поклёвок мелочи, я собрал свои нехитрые рыбацкие снасти и направил лодку к берегу. Стоял конец августа.

На пологом речном берегу доцветали голубые васильки. Не слышно было привычной щебетни в поникших над водой ивовых кустах.

В задумчивости смотрел я на непривычно пустынную и тихую речную даль, когда внимание моё привлекло странное светлое пятно.словно большая бабочка, оно трепетало то у воды, то высоко на круче. Пятно приближалось. В этом месте речка выпрямляется и течет почти по прямой метров двести, поэтому-то я и смог видеть все происходящее на берегу.

До рези в глазах всматривался я в трепещущий светлый клинышек, и наконец понял: это же мальчишка. Совсем маленький мальчишка в белой рубашонке!

Но почему один в такой дали? До нашей Утёвки километра три, но ведь он идёт совсем в другую сторону, по направлению к поселку Красная Самарка, а до него совсем не близко.

Я стал с нетерпением ждать приближения мальчишки, гадая, пройдёт он стороной по круче или мы встретимся. В полусотне метров от меня он неожиданно вынырнул из кустов, шумно плюхнулся в речку, набрал в фуражку воды и, хватаясь за оголенные корни, влез на кручу. Встревоженный его долгим отсутствием, я стал внимательно всматриваться в кустарник. И, когда заметил синюю струйку дыма, не раздумывая, поторопился к нему.

В глубине леса, чумазый, сорвав с себя мокрую рубашку, он бил ею, не останавливаясь, со всего плеча, по шипящим змейкам

огня, обжигая пятки, перепрыгивал с места на место. Высушенную за лето траву огонь пожирал со страшной быстротой. С десятков юрких огненных ящериц ускользали из леса на опушку, на простор.

...Когда с огнем было покончено и мы устало опустились на черную землю, он сказал:

— Деда Матвея работа, точно.

— Это которого же Матвея?

— Да нашего Самосада, сторожа с мельницы, он меня обогнал с удочками совсем недавно. От его самосада пожар...

Кого-кого, а Матвея Чурайкина, по прозвищу Самосад, я помнил. Многие из мужиков здешних курили самосад, но такого крепкого и ароматного ни у кого не было. Секретом владел старик, за что и был отмечен прозвищем.

Спускаясь к воде, украдкой я присматривался к мальчишке. Я узнал его: Лёнька — сынишка Трохина, бывшего бригадира тракторной бригады. Ему лет десять. Ладненькая фигурка, у пояса на ремне самодельный нож и старенькая сумка, в руках стеклянная банка. На загорелом подвижном лице сама озабоченность.

— Ну и куда путь держишь, путешественник?

Он тут же отозвался на вопрос вопросом:

— А откуда вы знаете, что я путешественник?

— Да уж видно по снаряжению.

— Бабка у меня в Крепости (так ещё у нас называют поселок Красная Самарка), мамка отпустила к ней в гости.

Он присел у воды, поставил банку на песок. Взглянув на неё, я понял, почему он так странно шёл по берегу — в банке были стрекозы.

— А что, не побоялась мамка тебя одного отпустить?

— Не-е, я же не в первый раз. — Он встал, собираясь уходить.

— Ну раз так, пойдем к лодке чай пить.

— Спасибо, дяденька, мне некогда, а еда у меня в сумке есть.

Так я и не смог с ним разговориться. Надев мокрую (в дороге высохнет) рубашку, он ушёл.

— А ведь нет никакой бабки у него в Крепости, — скорее догадался, чем припомнил я.

...Вечером, возвращаясь в село, я всё же решил проверить свою догадку и свернул к дому Трохиных, того самого Трохина, которому когда-то колхозное начальство доверяло объезжать молодых лошадей, что он и проделывал самоотверженно, поражая нас какой-то своей нездешней ловкостью и лихостью.

У белёсых тесовых ворот, чертыхаясь, отрывисто что-то говоря жене, располневший Трохин садился на дрожащий мотоцикл.

Когда я подошёл, Ленькина мать пояснила:

— Опять поехал искать нашего путешественника. Вот наказание-то. Хотя не выпускай из дому. Вбил себе в голову составить карту всей нашей местности — и все тут. Вот теперь, говорят, вверх по речке ударился... Колумб доморощенный. Вы бы хоть зашли как-нибудь к нам, поговорили с ним. Может, вас послушает, у моего терпенья уже не хватает.

Что я мог ответить ей, если у меня у самого хранится собственноручно составленная в детстве карта речки, начиная от нашего села и до ближайшей деревеньки. Если нас самих с Трохиным в детстве, когда-то задумавших добраться до верховья к истокам речки и оттуда спуститься на плотах, вернули с полпути, не дав осуществить одно из самых сильных желаний детства — отыскать начало родной речушки, увидеть тот родничок где-нибудь в осоке или под валуном, который дает жизнь целой многошумной речке.

Минуло более пятидесяти лет с того времени. Столько наворочено теперь в нашей общей жизни, столько утрачено. Люди в плену своего смутного времени, а вот она, Ленькина мальчишеская душа жива! Выныривает из-под завалов двадцать первого века!..

...Истоки... Они и сейчас манят неодолимо, неся в себе намного больше смысла, чем в детстве. Это и ветла у дороги, разбуженная серебряным звоном отбиваемой в утренней рани косы, и наша саманная беленая изба, в которой, взрослея, я впервые не смог заснуть майской короткой ночью от щемящего и неожиданно осознанного чувства жгучей связи, и с первыми крупными каплями дождя, упавшими в распахнутое окно, и с пьянящим настоем сирени в посвежевшем и мокром саду. И — многое-многое другое...

Часовня на набережной

Совсем недавно на Ленинградском спуске в Самаре установили скульптурную композицию по картине Ильи Репина «Бурлаки на Волге». В честь 170-летия со дня рождения художника. Картина эта сейчас в Русском музее в Санкт-Петербурге, а эта вот композиция — у нас на Волге. На волжском ветерке, на раздолье.

Так захотелось посмотреть «Бурлаков».

С моими-то ногами не сразу решилась. Давление успокоилось, я и двинулась в свой поход. Согласно задуманному, доехала на ав-

тобусе до Струковского сада, малость в тенёчке передохнула и — к Волге пешочком.

Редко я бываю на нашей старой набережной, всё больше на 2-й очереди её под Маяковским спуском.

Всё мне понравилось! И сама помолодевшая набережная с её газонами и сероватой плиткой, и неожиданно возникший бронзовый товарищ Сухов из «Белого солнца пустыни», наконец-то добравшийся до Самары.

Трудновато было мне с моим росточком, но дотянулась и я до его отполированного множеством ладоней бронзового носа.

Постояла около «Бурлаков», невольно вспомнив нашу поездку с Колей в Ширяево.

И невольно пошла по направлению в сторону часовни в честь Митрополита Московского Алексия, небесного покровителя города Самары. Эта часовня, как и Иверский монастырь наш самарский, натерпелась. Сначала она была деревянной, это ещё до революции. Потом стала из красного кирпича с белокаменными украшениями и главкой на восьмигранном шатре.

Как повелось у нас, после революции её закрыли, разрушили. Потом восстановили. Это уже, кажется, в 1997 году. Почему помню год? Вторая внучка родилась в это лето. Когда собирали деньги на восстановление, я тоже приняла участие. И так, и сама внесла. Немного моих денег, но есть.

Не знаю, как для кого эта часовня, а я едва представляю, что где-то там, в глубине веков, аж в 1357 году Митрополит Алексий — друг и наставник преподобного Сергия Радонежского, воспитатель великого князя Дмитрия Донского останавливался на этом месте на ночлег в скиту у монаха-отшельника вблизи Самарского урочища — у меня дыхание учащается. Митрополит ехал в Золотую Орду лечить от слепоты жену хана Тайдулу. Была жизнь, которую и представить теперь трудно.

Тогда-то святой Алексий и предрёк, что тут будет воздвигнут город великий, в котором просияет благочестие. И который никаким разрушениям подвергнут не будет.

И верно! Стоит Самара нетронутой, столько выдержав!

Как всё переплетено в истории нашей. И российской, и нашего самарского края...

...Пётр Алабин, Александр Свербеев, Митрополит Московский Алексий...

...Недавно совсем была я в Утёвке на родине иконописца Григория Журавлёва, который родившись без ног и рук, писал свои

иконы, зажав кисть в зубах. Он стал теперь известным не только у нас. Многим дорого его имя.

Подумала я вот о чём после поездки в Утёвку в Храм Святой Троицы и после пешего моего недавнего похода по набережной: Григорий Журавлёв крепко связан со многими известными в городе именами. Голова города Самары Пётр Алабин в своей книге «Во имя Храма Спасителя» отмечал, что Журавлёв по просьбе нашего десятого самарского губернатора Александра Дмитриевича Свербеева написал для иконостаса в Самарский Кафедральный собор икону небесного покровителя города Самары Митрополита Московского Алексия. Икона эта сегодня, спустя более восьмидесяти лет после разрушения главного собора Самары, найдена.

Вот бы где-то около этой часовни поставить небольшой памятник Журавлёву. Как самарскому символу мужества в православной вере! Как примеру стойкости и веры в жизнь!

Есть хорошая фотография братьев Журавлёвых. Брат Афанасий, незаменимый его помощник, сидит на стуле, а Григорий Журавлёв стоит рядом.

Изобразить их в бронзе! Народ бы отозвался. И денег бы, глядишь, собрали. Много ли надо?.. А дело — благое!

Разговор с сыном

Пожар за ночь уничтожил два двора, легко расправившись с тесовыми крышами. И теперь на месте пятистенника Суховых стояла почерневшая от копоти печка да чуть на отшибе торчала невесть как уцелевшая скворечница с раскрытым пустым ртом.

Несмотря на ранний час, на куче хлама копошатся стайкой ребятишки. Чуть поодаль, около палисадника, на свежошкуренном осиновом бревне сидит дед Андрейка. С пшеничными прокуренными усами и большими шишковатыми руками, которые мелко подрагивают, как бы прося работы, — таков дед Андрейка. Дедова саманная изба уцелела, сгорели деревянный сарай и погребница.

Поздоровались. Я присел рядышком.

— Свояк обещался прислать к вечеру трактор — свезти бревна на пилораму.

— Много ль сгорело?

— У Суховых подчистую все, а моё успели вынести, только вот книжки очкарика порастеряли. Да они тут никому не нужны были. Более тридцати лет пылились на полке в сарае.

— Очкарика?

— Жил у нас когда-то учитель Вадим Сергеевич — математик. Странный мужик. Да и то, какой он мужик? Мальчишка совсем, худосочный, как вон та скворешня. Все, бывало, говорил про себя, что знает только то, что ничего не знает. Как же, спрашивал, тогда учительствуешь-то? А так, говорит, каждый день приходится краснеть в классе.

И то верно, маловато, видать, в институте чему научился. Ночами так и сидел за книжкой. А нашим ребятишкам дай всё знать, и точка. Они по необразованности такой вопрос поставить горазды — профессора испугать можно.

— А сейчас где учитель?

— А вот, дружок, и не знаю. Я тогда в Куйбышеве в глазной больнице лежал. Он моей Захаровне сказал, что мать позвала к себе в Саратовскую область — она у него болела крепко. Писали мы с Захаровной с год после отъезда учителю, но ни слуху ни духу. То ли моя второпях при проводах что-то напутала с адресом, то ли те отбыли куда... Нестепенный какой-то был. В брючках в обтяжку, кедах, с ребятнёй нашей шастал везде, вроде б и не учитель. Всё копались за селом в кургане, насобирали черпаков разных, стрел, говорили, целый скелет нашли. И всё это в школу. Музей у них, видишь ли, образовался...

Глубоко вдавив окурок сапогом в землю, дед Андрейка потянулся к топору.

— Ну, наговорились мы с тобой, как бы мне не запоздать в срок с бревнами-то. Покопошусь ещё малость.

В это время к нам подошёл восьмилетний внук деда Андрейки — Вовка, с обгоревшей тетрадью.

— Деда, вот ещё нашел.

— У тебя глаза молодые, посмотри-ка, может, кому сгодится.

Смотрю. Похоже, дневник учителя. На самой первой странице расплывшиеся фиолетовые строчки:

«Я понимаю, сын, что быть искренним всегда, во всем до конца, очень трудно. Поэтому, начиная сегодня разговор с тобой, я обещаю стараться быть предельно искренним. Почему я все это затеял? Потому что мне не хватает тебя, потому что так уж случилось, что мы не вместе, а вместе можем быть только мысленно. Тебе пока всего три года, мне — 23-й, но я буду говорить с тобой, как со взрослым, и хочу, чтобы ты прочёл эту тетрадку взрослым. И, может быть, понял бы нас с мамой...»

— Он что, разошёлся с женой?

— Разошелся, да как-то уж больно не по-человечески, не допускала его теща к сыну.

— Как так?

— Вот так. Всяко бывает. Я его винил сначала, а теперь вижу: тут дело не по моему разуму. Тут свой пожар, крепче нашего.

Под датой «20.06.80 г.» написано торопливо карандашом: «Понимаешь, я очень боюсь за тебя, хочу каждодневно, ежечасно быть около. Я хочу о тебе знать как можно больше. Мне надо знать, как ты относишься к кошкам, собакам, деревьям...

Помню, в нашем селе около озера стоял могучий дуб, казалось, он — олицетворение долголетия и мощи. Но вдруг в одно лето его расщепило надвое молнией. Он засох и весной уже не зазеленел. Так и стоял года три мертвым. Потом его спилили. А вот как громадный пенёк сгнил и пропал вовсе — никто и не заметил. Теперь там, где был дуб, ровная лужайка, поросшая муравой. Тем, кто не знает, что здесь стоял такой великан, и подумать об этом трудно. И приходит минута, когда вдруг резанет в сердце за несчастную его судьбу. И вновь переживаешь все, как в детстве... Бывает ли такое у тебя? Понятно ли тебе, что жизнь травинки каждой, дерева, наша ли жизнь быстротечна и неповторима? И надо жалеть и дорожить ею?»

Пропускаю десятка два страниц. Открываю наугад. Строчки первого абзаца сверху, датированные маем 1981-го года, бьют деду Андрейке не в бровь, а в глаз.

«Видишь ли, краеведение у нас считается делом почти что несерьезным. Но ведь любовь к своей земле, речке, полю начинается не с абстрактного разговора о любви вообще, а с бережного отношения к истории родного края, с общения с сегодняшними людьми его, со знания того, какой она была и стала, окружающая нас жизнь».

Запоздало спохватившись, что, в общем-то, некрасиво читать чужой дневник, закрываю тетрадь. Хочется встать, оглядеться, будто заранее знаешь, что увидишь вокруг себя нечто такое, что никогда раньше не замечал. Кажется, будто учитель где-то здесь, рядом. Просто отошел на минутку, сейчас вернется, подойдет к деду Андрейке, и мы встретимся как старые знакомые.

Солнце уже взобралось на конёк почерневшей тесовой крыши, словно отдыхая, зацепилось за трубу, облепленную, как водится, галками.

— Дружок, — дед замолкает на полуслове, что-то ещё про себя решая. — А ведь ошибку я допустил — не сходил в те годы к нашему учителю на урок. Посидел бы, послушал, а?

«...Как же всё это давно было. Жив ли учитель?» — невольно подумалось мне.

Внезапно спохватился: а ведь сыну учителя теперь где-то около сорока! Где он, какой он?

Такой же как большинство из нас, увязших в суматошной нашей жизни, забывших откуда мы, от каких родителей?..

Или?..

Встретиться бы... И с сыном, и с отцом...

Корпоративчик

Я тут корпоративчик под Новый год вёл. Весёлые ребята собрались, ничего не скажешь. Во всех отношениях. Ага!

Все поначалу было о'кей. Танцы-шманцы, все такое. Разбавляю тосты своими прибабашками. Публика смеётся.

Движемся по накатанному. Карусель закрутилась! По правде сказать: осточертело мне всё это давно.

Но бабки зарабатывать надо. Набрался терпения ещё два сезона покалымить. Сыну старшему квартира нужна. Женился. Он на третьем курсе политеха, она — на втором. Крути папаша карусель!

...Смотрю шеф, Аркадий Михалыч, одобрительные знаки мне подаёт. Мол, всё в порядке! И после каждого хвалебного тоста становится все представительнее, выше ростом. Только маленькие глазки его на большом лице сверлят буравчиками, беспощадно так.

А мне подсказали: «Смотри, не подвернись Михалычу, затопчет».

Смотрю: жена его, поначалу сидевшая с поджатыми губами, и та улыбается. Правда как-то настороженно? И не смотрит ни на кого.

Но шеф доволен! Каждой шутке моей смеётся, часто раньше всех. Непосредственно так. Басовато.

Я в раж вошёл.

Есть у меня всегда в заначке кое-что! ЭНЗЭ — так сказать, золотой запас!

Выдаю из заначки, раз такая пьянка!

Аплодисменты, на грани оваций!..

Решил передохнуть, пока все успокоятся.

Только подошёл к столику горло минералкой промочить, появляется дама. Я её с самого начала заметил, перед таким я невольно поначалу сильно робею.

Будто и со всеми она, а особнячком держится.

— Дима, — обращается она ко мне, — вы нас всех покорили! Мы в восторге от ваших шуток. Мы купаемся в вашей человеческой ауре.

— Спасибо! — отвечаю.

— Но это для всех у вас, — она элегантно кошечкой прошлась вдоль стола и оказался совсем близко от меня.

Холёная, с лучезарной улыбкой, глазастая блондинка.

— Дима, — говорит она мне негромко, — а для меня лично вы можете сделать приятное? Пустячок!

— Да мы! Да я! Всегда готовы, как пионеры! — отвечаю дураковато.

Волнуюсь.

Она продолжает улыбаться:

— Меня зовут Лена. И у меня огромное и редкостное событие: я родила сына! Я люблю весь мир! Всех люблю! И хочу, чтобы все об этом знали! Понимаете?!

«Понимаю, — отвечаю мысленно, — у меня у самого два оболтуса растут!»

А вслух по-гвардейски:

— Чем могу служить?

— Поздравьте меня, — говорит, — прямо сейчас, при всех! Громко! Торжественно! С блеском, как вы умеет! Вы — артист! У вас даже не талант, у Вас — дар!

Льет мне на голову патоку.

— А счастливый отец сына? — спрашивая, — имя его? Он здесь?

— Не волнуйтесь, его все знают. И даже очень!...

— Если женщина просит! — отвечаю, — нет вопросов!

Сделал Гошу знак, музыканты замерли.

Выхожу на подиум.

Поправил свою малиновую бабочку, костюмчик от Кардена и:

— Уважаемые дамы и господа!

Добрая сотня лиц смотрит на меня восторженно, в ожидании следующего моего шедевра.

И я выдаю:

— У одной из сотрудниц вашего замечательного коллектива, которая присутствует в зале, — я перевёл дыхание, — у очаровательной Леночки свершилось грандиозное, планетарного масштаба событие. У неё родился сын! Одним жителем на планете Земля стало больше!

Зал замер. Громыхал мой только голос:

— Это так замечательно! Пожелаем новорожденному, имя которого удивительным образом совпадает с именем вашего шефа, Аркадия Михальча, здоровья и счастья.

Наступила пугающая тишина. Человека три захлопали, жиденько так. И тут же спрятали свои ладошки. Лица у многих вытянулись.

А лицо шефа сделалось ещё круглее. И багрового цвета. Его жена — головой чуть не в тарелке.

Чувствую запах палёного, а не пойму откуда?..

Рванул на всякий случай свою коронную «Калинку». Она у меня всегда в запасе...

Ну, потихоньку заработали за столами ножами, вилками. Кто-то стал подпевать.

Пройдошистый Гоша, как бы случайно проходя мимо, посвятил меня в тайны мадридского двора. Он-то давно прижился к нему...

...Блин, откуда мне было знать, что глазастая блондинка — секретарша шефа, а по совместительству — любовница. И сын у неё родился от него. И ни для кого это не секрет, а наоборот — предмет всеобщего злословия.

Потом мне рассказали: чтобы как-то притушить страсти, шеф отправил её незадолго до корпоратива в длительный отпуск. Вернее с глаз долой. Она же прорвалась на вечер. И только, с неделю назад, страсти попритихли после прилюдного заявления Леночки «всё равно он на мне женится!». Только жена шефа, кажется, смирилась с таким своим положением. Только наступило хрупкое равновесие... и шеф отдышался... Всплыло вновь всё! И я: как некая подлодка! Блин! Субмарина! На вроде бы утихающей глади, появился! И прокричал в рупор поздравление на всю палубу! На всю округу!

Поле чудес! Да и только. Ещё «Калинку» выдал. Как издёвку... Думал, после этого вечера охранники шефа отмутузят меня. Обошлось, однако.

И сам шеф пока молчит. Держит паузу? Новогодние каникулы? Или не хочет связываться с балбесом? Махнул рукой. Худо, если он подозревает, будто у нас Леночкой сговор. Что она мне заплатила...

Тучки небесные

Случилось это осенью сорок четвёртого года.

Мне шесть лет. Лежу утром на печке. Через маленькое оконце во двор к соседям Клюевым смотрю, как через иллюминатор подводной лодки. Там во дворе туман и сумрак. Начинаю фантази-

ровать. Угрюмая саманная банька с кривой трубой в конце двора начинает казаться мне частью выплывающей вражеской подлодки. Почерневшая калитка похожа на вход в подводный туннель...

Вдруг слышу всхлипывание. Плачет мама. Быстро одной ногой — на приступок, другой — на холодный пол.

Мама сидит около шестка, смотрит на костерок в печи:

— Mam, ты чё?

Она оборачивается ко мне. Я вижу её заплаканное, как у маленькой девочки лицо.

Молвит тихо, необычно пристально глядя мне в глаза:

— Иди ко мне, сынок.

Я подхожу совсем близко, не понимая в чём дело.

— Вот видишь, — говорит она и показывает в печь, — дым уходит в трубу. А потом — в небо. А там, в небушке, он попадает в тучки. — Она многозначительно поднимает указательный палец над своей головой.

Я слушаю и не могу сообразить, о чем она?

— А тучки гуляют по всему свету. Они странники! — сказал, так и посмотрела на меня в упор.

— И чё, мам? — не выдерживаю я.

— Эти тучки, могут увидеть нашего отца на фронте! — голос у неё становится вкрадчивым, незнакомым...

Я вздрагиваю. Мне становится не по себе.

— И чё? — терзаюсь я.

— Проси отца, чтобы он не печалился за нас. Мы-то выдюжим. Только бы он остался целым. И вернулся домой. Говори это думу, а он передаст через тучки отцу на фронт. Помнишь, как он всегда любил смотреть на небо, на тучки небесные. Не знай как там теперь, на войне?.. смотрит ли в небо?.. Но ты говори! Чтобы он знал: мы его ждём!

— Mamочка, ты заболела? — вырывается у меня.

Она, сверкнув глазами, требует:

— Говори!

Я невольно подчиняюсь. Под прожигающим взглядом её немигающих глаз начинаю твердить как молитву:

— Папочка, родненький! Мы помним тебя! Мы ждём тебя! Возвращайся!

У меня начинает дрожать голос, губы деревенеют.

Смотрю в мамино лицо, в нем ни кровинки. Одни глаза мерцают бездонно. Я в них растворяюсь как в дыме. Уже не чувствую себя. Я весь во власти мамы...

Мама кивает мне одобрительно. И я снова обращаюсь к дыму, к папе:

— Бей этих гадов немцев! Не давай им спуска. Победи и скорее возвращайся домой!

Мне кажется, что сказано мало. Я добавляю:

— Силы небесные, тучки гремучие, разразите врагов наших насмерть. А папе помогите!

Я ещё что-то говорю. Тороплюсь. Ведь дрова уже догорают в печи... Скоро дым кончится. А тучи могут уйти... Шлю скороговоркой страшные проклятия немцам, которых никогда не видел... Я не могу уже говорить членораздельно. Начинаю мычать. Меня трясёт... Мама обнимает меня. Мы плачем...

Писем от отца так и не было.

А вскоре я увидел живых немцев, пленных. Они шли вдоль нашего огорода колонной. К водокачке, от которой потом начали копать траншею для труб, чтобы подать воду на железнодорожную станцию.

Немцы шли понуро. Передо мной мелькали непривычные, щетинистые лица.

Вели их всего четверо наших солдат, по два с каждой стороны. Злость нашла на меня. «Ах вы! Я вам!.. За всё!..»

Не помня себя, я схватил ком глины. Увесистый такой! И с силой швырнул в ближайшего тонкошеего фрица, замаячившего передо мной, как вышелушенный, болтающийся из стороны в сторону, подсолнух. Немец вяло попытался уклониться. Удар пришёлся по спине. Глухо шмякнулась глина о серую шинель.

Фриц споткнулся... Это подхлестнуло меня, я бросился за следующим комом рыжей глины. Никто не крикнул, никто ничего не сказал...

Сильная оплеуха мотнула меня в сторону. Я обернулся. За моей спиной стояла моя мама. В левой руке у неё был узелок с варёными мелкими картофелинами.

Край колонны смешался, замелькали протянутые руки... Мама приблизилась к идущим по дороге. Отдав узелок в толпу, отошла в сторону.

Когда я вновь взглянул на маму, она молилась. Я не мог понять, зачем она это делает? За кого молится? Теперь она стояла у дороги на возвышении. Изможденная, в полный рост. Моросил дождь.

— Может и наш отец вот так? Не дай бог.., — сказала она, глядя в хвост уходящей колонны. И снова начал молиться.

А серая вереница сгорбленных чужих людей, мало похожих на громких завоевателей, как едкая гусеница ползла по осклизлой осенней дороге.

И никто из немцев не смотрел в небо, как это делал мой отец. Они будто боялись, что набухшие осенней тяжелой влагой тучи, не выдержат всей тяжести проклятий, которые я наговорил перед печкой. И обрушат карающий поток свой! И этот поток смоем разом всех немцев с нашего высокого волжского берега.

И не будет, невесть откуда взявшейся у нас тут этой жуткой колонны...

...А вдоль дороги под дождём стояли, как и моя мама, другие наши женщины. Кто в куртёнках, кто в фуфайках. Как статуи. Только живые. Смотрели молча со своей высоты. Одни женщины просто стояли. Иные молились.

Мужчин у нас на нашей улице не было. Все на войне. Кроме бородатого деда Ивана Саушкина. Он ещё на 1-ой Германской войне потерял обе ноги. В последнее время дед Иван редко выезжал на своей тележке за ворота. А в такую осеннюю слякоть и вовсе не смог...

*г. Самара,
2013-2015 гг.*

За тучами чистое небо

*С благодарностью
Михаилу Яковлевичу Толкачу,
беседы с которым дали толчок
к написанию этой повести*

На хуторе Софиевка

...Работая на железнодорожной станции Сновская Черниговской губернии смазчиком вагонов, мой отец к двадцать второму году заслужил право на получение земельного надела в восемь десятин. Когда у него стало неважно со здоровьем, он уволился, и мы переехали на хутор Софиевка.

Как много необычного открылось для меня с нашим переездом. Лес кругом да болота. Всего двадцать километров от станции, а глухомань.

...Начали мы потихоньку обживатьсья. Появилась корова, потом лошадь. Завозилась и другая разная дворовая живность.

А мне во дворе не хватало собаки. Я даже имя приготовил для неё — Верный. Спал и видел во сне своего Верного, такого же как у Стёпки — моего нового дружка с соседнего хутора. Но только Верный мой был чёрненький с белыми пятнами на мордочке...

...В один из осенних холодных вечеров отец говорит:

— Слушай, Мишка, сбегай за салом. Так захотелось.

Жилая часть хаты и пристрой, вроде амбара — вот всё наше обиталище. Продукты находятся в этом старом амбаре. Во двор выходить не надо. Всё внутри. Сало в бочке, а она — в дальнем углу амбара. Там такая темень... Страшно идти туда, а признаться не могу в этом.

— Я не пойду, — отвечаю.

— Как не пойдёшь?

— Не пойду!

— Не пойдёт он! Вот те на! — смотрит на меня родитель, как на чужого. Покачивает головой тихонько. Потом достаёт из стола бумажную денежку.

— Я тебе заплачу — только сбегай! Зажги вон лампу и сгоняй! Я туда-сюда... Что мне делать? Пошёл...

...Оглядываясь, прислушиваясь в темноте, шагнул в амбар.

«В десять лет — это, — я думаю, — не для меня одного испытание».

...В амбаре оглушительно тихо и таинственно. Руки мои, держащие керосиновую пятилинейную лампу, дрожат. От дрожащей лампы на бревенчатых стенах гуляют блики. Такие тёплые и домовитые днём, деревянные стены источают теперь жёлтый, неприятный, чужой свет. Жуткий и ядовитый...

Боюсь... Но чего конкретно? Взгляд цепляется за хомут, висящий на стене... Я вздрагиваю... Клешни эти его...

Мне кажется, что если вдруг он соскочит со стены и окажется у меня на шее, вмиг стану беспомощным, не смогу сопротивляться!..

А если сейчас стены амбара... провалятся в землю и двухскатая соломенная крыша обрушится Она же накроет меня, и я окажусь в плену! Буду как в клетке. Стану неспособным дать отпор той непонятной силе, которая затаилась в амбаре: то ли в дальних углах его, то ли меж ларей... Или за бочками, в одной из которых уложены куски свиного сала. Эта бочка кажется мне сейчас самой опасной... Мне даже показалось, что от неё вдоль стены амбара мелькнула жуткая тень... На миг я зажмурился... Когда открыл глаза, ничего и никого вокруг нет. Так стыдно стало за свои придумки... Такого страха у меня раньше не было. Руки мои продолжают дрожать...

...Увидел на стене, на привычном месте, косу и чуть успокоился... Если что, косу схвачу!..

Приближаюсь к нужной мне бочке. И тут спотыкаюсь о большую деревянную крышку, которой обычно закрывается бочка. Сейчас она лежит на полу... Странно. Отец забыть закрыть бочку не мог...

...Беру большой холодноватый кусок сала и спешу подальше от бочки, у которой особо остро чувствую неведомую враждебную силу, затаившуюся где-то рядом.

Обе руки мои заняты. В одной — лампа, в другой теперь кусок сала. Я явно обезоружен, я не могу дать отпор, если что...

Почти бегу к выходу. Неловко открывая одной рукой дверь, роняю на пол сало. Подхватывая его, поднимаю голову и вижу, что жуткое пространство амбара, как пасть огромного кита, сейчас вот-вот хватанёт и проглотит меня вместе с моим злосчастным салом и лампой... И я останусь навсегда в тёмной зловещей утробе... И она рассосёт меня... Меня не станет...

...Захожу в хату. Отец берёт кусок сала, не торопясь, кладёт его на стол.

Осматривая сало, спрашивает:

— Ронял, что ли?

Я молчу. Он снимает ремень и давай меня полосовать.

— Ах ты, паразит! Просьба тебе моя ничто? Тебе деньги нужны! Только за деньги?! Буржуем хочешь вырасти!

...Пришла мама от соседей.

— Ты чего? — спрашивает меня.

Я молчу.

— Получил за свою жадность, — поясняет отец, нарезая толстыми шмотками сало.

Так мне обидно от сказанного отцом. Но я молчу. Думаю, пусть прослышу лучше жадиной, чем трусом...

...Через два дня у наших соседей случился переполох. Бдительный старый дядька Михайло и его два рослых сына, выследив и у себя на сеновале, повязали беглого заключённого.

Я видел его. Издали через дыру в плетне. Обросший сильно. А так? Как все люди... А вот руки... Они были большие у него, похожие на клешни... Такие руки, как мне показалось, могли сделать что угодно...

...Уже когда конвоиры уводили по утреннему белому снегу беглеца-убийцу, сказал он через плечо моему отцу:

— Напрасно пожалел я твоего огарыша в амбаре. Рука не поднялась. Сало твоё помогло мне выжить... В нём причина... А так и бочку с рассолом уже для него высмотрел. Но решил по-тихому уйти... А он всё-таки выдал меня, стервец!

— Я ничего не знал! И никому не доносил! — говорил потом я отцу. — Ты же знаешь! Почему не сказал?..

— Знаю — не знаю, — отвечал отец. — Он в аккурат мог в отместку поджог нам устроить. Да, выдать, взаправду за сало по-своему эдак отблагодарил... Не луфарь...*

...За ужином отец сказал для меня долгожданное, приведя свои доводы:

— Ты, Мишка, прав! Кобелёк во дворе нужен. Глядишь бы, этот, с клешнями который, обошёл бы нас стороной...

У меня кружилась голова от таких его слов.

— Имя-то придумал? — спросил отец.

— А как же, давно! Верный!

— Ну, Верный, так Верный, — согласился отец. В этот день он был необычно сговорчивым.

* Луфарь — мелкая рыба.

Стихи на грифельной доске

В Софиевской школе было четыре класса. Я учился уже в четвёртом, а она — в третьем. Её звали Зиной. У неё было особенное лицо, смуглое. И раскосые глаза. Карие!

Наша школа была обнесена плетнём. Кто в таком возрасте ходит через калитку? Нашли лаз и мы. Несколько лазов, не один.

...Я всю ночь сочинял стихи. И вот, затаившись у пролома, где она ныряла через плетнёвый забор, жду!

Она бежит! Я, как истинный кавалер, принял из её рук холщовую сумку, подал руку. Затем вынул из её сумки грифельную доску, грифель. И быстро начертил своё творение.

Она берёт у меня сумку.

А я говорю:

— Зина, я посвятил тебе стихи! Послушай! — и читаю написанное на доске:

*Зина! Зина! Я твой мам!
Свою душу я тебе отдам!*

Она посмотрела на меня, прищурившись, сверху вниз, поскольку была, увы, выше меня, и выдала:

— Дурак ты, Мишка!

И, выхватив у меня сумку и грифельную доску, побежала в школу.

Переживал я тогда сильно. Не знал, что делать и куда идти со своей трагедией. В отчаянье, не зная, куда выплеснуть свои чувства, на глянцевой коре огромной осины у школьного двора выцарапал крупные буквы: «НБТЖЗ — не могу без тебя жить, Зина!» Пусть кто-нибудь докажет, что я писал неискренне! Но что бы ещё сделать?

Уже взрослым я прочитал про Альфреда Нобеля. Попался мне журнал какой-то. В нём писали, что у Нобеля была красивая жена. Один молодой математик стал ухаживать за ней. И, видимо, безуспешно. Узнав об этом, в своём знаменитом завещании Нобель вычеркнул математиков из перечня, определяющего тот круг, в который должны были входить будущие лауреаты Всемирной Нобелевской премии. Такова была его воля! И ни один математик не получил учреждённую им премию.

На меня это произвело огромное впечатление. Такое вот решительное его действие! У меня тоже, по моему тогдашнему мнению, было событие всемирного значения, не менее... Тогда, в Софиевке, я дал себе слово, что не подойду больше к Зине никогда и

не напишу впредь больше ни одного стихотворения! Раз она такая бесчувственная! Деревянная! И на неё не действуют стихи! Она заслуживает только презрения! Вот так!

Я выполнил данное себе слово — вычеркнул её из своей жизни. Тем более вскоре мы уехали из Софиевки. И всё было бы в этой истории моей любви уравновешено, если бы не одно обстоятельство. Зина, повзрослев, стала поэтессой, у неё готовилась к изданию книжечка стихов.

Началась война. Мне рассказали уже потом и об этом, и о том, что она ушла добровольцем на фронт. И в первый же месяц погибла. Об этом я узнал, прожив уже, по общим меркам, целую жизнь...

Узнал, и так много в душе ворохнулось. Первая любовь!

На Восток

В тридцать первом году началась коллективизация. У нас к тому времени было уже две лошади и корова. Это не запрещалось. Но отца записали в подкулачники.

Среди ночи к нам прибегает племянник моей мамы. Он в Софиевском сельсовете работал.

— Яков, беги! Ушёл от голода в городе, попал под раскулачивание тут. Тебя хотят выслать. У тебя твёрдое задание по сдаче зерна, ты его не выполняешь...

Собрал отец, что сумел. И на поезде маханул на Дальний Восток, под Хабаровск. Там жил его давний знакомый.

Утром за отцом приходят люди:

— Где Яков?

— А он уехал куда-то, — отвечает мама.

— Как куда-то? А точнее?..

— Не знаю.

Лошадей, корову отвели мы в тот день же на общий двор.

...Забившись как можно подальше на Восток, отец устроился на станции Ин (теперь — город Смидович) стрелочником. Домой не писал. Писал на школу, в которой я учился. Я получал письма.

И вот приходит ценное письмо. Мне его не дали. Тётка моя получила. А в письме — наряд! На вагон для проезда к отцу. С этим нарядом мама поспешила на станцию.

...Погрузили мы, что могли, в теплушку. И тронулись на Восток. Ехали к отцу два месяца. В этом путешествии погиб мой лучший друг Верный. Мы с ним бегали на остановке за водой, и он

попал под проходящий поезд. Я так потом долго молча плакал, что у меня заболели глаза.

...Наконец-то добрались мы до Еврейской автономной области. Поселились пока у того самого знакомого отца, с которым он работал на станции Ин.

А мне надо заканчивать семилетку! Пошёл в ШРМ — школу рабочей молодёжи. Тогда классов не было. Понятие «класс» было связано с классовыми врагами. Поэтому были группы. Меня определили в седьмую группу. В ней учились все вместе: и те, у кого четырёхлетка, и у кого пяти- и шестилетнее образования.

А я украинец. И мама, и папа — украинцы. Надо говорить «треугольник», а я — «срикутник»... И так далее.

В нашей Софиевке, откуда мы приехали, на Север — Белоруссия, на Восток — Россия, на Юг — Украина. И везде свой язык.

Постепенно как-то всё образовалось у меня. Даже появился новый четвероногий друг, соседский дворняга Цыганок. У меня с ним отношения заладились сразу. Легче, чем в школе с одноклассниками. Он любил сумку мою таскать, а я смотреть на его хитрую морду...

...Окончил я семилетку, а десятилетки на станции нет. Что делать?

Как заяц с отмороженными ушами

...Пока мы решали, куда мне поступать учиться, в стране началась паспортизация населения. И пошла она с Дальнего Востока. А у отца никаких документов нет. Только послужной список с железной дороги. А тогда строго было с твёрдым заданием на сельхозпродукты. «Ага, с деревни? А как у тебя с твёрдым заданием? Выполнил?» И лучше не подходи, коли у тебя долг по налогу.

Отец написал в нашу Софиевку на Черниговщину с просьбой выслать необходимые справки. Но там что-то медлили. А тут, на местах, власти поджимали. Отец опять, как заяц с отмороженными ушами, метнулся в Сибирь, в надежде, что нескоро догонит его паспортизация. Один поехал, в Омск. Его приняли составителем на железную дорогу без паспорта, без ничего. Безлюдье. Вскоре он взял нам билеты на проезд.

Приехали мы в Омск. Кроме меня, ещё брат малолетний, сестра Тоня. У меня всегда желание было стать или геологом, или капитаном дальнего плавания. Начитался Жюль Верна, много ещё чего.

...Хожу по Омску и читаю объявления. Наткнулся на речной техникум. Нашёл приёмную. Явился — не запылится. Посмотрели на меня. А у меня рост — полтора метра с кепкой! «Какой из тебя капитан?» — говорят. А я и вправду совсем фурсик, куда...

Пошёл снова по городу читать объявления. Смотрю на дощатом заборе: «Политехникум путей сообщения». Тридцать две специальности готовят: электрики, вагонники, путейцы, электросварка... Мне понравилось: «Техника высокого напряжения». Пошёл... А что значит — «пошёл»? Ни обуви, ни одежды нормальной... В чём попало. Всё наше имущество где-то ещё тащится по железной дороге.

Сдал экзамены. Приняли. Заниматься должны были в здании управления дороги. Добираться далеко и пешком. Но куда денешься?..

...Пришла наконец-то необходимая справка из сельсовета Софиевки, и мой отец Яков получил паспорт.

Так отец стал сибиряком, а следом за ним, значит, и мама, сестра с братом моим и я. Сибиряки. Сибирь нас приютила. Теперь уж официально.

Роман-заступник

В Омске мама устроилась работать дежурной по вокзалу. От вокзала через улицу — рынок.

...Мама в тот день успела сбежать на рынок и купила небольшую такую баночку мёда. Сестра Вера сильно простудилась. Надо было лечиться.

— Неси, Миша, домой мёд!

Ну я и понёс. Жили мы тогда уже в рабочей слободке на самой дальней улице.

Вот и пятистенник, в котором мы сняли половину. Отец присмотрел его до нашего приезда. Ворота и калитка сделаны крепко. Запор солидный такой.

Баночка круглая и скользкая. Мне надо калитку открыть. Потянулся я, баночку и выронил. Она упала и звякнулась о камень, который, как нарочно, у столба лежал. Большущий такой сверкач. Разбилась баночка! Я в панике. На последние копейки мать мёд купила. До полочки полмесяца. Сажу у ворот и плачу.

Подошёл сосед наш, дядька-сибиряк, раза в два больше моего тятки. С бородой такой. Поглядел на меня. И говорит:

— Не горюй! Мои пчёлы соберут до последней капли твой мёд. Чего ж теперь...

У него, оказывается, была пасека.

Приходит мать. Давай меня учить уму-разуму. Как учить? Несёт ремень, не избежать порки. И тут дядька Роман вновь возник: — Мальца пошто? Не хотел он того. Отпусти, не замай...

И протягивает маме беленькую с синими цветочками чашечку с мёдом:

— Вот на первый случай, возьми... понимаешь... Пока то да сё...

И ушёл, больше ничего не сказав, молча.

...Зато пчёлы дядьки Романа так усердно загудели. Мёда у столба, где камень этот, — как не бывало. Остались только стекляшки от баночки.

Так у меня появился в Сибири первый мой друг и заступник — сибиряк дядька Роман. Он частенько потом меня выгораживал, я иногда набедокурую что, а он тут как тут. Ребятишек, что ли, любил или такой просто! У него и братья были как он. Мама называла его «Твой заслон». При нём она меня не так сильно ругала. И отец мой становился степенней. Потом мы переехали в другой посёлок, вообще из Сибири уехали.

...Сибиряка-заступника, дядьку Романа, я до сих пор помню...

И Сибирь для меня на всю жизнь запомнилась крепкой и надёжной заступницей. Для меня ли одного?..

Сердечные люди

Наконец багажом малой скоростью пришло с Дальнего Востока наше имущество.

...Уже сентябрь месяц на исходе, я учусь в политехникуме. Приходит с работы отец, не один.

— Вот, поступил к нам Степан на работу, — говорит, — как и я, стрелочником, а жить ему негде. Сегодня переночует у нас.

Мама не особо приветливо отнеслась к этому. Какой-то не улыба, не говорит, а буркает глухо... Ладно. Сели за стол, поужинали все вместе.

Этот Степан шныряет из комнаты на улицу, с улицы — в комнату. Мать спрашивает:

— Ты чего?

— Да что-то живот расстроился...

...Легли мы спать. Отец с матерью устроились за печкой, сестрёнка и братишка — на полу в углу. Степана положили тоже на пол, ближе к двери. А я улёгся на большом таком семейном сундуке. Там часть нашего имущества была. Погасили керосиновую

лампу. Тишина. Все уснули. И вдруг, за полночь уже, мама как закричит:

— Яков! Иди сюда!

Я вскочил с сундука.

— Зажги свет!

Отец зажжёт лампу.

— Дивись! Дивись, что делается!

Смотрим с отцом: вешалка чистая. Обуви на полу нет. Всё собрал Степан.

Мама опять:

— Дивись, там, в чулане!..

Отец оттуда:

— Да вроде цело...

А потом осёкся. С просонья-то ещё не того...

— Ах, он паразит! И тут всё вымел!.. Дал под микитки!

Мать в слёзы:

— В чём ты, Яков, пойдёшь на работу? А в чём Миша пойдёт в техникум? Беда!..

...Немножко успокоились, мама командует мне:

— Ну-ка! Миша, открывай сундук!

Поднял я тяжёлую крышку.

— Яков, тащи машинку! — командует мама.

Вытащил отец из сундука ручную швейную машинку. А мама вынула какой-то такой серый тяжёлый материал... И давай меня обмерять. Померила, раскроила...

...Отец какое-то тряпье нашёл. А то в нижнем белье только остался. И пошёл на станцию:

— Я его найду, бандита этого!

Мама ему вослед:

— Ну, да! Ищи ветра в поле.

Мама сшила мне рубашку. С кармашком даже. Штаны сшила. Серые такие. Примерили. Ну, ладно... А обувь-то нечего...

— Ну, Миша, придётся тебе босичком в техникум идти. А я за это время тут, может, что придумаю.

А что она могла придумать? Денег-то нету совсем.

...Я пришёл в техникум с опущенной головой. Сел за парту, ноги подальше спрятал. А наша группа была такая: там и с производства люди пришли, и из армии... В возрасте ученики. Это мне четырнадцать годков.

Слава Неаполитанов, староста наш, подходит ко мне:

— Миша, ты что такой никлый?

А у меня уже слёзы катятся вовсю.

— Э... э... — говорит, — да ты босиком.

Я ему рассказал, что случилось.

— Да, — говорит Слава. — Надо как-то выкручиваться!..

И в это время заходит наша классная руководительница Вера Михайловна. Команда: «Встать!» Он докладывает: кто отсутствует, кто присутствует. Она видит, что староста какой-то необычный.

— Что у нас случилось? — спрашивает Вера Михайловна.

Неаполитанов громко, на весь класс сказал про мою беду.

Она тут же:

— Посидите, дети. Я сейчас приду.

Ничего себе, дети! Она у нас химию вела. Мы её «химичкой» называли. Такая красивая, я на неё стеснялся смотреть...

Ушла она. Вернулась быстро. И на учительский стол кладёт две бумажки. Говорит:

— Кто сколько может, сколько есть, давайте сложимся...

Ребята зашуршали. У кого мелочь, у кого что... Собрали... «Химичка» — Неаполитанову:

— Слава, бери Мишу и идите в обувной магазин. Освобождаю от занятий.

...Пришли мы в магазин. Слава говорит продавцу:

— Вот, надо Михаила обуть! Нужна хорошая, прочная обувь.

Мужик торговал лысоватенький такой. Поглядел он на меня. Показывает на коврик.

— Оботри хоть ноги-то!

Приносит рабочие ботинки. Тёмно-коричневые такие. Померил я. Хорошо сидят так! Ладно!

Слава командует мне:

— Не снимай!

Зашнуровал я ботинки. Всё! Он продавцу деньги даёт. Тот отсчитал сколько-то. Ещё осталось. Пошли мы. Я на седьмом небе. Такой обуви я никогда не носил. В основном лапти были.

В тридцать третьем году эти события вершились. Идём по улице, напротив магазин «Ткани». Слава берёт меня за руку:

— Пошли!

Входим. Слава с порога:

— Носки есть?

— Есть, — отвечает продавец.

Купили носки.

Приходим в класс. Я громко так говорю всем: «Спасибо!»

Химичка наша уже второй урок вела. Она урок не прервала, просто посмотрела на меня. И улыбнулась так... Я сел за парту.

Кончились уроки, я полетел домой. Мать посмотрела на меня:
— Где это? Как!

Я рассказал. Она и расплакалась.

— Какая мы голытьба-то... Хорошо, что сердечные люди есть. И так мне её жалко стало. Что-то во мне будто хрустнуло...

Приходит отец. Мы его не узнаём. На железной дороге выдавали бесплатно летнюю и зимнюю одежду. Он стоит перед нами в тёмно-синей куртке, брюках и в тех опорках, в которых уходил из дома. Но зато в фуражке! Фуражку выдавали! Мы порадовались все. Служба, значит, куда устроился отец, хорошая. Не пропадём!

Отец взял мои ботинки, помял, потрогал, погладил.

— Да, мы бы никогда тебе не купили такую обувь! Давай, Миша, так сделаем: ты говоришь, тебе стипендию назначили, пятнадцать рублей. Вот получишь и раздай её в техникуме людям, которые нам помогли. Так правильно будет.

...Ладно, наступает шестнадцатое сентября, нам положена была выдача стипендии в середине месяца. Я получил свои денежки. Первые, которые я вроде как заработал учёбой своей.

Иду, навстречу Вера Михайловна. Я две бумажки протягиваю ей. Она:

— Что это?

— Так вы же давали мне?!

— Мы тебе помогали, — смотрит на меня внимательно, не строго... Чужая, а как мама.

А меня что-то так взъело. Я дёрнулся нервно и как закричу вне себя:

— Я не нищий! Не нищий! Слышите!..

И побежал по коридору. Куда бежал, зачем? Не знаю.

Мы занимались на четвёртом этаже управления железной дороги. Когда бегом спустился на первый этаж, вахтёрша:

— Ты чего, мальчик, бежишь?

А я тогда маленький такой был... «Мальчик...»

Она спрашивает, а я сам не знаю, что делаю... Потом нашёлся:

— Да вот, живот у меня...

— Ну, на тебе сушку. Поешь...

А во мне всё ещё кипит что-то, я продолжаю твердить про себя: «Я не нищий!»

Слышу звонок. Большая перемена кончилась, надо идти. Бегу наверх. Прибежал. Вера Михайловна стоит. Посторожилась мочла.

Я прошёл, набычившись. Заходит преподаватель электротехники Глушков, деликатный такой мужик. Мы его звали «Плюс-минус». Вера Михайловна говорит ученикам, скупно так:

— Вот, Миша хотел раздать деньги всем... Но я думаю, это напрасно...

Повернулась и пошла. Проходя мимо меня, на мой стол положила две бумажки, которые я ей дал в коридоре.

У меня слёзы текут. Не пойму ничего...

...Глушков прочитал свою лекцию и ушёл. Оставил и он нам самим решать свои проблемы.

У нас в группе были две дивчины: Скобелева Таня и Надя, забыл я её фамилию. Скобелева подходит ко мне, берёт мои щёки своими горячими ладонями и говорит:

— Миша, Миша! Какая же ты беда у нас для девчат! За твоими ямочками на щеках девчата на край света босиком побегут! А ты?!

Ткнулась носом в мою переносицу. Задышала жарко. Каштановые волосы её защекотали мои ноздри. Обнимает меня и улыбается. И класс весь в улыбках.

И я заулыбался... Конфузливо отстраняясь.

А Таня вновь взяла моё лицо в свои ладони, подержала так, потом ладошкой стёрла на моих щеках следы слёз... И всё! Всё встало во мне на свои места. Вновь появилась потерянная было опора...

* * *

На третьем году учёбы случилось незабываемое.

По всей стране призыв: «Комсомол на самолёты! Дать стране сто тысяч лётчиков!»

Такая волна пошла!..

Всё преодолеть, лишь бы поступить в аэроклуб!

Александр Косарев! Кипучая энергия генерального секретаря ЦК комсомола передавалась, многократно усиленная, нам.

Сколько нас тогда откликнулось! Сколько без отрыва от производства готовилось стать лётчиками и авиационными специалистами.

Возникло общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству — «Осоавиахим». Был утверждён нагрудный знак «Ворошиловский стрелок». Меня взяли! Шесть часов в техникуме, остальные — в аэроклубе!

Золотое времечко!

Так было...

...Пришёл я на занятия в техникум, навстречу в коридоре Вера Михайловна. Я на неё по-прежнему стеснялся смотреть. Такая правильная и... красивая.

— Слушай, Михаил, тебя вызывают на Лермонтова, 18.

— А что там? — спрашиваю.

— Я сама толком не знаю... Сказали, что надо явиться. От занятий освобождаешься, иди!

Шагаю по улице Ленина. Ага, вот она пересекается с улицей Лермонтова. Нахожу дом номер 18. Такое каменное угрюмое здание. Захожу. В коридоре стоит часовая.

— Тебе чего, мальчик?

— Да вот, мне сказали, чтобы я пришёл.

— Как твоя фамилия?

Я назвал.

— Вон там слева поворот, пройдёшь, будет комната номер 12.

Иду. Повернул. И наткнулся на вахтёра.

— Мне в двенадцатую комнату.

— Документ?

— У меня никаких документов нет, — отвечаю.

— А фамилия есть? — спрашивает с усмешкой.

Я ещё раз назвал.

— Ладно, вот тебе пропуск, иди!

Я уже смекнул, куда попал...

Захожу в эту самую комнату под номером двенадцать. Сидит за столом совсем молодой, в штатском человек. Спрашивает:

— Ты знаешь, где находишься?

— Нет, — отвечаю, — меня пригласили, ничего не сказав.

— Ладно, сейчас узнаешь.

И задаёт вопрос:

— Ты лекции директора техникума слушаешь?

— Те, что положены по курсу, слушаю.

— Ваш Линкевич говорил, что Ленин был за крестьян? А Сталин уничтожает деревню?

— Я не знаю, может, и говорил. Не слышал...

— Так ты слушаешь лекции вашего историка или нет?

— Если интересно, — отвечаю, — слушаю, а если нет — не слушаю...

— У вас там все такие? — спрашивает. — Мямкаешь тут!

А меня уже злить начал такой разговор.

— Нет, — говорю, — не все, через одного... может, реже...

Он кулаком грохнул по столу и поднялся во весь рост. Жердина такая оказался, с узенькими плечами.

Мне чудно стало. Молодой совсем ещё я. Небитый. Говорю спокойно:

— Вы чего злитесь?

В ответ:

— Молчать!

Я молчу... Оба молчим.

Он протягивает руку:

— Давай пропуск!

Я положил на стол бумажку. Черкнул он быстро в ней и мне:

— Иди и больше здесь не появляйся!

— Я не по доброй воле здесь, — отвечаю. — Мне тут делать нечего!

— Мы здесь серьёзным делом занимаемся, тебе надо понять... — уже спокойнее говорит хозяин кабинета.

У меня вырвалось:

— А я что? Без дела, что ли, здесь?..

Он опять по столу как грохнет кулаком:

— Вон отсюда!

Я выскочил.

Прихожу в техникум. Надо доложиться! Я к Вере Михайловне.

— Всё, ходил я куда надо.

Она спрашивает:

— А Линкевича выпустили?

Я удивился:

— Откуда?

— Оттуда, куда ты ходил!

— Я его там не видел...

...Директора Линкевича освободили от должности и выслали, обвинив в пропаганде троцкизма. А к нам прислали другого директора, Сидоренко. Нас он в первый день поразил тем, что ходил в кубанке с красным верхом. Такой казак лихой! Круто стал наводить свои порядки. На доске объявлений через несколько дней появился его приказ о лишении студента Покровского стипендии. А мы в старших классах уже получали по двадцать пять рублей. Женя Покровский жил с матерью в полуподвале. Мама Жени — бывшая учительница — долго болела, не работала. И двадцать пять рублей, конечно, для Покровских были нелишними.

Нас возмутил приказ нового директора! Так Женя бедно живёт, а тут этот казачий наскок!

Слава Неаполитанов, Володя Галевский и я — три богатыря, пошли к директору искать правду.

Директор не стал с нами долго разговаривать:

— У каждого своё дело! Ваше — учиться, моё — руководить! Это моё решение, я за него в ответе. Вопросы есть? Вопросов нет! Идите на занятия!

Вот и весь разговор.

Галевский не выдержал:

— Как Покровскому жить?

— Я кому сказал? — последовал окрик. — На занятия шагом марш!

Когда шли по коридору в свой класс, Галевский заявил решительно:

— Надо писать в Москву, в железнодорожную газету «Гудок»! Произвол терпеть нельзя! Директор лишает будущего советского специалиста последнего куска хлеба. Он поступил как враг народа!

...Написали мы письмо, отправили в Москву. Через две недели вызывают нашу троицу в Омский политотдел дороги. Мы сразу поняли причину вызова. До того всё ходили смотрели на доску объявлений: есть отмена приказа или нет?

...Нас всех троих повели к заместителю начальника политотдела дороги.

В кабинете оказался тихий такой лысоватый человек, с весёлой улыбкой.

— Ну что, хлопчики! Как ваши дела? Рассаживайтесь.

Расспросил нас про учёбу, то да сё...

А потом:

— А вы дорогу в наш политотдел знаете?

— Знаем, — отвечаем, — мы же к вам прибыли!

— Так почему же раньше не пришли, а сразу писать в Москву?

Пришли бы, рассказали.

Галевский не выдержал:

— Так мы пошли к Сидоренко, а он нас выставил.

Володька мотнул своей разудалой головой и выдал:

— А вы что, за него? За Сидоренко?

— Ну, кто тут за кого, мы разберёмся, — говорит хозяин кабинета строго. А глаза всё такие же, как в первые минуты, приветливые. — С Сидоренко мы уже разговаривали... Он считает, что

Покровский как сын колчаковца, который вместе с белой армией ушёл из Омска, как социально ненадёжный элемент не должен получать советские деньги.

Галевский вновь за своё:

— Вы тоже так считаете?

Задиристый был парень, наш Галевский.

— Как мы считаем? — проговорил хозяин кабинета с расстановкой. — А вот вы? Вы назвали Сидоренко врагом народа? Вы на этом настаиваете?

Приходит на выручку Галевскому Неаполитанов:

— Мы написали в письме: «как врага народа». Это разные вещи!

— Да, — серьёзно смотрит на нас наш собеседник, — время-то какое?! Вы подставили нового директора под удар. А ведь он красный командир! Воевал против Колчака! Преданный коммунист. Каково ему?

— Линкевич, прежний директор, тоже был преданный коммунист, — не выдерживает Галевский, — знаем мы...

— Ну, вы сравнили. Также мне... Вот что, хлопчики, идите учитесь, то есть занимайтесь своим делом. Стране нужны советские специалисты. Поэтому набираем студентов из рабочих и крестьян. Надо менять старые кадры. Вы это твёрдо запомните. А Сидоренко отменит приказ.

Уже на улице, когда мы стояли перед внушительным зданием управления железной дороги, Галевский заявил категорически:

— Видать, мастер он улюлюкивать таких как мы... Как хотите, но если в течение трёх дней не появится приказ о назначении Женьке стипендии, я напишу о произволе нового директора товарищу Сталину. Кубанку с красным верхом и я могу надеть!..

Приказ свой директор техникума отменил.

...Шла вторая половина 1936 года. До 37-го — всего ничего...

Прыжок с парашютом

Учёба в аэроклубе поглощала всё свободное время. Небо не отпускало. Манило, завораживало!..

...Раньше не было, а тут появился у нас в аэроклубе комиссар. Старательный такой, быстро для всех стал своим. В аэроклубе два отделения: лётное и парашютное. Комиссар — в парашютном отделении, ни разу не прыгавший с парашютом! Может ли такое быть? Его это не устраивало. Заявил, что непременно должен прыгнуть.

И не один раз! А у нас был замечательный укладчик парашютов Глазьев Илья, с армии пришёл к нам. Баянист-виртуоз! Почему он на сцену не подался? Я в жизни таких не видел больше. Мы с ним подружились крепко. Часто пели с ним вместе. Он любил украинские песни, а я — русские.

...Дали комиссару парашют обычный и второй, запасной. А был такой порядок: в маленький кармашек на чехле парашюта помещался номер укладчика. И пломба. Если удачно совершён прыжок — нет вопросов. А нет — с укладчика с первого спрос.

На высоте восемьсот метров, как всегда, открыли дверь. И комиссар полетел вниз. За ним толкнули меня. Я тоже прыгал впервые. Каков был порядок? Когда вываливаешься из кабины, считаешь: сто двадцать один, сто двадцать два... На счёт сто двадцать три — рвёшь кольцо. Получается через три секунды. Я дёрнул кольцо: всё в порядке. Повис на стропах. Осматриваюсь. В первый раз всё, интересно...

...Комиссар ещё перед прыжком всё смотрел вниз, оглядывался. Люди на земле ждут его прыжка. Комиссар прыгает впервые! Я-то ладно...

Как вывалился он из кабины, так и пошёл вниз, впереди меня. С нераскрывшимся парашютом. У всех на глазах о землю: хлоп!

И тут началось!

Комиссара мёртвого увезли... Назначили расследование. Заработала комиссия. Открыли кармашек, где номерок укладчика парашюта лежит. Там — номер укладчика Глазьева Ильи.

Командуют ему:

— Товарищ Глазьев, одевайте парашют комиссара!

Одевает Глазьев парашют.

— Садитесь в самолёт, будете прыгать! Вы укладывали этот парашют...

Пошёл Илья к самолёту, не глядя ни на кого. А тут резко обернулся, сказал мне с непонятной усмешкой при всех:

— Мишка, не дрейфь! Как приземлюсь, так сразу тебе свой баян подарю. Ты моё слово знаешь...

А я онемел. Не могу слова сказать.

Щенок Верный, которого я подобрал около техникума и который прижился у нас в аэроклубе, жмётся к моим ногам, поскуливает... тошно от этого...

Илья потом рассказывал, что не помнил, как прыгал, как раскрылся парашют. Пришёл в себя уже около земли.

...Когда продолжили расследование, оказалось, что у комиссара ещё в самолёте произошёл разрыв сердца. Не ведая того, его мёртвым толкнули из самолёта.

...Илья пролежал после прыжка около месяца в больнице и вернулся в строй. В первый же день вручил мне свой баян, несмотря на моё крепкое сопротивление.

Выполнил своё обещание, хотя и с опозданием. Я потом этот баян всюду возил с собой. На нём оба моих сына позже играли. Но как Илья так и не научились...

Москва ждёт!

В аэроклубе — шорох! Да ещё какой!.. Дорожки чистят — к ангару, к месту сбора... Посыпают песочком. Что случилось?

Начальник нашей лётной части разузнал, что Чкалов, Байдуков, Беляков прибыли в гостиницу Сибирской академии наук. Их увезли из города, чтобы они отдохнули. В Омске они оказались после возвращения из своего знаменитого полёта на дальность. Из-за обледенения вернулись. Их охраняли в гостинице. И допуск к ним был только, как говорили, у секретаря обкома Разумова и других, совсем немногих.

Начальник лётной части Исмоденов говорит:

— Проводим, ребята, операцию «икс»! Никому ничего говорить не будем! Всё сделаем сами!

А у нас были девчата лётчицы Аня Доброхотова, студентка сельхозинститута, ещё там несколько. Трёх мы выбрали. Самых симпатичных! Нашли корзину. Дело в августе было. Заполнили её пышно цветами. И поставили оперативной группе задачу: любой ценой привести в аэроклуб Чкалова! Не исполнят — всеобщее презрение мужской части курсантов. Девчонки аховые! Пошли в гостиницу академии. Расстояние — всего ходьбы минут на пятнадцать.

Аня потом рассказывала, как они прокрались мимо охраны. И дрожат, и надо! Прошмыгнули в гостиницу. А там первый секретарь Разумов, лицом к лицу столкнулись:

— Вы как сюда попали?

— Да вот! Нам бы Валерия Чкалова в наш аэроклуб пригласить. Все хотят видеть героя!

— Да вы что, девчата? — удивился самый главный омский начальник. — Москвой запрещены любые мероприятия. Героям отдыхать надо. Они должны улетать сегодня.

Девчата не сдаются:

— Ну как же так! Там столько народу ждёт! И мы вот! Так нам хочется его увидеть. Один раз в жизни! Разве герои прячутся?..

Сдался Разумов. Махнул рукой:

— Ну, девочки! В грех вводите!

...Сажают Валерия Павловича в обкомовскую машину и в аэроклуб к нам. Девчата не уместились. Побежали своей дорогой в аэроклуб.

Приезжают гости к проходной. Часовой нашего лагеря:

— Кто такие?

Выходит Разумов.

Его узнали: «Ура! Ура!» И повели всех по дорожке. А нас, курсантов, построили. Стоим в чистеньких стираных комбинезонах. Шеренгой стоим. Вот он какой, Чкалов! В косоворотке кремового цвета, шёлковый поясок. Шея борцовская такая, чуб!.. А у него уже звание было — комбриг. Комбриг и этот шёлковый поясок?! Брюки такие в полоску, тёмные. Бросились в глаза его заграничные тёмно-коричневые ботинки на толстенной подошве.

Он смотрит на нас. Мы на него.

Не верится: перед нами человек, совершивший только что беспосадочный перелёт через Северный Ледовитый океан из Москвы в Петропавловск-Камчатский и далее на дальневосточный остров Удд. Преодолевший со своим экипажем более девяти тысяч километров, находясь без посадки в воздухе более пятидесяти шести часов! И такой обычный парень! Как один из нас...

...У начальника аэроклуба своя программа. Свой умысел...

— Валерий Павлович! Приглашаю посмотреть нашу материальную часть!

Чкалов показывает на посыпанную песком дорожку:

— Да вы же тут три дня драили всё! Что мне смотреть? Вот лучше давайте кое-что расскажу.

Нагнулся, поднял веточку берёзовую с земли:

— Смотрите, ребята, как мы летели!

И на песке начал водить прутиком этим:

— Вот Москва, вот Северный полюс! Здесь мы сделали поворот, тут началось обледенение. Мы снизились, долетели до острова Удд. Сели... Лететь дальше было нельзя. Мы и так перекрыли рекорды. Такие дела, ребята!

И улыбается простецки:

— Какие вопросы?

Все притихли. Мировой рекорд совершён, а он так обычно говорит обо всём... Прутиком чертит...

У моего дружка Петьки Захардяева вопросы были на кончике языка:

— Валерий Павлович, вы разработали фигуры высшего пилотажа: восходящий штопор, замедленную бочку, а если, когда...

Он не успел договорить. У проходной хлопнул выстрел. Все всполошились. Побежали туда. Наш начальник аэроклуба еле вмещался в кабину. Он, как утка, бежит — колыхается. Его все обогнали. Чкалов, Разумов остались, не побежали. Но чуть позже и Чкалов не удержался. Тоже прибежал к проходной. У входа стоит эмка. Как выяснилось, часовой не пускал машину, его не послушались. Он выстрелил в воздух!

В машине были второй пилот Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков. Как оказалось, обнаружив пропажу своего командира, разузнали, что да как. И в аэроклуб, к нам!

...Вышли они из машины. Мы подняли их на руки. И давай подбрасывать! А Чкалов сзади:

— Вот, черти! Меня так не встречали!

Подхватили мы его на руки. Общий восторг! Лица незабываемые!

Тут появился запыхавшийся, розовощёкий Разумов с кровоточащей царапиной на лбу. Получил ранение, продираясь через кусты. Он взял команду в свои руки:

— Всё, всё! Товарищи! Хватит! Москва ждёт! Мы и так нарушили распорядок! Едем!

Отпустили мы наших гостей на землю, стали прощаться.

...В тот же день они улетели.

Кулик летит!

Только мы успокоились в аэроклубе после встречи с Чкаловым, вновь событие: Кулик летит! Дают опять команду: чистить территорию, дорожки ровнять!

А кто такой Кулик? Нам объяснили, что это большой учёный, который занимается метеоритами. Академик!

Он попросил, чтобы с ним на маленьком самолёте полетали над степью. Ему сверху надо осмотреть территорию. Нет ли каких остатков небесных тел?

Заурядный предстоял полёт. Пилотировать должен был сам начальник лётной части.

Обычное дело, но любопытное!

Для нас академик — это... это даже не найдёшь, с чем сравнивать! Это что-то заоблачное... Ждём с нетерпением встречи с учёным всем аэроклубом.

И... появился... маленького росточка человек. Рубашка у него навыпуск. Какая-то выцветшая, серая кепочка на голове. На ногах то ли парусиновые туфли, то ли тапочки... Такие мы начищали мелом или зубным порошком, чтоб белые были.

Запустили мотор. А он... ему наш заведённый порядок к чему? По траве неудержимо напрямки пошагал к самолёту. Попал под воздушную струю, которая идёт от мотора... Сорвало с него кепку. И унесло!

Он — начальнику аэроклуба:

— Пожалуйста, поищите! Мне без кепки трудно... Солнце...

Надо искать! А вокруг мусор, лесопосадки, ветошь. Ходим, ищем кепку учёного Кулика. Нет нигде!

Кулик помогает:

— Она помятая такая. Смотрите, может, где среди ветоши. У меня зрение того...

Нашли наконец кепку. Она такого же цвета примерно, как наша обтирочная ветошь, не сразу отличишь, прав Кулик.

Вручили ему головной убор. Надел он кепку козырьком назад и к самолёту. Опять тем же путём. Удержали его на этот раз.

Улетели они. Летали, пока не опустел бак с топливом. Ничего не нашли.

Собрали нас опять после полёта. Сели мы на травку рядком.

— Сейчас, — говорит начальник аэроклуба, — Леонид Алексеевич, товарищ учёный, расскажет о своей работе.

И мы узнали о том, что учёный возвращается в Академию наук в Ленинград из Индии. Там упал метеорит. Но найти ничего не удалось, как и у нас.

— Это не впервые так. Иногда находятся неожиданные предметы, но часто это не то, — говорил нам учёный. — Расскажу такой случай. Пришло сообщение: в казахской степи найден метеорит. Приехали мы на место. Действительно, лежит большой кусок железа. Его погрузили, вывезли к железной дороге. Потом доставили в Ленинград. Стали исследовать. находка оказалась обычным слитком после плавки доменной печи. Когда-то степью везли его, очевидно, на телеге. Обронили. Не стали поднимать. Громоздкий.

Мы послушали. Поблагодарили из вежливости. Скучноватым показался нам рассказ. И рассказчик... чудаковатый такой...

Улетел учёный.

— Это, конечно, не Чкалов, — подвёл итог встречи Петька Захардяев. — Металлолом собирает в тапочках.

* * *

...В 1942 году наш полк перебросили с Калуги на Вязьму, к станции Угра. От неё километров десять есть селение Восход, где до освобождения от немецких захватчиков был лагерь наших военнопленных, а рядом с ним госпиталь с больными тифом.

Нам стало известно, что в этом лагере среди наших военнопленных был и советский учёный Леонид Алексеевич Кулик. Тот самый, который когда-то приезжал к нам в аэроклуб!

В июле 1941 года он настоял, чтобы его с никудышным зрением всё же взяли добровольцем в московское народное ополчение. Его ранило в ногу, и он попал в немецкий плен. Нам рассказывали, что немцы предлагали ему как учёному выехать в Германию, работать в науке. Он отказался, попросив, чтобы его перевели работать санитаром в организованный самими пленными госпиталь. Ему разрешили.

Вскоре он заразился сыпным тифом и в 1942 году умер. Я был поражён тогда всем тем, что узнал о Кулике. Поражён мужеством и стойкостью этого неяркого, негромкого человека, рассказывавшего нам на лётном поле о каких-то там невиданных небесных телах, чудных случаях с железками с неба...

* * *

Когда уже после войны я стал работать в журналистике, открыл для себя, что Леонид Алексеевич Кулик был первым человеком в России, посвятившим себя организации в стране самостоятельной комплексной науки — метеоритики. Это было новым и в масштабе всей мировой науки!

Он был первым исследователем Тунгусского метеорита, получил первые научные данные о нём. Руководил лично несколькими экспедициями по изучению метеоритов. Был учеником и соратником В.И. Вернадского.

Теперь именем Л.А. Кулика названы один из кратеров на обратной стороне Луны и малая планета Солнечной системы.

*От героев былых времён
Не осталось порой имён...*

Бывает и так. И как отрадно, что имя Кулика осталось навечно с нами. А мне довелось в жизни даже видеть этого легендар-

ного человека, знать, какими могут быть такие люди в обычной жизни...

Велик человек в своём тихом мужестве. А мы только парусиновые тапочки да мятую кепку тогда по молодости и увидели...

Запальные свечи

Энтузиазма в наше время было через край, а аэроклубы были нищими. На самоокупаемости. Инструктор аэроклуба Михаил Кочергин говорит мне:

— Сегодня полетим на контрабанду.

«Куда это, думаю, нас понесёт?»

А наш аэродром осоавиахимовский «Иртыш» и гэвээфовский аэродром — огромный такой, рядом были.

Легим, он командует:

— Вон там травка, садись! Чтоб не на глазах и не в грязь. Мотор не заглушай!

Сели. Он ушёл к зданию мастерских. Смотрю, идуг назад вдвоём. Парень около него такой, независимый по виду, длиннющий. Сверху вниз на меня смотрит с прищуром.

Михаил говорит мне:

— Николай никогда не был в воздухе. А очень ему хочется. Покажи небо! По полной программе! Важный для нас пассажир.

— Ну, раз хочется, — говорю, — покажем!

...Кочергин помог пассажиру пристегнуть ремни. На нём была кепка. Он лихо повернул её козырьком назад. Такой парнишка бравенький...

И мы полетели.

Кочергин кричит:

— На полную высоту! Чтоб запомнилось!

А самолёт У-2 может подняться на две с половиной тысячи метров. Около трёх километров двигатель уже задыхается, не хватает воздуха, нужен форсаж.

Поднялись на две с половиной, и я начал выполнять задание командира. Перевороты, штопор, мёртвая петля и так далее... Персона, думая, важная... Не зря такой фасонистый... Не подкачать бы...

Выполнил, что мог, старательно и тогда только посмотрел туда, где должен быть наш бравый пассажир. И обомлел: там никого нет! Ё-моё! Где он? Я, признаться, растерялся крепко. Смотрю на землю... Давай мёртвыми петлями быстрее снижаться.

Снизился. Вышел на то место, откуда взлетал. Посадил самолёт. Глянул, а пассажир лежит на полу в кабине. Очнулся, висит на ремнях. Мычит что-то. Кепчёлки на головке у него нет.

Кочергин тоже перепугался. Отстегнули его, вытащили. А у него, оказывается, вестибулярный аппарат нукудышный! Стоит на земле, шатается. Как пьяный.

— Ну что, посмотрел? — спрашивает Кочергин.

— Посмотрел, — не сразу, мотая головой, отвечает тот.

— Ну, тогда иди! Дойдёшь сам?

— Дойду.

И пошёл, сначала как-то наискосок, но потом выпрямил свой маршрут.

Инструктор вытаскивает из кармана пять свечей к мотору:

— Зато смотри! Где бы мы их достали? А там у них в мастерских на ремонте стоят и большие самолёты, и «кукурузники», и планеры. И там столько ещё таких желающих подняться в небо! Без запчастей не останемся... Но только ты в следующий раз меня, тёзка, не подводи: полегче в воздухе, а то останемся не только без свечей... Народ-то неподготовленный, а запал есть!

— Можно и полегче, — отвечаю. — Какая команда будет...

Высший пилотаж

Наш поток учлётов в аэроклубе начал готовиться к экзаменам для передачи нас в резерв Красной Армии. Учлёт Колька Рябов работал продавцом в магазине «Культорг». Продавал книжки, канцтовары и прочую мелочь. Мы звали его Циркулем. Разбитной такой парень, без удержу.

Мы давно уже летали самостоятельно. Отшлифовывали высший пилотаж. Делали мёртвую петлю, боевой переворот, штопор, бочку, весь набор высшего пилотажа. В который уже раз.

Жили в палаточном лагере среди берёз.

Колька говорит:

— Ребята, я сегодня покажу высший класс! Учитесь и завидуйте!

Наша посадочная площадка была на опушке берёзового леса. За лесом целая такая плантация, засаженная капустой. Дальше — полоса овса. Высокий уже овёс, целое поле его.

Мы шли в полёте так: над верхушками берёз, потом спускались на поле и на целину садились.

Перед полётом Колька крикнул озорно:

— Следите за тем, как буду рубать после «бочки» капусту! Такого в высшем пилотаже ещё не было!

— Какая капуста? — пожимаем мы плечами. — Такой фигуры нет!

И он полетел. Летал Циркуль с упоением. Выполнил в зоне всё, что положено. Безукоризненно! Инструктор цокал языком. Такой ученик! Мы, все, кто свободен, стоим на старте, на огороженной площадочке. Смотрим, как Колька пошёл на посадку.

Над берёзами прошёл он с форсом, задевая намеренно вертушки. И как только кончился берёзовый лесок, самолёт его нырнул вниз и буквально почти по земле пошёл, сшибая колёсами белые крупные кочаны капусты. Только белые кочерыжки за сверкали! А когда кончилась капуста, шасси начали наматывать на себя овёс. И самолёт скапотировал. Ткнулся капотом в землю. Встал напопа. Постоял немножко так, повернулся и упал на стабилизатор.

Колька висит на ремнях. ЧП! Со старта к самолёту помчалась с визгом пожарная машина. Побежали наши руководители. Перевернули в нормальное положение самолёт.

Колька-Циркуль вышел с опущенной головой. Начальник лётной части остановил полёты. Сбор! Нас построили.

— Учлёт Рябов! Два шага вперёд!

Вышел Колька из строя.

— Кругом!

Повернулся Колька к нам лицом. Лицо уже дерзкое. Исмодемов — начальник аэроклуба, обычно такой улыбчивый казах, говорит громко, обращаясь к курсантам:

— Вот перед вами форменный хулиган! Ему не место в рядах лётчиков Красной Армии! Я принимаю решение выгнать его из аэроклуба!

Все молчат.

Учлёт Сергей Гелимов шагнул вперёд из строя:

— Товарищ Исмодемов, Николай Рябов — лучший из нас! И он уже на выходе! Спросите инструктора: Рябову нет равных!

Исмодемов прошёлся перед строем, остановился перед Гелимовым, похожий на носорога. Сказал упруго:

— Это я всё знаю! Долдоните мне... Но прощать такие выходы... Адвокаты мне! С осину вырос, а ума не вынес.

Помолчал, поводя огромной головой на массивной бурой шее и — к начальнику лётной части, спокойному латышу Рейсу:

— Как поступим?

— Учлёт Рябов — хулиган ещё тот. Но ведь и талант! — отвечает Рейс уравновешенно.

Исмоденов глянул на Кольку так, будто видит его в первый раз, и отчеканил, багровея дальше некуда:

— Всё! Отстраняем учлёта Рябова от полётов на семь суток! А там будем решать...

— Разойдись!

...Я на себе испытал: лежать в палатке, когда твои товарищи летают, невыносимо! Гниёт внутри всё! Оскома*. Я-то лежал: меня глаза подвели, конъюнктивит был. Двое суток на земле! А тут такой здоровый, с брызжущей через край энергией парень Николай...

Прошли эти семь дней... Погнутый пропеллер у самолёта выправили. За порубанную капусту Колька заплатил сполна.

И вот вскоре прибыли к нам лётчики с воинской части для отбора курсантов.

А был такой порядок: за каждого сдавшего экзамен на отлично аэроклуб получал пять тысяч рублей, за хорошиста — четыре тысячи. Лётчиков, сдавших экзамены, зачисляли в резерв в лётную часть.

Учлёт Рябов сдал экзамены на отлично! И его сразу призвали в армию. Он был направлен в профессиональное лётное военное училище.

После училища Колька впоследствии попал на фронт в соединение, в котором воевал четырежды Герой Советского Союза Покрышкин. Истребительный особый полк!

...Николай Рябов получил звание Героя Советского Союза. И погиб на Кубани...

Судьба учлёта

А вот другая судьба. И похожая на судьбу Николая Рябова, и не совсем.

С нашей группы учлётов на фронт попали двое. Вначале Колька Рябов, затем Василий Ткаченко. Мы с Василием учились в одном техникуме. В детстве он мечтал, как и я, быть капитаном речного флота. Учился в речном техникуме. Что-то там у него не заладилось. Перешёл к нам, в железнодорожный. Писал стихи, его печатали в местных газетах.

...Учился в аэроклубе он упорно. И постоянно вёл записи в своих дневниках. Однажды он проговорился, что пишет роман. Но тут же замаял разговор. И больше к нему не возвращался.

* Оскома — здесь тоска.

Очень исполнительный. И обязательный. Но не такой был яркий, как Рябов. Как-то сам не выдвигался в первый ряд. Интеллигент. Его после аэроклуба тут же призвали в армию. Он учился в Новосибирске летать на скоростных бомбардировщиках «П». «Пешками» их называли.

В первые дни войны он летал над Белоруссией. Немцы сбили его. Он успел выпрыгнуть с парашютом. И попал в болото. Трое суток выползал из топкого гиблого места... Промок насквозь, прозяб... Сразу, как попал к своим, его положили в госпиталь.

Но лёгкие настолько воспалились, что всё перешло в туберкулёз. Больным вернулся в Омск. И вскоре в Омске умер от туберкулёза. Скоротечная какая-то форма...

...Кто знает... может, это был наш русский Антуан де Сент-Экзюпери?..

Три толстых тетради, исписанные его твёрдым почерком, где они? Родителей у него в живых уже не было, и жениться не успел...

Там, за тучами, — чистое небо!

Летали мы в аэроклубе на У-2. Отличный учебный самолёт конструктора Поликарпова. Чем хорош У-2? Он не входит в штопор! Другие самолёты, как скорость теряют, так: хоп! А этот нет! Немножко выправится и полетит. Самое острое впечатление, когда я полетел впервые самостоятельно! Впервые! Летали мы без парашютов. Его некуда просто девать. Не уместится.

И вот... Лечу! Хочу — туда! Хочу — сюда! Восторг! Властитель неба! Как птица! Мне сейчас за девяносто лет. Никогда я потом во всей жизни не испытал такого восторга!

...Подошла моя очередь держать экзамен. Я выспался вроде бы. Мне достался инспектором старший лейтенант. Садится впереди, я — сзади в кабине. Управление сдвоенное. Он с планшетом, такой важный. А там плечевые ремни и поясной. И они смыкаются. Если летишь вниз головой, висишь на этих ремнях. Он сел, застегнул только ремень на поясе, больше ничего. Командует:

— Давай на старт!

Я вырулил. Попросил разрешения на взлёт. А переговорная — какая штука? У него раструб резиновый, а ко мне — шланг и наушники. Он говорит, я слышу.

Поднялись.

Он:

— Давай коробочку.

Я сделал коробочку.

— Давай в свою зону.

Каждому самолёту выделена была зона, в которой мы занимались высшим пилотажем. У нас зоной было небо над свинофермой. Вышли мы в зону над свинофермой.

— До потолка поднимайся! — командует лейтенант.

Поднялись на высоту две с половиной тысячи метров.

— Давай виражи: левый, правый.

Ну, я выполнил команду. У него блокнот на коленях, что-то пишет. Ещё командует:

— Боевые перевороты через крыло!

А для меня это самый каверзный элемент высшего пилотажа. Разгоняешь самолёт, потом на себя и, когда он вверху, поворачиваешь, и самолёт летит в обратном направлении. Влево-вправо... Если разогнал плохо самолёт, то в верхней точке он зависает...

Я разогнался, а ноги у меня короткие. Но вроде ничего получилось. Смотрю на лейтенанта, а он как надо-то не пристегнулся. Хватает руками за борта. Я несколько отвлёкся. Делаю левый поворот. И у меня самолёт «повис». Висит! И лейтенант «висит», на одном поясном ремне болтается. Вышел на горизонт. А высота ещё 2 000 метров.

— Давай мёртвую петлю, — кричит.

Ну, это простое дело! Только разговоры. Развиваешь огромную скорость и делаешь своё дело. Я выполнил мёртвую петлю. Он пометил в блокноте.

— Давай штопор!

Ну-у-у! Это было для меня проще всего! Задираешь ручку управления до пупа, как говорят. Самолёт задирается, теряет скорость. В это время надо сделать сильный поворот и запомнить ориентир: облачко ли, какое-то дерево. Самолёт-то вертится. Он мне сказал: «Два витка!» Считаешь. Раз промелькнул ориентир, два — и тут выводил самолёт.

Я правый поворот сделал, вроде ничего. А левый сделал и резко убрал газ. И тут — тишина! Смотрю, пропеллер — как палка! Мотор заглох. Он кричит: «Отпусти управление!» Берёт на себя управление — разгоняет самолёт в пике и крутит его. Мол, мотор горячий, пропеллер сдвинется, мотор заработает. Раз сделал, второй... А скорость уже потеряли... Не получается...

Он кричит:

— Домой!

Отдаёт мне управление. А как домой? Мотор-то молчит! Выбираю площадку. Там было поле вспаханное...

Когда уже вышли на посадочную скорость, инспектор говорит:
— Отпусти управление!

И посадил сам самолёт не вдоль борозд — так нельзя: свернётся самолёт — а поперёк. Самолёт запрыгал и остановился.

— К пропеллеру! — командует.

А нам запрещалось категорически трогать пропеллер при горячем моторе. Может быть вспышка! У нас один попробовал, когда мотор был на компрессии. Только тронул. Не успел отбежать, ему ползадницы отсекло лопастями.

Я говорю:

— Нельзя! Горячий мотор! Против правил!..

Он мне:

— Я кому сказал! Летуны!..

Что мне делать? Пошёл...

— Ищи, — кричит, — компрессию!

Взялся я за пропеллер. Чувствую: не идёт! Там сжатие уже в цилиндрах. Рванул я пропеллер. И в сторону! Мотор закрутился. Всё! Ура!

— Садись в самолёт! — слышу окрик.

Я сел.

— Бери управление! Иди на посадку!

Поднял я самолёт. Выхожу на букву «Т». Посадил самолёт удачно. Вышел с опущенной головой.

Начлёт и инструктор стоят, ждут. Я докладываю туповато:

— Задание не выполнил!

Начлёт к инспектору:

— Ну как, командир?

А тот:

— Учить надо! Двойка!

У меня в глазах темно от обиды и стыда. Иду, покачиваясь. Не видать мне больше неба! Подошёл к палатке. Сам не свой. Боюсь расплакаться на глазах у всех.

Подходит начлёт. По-отцовски зорко глянул так на меня. И домашним тоном, будто о чём-то совсем обычном, сказал:

— Завтра полетишь со мной! Не рви сердце так...

Я и слова ещё не успел сказать, а он уже зашагал к другой палатке. Крепкой, неторопливой походкой.

...Наутро — небо хмурое. Видимость — 70 метров.

— Садись! Полетим!

А куда лететь? Темень над головой! Всё, думаю: полный провал!

Начлёт командует спокойно:

— Пробивай облака! И следи только по приборам! Там за тучами чистое небо! Понимаешь?

Ну, я потянулся. В облаках роса. Всюду, как молоко. Необычно. И, кажется, гибельно...

Но... Прорвались! Солнце светит! Ёлки-палки! Облака, как сугробы, — белые! За ними — чистое небо! Сказка!

Чистое небо! Как награда! За упорство, за настойчивость! За веру! Как урок на будущее. На всю жизнь!

Слышу:

— Ну, давай, делай перевороты! — говорит выдержанно, как с равным.

Набрал я высоту. Раз: первый переворот. Удачно! Второй менее успешно! Но всё же...

— Резче двигай ногами, — командует. — Делай как я. Беру управление на себя!

А у него ноги! В два раза длиннее моих. Как даст, даст! Самолёт аж трещит.

— Учись! — и отдаёт управление мне.

Я ликую! Я смогу! Сделаю!

...Через неделю снова прибыл приёмщик, лейтенант. Только другой уже. Он ничего нового не требовал от меня. Всё как в предыдущий раз. Только штопор заставил сделать два раза.

Всё! И меня засчитали лётчиком, годным к службе. Я получил пилотское удостоверение, в котором красовалась запись, что я пробыл в воздухе около тридцати часов. А рядом: «Признан годным к несению лётной службы. Тип самолёта У-2». И дата: «1938 год».

Ребята, которые с производства были, обучались вместе со мной в аэроклубе, носили лётную форму. Стоила она более ста рублей. А откуда мне такие деньги взять? Стипендия в техникуме в пять раз меньше.

Завидовал, конечно!

Бронь

Удостоверение пилота я получил, а вот лётчиком так и не довелось стать. А я во сне и наяву только лётчиком себя и видел.

...Много говорят о том, что мы к войне не готовились тогда. Я так утверждать не буду. После железнодорожного техникума я попал по распределению на Восточно-Сибирскую железную до-

рогу. Вся железная дорога от Байкала до Владивостока была переведена на военное положение. Мы приравнялись к военнотехническим. И когда пришёл мой срок призыва, меня в армию не взяли.

Сколько раз ходил я в военкомат, предъявлял своё пилотское удостоверение, просил, чтобы призвали. Ответ один: нет! Приказ: железнодорожников не трогать! И мы с 39-го года помогали — везли с Дальнего Востока армию, технику, всё, что возможно. Всё на Запад!

Круглобайкалье, где я работал, было ниточкой, которая связывала Восток с Россией. Дистанция связи «Круглобайкалье» проходила вдоль самого берега Байкала. С одной стороны — Байкал, с другой — горы. На вырубленной площадке протянулись железнодорожные пути. Кругом камни и безлюдье. Говорили у нас: «Куда поехал?» Ответ: «В Россию». Всё, что за Уралом, было Россией. А до Урала — Сибирь-матушка! Всё работало на Россию!

* * *

Служба у железнодорожников беспокойная. Всякое бывало.

...Небо как прорвало: ливень за ливнем... И эти ливни привели к сползанию горных лавин.

В сторону Иркутска шёл поезд, помню, № 43 «Владивосток–Москва». Впереди сошла лавина, поезд остановился. Надо убирать, расчищать дорогу. Пассажиры, как горох, высыпали, глазюют. А в это время новая волна лавины! И как был поезд, так весь его смело в Ангару. Кого смыло, кого засыпало. Спасся один морячок, который из окна вагона выскочил как-то и поплыл по Ангаре. Кричит вне себя: «Я спасся, я спасся!» 330 человек погибло тогда. ЧП союзного значения. Приехала комиссия во главе с Кагановичем. Стали лететь головы! Нарком путей сообщения Лазарь Моисеевич Каганович побыл и улетел. Остался его заместитель Волков. И пошла такая чистка: это не предусмотрели, могли это... это... не сделали... Ну, как обычно в таких случаях...

У НКВД была дрезина австрийская. «Уточкой» мы её называли, моторная штука такая... Вот «уточка» утром катит по железке пустая, а возвращается полная: путевые обходчики, дежурные по станции... Везут их в Слюдянку: вредители...

...У нас взяли начальника стройки, его заместителя, многих ещё...

...Мы продолжали монтировать сигнализацию, прокладывали кабели. Я техник высокого напряжения. Наверху, по горам,

велась стройка. Был там лагерь заключённых, которые поверху прокладывали дорогу. Этой-то, нижней, вдоль Байкала, сейчас уже нет, а та, наверху которая, работает. Она безопасней. Я был уже прорабом земляных работ. И мне оттуда присылали колонну заключённых копать траншеи для прокладки электрических кабелей. «Воздушки» негде вести: горы кругом. Всё тянули кабелем по земле.

Они разные были, заключённые... Попробуй уследить за каждым. Что делали? Кабель-то мы горбылём сверху в траншее перед засыпкой прикрывали. Так они этот горбыль под колёса проходящего поезда бросали. Колёса начинают скакать от этого. Поезд вот-вот с рельсов громыхнёт. Мало не покажется.

Ночью вызывает меня уполномоченный НКВД:

— Ты куда смотришь: у тебя авария может быть! Потеря бдительности.

Куда деваться? Звоню исполняющему обязанности начальника стройки Орлову: начальника-то арестовали.

— Уберите заключённых этих! Из-за них пересажают нас всех. Кто работать будет? Я не могу за ними уследить физически. Лучше сами будем копать.

Убрали заключённых.

...Высоковольтные кабели мы укладывали кусками по 500 метров длиной. А дальше муфта, потом следующий кусок. И так далее... В стране было тогда всего два высококлассных специалиста по сращиванию кабеля. Один из них — новосибирский. Вот его к нам и командировали. Обучать наших. А там что важно? Чтобы не попала влага на соединение кабелей. А дожди лупят! Не пережидать... Сроки давят. Заливали соединение, то есть чугунную муфту, маслом, потом гудроном. К мастеру посадили наших ребят. Они подучились. И вот наступил момент испытаний!

С Иркутска привезли специальный прибор для испытаний. Я сам за ним ездил. Этим прибором можно было испытывать напряжение до 75 тысяч вольт, на пробой. Если есть дефект в кабеле или в муфте, то будет короткое замыкание, прибор отключается.

Первую муфту проверили — нормально!

Вторую — нормально!

А третья!

На этом участке дороги было сорок восемь тоннелей для поездов, девять специальных крытых участков для защиты от горных обвалов.

У каждого тоннеля военная охрана, НКВД. С обеих сторон. А по распадкам — военные гарнизоны. Единственная железнодорожная ниточка с Дальним Востоком — как без охраны? Случись что!..

...Третья муфта! Когда дали около 50 тысяч вольт — бабах!..

Короткое! Взрыв! Фонтан земли!

Часовой около тоннеля вмиг сработал. Подняли всех, кого только можно. Дивизия в Иркутске была, туда сигнал! Органы тут как тут! Кто? Что? ЧП! Было всего 180 муфт. Взорвались только три.

Пашка Краузе среди нас был. Он трясся больше всех! У него отец сидел за вредительство...

...Сдали мы этот участок дороги в эксплуатацию, перешли на другой.

Работал я и на Омской железной дороге. Ставили на ней через каждые 800-1000 метров светофоры. Зелёные огоньки на ней далеко видно! Там же равнина Западно-Сибирская! Смотришь: километров за десять светофоры видно! Зелёное ожерелье! И радость!.. Моя работа в этом тоже есть! Я выкладывал кабели.

...У меня старший сын Валера живёт в Омске и сейчас. Пишет, что теперь со станции Слюдянка до Байкала ходит туристический поезд для любителей экзотики. Народ красотой любит. Что ж, теперь такое можно...

...Я как вспомню свои полёты на У-2 в аэроклубе в Омске, так сердечко забьётся по-иному! «По-молодому» — чуть не сказал...

Но железная дорога перекрыла мою воздушную... Бронью загрозила... Железная дорогая стала судьбой, не небесная.

...В Круглобайкальске до войны успел поработать и начальником дистанции связи на станции Мысовая. Мы, двести пятьдесят человек, обслуживали 260 километров железной дороги...

И тут вспомнить есть что. И тоже порой сердечко не на месте...

На реке Слюдянке

...Дело было на станции Слюдянке в Бурятии. Был такой у нас Черняков Ваня — весёлый и симпатичный парень с Одессы. Но задиристый порой, неуступчивый... И... такой бабник. Легенды про него ходили. Жена Тамара устала терпеть... ушла от него... Не поберётся он. Работали мы при любой погоде и непогоде. Сильно перетрудили. Молодой, всё нипочём: «Пройдёт». Не прошло. Открылся плеврит. Страшные боли в груди, одышка. Положили в стационар. Со стационара отправили домой. Полагая, что лечить

безнадёжно... Остался наш Ваня один, кому такой нужен... Где те, которые вешались на него?

— Давай, — говорю, — отвезу тебя к матери в Одессу. Может, лучше будет?!

Заупрямился:

— Какая разница, где догнывать?.. Похороните меня здесь... Матери я здоровый был не нужен. А отца у меня нет...

...Тамара, голубиная душа, бросилась спасать его сама. Так-то была серенькая, как мышь, а тут аж почернела вся от горя. И туда, и сюда с бедой такой... У каких только лекарей не побывала. И кто-то ей сказал, что на третьем балагане — остановочном пункте, на реке Слюдянке, живёт старый бурят, который лечит старинными методами.

Мы берём с Тамарой Ваню, садимся в сани. На лошади поехали километров за сорок по Слюдянке, до третьего балагана. Там, действительно, оказался старенький бурят, с бородкой. Курит трубку, длинную такую. Живёт в шалаше, накрытом шкурами. И сам одет в одёжку наподобие малицы*. На ногах то ли люпты**, то ли что....

Посмотрел Ваню... А у него хрипы сильные и немощь полная...

Бурят и говорит:

— Я обещаю вылечить, но пусть терпит!

Оставил нас одних на какое-то время, взял ружьё и ушёл. Недолго отсутствовал. Принёс подбитого зайца. Тут же при нас начал снимать с зайца шкуру. Говорит Тамаре:

— Раздевай до пояса мужа.

Оголила она Ивана.

Старик тут же заячью шкуру — мездрой ему на грудь. Потом ещё накрыл какой-то парусиной, притянул бечёвками.

— Ложись! — велит Ивану. — Больно будет, не трогай.

А жене:

— Не подходи!

...Вначале Ваня pokrылся потом, затем начал кричать. Почти всю ночь он кричал. Уснул только под утро.

Когда Иван проснулся, бурят зажёл плошку, освещавшую его жилище, наподобие свечи. Всё убого, первобытно...

Пододвинул какую-то берестяную посудину, снял с Ивана сначала парусину, потом заячью шкуру. И пошёл гной. Мездра через поры потянула весь гной из плевры через кожу. Тамара отёрла мужа, и он опять уснул, молча. Не в состоянии был говорить.

* Малица — шуба из оленины, шерстью внутрь.

** Люпты — сапоги из волчьих, оленьих шкур.

Бурят пояснил нам, что боль должна кончиться.

Я уехал. А они побыли, кажется, дней пять ещё под наблюдением буряты и вернулись на станцию «Слюдянка». Посылал я за ним своего приятеля.

Пошли показаться врачам.

— Как другой человек, — говорят.

Мы ещё потом с Иваном несколько лет вместе работали.

...Он и раньше трудяга был, а тут такая в нём безотказность проявилась и покладистость. И... таким мужем стал... Все похождения свои — по боку! Тамара одна у него — свет в окошке. Да какой!

А она, и правда, светится вся около него.

В полевом госпитале

Призвали меня в армию только в 1942 году. И вновь я не попал в лётную часть. На фронтах остро не хватало специальных войск. В Иркутске при формировании железнодорожного полка вспомнили и обо мне.

...Калининский, Западный, Северо-Западный, 2-й Белорусский фронты — вот где пришлось действовать нашему железнодорожному полку, который восстанавливал разбитые немцами вокзалы, мосты, железнодорожные пути, строил новые железные дороги. Часто под налётами немецкой авиации, под обстрелами артиллерии... Счастливчик! Меня серьёзно задело всего один только раз.

Росточком был маленький — трудно попасть!.. Хотя раз сам наскочил...

В октябре 43-го года надо было провести техническую разведку в направлении Ельни в сторону Смоленска. Такие разведки часто случались.

Поехали мы на дрезине с мотором. Перед нами только что прошли сапёры. Впереди, смотрим, мостик. И табличка: «Мин нет!» Я доверился. Едва выехали на мостик, прогремел взрыв. Был заложен приличный фугас. Меня подбросило. Как ни странно, успел подумать: хорошо бы перелететь через мост! Если упаду на мостовые брусья, торчащие железные шкворни — не сдобровать!

Повезло. Меня перенесло над мостом. Очнулся я часа через три, оказавшись уже в фургоне. Лошадь, санитарки... Везут меня в полевой госпиталь возле села Павлиново. Я пытаюсь что-то говорить, потом снова теряю сознание...

Не помню, как меня осматривали. Потом-то я видел эту процедуру со стороны: несут на носилках. Кладут на землю. Делают предварительный осмотр. Осмотрели, записали как положено. И — листок на грудь... Если не срочно принимать меры, то несут в душевую...

...Когда я в очередной раз очнулся, слышу голос надо мной. Два санитары несут меня куда-то. Один из них говорит другому:

— Этому жмурику всё равно, а под головой у него хорошие сапоги... А?..

Я как матом бабахнул!

Санитар, слышу, вяло удивился:

— Слушай, этот русак ещё поживёт...

Дальше опять у меня провал, сознание отключилось...

...Что такое полевой госпиталь? Это столбик, второй столбик и меж них перекладина. Меня положили на верхнюю полку из этих перекладин. Офицерская палатка на сорок мест. Рядом палатки сержантского, рядового состава. Такие же брезентовые палатки. Первое, что я сказал, как потом говорили:

— А материться можно?

И потерял опять сознание. Пришли, сделали уколы...

Очнулся, смотрю: кладут рядом раненого. Молоденький такой. Когда он пришёл в сознание, спрашиваю:

— Ты кто?

— Лейтенант, — отвечает, — командир взвода. Под Заячьей горой меня в ногу зацепило, пятку оторвало. И контузило. Долго лежал без помощи... Посмотри!

А электричество от автомобильного аккумулятора. Еле-еле. Потом показывает мне тетрадь:

— Вот сорок девять человек. Это весь мой взвод. Осталось двое, я — третий.

Приходит сестра, за ней санитары. Понесли лейтенанта в операционную. Через какое-то время приносят. Нога его уже без ступни. Очухался он... Опять какой-то общий у нас разговор с ним.

...Начинаются сильные боли. Он кричит... Вновь приходит сестра. Туда-сюда. Санитары унесли лейтенанта. Я не успел спросить, как звать его...

...Приносят лейтенанта. У него уже до колена нет ноги.

Опять ему стало плохо, дают обезболивающее... Кричит... Что-то бессвязное. Одно только разобрал, когда сказал он тихо так: «Становится меня всё меньше...»

Берут его и вновь уносят в операционную.

...Приносят. Уже без ноги, по бедро. Ноги как не было. Он после наркоза без сознания.

Сестра говорит мне:

— Идёт гангрена. Слишком долго лежал без помощи. Удастся погасить нам Антонов огонь, нет ли?

Во второй половине ночи его забрали и больше уже не принесли. Погиб.

...Такая выдалась ночь.

Я так и не знаю его имени.

...В нашей палатке офицеры лежали неходячие. Только один передвигался на костылях, Константин. Рыжеволосый такой и непоседливый.

Время завтракать. Разносят еду, и прошёл слух:

— В соседней палатке лежит раненый еврей.

— Еврей?! — слышались недоверчивые голоса. — Как он мог оказаться на передовой? Они все в Ташкенте!

Константину, который на костылях, поступает команда:

— Иди в разведку!

И лейтенант охотно заковылял в соседнюю палатку.

Возвращается с опущенной головой. Поднял на нас злые глаза и громко, во всю палатку:

— Сволочи мы! Сволочи!

— Хватит базанить*, говори толком, — осёк его капитан, лежавший у входа, — не баба...

Константин хриплым голосом выдавил:

— Там лежит еврей. Весь обгорелый! Водитель танка. Сестричка говорит, что вряд ли выживет... А сама плачет.

...Вошли санитары с носилками. И на освободившееся место лейтенантика, которого не стало ночью, положили рядом со мной другого, ещё моложе. Казаха. С разорванным животом. Такой конвейер...

На переправе

Я был уже на Втором Белорусском. Дошли мы до Вислы. Впереди переправа. Дан приказ: всё, кроме оружия, оставлять и возвращать в Союз. Пользоваться остальным только трофейным. Питание не везти, ничего... Только оружие и боеприпасы. Всей нашей ротой связи стоим в общей колонне. Ждём, когда нас пропустят через понтоны.

* Базанить — здесь горланить.

Движение идёт цепочкой. В одну сторону, потом в другую... Старшина из моей роты Бельтиков ворчит:

— Легко командовать сверху: это не брать, это не эдак... В штабе оно всё проще, вот тут... Сейчас случись артналёт и... поплыли по Висле две дощечки...

...И вдруг появился «Виллис». По обочине — так, сяк... упорно идёт к колонне. Подъехал и остановился. Вышел из него человек в ватнике. Кто, чего?.. Без погон, без фуражки. А там чуть впереди какие-то штабные на «эмке». Тоже пробираются справа.

Столько всего кругом. И всем надо. Бедный начальник переправы уже выдохся, голос охрипший...

...На него орут из «эмки». В ней полковник и ещё офицеры... из интендантской службы. А тот, который приехал на «виллисе», стоит. Смотрит. С плёткой. По ноге бьёт ей, в ватнике этом, перетянутом военно-полевым кабелем. С «Виллисом» подъехал фургон такой, американский. В нём наши солдаты с автоматами.

Колонна резерва артиллерии главнокомандующего (РГК) со своими пушками стоит. Слева орут, справа... И эти, в «эмке», лезут без очереди... Сутолока...

Тот, который в ватнике, ладный такой, махнул рукой солдатам в фургоне. Не слышно было, что он сказал. Только эту «эмку» вместе с полковником раз — и вмиг перевернули. Полетела под откос. Все вокруг сразу примолкли.

Потом:

— Кто это? Откуда?

И шелест по колонне: «Рокоссовский, это Рокоссовский...»

Команда прошла:

— Все в сторону! Впереди бой идёт! Пушки нужны!

В голове колонны что-то сделали, не знаю... Началось движение артиллерии. Мы в сторонке стоим.

...Тягач тащит большую пушку. А за рулём-то Васька Рамин! Наш! Мой земляк, со Слюдянки!

— Вася!

— Миша!

Ему не остановиться. Я к нему:

— Как ты?

— Да вот, пока живой!

Сзади напирают. Оттёрли меня. Вот и весь разговор. Больше мы на фронте не встречались с Раминым.

...Встретились в мирное время. Василий тоже помнил ту переправу через Вислу. Он после контузии плохо слышал.

...В тот раз колонна пошла, но там где-то впереди опять что-то застопорилось. Потом вновь двинулись вроде, приостановились... А он никак не сообразил, не слышит команду, двигаться либо нет! И надо сказать, он не понял, что Рокоссовский прибыл: далеко стоял со своим тягачом. Когда «эмку» эту отшвырнули, не видел.

...А тут к нему, распахнув дверь, какой-то человек:

— Ты что стоишь?

Крепко так добавил ещё пару слов.

А Василий:

— Чего? Откуда ты такой?..

Василий тоже мужик был с норовом, знал я его неплохо...

Тот, в ватнике, плёткой как стеганёт по Василию:

— Давай двигайся!

А у шофёров фронтовиков автоматы были над головой. Василий схватил автомат и...

...Его моментально прижали. Очередь прошла у ног Рокоссовского. Таскали Василия за это, таскали... Шутка ли: чуть ли не покушение на командующего фронтом. Но всё обошлось. Откуда он мог знать, что перед ним сам Рокоссовский?!

До Одера дошёл потом... А там ранило крепко. Больше уж не воевал. Домой вернулся с орденом.

Замполит

В самом начале октября 45-го полк наш вернули из Маньчжурии в Иркутск и расформировали. Прибыл я к себе домой в Мысовую майором. И получил назначение на должность начальника дистанции связи в Улан-Удэ, затем избрали меня освобождённым секретарём узлового парткома станции.

В сорок седьмом около двенадцать ночи звонок: приглашают в обком партии Бурятии. Прибыл я в приёмную. Человек сорок ждут своей очереди. А мельница уже крутится...

Выходит один. Голову опустил.

Ему:

— Юра, ну что там? Скажи.

— Вызовут — тогда узнаете.

Подошла моя очередь. Захожу. В центре стола с красным сукном — первый секретарь обкома. Справа-слева от него: члены бюро обкома партии, представители министерства сельского хозяйства. Ведающий кадрами в обкоме Петухов зачитал мою объективку.

Первый секретарь обкома посмотрел на меня строго так и торжественным голосом:

— Мы посылаем вас на село, — имя моё не называет. — Надо укреплять партийные кадры! С сегодняшнего дня вы зам. директора МТС по политической части.

— Так я же никакой не сельский! — вырвалось у меня.

Петухов тут же:

— Вы по образованию электрик!

— Нет, я не поеду, — говорю. — Так неожиданно это всё для меня!

Первый сурово посмотрел в мою сторону и стальным голосом:

— Какой вы сырой коммунист! Это призыв партии! Постановление февральского пленума обязывает нас укрепить село. Теперь вместо секретарей парткомов будут замполиты. Вы против политики партии? И не бойтесь, что отсюда выйдете без партбилета?

Чувствую, дело нешуточное...

— Если уж посылаете, — говорю, — то направьте туда, где хоть гудок паровоза слышен... Прикипел я к железнодорожной технике.

Рядом с первым сидит министр сельского хозяйства Дубровский, хороший такой мужик, рассудительный.

Первый — к нему:

— Михаил Петрович, где у нас МТС рядом с железной дорогой?

— А вот — Татаурово. Совсем рядом с железной дорогой.

Первый, не глядя на меня:

— Поезжайте в Татаурово!

Это было 29 апреля.

Дубровский говорит:

— Хорошо бы вам явиться к месту работы до праздников. Понимаете?

Пришёл я домой уже под утро.

— Ну что, Вера Ивановна, готовься ехать в село!

Жена — фронтовичка:

— Ехать — так ехать!

Подумал: «До Татаурово сорок километров — может, не перебираться, а ездить туда-сюда». Потом: «Нет, — думаю, — так не гоже».

...Поехал сначала один на место работы. 1-е Мая! Праздник!

Показался директору МТС Петру Ивановичу Какауруину.

— Что ж, — говорит, — перебирайся: будем работать.

Началась моя работа на селе.

...Были ещё продуктовые карточки тогда. И я, замполит, получил карточку на продукты. И не мог на свою зарплату выкупать по ней продукты. У меня на станции, как у секретаря парткома, сохранялся средний заработок по прежнему месту работы в технической службе. Составлял он 1 800 рублей. Теперь, в МТС, заработная плата была 800 рублей. Карточки выдали только на меня: 800 граммов хлеба в день. На жену, на двоих детей — на иждивенцев, не положено.

Квартирка — полуразрушенная хибара. Вот тут-то моя фронтовичка Вера Ивановна и заплакала. У деревенских хоть что-то есть: картошка, прочее...

Окунулись мы в нищету. Никакого домашнего хозяйства...

Трудно вживались. У жены специальность — телеграфистка. А в селе где? Что по специальности? И не по специальности.

...Сельская МТС около железнодорожной станции, а тут — река Селенга. Через Селенгу в одну сторону на шестьдесят километров колхозы. И на запад ветка вдоль Селенги — тоже колхозы. Но что это за колхозы? Нет полей... Есть вырубki какие-то, плешинки... Занимались лесосплавом. По Байкалу, Селенге, в Татарово на вагоны и дальше. Сплавливали молевым способом, то есть не сплачивали брёвна, а по одному пускали. Проще вроде бы так... А что получалось... Бревно застревает, заиливается. К нему сбивается разный мусор, заводи образуются, мель. Перестала река работать...

...Первой же осенью случилась у нас беда на Селенге. Бельё местные стирали в речке. Пошла и моя Вера с ребятишками на Селенгу со своим. Коромысло, тазы, бельё на себя — и вперёд!

Стирали в щёлоке, готовили его из древесной золы. Увлелась она подготовкой щёлока, а тут... Серёжка тонет! Двухгодовалый ребёнок оказался на течении в осенней воде. Беда! Да какая!

Помогли проходившие рабочие. Потом бедный Серёжа до десяти лет воды боялся.

Серёжу спасли! А бельё-то?! И постельное, и носильное — всё почти река унесла, пока суетились. Остались ни с чем.

Но без подштанников... это всё же не то, что без шинели...

...Мотался я по колхозам, по тракторным бригадам. Была у меня из английского сукна шинель, фронтовая ещё... Заночевал я как-то в одной дальней деревне. Дело было той же осенью, только позднее, снег уже выпал. Положили меня спать на лавку. Укрылся я шинелькой и уснул... А в этой комнатке был телёнок. Я слышу ночью, кто-то чавкает. А встать не встаю, спать охота...

Хозяйка под утро лампу вздула... А у шинели моей один борт от пояса до воротника изжён. Видать, телок голодный был. Не меньше заночевавшего замполита.

У меня носить-то больше нечего. Хозяйка отстегала телёнка веником. А что дальше-то? Попыталась как-то зашить, подладить... Но где там...

Приехал я в Татаурово... Как быть? Да никак! Что я могу? На работу идти не в чем...

...Узнали про мою беду мать с братом, приехали. Купили мне подержанный полушубок.

Опять я годен к строевой!

Чужая кровь

Поднять после войны страну! После такого противостояния! И потом: война кончилась, а тут голод!.. Сорок шестой год был неурожайным. Мы с райкомом партии открыли три пункта питания для дистрофиков в нашем районе. Туда прикрепили детей, стариков, всех малоподвижных. И в этих питательных пунктах давали горячее питание, всё, что могли тогда.

Но это для населения...

А я замполит! Должен стойкость, пример показывать! Питание кое-какое, сон тоже... Мотался из последних...

...Возвращаюсь из поездки в тракторную бригаду. Иду на паром, мне надо на другой берег Селенги. Переправился. Чувствую: плохо вижу. Что за чёрт! Тру глаза... Пелена. Пытаюсь идти: все канавы мои... Хорошо, что встретился шофёр из Райпотребсоюза, приезжал на базу. Попросил подвезти до посёлка МТС. Иду сам не свой...

Вера, как увидела меня, двигающегося на ощупь, и — в рёв. Жена нашего главного механика Наталья Ивановна успокаивает:

— Это бывает! От недоедания. Ищи первороженицу. Бери молоко у неё грудное и закапывай в глаза.

Вера Ивановна нашла такую женщину. Та нацедила в пузырёк молока. Стали закапывать...

А пелена у меня в глазах всё сгущается...

Директор МТС:

— Бросьте вы это шаманство! Сегодня идёт «ЗиС» в «Сельхозснаб» в Улан-Удэ, садитесь и — к врачам!

Мы послушались с Верой. Забрали детей и в Улан-Удэ. Вся родня Веры Ивановны в Улан-Удэ жила. Детей оставили у них.

Пошли. А куда? Я железнодорожник — направились в железнодорожную поликлинику.

Посмотрели там меня:

— Да, сложное дело, но вы ведь теперь не наш! Из села. И потом — политработник. Идите в обком.

А я уже сам ходить не могу, не вижу. Берёт меня Вера Ивановна под руки — и повела. По пути рассуждаем:

— А зачем в обком? Есть же у обкома партии своя больница? Туда и надо!

Стали спрашивать.

— Партийно-советского актива поликлиника вон так, недалеко, — говорят.

Пошли, куда показали.

— Где вы работаете? — спрашивают меня в регистратуре.

Отвечаю.

— Да, вы наши!

Звонят в обком партии. Там подтверждают сказанное мною.

— Хорошо, — говорят. — Будем вас лечить.

Направляют меня к Галине Машковой, глазнику тамошнему.

Галина Ивановна посмотрела и:

— У вас кровоизлияние, это длительного лечения требует. Сейчас придёт наш консультант Екатерина Михайловна Никифорова. Она — лучшая ученица Филатова. У нас работает.

...Екатерина Михайловна посмотрела меня.

— Ну, милоч, случай тяжёлый. Но надо решаться!.. Дистрофия своё свершила... Пищите расписку о том, что вы позволяете использовать при лечении ваших глаз все средства, которые я знаю. Будем рисковать...

Я написал бумагу эту: куда деваться?

Моя Вера вышла в коридор.

А Екатерина Михайловна посадила меня на кушетку.

— Держись, — говорит.

И сама сделала мне укол. Я на стенку и полез! Эти уколы были солевые. От них первые минуты две невозможные боли. Надо было вызвать таким образом прилив крови, чтобы рассосались новообразования.

— Через день приходите, — говорит Екатерина Михайловна. — Обязательно свежую сметану и морковь есть надо, слышите?

«Свежую сметану» — легко сказать. Где её сыскать?

Ладно. Ушли мы. Я в обком позвонил кадровику — тому самому Петухову, который участвовал в направлении меня в Татаурово.

— Ну что, — говорит, — раз такое дело — лечитесь!

...Двадцать шесть уколов мне сделали. С тех пор, как только вижу человека со шприцем, у меня начинают ноги подкашиваться. Зафиксировалось. И ничего с собой поделатать не могу... Немножко вроде лучше стало от такой процедуры, но не очень-то...

Пошли дальше... Мне под левую лопатку кусочек места перво-роженницы, послед, подложили. В прорезь пристроили этот кусочек. Неделю я ходил с ним. Всё рассосалось, шрамик остался. Но не помогло.

— Будем подсадку в глаз пробовать, — решает моя спасительница.

И под низ века сделали мне три надреза, и туда вложили кусочек последа. Эти кусочки привозили из родильного дома: там их консервировали.

В правом глазу кое-какой просвет появился. А левый не видит.

— Давай, — говорит Екатерина Михайловна, — ещё один метод попробуем.

И пишет мне направление в туберкулёзный диспансер. В тубдиспансере хороший такой был заведующий, бурят Батуев. Большой и спокойный, как слон. Прочитал он бумагу. Посмотрел на меня:

— Сколько тебе лет?

— Тридцать три, — отвечаю.

— Так вот, — говорит, — ты до конца своей жизни ещё сто раз можешь заразиться туберкулёзом. Зачем тебе это? Она хочет тебя так встряхнуть, твой организм! Чтоб или-или. Ты понимаешь, о чём речь?

— Да куда уж мне, — отвечаю.

— Давай, — говорит, — сделаем так. Чтобы эту решительную бабу не обижать, я напишу, что у меня малых разведений нет.

И написал такую ответную бумагу. Я с этой бумажкой прихожу к Екатерине Михайловне. Прочла она, улыбнулась так, сама себе.

— Хитрец-мудрец, — только и сказала.

И мне:

— Остаётся у нас самый опасный метод. Приходи завтра в Республиканскую больницу, там есть пять коек, они все заняты. Но что-нибудь придумаем.

Я не знал, на что она решилась, но согласился. Выбора нет. Привела меня моя фронтовая подруга Вера Михайловна в Республиканскую больницу.

Екатерина Михайловна сходу мне:

— Ложись на кушетку. Раздевайся по пояс.

Смотрю, вяжет она мне руки и ноги. Сама.

— Сейчас я введу двадцать кубиков чужой крови, несовместимой для тебя группы. Предупреждаю: организм кровь может не принять! А может принять! Понимаешь, как мы рискуем?

А я уж её лицо едва различаю. Молча согласно киваю на голос головой.

Она вводит мне в вену кровь. И меня начинает трясти.

— Нормально, — говорит, — нормально! Крепкая встряска нужна! Это чужая кровь с твоей знакомится.

С улыбкой говорит так, чувствую по голосу. Я около часа полежал. Меня развязали. Принесли чай, очень сладкий.

— Через двое суток приходи вновь! — говорит моя спасительница.

...В следующий раз, кроме того, что меня привязали, встали ещё два мужика в халатах у изголовья.

Вводит она мне пятьдесят кубиков крови.

Вот тут меня начало так трясти! Вместе с койкой прыгал! Ё-моё! Невозможно! Эти мужики держат и меня, и мою голову, чтоб не повредил.

Пришёл в себя...

— Через двое суток жду! — говорит доктор.

— Если дойду, — отвечаю.

— Дойдёшь, дойдёшь, ты — молодец!

«Ладно, — думаю, — посмотрим, если будет чем...»

А сам чувствую, что начинается в глазах моих просветление.

Через двое, на третьи сутки, мне вливают уже семьдесят пять кубиков крови несовместимой группы. Тут уж я почти ничего не помню. Теряю сразу сознание... бьёт меня...

Пролежал я, говорили, часа четыре либо пять.

— Всё, делаем перерыв! — заявляет Екатерина Михайловна.

Делали мне капли, таблетки какие-то...

И я ушёл.

Веря моя тем временем нашла женщину с коровой. Свежую сметану в долг стали брать. Набираюсь сил.

...А по положению можно пробыть два месяца на больничном, а потом: либо выписка, либо отправляют на инвалидность. Это общий порядок...

...Мои два месяца уже истекают.

Иду к Екатерине Михайловне. Она предлагает:

— Давайте сделаем так. Я выпишу сегодня вас на работу, а завтра опять больничный дам. И вновь лечиться...

...Петухов, кадровик из обкома, говорит мне:

— Что ж ты будешь болеть, а там дела-то не ждут, в Татаурово!.. Замену тебе подбирать надо... Мы тут посоветовались и решили назначить тебя инструктором обкома партии, если поправишь зрение, конечно...

Я не возражал ни против первого, ни против второго...

А тут радость: в глазах всё светлее и светлее! И мысль шальная: «Может, когда-нибудь ещё полечу...»

И в один прекрасный день я стал видеть сносно. Хотя левый глаз всё ещё закрывал повязкой.

До сих пор — мне сейчас за девяносто пять, прошло более шестидесяти лет — у меня поле зрения сужено, будто через трубочку вижу, по бокам темно... как в бинокль смотрю, только слабенький.

...Думаем с женой, мудрим: как отблагодарить моих врачей-спасительниц? Тогда ведь не принято было. Решили купить две плитки шоколада «Мокко».

...Сунул я эти плитки в карман, пошёл. Вхожу, сидят они: и Галина, и Екатерина. Дорогие мои женщины. Екатерина сразу:

— Смотри, какой жених! Ходит как! Теперь долго жить будешь! Такое испытание прошёл!

А у меня на уме: «Ну как вручить шоколад этот?»

Придумал. Изловчился и в карман халатов — раз! Обеим! Галина Ивановна громко так и официально:

— Да вы что?! Не положено!

А Екатерина Михайловна! Характер! Командует:

— Бери, пока дают!

Отламывает мне треть плитки:

— Бери! Вкусно. Тебе надо!

Какие замечательные люди! Чужие люди, чужая кровь! А роднее родных!

Екатерина Михайловна потом Героя Социалистического Труда получила в Бурятии.

Неуёмная! Идёт по базару, смотрит на кого:

— Слушай, у тебя что с глазами?

— Да вот...

— Непорядок! Приходи ко мне, попробуем вылечить! — и даёт записочку...

Её знали во всей республике. Она летала в самые дальние улусы. Больных высматривала!..

Новые горизонты

...Я ещё повязку с левого глаза после лечения окончательно не снял, а меня назначили инструктором обкома партии.

Перебрались мы из Татаурово в Улан-Удэ и стали вчетвером жить у моей тёщи в её мазанке. А их самих трое, да...

Ну ладно.

Начал работать, продолжал быть на больничном. Недели через две назначают меня дежурным в приёмную 1-го секретаря обкома. В первый раз.

В полувоенной форме, с повязкой на глазу сижу в приёмной. Там чуть дальше охрана, а я здесь... Так было заведено. Уже поздний вечер. На этаже пусто. Вдруг заходит 1-й секретарь и с ним монгол ли, бурят ли — низенький такой...

Первый секретарь смотрит на меня. А я своим одним глазом — на него. Встал по-военному, стою. Продолжаем смотреть. Молчим. Я не пойму, в чём дело. Потом он мне властно так:

— Ключ! На вахте!..

Я пошёл на первый этаж, взял ключ. Вернулся и протягиваю ему.

Сердито так посмотрев на меня, он жестом показал, мол, открой сам. Я начал ковыряться в замочной скважине... Не сразу открыл. Наконец в кабинет вошли. Я вернулся в приёмную, сел за стол. Фронтовой офицер в роли вахтёра... Не то, чтобы обидно... Сразу не скажешь...

Прошло некоторое время. Выходит из кабинета этот монгол или бурят. За ним первый шефствует. Первый говорит в мою сторону, не глядя на меня:

— Позвоните в Красноярский крайком дежурному по «вертушке» и скажите, что товарищ Цеденбал будет сегодня ночевать у них.

— Хорошо, — отвечаю.

А сам понимаю: влип! И то, как он смотрел мимо меня, и явление высокого гостя для меня ничего хорошего не сулило.

...На следующий день вызывают меня в орготдел обкома. Посмотрели на меня, помолчали многозначительно. А тут ещё повязка на глазу спадать стала. Я невольно задёргался. Сказали мне, что больше я дежурить в приёмной не буду. Ничего не объясняя.

Я не огорчился. Отвечаю бодро так, впопад-невпопад:

— Спасибо!

— Говорите Цеденбалу спасибо!

И верно: больше в приёмной у первого я не был ни разу.

...Через некоторое время опять тот же Петухов из управления кадрами приглашает к себе:

— Ну, вот что, Михаил, человек ты, прямо скажем, самоотверженный. Но... Чем бы ты хотел заняться иным?

А я тогда в газеты статейки уже начал писать.

— Мы тебя освободим по состоянию здоровья, всё будет достойно.

«У нас в аэроклубе подобное называлось «скапотировать», — усмехнулся я про себя.

...И, действительно, не вызывая на бюро обкома, освобождают меня от должности инструктора в связи с болезнью глаз.

— Давай я предложу твою кандидатуру в железнодорожную газету, — говорит Петухов, пригласив меня вновь в свой кабинет. А там меня знали по заметкам в газетах. И взяли корреспондентом газеты «Восточносибирский путь» на Улан-Удэнском отделении.

Зрение более-менее моё пришло в норму. Весь 48-й год я проработал в этой многотиражке, начал печататься в отраслевой газете железнодорожников «Гудок». А в начале следующего года оказался... секретарём парткома узловой железнодорожной станции. Помимо моей воли.

Это было уже дело рук начальника полиотдела дороги. Я его часто задевал в газете. Чувствовал себя независимым. И изрядно, видно, надоел ему. Надо было им отписываться на критику газеты. И он решил перетащить меня в партком секретарём, чтобы я оказался в его подчинении и примолк.

В партком — так в партком. Нет худа без добра. В мои-то тогдашние годы... Я даже порадовался, что буду ближе к конкретному делу. И не только потому, что я по профессии железнодорожный электрик. Неудержимо теперь влекло более властное. Всё, что прошёл, видел, прочувствовал, накопившись во мне, просило выхода, осмысления...

Я задумал писать роман о железнодорожниках. Не осознавая, что этот мой замысел и его исполнение через пять лет бросят меня в другую жизнь, в другой, незнакомый мне, изменчивый, властный и жёсткий поток... Название которому — литература.

Через пять лет, когда вышел мой роман, меня приняли в Союз писателей. И я оказался в Москве в институте имени Горького на Высших литературных курсах.

Открывались новые горизонты.

Это завораживало. Не менее, чем когда поступил в аэроклуб и начал летать...

г. Самара,
2012 г.

Сергей Сергеич и Сима

Глава 1. С НЕБА НА ГОЛОВУ

Её подвело любопытство. Она бегала со своими подружками — бездомными кошками на крыше девятиэтажного дома около небольшого серого сооружения и, заглянув внутрь его, упала в вентиляционный канал, проходящий в стене кирпичного дома. Подружки убежали.

Известно, что кошки, падая с большой высоты, часто остаются живыми.

Она несколько раз ударилась о кирпичи, но ушиблась не сильно.

Пролетела до шестого этажа и застряла в стене на кухне Сергея Сергеевича.

Он в это время был дома. День только начинался, а хозяин был уже на ногах.

Сергей Сергеевич около сорока лет проработал на заводе, привык рано вставать. Немногие меняют привычки в свои семьдесят лет.

Он услышал жалобное мяуканье и пошёл на кухню.

«Что за наваждение? — думал Сергей Сергеевич. — Ночью снился завод, звучали голоса ребят, с которыми когда-то начинал работать, теперь вот это?»

Кошки на кухне не было, но мяуканье продолжалось.

Он приблизился к окну, на карнизе — никого. Повернулся в недоумении, рассеяно скользя взглядом по стене. И догадался.

Звуки доносились из вентиляционного отверстия, обрамленного пластиковой узорчатой решёткой.

Хозяин всегда подозрительно относился к этому окошечку. Из него могли заползти в квартиру тараканы. Этих тварей он терпеть не мог. Но закрыть чем-либо отверстие не решался: вентиляция на кухне как-никак нужна. Зимой он заменил решётку, а заодно поставил мелкаячеистую синтетическую сеточку, и был этим доволен.

...Жалобное мяуканье продолжалось.

Сергей Сергеевич достал из шкафа в коридоре внушительных размеров отвёртку и, придвинув кухонный табурет к стене, встал на него. Побаливала поясница, и он невольно морщился.

Его приличного роста вполне хватило, чтобы дотянуться и поддеть решётку...

Со второго раза решётка вместе с сеткой повисла на отвёртке.

Едва это случилось, как из отверстия сначала на плечо хозяина на квартиры, потом на пол соскочило чумазое существо. И тут же оказалось около входной двери. Кошачьи глаза горели желто-зеленым огнем. Хозяин едва не свалился с табуретки. Придя в себя, медленно, щадя свою поясницу, спустился на пол и направился в коридор открывать дверь.

Кошка шустро выскочила из квартиры.

— Вот, холера! Как тебя туда занесло, — негодовал хозяин, направляясь ставить на место решётку, которая белела на полу, посредине кухни.

* * *

Вечером мяуканье повторилось. Теперь оно сопровождалось настойчивым поскребыванием когтями.

Хозяин открыл дверь.

У порога сидела все та же кошка.

С широко открытыми глазами она шагнула через порог и начала «бодаться» головой в ноги Сергея Сергеевича. На её языке это означало благодарность и проявление признаков доверия.

Хозяин не знал кошачьего языка, но кое-что понял.

Невольно отступил в квартиру, кошка последовала за ним.

— Жить тебе, видать, негде? Не обольщайся. В любовь с первого взгляда уже не верю. Могла бы и в коридоре ночевать... Не гонят.

Он расправил свернувшийся половичок у двери.

— Вот, попробуй здесь обосноваться до завтра, а потом что-нибудь придумаем. Сейчас принесу поесть. Ты от голода поди такая решительная.

Он с удивлением наблюдал, как кошка не сразу стала есть колбасу, а сначала неторопливо обнюхала её и лишь потом начала кусать.

Поразмыслив, Сергей Сергеевич на завтра не стал ничего откладывать.

Он вышел на лестничную площадку. Постучался к соседям напротив. Появилась грузная хозяйка квартиры.

— Лидия Ивановна, тут вот такие дела: кошка прибилась, упала, — сбивчиво начал он, — так-то симпатичная. Не возьмете к себе. Можете посмотреть.

— Сергей Сергеич, у меня же аллергия. Я кошек на дух не переношу. И смотреть не буду.

— Ах, да, конечно, — спохватился запоздало сосед. — Вам нельзя.

— А сам-то чего? — спросила соседка.

— Да я никогда не держал их.

— Зачем взял?

Сергей Сергеич не успел сообразить, что ответить...

— У нас, слава Богу, на площадке никто не держит. Спустились на пятый этаж к Тершуковым, я видела, Николай дома, поддатенький слегка.

Сказала так и уверенно закрыла дверь.

— Тебе ни к чему, а мне нужна? — держа дымящуюся сигарету меж подрагивающих пальцев, удивился Тершуков на неожиданное предложение.

Он стоял в дверном проеме в одних трусах и вытянутой серой майке. Пройти в квартиру не предложил и сам не вышел навстречу.

Сергей Сергеевич почувствовал неловкость. А сосед хрипло вразумлял:

— Я — весь день на работе, жена — тоже. Дети в техникуме оба, куда мне её?.. Раньше у моих родителей в деревне хоть пятерых на воле-то держать можно было. А здесь?.. Морока. Вон, восемь часов вечера, а жены нет.

Надолго натужно закашлялся. Потом произнёс:

— Сам займись, у тебя времени свободного хоть отбавляй... Ты же говорил, что в деревню хочешь перебраться жить. Вот! В самый кон...

Больше кошку Сергей Сергеевич предлагать никому не стал. Хотел было позвонить давнему приятелю. Но передумал. Вспомнил, что у того сильно заболела жена? У всех заботы...

* * *

— Как же ты оказалась сиротой-то? — задумчиво говорил он, вернувшись в свою квартиру, — выгнали или сама ушла?

По голосу кошка чувствовала, что человек ей попался добрый и не оставит в беде.

Её бывший шумный хозяин переехал жить со своим большим семейством в другой город и оставил её одну совсем котенком. Она

прибежала домой, но было поздно: машина, груженная вещами, скрылась за большим домом.

Кошка помнила, как маленькая девочка называла её Лизой. Помнила легкую ладошку, когда она гладила её по голове.

Потом её уже никто не гладил.

Сергей Сергеич не помнил, когда он последний раз гладил кошку. В детстве... Подумал об этом и покачал головой.

Он молча решал важный для обоих вопрос.

И решил.

* * *

— Как тебя зовут, чумазая? — чуть позже, шурша над её головой газетой, спрашивал хозяин. — Глаша, Анфиса, Клара, Мурка, Лиза?

При слове «Лиза» она насторожилась. Это не ускользнуло от Сергея Сергеевича.

Он поспешил:

— Нет, нет, Лизаветы с меня хватит! Такое имя было у моей женушки... Может, Муркой назвать? Нет, старо. Давай я буду тебя звать Сима, а? У меня сестра старшая была Сима. Доброе имя! Сестра отзывчивая была. Меня любила. Ты, разумеешь, что я говорю? Мне хочется, чтобы ты была доброй.

Кошка, внимательно слушая, сидела рядом.

— Начнем нашу жизнь сначала, — говорил он, — имя в жизни многое значит!

Хозяин знал, что говорил. У него была фамилия Мамин. Уже в третьем классе его стали звать Мамин-Сибиряк. А потом и вовсе приклеилось прозвище «Серая шейка». Учился в школе, жил с этим несерьезным утиным именем. Комплексовал, протестовал, а что толку?

— Ну что? Симой будем называться? — облегченно спросил хозяин. — Новое имя, как новая жизнь!

* * *

Так и начали жить в одной квартире неработающий пенсионер Сергей Сергеевич Мамин и кошка Сима. Был у Мамина сын Эдуард, неродной. Вернее, так и не ставший родным. Он обитал отдельно, на другом конце города.

Если Сима почти ничего не помнила из своего прошлого, то Сергей Сергеевич-то помнил.

В семейной жизни ему не повезло. Разные оказались характеры у супругов. Он спокойный и деликатный. Она — взрывная, брызжущая энергией.

— Тебе постоянно нужны овации, — говорил он. — Но мы же не на сцене, не на манеже?

Когда она случайно узнала, что его в школе звали Серой шейкой, то даже обрадовалась:

— Видишь, я не зря тебя зову Серый квадрат (она имела в виду это сочетание: Сергей Сергеевич). Каким ты был — таким ты и остался на всю последующую свою жизнь.

Он сердился на неё, но ничего поделать не мог. А с манежем будто накаркал. У неё были неудачные роды. Сын умер, не прожив и сутки. Через год она ушла от Сергея Сергеевича. Точнее, уехала с гастролировавшим в их городе цирковым гимнастом. Цирковая её жизнь через три года оборвалась. Гимнаст бросил её. Она с сыном вернулась к Серому квадрату.

Он принял и её, и чужого ребенка.

* * *

— Знаем мы вас, — говорил хозяин, наблюдая, как Сима потягивается на половичке, — вы, кошки, любите только самих себя. Из меня, если зазеваюсь, попытаешься сделать прислугу. Но, видишь ли, я какой-то неподдающийся...

Сергей Сергеевич ещё что-то говорил. Потом выключил свет на кухне, в коридоре и стал укладываться спать.

— Однако твоё падение мне на голову — весьма знаковое событие... — Это было последнее, что он произнёс, уже лежа в кровати.

Глава 2. НЕОБЫЧНЫЕ ЗАБОТЫ

На другой день, осматривая Симу, Сергей Сергеевич обнаружил у неё блох. И вначале пришёл в смятение:

«Эдакое грациозное, изящное создание — и эти мерзкие твари?»

Но, поразмыслив, успокоился. Решил выкупать кошку. Он не знал, что Сима терпеть не может такую процедуру. Она не любила быть мокрой.

Сергей Сергеевич почувствовал её настороженность и начал уговаривать:

— Симочка, это вынужденная мера. Избавимся от этих паразитов, тебе же легче станет. Иначе как? Тараканы, блохи — это ужасно! Иначе прогоню на улицу!

Кошка не реагировала на его слова. Но и не убежала от него. Сидела посередине коридора. Смотрела, как он вначале налил

воду в ванну, потом принёс с кухни большую тряпку и расстелил на дно.

— Видишь ли, у нас людей, новобранцев в армии всегда прогоняют через санпропускник. В обязательно порядке! Я бы и без блох твоих должен был догадаться помыться тебя. Чуешь, о чем толкую?

Хозяин, продолжая говорить, потихоньку посадил Симу по брюхо в воду, придерживая её за передние лапы.

Она уперлась задними лапами в тряпку на дне и, кажется, держалась устойчиво. Это понравилось Сергею Сергеевичу.

— Какая молодчина! — радовался он за неё, а может, заодно и за себя, за свою неожиданную сноровку.

«Если попадёт вода в уши, её тогда сроду не заманишь в ванну», — забеспокоился он. Сам же потихоньку правой рукой начал пытаться намылывать ей спину.

Он видел, как несколько шустрых тварей засуетились у кошки на шее. Морщился, но купать продолжал.

Сергей Сергеевич сменил в ванне три раза воду. Надеялся, что таким образом избавится от паразитов. Вычёсывал их гребешком и собирал с мокрой шерстки. Старался, чтобы на теле кошки не осталось мыла.

Сима терпела. Не сопротивлялась. Ей очень хотелось остаться жить около этого худого высокого, с тихим голосом человека. На то была ещё одна веская и тайная причина. Ей было уже почти десять месяцев от роду. В жизни Симы эта весна была первой. Она бурно её провела и теперь впереди у неё назревали особые события...

Но об этом деликатном обстоятельстве чуть позже...

Наконец-то Сергей Сергеевич, отжав Симе окончательно шерстку, завернул её в огромное зеленое полотенце. Начал вытирать, присев вместе с ней на диване.

...И вот она уже сидит на коврике у отопительной батареи в гостиной.

Отопление уже отключено. Но хозяин посчитал, что около батареи ей будет уютнее.

Кошка вылизывала себя с лап до головы, а хозяин, с брезгливой гримасой держа в руках мокрую свёрнутую тряпку с блохами, пошёл в коридор к мусоропроводу.

* * *

...Кошка, оказывается, очень любила спать.

Большую половину дня она продремала. Он несколько раз укрывал её своей жилеткой, оставляя снаружи одну голову.

Проснувшись, Сима вновь начала умываться.

— Кажется, это занятие у тебя самое любимое, — удивлялся хозяин, наблюдая, какие она принимает при этом причудливые позы. Те места, которые нельзя достать языком, она чистила лапками. Увлажняла их слюной поочерёдно и терла ими уши, подбородок, голову.

— Как же ты в подвале-то жила? Есть будешь? Чистюля!

Сергей Сергеевич поманил кошку на кухню. Там он мимоходом несколько раз повторил её новое имя: «Сима» и погладил по золотистой, мягкой шерстке. Ей было радостно от его голоса.

Теперь кошка выглядела ласковой и тихой, не похожей на ту, какой была ещё несколько дней назад на улице.

Хозяин шурился, когда говорил или смотрел на неё. Ей это нравилось. В такие моменты она особо доверяла ему. А он и не замечал этой её слабости. Думал, что хорошее настроение Симы зависит только от её собственных причуд.

Рыжий окрас обещал быть кошке от природы спокойной, любящей домашний уют, флегматичной.

Но куда деть её бездомное детство? Оно-то часто и определяло её поведение. Новое имя и новый хозяин могли что-то изменить. Но на это необходимо время.

Хотя Сима и доверилась хозяину, многое для неё было непросто. В первую ночь, окружённая странными непривычными запахами и звуками, она попыталась забраться к нему в постель. Но он потихоньку взял её и отнёс к порогу. Она поскучала немного, потом уснула.

На вторую ночь кошка уже не делала подобной попытки. Приняла его права.

Права-то приняла, но хозяином в полном смысле Сергея Сергеевича она не торопилась признавать.

* * *

Каждый день теперь приносил новое открытие. И хозяину, и кошке.

Оказалось, что Сима терпеть не может лифт. Сергею Сергеевичу приходилось, выгуливая её, спускаться и подниматься на шестой этаж по лестнице. Это для него было непривычно.

В первый день, когда они шли вниз, кошка обнюхала чуть ли не каждую дверь на их пути. Хозяин, набравшись терпения, ждал, сообразив, что это, очевидно, для неё важно.

На удивление Сергея Сергеевича дверь квартиры, в которой Сима теперь жила, она определяла, когда они возвращались, безо-

шибочно. Он порадовался этому, не мешая ей скрести когтями по старенькому коврику у порога.

Чтобы она не рвала когтями обивку мебели в квартире, он достал с балкона корзину, которую когда-то сплел, на удивление жены и сына, сам. Сергей Сергеевич был заядлый грибник. Корзина оказалась кстати. Емкостью ведра на полтора, крепенькая, с каркасом из алюминиевой проволоки, она прослужила более трех десятков лет.

Он любил эту вещь. Корзина-то из того времени, когда Сергей Сергеевич был ещё молод. Тогда он, жена и сын были, казалось, единое целое. Ему в те годы так хотелось, чтобы их объединяла общая идея, заряженность на походы, на путешествия. На жизнь! И верилось, что так и будет...

Но... как-то все не складывалось... а что и было, прошло...

Осталась холодная созерцательность и этот вяло текущий образ жизни в четырех стенах.

После смерти Лизы отношения с сыном у Сергея Сергеевича теплее не стали...

Теперь раз в месяц сын бывал у него. Но так, по-дежурному...

Когда Сергей Сергеевич доставал корзину с балкона и ставил её в прихожей, Сима, склонив голову набок, наблюдала за хозяином. Указав пальцем на корзину, он, усмехнувшись, сказал:

— Дери на здоровье, чего уж там...

Говорил, а сам ещё был под впечатлением еле уловимого запаха ивняка, из которого была сплетена корзина. Этот запах он почувствовал, как только стал мыть корзину в ванной теплой водой. Запах исходил тонкий, едва уловимый. И неповторимый, как все, что было связано с прежней жизнью.

Он похмыкал, бодрясь, и попробовал переключиться в мыслях на другое.

* * *

Ему было непонятно, почему Сима жуёт вначале листья цветов на подоконнике, а потом у неё начинается рвота, и ему приходится за ней убирать. Сердился на неё. Называл любопытной дикаркой. Он не знал, что это не любопытство. Поступала она так для того, чтобы удалить из желудка шерсть, которая туда попадает при вылизывании.

Неизвестно ещё, кто больше делал для себя открытий с момента возникновения этого их союза — он или она?

Сима, например, деловито изучая новое своё жилище, проявляла себя порой совсем неожиданно. Ей зачем-то понадобилось

погулять по полкам шкафа с фарфоровой и хрустальной посудой. Грациозно вышагивая, она не задела ни одной вещицы. Ей это понравилось.

То вдруг забралась на верх платяного шкафа и долго оттуда наблюдала за хозяином. Ему было неудобно себя чувствовать под прицелом её зеленых, изучающих сверху глаз, но он терпел. Когда она ловко и безбоязненно прыгнула оттуда на подоконник, он невольно оценил это:

— Вот тарзанка!

И погладил её. А она будто этого и ждала. Самозабвенно замурлыкала.

...А как он был удивлен, когда выяснилось, что Сима любит слушать классическую музыку, особенно Моцарта!

— Откуда у тебя такое воспитание? Ты же с улицы, — недоумевал Сергей Сергеевич. — Или вы, кошки, все такие? Не знал...

Записи классической музыки он собирал давно. Теперь был рад, обнаружив родственную душу.

Глава 3. НЕ ЛЕГКО БЫТЬ ПОСЛУШНОЙ

Сима оказалась заядлым охотником. Она гонялась за каждой мухой и комаром, которые залетали в квартиру. Бывало, что настигала добычу. При этом делала головокружительные прыжки по комнате.

Если добыча от неё ускользала, она заглядывала в лицо хозяину, будто говорила: «Извини, не получается навести полный порядок. У меня же нет крыльев».

Порой ему казалось, что, отлавливая насекомых, она избавляется от посторонних, ревнует его к ним.

«Чудеса, — ворчал он, — не схожу ли я с ума?». Мягко улыбался и не бранил её. А она терлась около него. Поднявшись на задних лапах, обнимала ногу хозяина передними и мелодично мурлыкала.

Когда Сергей Сергеевич садился за стол с газетой, она устраивалась на кресле рядом с ним. В такие минуты молчание продолжалось недолго.

Сейчас, глядя на Симу близорукими грустными глазами, хозяин рассуждал:

— Я вот люблю тигровый окрас. Можно было бы сказать, Симочка, что ты тигрового окраса. Но этот оранжевый оттенок, и совсем нет темных полос... Одним словом, ты — рыжая! Но как тебе

идёт эта роскошная белая манишка! И белые чулочки на передних лапках! Ясно, что ты беспородная, но так элегантно сложена!

Он был прав. Перед ним сидело создание с изящным, мускулистым телом, плотной короткой шерстью и стройными длинными ногами. А подушечки лап у неё цвета молочного шоколада!

Сима и во сне красива. Когда она спит, у неё подрагивают глаза, уши, лапы. То ли такой чуткий сон, то ли снится удачная охота...

А Сима смотрела на него прищуренными, светящимися миндалевидными глазами, мурлыкала доверчиво, и ленивый взгляд её, казалось, говорил, что она согласна с любыми его определениями. Они её как бы не касаются. Сама знает, какая она! И ей этого достаточно.

А то вдруг смотрела на него округлившимися глазами в упор.

Будто говорила: «Неизвестно ещё, какой породы ты сам... Поживём — увидим...»

Или сворачивалась в клубок и выглядела расстроенной и озабоченной.

— Почему ты такая грустная? Тебе стыдно за твоих блох? За то, что ты — беспородная? — спрашивал он вполне серьёзно, — выбрось из головы! Как ты такая уцелела? Где твои хитрость, коварство? Без них на улице нельзя! Все ластишься да мурлычишь...

...Он отложил на левый край стола шуршащую, пахнущую свежей краской газету. Снова взглянул на Симу. Кошка смешно подёргала носом, ей непривычен был запах краски.

— Я скажу тебе по секрету одну вещь, только никому не говори, — Сергей Сергеевич слегка улыбнулся, — не смотри, что я такой важный. Это внешне. Родители — сельские. Всю жизнь учился да работал. А что толку? Щенок у жизни. Много не могу, не понимаю. Много упущено с детства. Семья и та не сложилась. Тебе одной только и можно пожаловаться... Вроде положительный весь, а что-то не так...

Он гладил её своими длинными, чуткими пальцами, проводил ладонью по шее, спине:

— Сима, Сима... В моём детстве у родителей были кошки. У нас с женой не водились. Ей все ни до кого было. Сама у себя на первом плане. Я — вечно на работе. Когда? Пятнадцать лет был начальником большого цеха. Только после шестидесяти перешел в мастера. Вот и выходит, что попала ты к человеку, которому всегда было некогда ...

Однажды, ближе к вечеру, в квартире появился уверенный, весь в черном, широкоплечий и розовощекий человек. Сергей Сергеевич называл его сыном.

Когда они разговаривали, сын несколько раз беспокойно выглянул в окно.

— Да никто не тронет твой «воронок», — усмехнулся хозяин.

Сима запрыгнула на подоконник и посмотрела во двор. Там стояла большая черная машина с затенёнными окнами. Утром её не было.

Этот человек, с большими блестящими часами на руке сразу не понравился Симе. Он брал бесцеремонно её в кольцо больших рук и пытался заставить прыгнуть через этот барьер. Громко выкрикивал тонким лающим голосом:

— Оп, оп! Оп-она!

На третий раз она не выдержала. Нетерпеливо напряглась и начала крутить ушами. Затем быстро бросилась через барьер с выпущенными когтями, оцарапав ему кисть левой руки. Тут же выступила кровь.

Сима удалилась на кухню. Там она прохаживалась одна. Хвост её застыл в нижнем положении, что явно выдавало разочарование.

— А, черт! Она не бешеная? — суетился сын, рассматривая царапину.

— Ну, что ты говоришь? Сейчас я дам тебе йод, — успокаивал Сергей Сергеевич.

Самоуверенный «дрессировщик», обрабатывая ранку, возмущался:

— Ну, и к чему тебе эта дикарка? Её же многому надо обучать, она с улицы!. Придётся её выгуливать. Запахи пойдут. Домашней кошке нужна особая пища. Когда и где тебе её брать?

— Ты знаешь, я поражён, — говорил Сергей Сергеевич. — Она пользуется унитазом. Фантастика! Я раньше от приятелей слышал о таком, но не ожидал... Видимо, её обучали в детстве.

Сын на слова отца не отвечал. Ему важнее то, что он сам говорил. И, конечно, во многом был прав, утверждая, что «кошка — это не собака», от неё нельзя ожидать «собачьего» поведения. В отличие от собак, кошек бесполезно заставлять полностью повиноваться. Они иначе устроены... Не выгонишь сразу — привыкнешь поневоле. Это как зараза.

И так далее, так далее...

— Шестой этаж! Не закроешь балкон — она вывалится, — убеждал Эдуард, — у моего друга так было. Забылась и бросилась за воробьём. Упала на асфальт. Лечил полгода. Сетку теперь на балконе соорудили. Зачем тебе эти хлопоты? — Он говорил громким голосом, будто извещал о надвигающейся катастрофе, — и потом с твоим-то сердцем гулять по этажам?..

— Мы скоро с ней уедем в деревню. Там всё проще, — отвечал Сергей Сергеевич. — Там начнётся у нас с ней новая жизнь. Глядишь, насовсем останемся.

Сима не выходила из кухни, ждала, когда шумный гость исчезнет. А тот напоследок, нарочно топоча тяжело ногами, объявился в проёме кухонной двери, не на шутку напугав Симу.

— Попалась! — словно пролаял он, — зачем на базаре кусалась?

Не видя возможности к отступлению, Сима выгнула дугой спину и прижала уши к голове. Послышалось её негодующее шипение

— Смотри, она приготовилась нападать!

Гость притворно закрыл лицо руками и попятился назад.

— Вот это дикообраз! — Он неожиданно громко свистнул.

— Эдуард! Ну когда ты повзрослеешь? Нельзя же так, — подал голос Сергей Сергеевич. — Так кого хочешь можно разозлить. У тебя закоренелая нелюбовь к животным. Это ненормально.

Когда сын Сергея Сергеевича ушёл, Сима преобразилась. Она вернулась в комнату к хозяину. Движения её стали мягкими, хвост поднят вверх, что означало явную радость. Вполне возможно, обрadowалась предстоящему отъезду в деревню. Но как она могла это почувствовать?..

...На следующее утро Сергей Сергеевич помогал Симе умыться. Поглаживая её, пробежал своими чуткими пальцами по её меху. Кошка сидела у него на коленях сияющая. Расчёсывал он её пальцами, потом легкими движениями деревянного гребешка.

Сима выгибала спину, показывая, что ей приятно, а он потихоньку старался достать гребешком до самой кожи. Проверял пальцами: нет ли после прогулки во дворе комочков грязи, соринки.

Оба так быстро привыкли к этой процедуре, что проделывали теперь её ежедневно.

Глава 4. ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ

В деревню они приехали в середине июня.

Он любил это время года. Нравилось первое цветение шиповника, калины. Июнь — румянец года. Как не любить! В это время все летние птицы в сборе. Слушай и радуйся!

Луг и опушка леса в цветах. Белое, красное, васильковое родное раздолье дышит в полную грудь!

Сергей Сергеевич тихо радовался своей, как он говорил, отчине. Радовалась и Сима.

Мир, в котором она оказалась, удивлял её на каждом шагу. Такого в городе она не видала. Здесь люди жили в небольших деревенных домах. На крышах домов были сооружения, похожие на те, в одну из которых она свалилась на кухню к Сергею Сергеевичу. Из них часто по утрам шёл дым.

Повсюду пахло съедобным, особенно молоком. Мычали коровы.

Людей было меньше. Не как в городе, но много кошек и собак. Коровы и лошади поразили её. Она впервые видела таких добрых и больших существ. Их любили. Это было заметно по всему.

Ей любопытно было стоять вечером у ворот, в то время, когда стадо коров возвращалось с выпаса. Коровы сильно пылили, но она не уходила до тех пор, пока не появлялся за стадом пастух. Этот человек был особенный: загорелый, усатый и в шляпе. За ним всегда с тихим шелестом тянулся длинный кнут, кнутовище висело на плече. Когда он пошевеливал кнутовищем, кнут извивался, как уж. Это Симу завораживало. Иногда пастух взмахивал кнутом и получался резкий неожиданный звук. Как выстрел! Такого она раньше не знала. При стаде всегда была большая лохматая дворняга. Пастух звал её просто: Собака!

Наверное, она была не очень злая, но когда приближалась, Сима предусмотрительно уходила через штaketник в палисадник. И вела свои наблюдения оттуда.

Порой лохматый пес подбегал к изгороди. И кошке делалось страшно. Хотелось быть невидимой. Она прижималась плотно к земле, уши загибала назад, притягивая их к голове. Вот-вот готова была задать стрекоча, всегда зная, что в одном месте, если даже калитка во дворе закрыта, есть спасительная дыра. Через неё беспрепятственно можно удрать.

...Каждый раз одну и ту же пеструю корову соседка впускала к себе во двор. Чуть позже садилась около неё, и упругие струйки молока начинали бить в большое светлое ведро.

Сима с интересом наблюдала.

— Ладно, ладно, — заметив кошку, говорила нараспев соседка, — достанется и тебе, раз любишь молочко-то. Вот придёт твой хозяин, налью литру.

Сима гуляла, как водится у кошек, всегда сама по себе, даже теперь, в новой обстановке. Дом хозяина и его сад она с первого дня посчитала личной территорией и потихоньку её обживала. Периодически обходила «свои» владения. И отмечала царапинами или мочой.

Дом с потемневшими наличниками, в котором она жила, Сима обследовала в первые дни после приезда. Обнюхала все, что находилось на «её» территории: сарай, баньку, навес в дальнем углу двора.

В первый же день Сергей Сергеевич определил ей место. Небольшую тёмную овчинку он положил для неё в сених.

— И света тут хватает, и пол неплохой. Холодно не будет. На улице-то лето! Не понравится, переберешься в дом. Не возражаю.

Симе понравилось. В стене сеней, внизу, у самого пола была небольшая дыра. Для неё в самый раз, а собаке не пролезть! Это она сразу отметила. Можно в любое время суток выходить во двор и возвращаться обратно. Здорово!

...Сергей Сергеевич — человек вдумчивый. Он принес от соседей прошлогоднего сена, поместил его в старую наволочку. Помял в руках, пробуя: не туго ли, не жестко? Решил, что в самый раз, и положил подушечку на овчинку со стороны стены.

Она сидела и смотрела на его действия. Что-то соображала своим кошачьим умом.

Резкая смена обстановки больно-то не беспокоила её. Сима молода и любопытна. А вокруг столько интересного.

Неожиданно она обнаружила на «своём» пространстве в глухом уголке в конце озера щеголя удода. Расписные перья и задорный хохолок незнакомой птицы так её удивили, что она остановилась как вкопанная. Уши её торчали вертикально, кончик хвоста непроизвольно шевелился. Опомнилась только, когда красавчик, не спеша, скрылся.

Возвращаясь в дом, она обошла стороной куст шиповника, около которого песчаные осы устроили своё гнездо. Сима накануне наблюдала, как они ловят мух. Она видела, как в свою норку осы затащили большого паука. Потом следила за быстрыми шурками, которые гонялись за осами. Поймав, они уносили их в свои норки в обрывистом дальнем берегу озера.

Каждый тут промышлял по-своему. Там, где жила раньше, такого она не видела.

...Соседний дом справа был дряхлый. Окна заколочены крест-накрест досками. Там никто не жил. Кроме мышей в подполье.

А слева жили соседка с коровой, собака Цыган и самое главное: хозяин, похожий, как определила Сима вначале, на Эдуарда. Он в первый же день несколько раз назвал её Серафимой. Это было для неё непривычно. Сергей Сергеевич её так не называл. А когда сосед потрепал её за шею, а потом игриво слегка сжал там пальцы, послышалось рычанье.

— Сергеич, ты кошку или собаку привёз? Гордячка! — Голос у него был такой же тонкий, как у Эдуарда, неприятный, — рычит, как мой Цыган!

Он весь был сейчас похож на Эдуарда. Только не было у него на руке больших блестящих часов. И машина его была светлая и маленькая.

Сима вывернулась из цепких рук и выскочила во двор. Хвост у неё подрагивал. Сосед её рассердил.

...Утром Сергей Сергеевич вышел в сени. Сима просыпалась. Вальяжно потянулась, попеременно оттягивая то одну, то другую ногу. Зевнула, искоса посмотрев на хозяина. Лицо Сергея Сергеевича купалось в улыбке. Грациозно развернувшись, Сима начала умываться.

— Ну, видишь, как хорошо! Новый день — новые радости! Что нам ещё надо? — рассуждал вслух Сергей Сергеевич. — А на соседа не обижайся. Он грубоват, но настоящий. Не подведет. У нас с тобой на доньшке где-то завелась интеллигентность. А он — попроще.

Сергей Сергеевич старался как мог говорить мягко и ласково. Понял уже, что Сима ничего не делает просто так. Всему есть причины. Только вот не всегда они ему ясны...

Кошка умывалась и искоса поглядывала на него.

— Уйду, уйду сейчас. Не буду мешать! — И добавил, будто себе: — Помнится, мы договаривались, что ты должна быть доброй. Сима — значит добрая! Не забывай!

День начинался с приятного голоса хозяина. Симе от этого было уютно и спокойно.

* * *

Часто кошки и собаки не могут жить дружно.

Сима была совсем маленькой, когда оказалась в подвале, где ей пришлось обитать. Там она и познакомилась с таким же рыжим, как она, щенком. У него не было имени. Они росли вместе.

Вместе добывали пищу. Охотились на мышей. Он, правда, больше мешал. Ловила она, иногда отдавала добычу ему. Щенок был немного шалопаёй, часто упустил мыш. Сима в таких случаях сердилась на него, но недолго. Нет, с собаками дружить можно! Смотря какая собака, конечно.

Поэтому Сима не испугалась, когда Сергей Сергеевич позвал её с собой к соседям, у которых жил Цыган. Цыган так Цыган!

* * *

Они вошли во двор соседей. Под навесом машины не было. Она стояла почему-то в сарайчике.

Сима прошла под навес, буйно укрытый и с боков, и сверху диким виноградом. Её влекло к себе темное пятно на бетонированном полу. Пока Сергей Сергеевич, остановившись на дорожке, разглядывал что-то на клумбе, она хотела было лизнуть приятно пахнущую жидкость.

Появившийся около сеней хозяин опередил:

— Не смей, Серафима! Это антифриз!

Его голос насторожил Симу. Она подняла голову. А сосед продолжал шуметь:

— Моя дуреха нализалась и померла. Это же химия! Сами делаем — сами мрем.

...Нельзя заставить кошку полюбить собаку. Это Сергей Сергеевич понимал. Но ему так хотелось, чтобы Цыган и Сима жили дружно.

Кошки и собаки говорят на разных языках. И это знал Сергей Сергеевич.

...Цыган был на цепи. Увидев это, Сима несколько успокоилась. И потом, посередине двора росло большое дерево, есть куда сигануть, если что...

Цыган с любопытством посматривал на Симу. Пес не чувствовал к ней вражды. Он мог возбудиться, если бы Сима сама начала нервничать. Собаки часто становятся агрессивными, когда кошки удирают от них. Но Сима не суежилась. Спокойно шла за хозяином.

Вскоре все вчетвером: Сергей Сергеевич, сосед Дмитрий, Цыган и Сима стояли около сеней. Цыган вилял хвостом, он готов был дружить. А у Симы были вертикально поставлены уши. Ей хотя и было страшновато, но тоже любопытно... Сергей Сергеевич заметил это и, довольный, улыбнулся.

Два хозяина немного о чем-то поговорили меж собой, потом, позвав Симу, пошли в дом.

Цыган покорно остался у сеней сторожить...

Глава 5. НОВОСТЬ — ТАК НОВОСТЬ

Наступило время, когда Сергей Сергеевич уже не мог представить своё житье-бытьё без Симы, без постоянного обмена с ней взглядами. Ему нравилось смотреть, как она, блаженно свернувшись в клубочек, дремлет на стареньком кресле. Он привык не сердиться на неё, когда кошка, играя, пряталась от него куда-нибудь под кровать и не появлялась оттуда, если даже, налив молока в металлическую миску, он звал её.

Иногда она внезапно прыгала ему на плечо, когда он проходил мимо старенькой беленой печки. Так она развлекалась. Он прощал ей эту шалость. Как прощают шалости своим внукам.

Внука у него не было. Сыну с ним было не интересно, это он знал. Много ли оставалось у стареющего человека привязанностей...

Оказавшись в свои шестьдесят пять лет на пенсии, он вначале маялся без серьёзного дела. Потом за три с половиной года привык и к безденежью, и к одинокой жизни, и к болезням.

Не жаловался...

Самостоятельность Симиной природы он уважал. Сима легко отзывалась на игру. А Сергей Сергеевич заметил, что взаимопонимание между ними быстрее возникает во время игры. Это стало для него очевидным.

«Они не говорят лишь от того, — размышлял он, — что, если бы начали это делать, им бы пришлось сказать, какие мы, люди, бываем глупыми. А им этого не хочется делать, к чему портить отношения?»

У Сергея Сергеевича в его семейной жизни, задолго до того, как не стало жены, а Эдуард захотел жить отдельно, не было того, что называют семейным очагом. Ему теперь приходила в голову мысль, что, если бы у них была кошка, то не случилось развала семьи: не ушла жена, не наступило бы такого отчуждения с сыном. Ведь не одна же его постоянная занятость все это разрушила? Чего-то не хватало такого в его семье, о чем сразу не скажешь. Какого-то цементирующего вещества, может быть. Того, что придаёт и крепость, и прелесть отношениям. «Не хватало душевности, — определил он запоздало. — Слишком я был деловит во всем и односторончен, ценил только масштабное».

Рассуждая так, он то соглашался с собой, то невольно качал головой: «Ты просто стареешь, вот и все дела».

А у Симы свои заботы.

Сергей Сергеевич, как и большинство людей, заблуждался по поводу того, что все кошки очень любят молоко. Ничего подобно-

го, Сима молоко не любила. А хозяин старался. Через каждые два дня обязательно ходил к соседям за молоком.

У Симы часто после того, как поест молока, было расстройство желудка, особенно, если ела тут же и мясо. Она отыскивала зеленую травку и щипала её, чтобы вызвать рвоту. Лечилась так.

Хозяин не мог понять, в чем дело.

Что-то её подталкивало, чтобы не отказываться от молока, но ела она его без охоты.

Помогал Симе справляться с молоком ёжик. Он проник однажды ночью со двора через ту самую дыру, которая служила Симе. Как потом оказалось, ежик жил в подполье сеней. В том самом дальнем углу, куда Сима ещё не успела добраться и обследовать его.

Ёжик вел себя на удивление уверенно. Он считал, очевидно, что сени или верандочка эта — его территория.

Пока она отвоёвывала, контролировала, метила свою территорию то мочой, то трением головы или хвоста, то царапаньем когтями, чтобы соседские кошки знали, где чье владение, этот деловитый колючий комок с остренькой мордочкой, нарушая все кошачьи правила, разгуливал ночью, где хотел.

Сначала Сима вознегодовала. Но ежик оказался добродушным, и они быстро подружились. И даже было не обидно, когда он начал есть её молоко. Ёжик бегал ночью по полу, сильно топая, фыркал. Она просыпалась, но не сердчалась. Ей даже иногда становилось скучно, когда он не приходил. А однажды утром хозяин вышел, и ежик не испугался, не убежал.

— Ну вот, давно мы не виделись! — обрадовался Сергей Сергеевич. — Где пропадал-то, господин Шварценеггер?

Ёжик трогал своим чутким носом тапочки хозяина и издавал непривычные для Симы звуки. Оказывается, хозяин и ежик были друзьями.

* * *

Играя днём с Симой, Сергей Сергеевич обнаружил, что у неё увеличен живот.

— Ничего себе, время действительно имеет свойство сжиматься. Так стремительно вершатся события. Не успеваю! Вприпрыжку бегу... — бормотал он, по-детски улыбаясь.

— Вот он, результат кошачьих концертов, которые вы в городе устраивали на крыше, — говорил он, — более месяца уже прошло, как ты свалилась в трубу. Верно... был конец мая, все сходится...

Так открылось то, что сильно волновало Симу. Тайное стало явным.

— А я смотрю, ты стала какой-то другой, уж не заболела ли, думал, — он слегка нажал пальцами Симе на живот ещё раз. — Ну да, легко прощупывается. У тебя соски стали розового цвета, а я в голову не взял... И есть ты стала побольше, я думал, что это от свежего деревенского воздуха.

Хозяин обрадовался новости. Сима это видела. И успокоилась. А Сергей Сергеевич все удивлялся:

— Вот почему ты прибилась ко мне в городе, а потом в деревню поехала — тебе рожать надо! Помощник необходим. Обстоятельная какая! Умница! Ценю... ценю... Этот наш союз не по расчёту, а по великому инстинкту...

И он многозначительно поднял на уровень лица руку с прямым указательным пальцем:

— Великому инстинкту!..

Глава 6. СТАРЫЙ ДА МАЛЫЙ

Несмотря на теперешнее Симино положение, она была активна. Так много вокруг того, что она видела впервые.

...Совсем рядом с домом, за огородом раскинулось круглое с песчаными берегами озеро. По берегам стоят высокие дубы. В дубраве всегда особый воздух. Свежий и острый.

Шуршание дубовой листвы под ногами и дробные постукивания дятла в кронах старых деревьев завораживают Симу. Она считает эту территорию своей и особо ревностно следит за теми, кто нарушает определённые ею границы.

* * *

На ежей, постоянно попадающихся тут, она не сердилась. Они такие забавные и деловитые! Впервые она увидела здесь насекомых с двумя парами сильных перепончатых крыльев, при помощи которых они летали. Да так быстро! Она видела, как они ловко ловили на лету добычу. Ей было интересно и завидно. У стрекоз большие глаза. Это её тоже удивило.

Не могла она равнодушно смотреть на бабочек. Её завораживали и дневные, и ночные красавицы. Эти легкие создания почти одинаковые, только у ночных, в отличие от дневных, тела более толстые. Она гонялась за ними. Но безуспешно.

Более всего ей нравилась рыбалка на озере. Едва Сергей Сергеевич вечером начинал собираться на рыбалку, она с широко открытыми глазами и вертикально поставленными ушами начинала ходить за ним. Хвост её в это время был непременно поднят вверх. Радовалась тому, что предстояло.

Сергей Сергеевич и сам любил рыбалку. Он каждый раз садился на одно и то же место, там, где камыш примят и в песчаный берег воткнута ивовая рогулька, обросшая зелеными веточками. Карасики, сорожка, краснопёрка здесь прикормлены заранее, поэтому рыбалка почти всегда удачная.

Но ей вскоре оказалось мало быть просто наблюдающей. Там, где не было камыша, на небольшой песчаной косе, она стала охотиться на рыбок сама. И весьма успешно. Её терпеливое ожидание заканчивалось молниеносным броском. Сима ловко прижимала на мелководе зазевавшегося карасика или краснопёрку.

Урча, притаскивала добычу к хозяину, и он, растроганный тем, что она отдаёт ему пойманную рыбу, гладил её по спине. Показывал свою добычу в ведерке с водой, приговаривая:

— Выбери, какая на тебя глядит, кормись сама...

Она не торопилась выбирать, знала, что хозяин о ней никогда не забудет.

Часто можно было видеть весёлую картину: объединённые общей удачей на рыбалке, они дружно вышагивали от озера к дому. Оба довольные! В такие моменты над головой Сергея Сергеевича торчали бамбуковые удочки, над головой Симы — её весёлый рыжий хвост.

— Кажется, вас водой не разольёшь, — смеялся сосед Дмитрий, попавшийся им в дубняке со свежесрезанным баннным веником. — Старый да малый.

— Такие вот мы! — за обоих отвечал Сергей Сергеевич. И его голубые, совсем не старые глаза за толстыми линзами очков, светились ясно, под стать июньскому небу.

* * *

Чуть правее колодца, над изгородью на длинной жердине возвышалась потемневшая старая скворечница с сучковатой рогулкой над крышей. Сима заметила, как хлопочут там скворцы со своим семейством. Вскоре наблюдать за скворцами ей стало скучно. Они летали, как заводные, в дальний конец огорода, добывали червей. Их трудно подкараулить, они порывистые.

Воробьи — другое дело. Они сидят обычно рядышком на земле, на ветках, на ограде.

...Всё-таки в этот день Сима настигла добычу.

Стоя у окна, Сергей Сергеевич хорошо видел, как это произошло. Утром он наблюдал, как она потешно охотилась за кузнечиками, а потом...

Он увидел Симу около амбара. Она скользнула вдоль стены, прижимаясь животом к земле. Мелкими перебежками кошка добралась до ближайшего от цели укрытия — старой кошелки. Цели её он не видел, но догадывался, что она, скорее всего, у корневища разросшегося винограда.

За своим укрытием Сима готовилась к атаке. Перебирая задними лапами и, шевеля нетерпеливо кончиком хвоста, она ждала момента. Затем, прижав тело к земле, заскользила ближе к винограду. Когда расстояние сократилось до одного прыжка, поджав передние лапы, она прыгнула. В её лапах оказалась мышь.

То ли так случайно получилось или таков кошачий прием, но мышь оказалась вновь на свободе. Серой тенью бедняжка метнулась в сторону, Сима в броске успела, играючи, легко схватить её. Почти тигровая окраска Симы, уверенность движений — все напминало грозного хищника, на какой-то момент оказавшимся миниатюрной кошечкой.

Сергей Сергеевич был изумлен. Оказывается, у Симы двойной образ жизни. В доме она внимательная, ласковая и отзывчивая, а на воле — опытный независимый хищник. Осторожный и уверенный. И ведет себя, будто у неё нет никакого хозяина...

Чуть позже с удовлетворением подумал: «Вот так, если оставить её одну, когда необходимо будет куда-то уехать — не пропадет! Молодчина!»

Глава 7. РАЗГОВОРЫ О ЖИЗНИ

Разговоры с Симой стали для Сергея Сергеевича ежедневной потребностью.

— Что, Сима, так смотришь на меня? Много сижу за столом? Не могу без чтения.

Он начинал поглаживать Симу по спине. Она мурлыкала под его чуткими пальцами. В такие минуты между ними возникала особая связь, для которой слов не подобрать.

Сима сидела на левом краю письменного стола и внимательно слушала. Она испытывала состояние полного душевного комфорта,

о чем свидетельствовал её послушный хвост, обернутый вокруг тела.

— Знаешь ли ты, моя дорогая, отчего у нас, у людей, беды? — хозяин покрутил в руках очки и в упор посмотрел на Симу.

Глаза её тут же округлились. Она внимательно слушала.

Он не выдержал её взгляда. Ему показалось, что вся живая и неживая природа смотрит на него золотисто-зеленоватыми Симиными глазами и ждет.

— От того, что нет у нас порядка в общем доме. Мы вышли из чьего-то повиновения и как малые дети многое натворили своим незрелым умом. Это я теперь начинаю понимать.

Сима грациозно зевнула.

Он положил ладонь на газету.

— Наш чрезвычайный министр Сергей Шойгу — молодец. В своём докладе на год заранее сказал, что с нами будет. Какие аварии ждут. Хотя бы так нас образумить. Все то, что может случиться, дело наших рук.

Он потянул из-под Симы газету, кошка передвинулась. Потом и вовсе спрыгнула на пол, нехотя пошла к креслу. Ей нравилось сидеть на газетах. Эта её привязанность была непонятна Сергею Сергеевичу. Он все полагал, что когда-нибудь дознается, в чем причина.

Сима будто чувствовала важность того, что говорил хозяин. Она не ушла, а улеглась на кресло и стала смотреть на Сергея Сергеевича. Не зевала.

Он продолжал:

— Мы все больше и больше отрываемся от природы. Но мы же часть её?!

Сергей Сергеевич в последнее время много думал о том, что сейчас говорил, поэтому повторялся. Он и без Симы разговаривал вслух. Сам с собой. Это помогало думать.

Теперь, монотонно говоря с Симой, споткнулся о мысль: «Как Рубцов пронзительно чувствовал, откуда мы все вышли!»

Он дотянулся рукой до книжной полки. Достал небольшой красный томик стихов, который приобрел перед отъездом из города. Быстро нашел запомнившиеся строки. Негромко задумчиво прочитал:

*С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую кровную связь.*

— Поэт не просто так сказал. Он, как и Есенин, — Божья дудка!

Кошка молча наблюдала за хозяином. Сергей Сергеевич уже привык к её изучающему взгляду.

— Странно тебе, почему я раньше об этом не думал? Не знаю. Дела вершил! Как белка в колесе... стихи читал только в юности... Да вот теперь — на пенсии.

Он поднял вверх над головой очки. Взгляд Симы последовал за рукой с очками. Сергей Сергеевич встал. Кошка спрыгнула с кресла и потянулась.

— Пора спать, — сказал он и пошёл открывать ей дверь.

Видно было, что Сергей Сергеевич хотел сказать что-то другое, но передумал.

Сима последовала за ним.

Не в первый раз ему показалось, будто общается он не с животным, а с человеком...

Глава 8. ОБИДА

Не всегда между Симой и Сергей Сергеевичем устанавливалось единодушие.

Утром, когда он готовил себе завтрак, она появилась на пороге с мертвой синицей. Такого он не ожидал.

— Ах, ты проказница. Что же ты делаешь? Тебе не хватает еды? Он не знал, что ещё говорить.

Сима положила синицу на пол и выжидательно смотрела на хозяина. Ей непонятно, почему он недоволен.

— Чтобы это было в последний раз! Ты же мышиный лев! Вот и громи серых!

Сергей Сергеевич ладошкой слегка пошлепал кошку по мордочке, так, для порядка. И строго посмотрел ей в глаза. Сима не понимала его и не чувствовала за собой никакой вины.

Она так любила подолгу подкрадываться, наблюдать за добычей. В ней жил охотничий инстинкт. Была она совсем ещё молодая, ей нравилось играть. И охота для неё — часть игры.

Симе было не понятно, почему её хозяин, Сергей Сергеевич, сам не ловит синиц? Она принесла пойманную птицу, чтобы он оценил её подарок.

— Если не прекратишь ловить птиц, — говорил между тем Сергей Сергеевич, — то повешу тебе на шею колокольчик. Не сможешь тогда охотиться даже на мышей, поняла?

Ничего Сима не поняла. Потопталась на месте, села и, как ему показалось, высокомерно отвернулась.

— А вот этого делать не надо бы. Ты же не глупая, я знаю, — говорил с легкой насмешкой хозяин.

Голос Сергея Сергеевича стал ещё строже:

— Больно ранимая. Так нельзя!

Сима, ощущая уже угрозу, насторожилась. Её пугал пристальный взгляд Сергея Сергеевича. Возникло желание укрыться от этого взгляда, не видеть его. Она потому и отвернулась, что не могла смотреть в недружелюбное сейчас лицо. А он воспринял это по-своему. Кошка вышла в сени. Мертвая синица осталась лежать у порога.

Сима легла на свою подстилку. Широко раскрытыми глазами смотрела прямо перед собой. Ударив пару раз лапой с выпущенными когтями о пол, наконец, успокоилась. Закрыла глаза.

«Что же мне с тобой делать? — раздумывал тем временем Сергей Сергеевич, доедая яичницу. — Охотилась бы только на мышей, и все дела...»

Дверь в сени оставалась открытой, и он говорил, зная, что она его слышит:

— Вы, сударыня, существо независимое, конечно... Что вам мои замечания?..

Он ещё что-то говорил. Но она уже не слушала его. Не понимала его иронии. Она не умела возражать, устраивать сцены. Сима — кошка. Если ей не по нутру что-то, то она просто отворачивалась, как сейчас. Лгать не в её характере.

...Ворчать-то Сергей Сергеевич ворчал, но помнил: с того момента, как появилась Сима в его жизни, ему стало легче жить. Его сердце, не раз основательно дававшее о себе знать, теперь болело реже.

...Если бы он ведал, как непросто было Симе.

...Оказавшись совсем маленькой на улице и, начав жить самостоятельно по подвалам, Сима многого лишилась из того, что могло быть в её характере изначально, что устанавливается в общении между людьми и котенком.

Но она была теперь взрослая. И постигала многое заново, вдогонку. Словно училась в вечерней школе, как это бывает у людей.

Глава 9. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ГЛАЗКИ

Симе нравился этот человек. Когда он приходил к Сергею Сергеевичу, ей становилось веселее.

Хозяина он звал, как все местные, коротко, Сергеичем. Будем и мы его так называть.

Ожидая от гостя ласки, Сима опрокидывалась на спину, откидывала передние лапы, оставляя их повисшими в воздухе. Это — приглашение погладить ей брюшко. Очаровательные глазки, так чаще всего здесь звали гостя, безоговорочно отзывался на это.

Своё прозвище он получил давным-давно. Наградили его им, похоже, с усмешкой. Каким он был в молодости, теперь уже мало кто помнил. Сейчас он старик. Брови у него косматые, а глаза усталые и серые. Но какие песни за ним тянутся...

Между гостем и кошкой быстро возникало радостное взаимопонимание. В эти моменты глаза её обычно полуприкрыты. Таковыми они становились и у гостя.

В первый же свой приход он галантно рассыпался перед Симой в комплиментах и спел для неё свою любимую песенку. Подобного в Симиной жизни ещё не было.

*Очаровательные глазки,
Очаровали вы меня...*

Голос у него, когда он пел, становился совсем молодым. Негромкий, выразительный, обволакивающий...

Теперь, при появлении в их доме такого гостя, она ждала, когда он снимет со стены старенькую гитару и запоёт. Гитара, когда не было гостя, висела на стене около голландки и тоже скучала. Очаровательные глазки в отличие от хозяина курил. Особенно неприятно пахли его пальцы, но Сима прощала ему это.

Хозяин дома и гость — одноклассники. Их родители жили раньше в этой деревушке по соседству. Это иногда так много для людей значит. К тому же Фадеич долгое время преподавал, учил ребят истории в школе. Было о чём этим двум хорошим людям поговорить, Сима им не мешала. Притом ещё давным-давно, в молодости, Фадеич был ветеринаром. Он любил животных.

Она всегда перед его приходом теперь умывалась и приглаживалась.

Но вот беда: старинные приятели часто говорили о чём-то серьёзном, и тогда Симе становилось скучновато.

— Нет, Серая шейка, — держа чашку чая в ладони, говорил гость, — ничего уже не вернешь. Никакой слитности с природой у человека теперь быть не может. Жили мы в младенчестве язычниками, теперь выросли.

— Но не поумнели, — вставил тихо, но внятно Сергеич.

— Это, скорее всего, верно.

Его большие и черные брови шевелились. Сима стала за ними наблюдать. Ей было забавно. Брови полезли вверх, на лоб. И их хозяин почти выкрикнул.

— Человека надо ниспровергнуть с пьедестала, на который он забрался, возомнив себя царем природы.

Сима даже вздрогнула при последних звуках. Так они были произнесены жёстко и громко.

Сергеич молчал. Сима смотрела на него, будто спрашивала: что же ты не отвечаешь, не можешь?..

— Приглашают в школу вновь начать преподавать, — говорил тем временем Фадеич. — Я должен детям нести разумное и доброе. А я этого уже не могу. Мне хочется кричать! — брови у Фадеича легли туда, где им положено быть.

Он замолчал, но ненадолго. Сказал, как пожаловался:

— А разумно ли кричать детям? И такое? Ведь им жить надо! Как и мне! После моего инсульта года не прошло...

Похоже, в его окружении мало кто мог слушать старика долго, и он приходил выговориться к своему приятелю Мамину.

Не дождавшись ответа, вновь спросил:

— А если детишки не будут знать с ранних лет об этом, какими они вырастут?

Сима вышла в сени.

— Поостынь, — спокойно сказал Сергеич, провожая взглядом Симу. — В тебе большое нетерпение. Не зря мы тебя в школе Утюгом звали.

— Меня за другое так звали, — по-мальчишески запальчиво проговорил Фадеич.

— Ну... Николай, не сердись, — улыбнулся Мамин. И продолжил: — Все человечество копило то, о чем ты говоришь. А ты хочешь в одночасье, один все разом решить, всех образумить? Я думаю, человек повернется лицом к природе, настанет такое время.

— Настанет ли? — Покачал головой Фадеич.

Вошла Сима и села на пороге.

Гитара по-прежнему висела на стене. Сима зевнула. Она спокойно смотрела, как гость, задев на столе локтем чашку, опрокинул её и намочил рукав фланелевой рубашки.

Очевидно, он вспомнил свою первую профессию. Спросил неожиданно:

— Ведомо ли тебе, умная твоя голова, как крепко можно приручить кошку к себе?

— Я и так о ней забочусь.

— А она? — переспросил гость.

— То целыми днями около меня, в глаза заглядывает. А то вдруг надолго пропадает. Где носит её?

— А ты попробуй одно средство.

— Что за средство такое?

— Испытанное. Возьми кусочек мяса, поддержи его у себя под мышкой, и пусть потом она его съест. Все! Кошка как присохнет к тебе.

— Ну вот, буду я ещё ворожить. На старости лет-то, — буркнул Сергеич, ставя Симицу миску на порог.

Наблюдая за Симой, его приятель удивился:

— Послушай, в первый раз вижу, чтобы кошка ела чеснок!

— Она ещё и горчицу ест.

— Что?

— А вот то! Мы такие, да, Сима?

— А знаешь ли ты, дружище, ученые установили, что на подушечках лап твоя кошка, как и все, имеет потовые железы. Есть они у неё ещё на щеках, губах, вокруг сосков. И через лапы кошки получают нужную им информацию. Грязь и вода на лапах воспринимаются ими как помеха. Кошка очищает постоянно свои лапки, отряхивает их или облизывает...

Николай Фадевич говорил так, а Сима в это время, оставив миску, терлась о ногу гостя и старалась заглянуть в лицо.

— Ну, достаточно пометила? — довольно спросил он.

— Что ты у неё спрашиваешь?

— Так она же нанесла на меня свои метки. У неё специальные железы расположены по обе стороны лба, между ушами и глазами. Есть такие же вокруг губ, на хвосте. Я ей понравился. Она потёрлась и отметила меня. Не в первый раз. Это знак привязанности. Теперь я — часть её территории!

Он одобритительно смотрел на Симу:

— Вот ведь, практической пользы от кошек никакой. Но правы англичане, считая, что Бог создал кошку, чтобы человек мог наблюдать красоту в чистом виде. И заметь: кошки не обманывают. Дурных примеров с людьми не берут!

Он так говорил, а Сима все терлась около его ног и ждала, когда же он снимет со стены гитару и запоёт. Ей так нравилась песня про очаровательные глазки...

Глава 10. ПОПОЛНЕНИЕ СЕМЕЙСТВА

Наступила середина июля. Многие птицы в хлопотах, надо поднимать на крыло своих птенцов. У Симы свои заботы. Последние три дня она отказывалась от еды. Живот её за неделю заметно увеличился.

Очаровательные глазки легко прощупал у неё три головки котят.

Сима, не обращая никакого внимания на своих помощников, искала место, где можно устроить гнездо.

— Это обычные все дела, — успокаивал Очаровательные глазки и Симу, и приятеля. — Не надо волноваться. И гнездо мы определим, не суетитесь.

Сергеич отыскал деревянный ящичек на чердаке и, довольный, водрузил его в сених под широкую лавку. На дно его положил подстилку.

Бывший ветеринар одобрил его действия.

— Некоторые кошки «стесняются» присутствия человека, — пояснял он, — а некоторые наоборот, в таких случаях рады тому, чтобы кто-то был рядом. Посмотрим, как Сима поведет себя.

Гнездо получилось уютное и безопасное. Ящик отгораживал Симу своими прочными деревянными боковинами со всех сторон. Сверху — широченная лавка. На неё Сергеич набросил старенькую ватную куртку. Свисая, она скрывала от посторонних глаз и Симу, и ящик.

Симе понравилось гнездо. Она перестала бегать по комнате в поисках нового места.

* * *

Через неделю Сима сделалась отрешённой и притихла... Забралась в ящик и будто пропала, забыла про всех.

...Утром Сергеич обнаружил около Симы в ящике трех котят. Все прошло пока, как авторитетно заверил пришедший Николай Фадеевич, без каких либо осложнений.

Спокойное поведение Симы подтверждало это. Она деловито заканчивала вылизывать последнего серого, с белыми мордочкой и лапами котёнка. У появившихся ранее и отчаянно рыжих, шерстка была уже сухой.

* * *

И начался у Симы и её хозяина новый, особый порядок отсчета времени, который связан был теперь с ростом котят.

...Уже через две недели у них раскрылись уши. Открылись и глаза, но пока незрячие. Прошла ещё неделя, и котята стали видеть. У всех новорожденных глаза были до своего срока одинакового цвета — голубые. Когда наступила третья неделя, котята начали пробовать коровье молоко.

Теперь Сергеич называл свои неказистые сени «рыжим общезжитием». Примерно через месяц после рождения у котят прорезались зубки. Ему нравились все котята, но особенно последний, тот, который был не похож на всех, не рыжий. Трогательная белоснежная окраска мордочки ниже глаз, передней части туловища и всех четырех лап сильно выделала его из остальных.

И сама Сима, как заметил он, чаще всего занималась именно им. Он был менее, чем остальные, подвижен. Но его манера поведения была особенно трогательна и забавна... С первого же утра он получил от Сергеича имя Малыш.

Остальным хозяин пока имена не придумал. Звал временно Рыжиками.

У Малыша он отметил своеобразные черточки характера: тот каждый раз припадал только к одному материнскому соску. Он реже нападал в общих играх на собрата с укусами. Чаще набрасывался на хвост своей матери, которым она, слегка подёргивая, возбуждала любопытство своих детенышей. Сима заботилась о закреплении охотничьего инстинкта любимых чад... Все трое оказались большими любителями приключений. Просыпаясь по утрам полными сил и веселья, они готовы были потрогать все, что окружало их.

* * *

Вскоре они уже затевали игры, вовлекая в них и мать. Сима охотно откликалась на шумные затеи. Как маленькие дети, котята не могли оставаться без активного внимания Сергеича. Наблюдая, порой, при игре с ними за непрерывной сменой выражений их мордашек, он радовался, как ребенок.

«Мудрость жизни состоит в наблюдении того, как растут дети», — вспомнил теперь Сергеич когда-то услышанную фразу.

Раньше он не очень задумывался над ней. Воспитание его приёмного сына проходило с такими зигзагами, что он мало что из этого вынес. Теперь же в кошачьем окружении он видел все будто другими глазами.

Радостно было не только от факта владения этим шумным жизнелюбивым сообществом. Тихая радость теперь исходила от ощу-

щения непобедимости и нескончаемости жизни, невзирая на все болячки, старость, неверие, заумные рассуждения и прорицания...

...Отныне у него в специальном ящичке образовался целый арсенал приспособлений для игры с котятами. Появились там клубок пряжи и теннисный мяч, и привязанная на длинную нитку varejka.

Едва он входил в сени, сразу оказывался в окружении своих питомцев с высоко поднятыми хвостами.

Он баловал котят. Вносил разлад в педагогический процесс Симы. Если котята позволяли себе излишнюю назойливость, Сима могла запросто дать им оплеуху. Надо знать своё место! У Сергееча на подобное рука не поднималась. Он оставлял за ней такое право. Она — мать!

Когда он видел, как Сима убегает на озеро и приносит для котят добытую крохотную плотичку или сорожку, он восхищался её материнской самоотверженностью. Поражался тому, сколько у неё забот, а она ищет себе новые.

* * *

Было одно обстоятельство, которое вначале сильно беспокоило Симу. В широкой половой доске, прямо около ящика, темнела небольшая щель.

...В первый раз, когда из этой щели послышался лёгкий шелест, она подумала, что это ежик, который куда-то пропал и давно не появлялся.

...Сима не поняла, как это случилось. Не видела, как он оказался рядом. Не почувствовала, как вместе с её котятами, приложившись к соску, начал сосать молоко. Это был большой, уверенный и спокойный в движениях уж. Ужей она никогда не видела. Сима оцепенела от страха. А гость спокойно продолжал своё дело. Когда насытился, не спеша удалился. Так повторилось несколько раз. В последующие появления ночного гостя её уже так не трясло.

Потихоньку она, кажется, начала привыкать к его посещениям...

Глава 11. БЕДА

Раньше, когда появлялся сын хозяина Эдуард, Сима уходила из дома и, пока он не уезжал, не возвращалась. С тех пор, как родились котята, при его появлении забивалась в свой ящик. Не выходила сама и старалась не отпускать детенышей. Чувствовала опасность.

На этот раз он приехал, когда Сергеич ушёл в магазин за продуктами. И Сима была в отлучке. Эдуард решил сделать то, что давно задумал...

Обнаружив со двора дверь в сени закрытой, Сима сразу почувствовала недоброе. Она метнулась к лазу, которым всегда пользовалась. Он был закрыт изнутри курткой. Она заметалась вдоль стены дома и, приметив не закрытой на шпингалет створку окна, передними лапами надавила на стекло. Молнией сверкнула через кухню в сени. В ящичке был один Малыш. Рыжиков не оказалось. Она выскочила через окно во двор.

...Эдуард шёл с шевелящимся мешком к пруду. Дико зарывчав, она бросилась к нему. Он мотнул ногой, Сима отскочила в сторону. Потом вновь приблизилась. Она хотела вцепиться в толстый, пахнущий машиной его ботинок. Он схватил подвернувшуюся увесистую железку и замахнулся. Сима отстала. Шла за ним мелким кустарником, не чувствуя, как выдирается с боков шерсть.

У воды он завязал мешок узлом, сделав перед этим ножом два прореза для выхода воздуха. Потом мешок прицепил к железке. Размахнулся обеими руками деловито, не спеша... После, глядя, как расходятся широкие круги на воде, молвил с кривой усмешкой:

— Всем облегчение теперь! А то зверинец развел. Сам за собой уж не в силах... а тут... Ракам хороший подарок...

Когда она приплелась в дом, отец и сын разговаривали на кухне. Дверь была открыта.

— Хватит тебе и одного, куда? Сам же говорил, не знаешь, что с ними делать.

— Да, но не так же? — необычно глухим голосом отвечал Сергеич. — Благодетель...

— А как, если у всех тут по две-три кошки? Никому они не нужны. Я сделал обычное дело, на которое ты, конечно, не решился бы. Ты у нас тонкая натура... Но в деревнях всегда котят топят.

— Мне на тебя тошно смотреть!.. Не понимаешь, в какое время живешь, не ведаешь, что творишь. И по ней, и по мне хлестанул, — голос Сергеича стал ещё глуше.

— Опять двадцать пять. Мне что? В город, что ли, их везти усыплять. А разница? Все равно как!

Сима, пошатываясь, ходила вдоль стены. Слушала такие разные голоса. Потом забилась под лавку около ящичка. Легла там, устремив взгляд на дверь, откуда должен был появиться этот редкий и страшный гость. Гнев и раздражение распирала её. Порой из-под лавки доносилось прерывистое завывание.

Отныне неприязнь к Эдуарду в ней закрепились во сто крат сильнее, чем прежде. Сима не умела забывать обиды...

* * *

Тихий и настойчивый уж продолжал по ночам навещать Симу. Темной, еле слышной лентой шелестел около неё. Она привыкла к нему. С тех пор, как не стало её огненно-рыжих котят, когда он прикладывался к её соскам, ей становилось даже легче. Но и уже вскоре не стало.

...Деловитый ежик появился после своей долгой отлучки. И подкараулил ужа. Он был опытным охотником.

* * *

Иногда наведывался Очаровательные глазки. Бодрился, пробовал шутить. Надолго его на такое не хватало. Он в последнее время начал быстро терять зрение. Это его печалило.

— Послушай, твоя Сима и ты становитесь похожи друг на друга, — говорил он. — У неё походка твоя стала, нетвёрдая. И даже взгляд твой. Не веришь? Подобное с животными бывает...

— Фантазируешь? — отвечал негромко Сергеич. — Тогда почему твой бык-полуторник не похож на тебя? Хвост пистолетом, а ты?

— Наверное, потому, что он не Сима, — гнул своё Фадеич.

Сергеич теперь частенько ложился на старенький диван. Побаливало сердце.

А Сима каждый день бегала к озеру. Часто можно было её видеть за огородами между могучих дубов. Казалась она там, среди деревьев, теперь маленькой и беззащитной. Как её сгинувшие Рыжики. Теперь, после исчезновения котят она часто подходила к хозяину, глядела ему в лицо, искала его взгляд. Будто хотела что-то сказать. О себе ли? О нем ли?

А Сергеич все реже поднимался с постели. Часто клал в рот под язык круглую белую таблетку.

Она вяло смотрела на синиц, порхающих за окном. В былые времена Сима садилась на подоконник и наблюдала за добычей. Уголки губ у неё тогда оттягивались назад. Челюсти смыкались, получались ритмичные звуки — так выражалась её разочарованность по поводу недостижимости птиц.

Теперь ей было не до них. Он заметил, что она старается своего единственного Малыша надолго одного не оставлять. Берет беднягу за шкурку и перетаскивает с места на место за собой. А тот меланхолично повинуется.

— Что ты так привередлива? — говорил он будто сам себе. — Боишься и последнего потерять? Бедная.

Сегодня повторилось обычное. Сергеич включил старенький телевизор «Горизонт» и прилёг на диван.

Сима с Малышом пристроились рядом под столом. Дружная поредевшая семейка коротала летний долгий вечер.

Через некоторое время Симу стало что-то беспокоить. Она как бы очнулась от спячки, вышла из-под стола. Прислушиваясь, стала разглядывать черно-белый экран. Потом, схватив за шиворот Малыша, подтащила его к закрытой двери. Стала тревожно мяукать. Вначале Сергеич не обратил на это серьёзного внимания. Слишком уж часто теперь Сима перемещала своего дитя с одного места на другое.

Просьба выпустить повторилась. Он нехотя, с трудом встал и толкнул дверь. В это-то время у старенького телевизора и взорвался кинескоп. Хозяин в первый момент подумал, что кто-то разбил оконное стекло. А вскоре уже собирал осколки экрана телевизора. И не только с пола. На диване, с которого только что встал, их оказалась большая часть. Выходит, Сима спасала от неприятностей не только себя и своё чадо, но и своего хозяина.

Глава 12. ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

— А хотите, я вам анекдотец расскажу? Про вас! — обнимая правой рукой лаковую статью гитары, произнёс Очаровательные глазки.

— Валяй, — согласился Сергеич.

— Это вместо таблеток, — успокоил гость. — Веселее будет. Он древний, но забавный.

Однажды решил Лев съесть Кошку. А она опередила. Пригласила его к себе домой в гости. Придя к ней и увидев человека, Лев спросил: «А это кто такой?» «Это человек — мой слуга. Он мне пить приносит, еду...» «Если у неё такой сильный слуга, то какова она?» — удивился Лев. И потихоньку удалился с глаз долой.

...Так что, Сергеич, дорогой, ты ей не хозяин. В слугах у неё ходишь, — нажимал гость.

— Верно, в слугах, — согласился Сергеич. — Но только я ей помощник никудышный. Беду в своём доме допустил. Она вся испереживалась после страшной утраты. Похудела. Ну, дай Бог, отойдёт, может. Я так болею за неё.

Веселости анекдот не добавил, Сергеич размышлял вслух:

— Я вот гляжу теперь на Симу и готов почти согласиться с тобой. Человек может добить природу. Как жить тогда?

— Придется переселяться на другие планеты. Одну загадили... Не нам переселяться, конечно. Мы с тобой не долетим, рассыплемся. Одна космическая пыль от нас останется, — отозвался его приятель.

Однако Сергеич настроен на серьёзный разговор:

— Бегство в Космос? Бред! — внятно проговорил он. — Ни одна планета во Вселенной не заменит человеку Землю. Где ещё есть такая дубрава, как здесь, у нас? Где найдёшь такое озерцо, как наше Дубовое. Там, где-то в космосе будем уже не мы, наши слепки!

Очаровательные глазки не перебивал своего приятеля, слушал.

— «И на Марсе будут яблони цвести», — пели? Ведь так?! Заблуждение! Не будут!. Надо сохранить цветущими сады на Земле. Но как сделать, чтобы молодые все это сейчас поняли, а не когда окажутся в моём возрасте, через пятьдесят лет? Тебе в школу надо всё-таки вернуться. Ты здесь единственный, кто может хоть что-то сделать.

— Моя благоверная, Клавдия все говорит о каре, которая нас всех постигнет. — Сказав так, Очаровательные глазки подошёл к окну. Задумчиво посмотрел во двор. И негромко произнёс: — Я не ведаю, как погибнет мир. Как меня не станет — знаю. Мой инсульт всегда со мной...

Сергеич слегка взмахнул рукой:

— Николай, будет тебе... Поскрипишь ещё...

— Попробуем, — отозвался приятель.

И продолжил свои рассуждения вслух:

— Я где-то читал: «Смерть человека — это как выход из трамвая. Сойдёшь на своей остановке и заметят это только те, кого толкнул, либо кому уступил место...» Торопиться надо в добрых делах.

— Что это у тебя торчит блестящее из кармана, все не спросу? — спросил Сергеич.

— Перехожу, как теперь модно говорить, на оргтехнику. — Он вынул и показал внушительную лупу в полиэтиленовой светлой оправе. — Зачастил в райцентр. Оформляю инвалидность по зрению. Решился. Льготные лекарства буду получать. Один глаз совсем почти вышел из строя, другой на тридцать процентов всего видит...

...Но поживу... Другие-то живут. Такова задачка на текущий момент. Помнишь, как говорилось в одном неплохом советском романе: «Надо было жить и исполнять свои обязанности».

На моём языке это звучит теперь так: «Надо отрабатывать свою пенсию»... Хоть и с гулькин нос она...

Глава 13. ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Сегодня опять возник в доме Сергеича Эдуард. И объявил новость:

— Отец, я перебираюсь за границу, в Чехию. Хотя ты всегда был против.

— Совсем? — не удивившись, спросил Сергеич.

Эдуард стоял лицом к окну, делая вид, что ему гораздо интереснее происходящее во дворе, а не в этой низенькой с потемневшими обоями комнатке.

— У меня договоренность с фирмой на год. Потом видно будет. Хочу остаться.

— Не пропасть бы тебе там, чужая сторона...

— Это тут бояться надо. У нас бедлам. В этой стране долго порядка не будет.

— В этой? — как эхо повторил отец.

— Не будем придирааться к словам. Спорить не хочу. Наговорились с тобой об этом. Нахлебался... Дождаться старости такой, как твоя здесь, не хочу.

— Так, значит?..

— Да, приехал проститься. Квартиру я оставляю знакомому, машину — тоже.

— Что ж, вольному воля, — только и сказал Сергеич.

Они ещё потом говорили. Но не долго.

— Значит, я теперь совсем один, — не удержался Сергеич. Голос его дрогнул.

— Ладно, отец! Ты всегда был независимым. Не прибедняйся. Вон, Сима с тобой. Затаилась в сених, только и ждет, чтобы я слинял.

Заслышав своё имя, Сима ещё больше забеспокоилась. Хвост её застыл внизу у пола.

— Когда уезжаешь?

— Намеренно не говорил, чтоб не волновать. Через два дня самолет из Шереметьева, завтра отчалию в белокаменную.

Эдуард с напускной веселостью подал руку. Сергеич медленно протянул свою. Когда гость выходил из дома в сени, видел, как Сима припала к полу. Голова её опущена, глаза расширились. Издав горловой звук, похожий на вой, она готова была к нападению.

— Чертово отродье, — визгливо выкрикнул розовощекий и поторопился на улицу.

* * *

Ночью Сима спала беспокойно. Слышала, как ворочался в кровати хозяин.

Утром Сергеич не встал с постели. Поднялся только в полдень. Вышел потихоньку во двор. Сосед оказался дома. Сергеич подошёл к забору, тихо позвал... Сима терлась около его ног.

Пока шёл сосед, хозяйина пронзила резкая боль за грудиной. Он побледнел ещё больше, слабеющими руками стал хвататься за узкий штaketник...

* * *

На своей дребезжащей машине сосед увез Сергеича в город. Вернувшись уже совсем вечером, один зашёл, гремя ключами, в сени, положил рядом с ящиком кусок докторской колбасы:

— Теперь недели на две я ваш и кормилец, и поилец, — тихо, не как всегда, сказал он.

Такой его голос ещё больше насторожил Симу.

Глава 14. ТОСКА

Прошла неделя с той поры, как не стало в доме хозяина. Сосед каждый день приносил еду. Но не еда волновала Симу. Она тосковала. Отсутствие хозяина не давало ей покоя.

Сима перестала по утрам умываться, хотя так любила это делать. Перестала охотиться, даже на рыбок. Она теперь не ходила на озеро. Она привыкла, что хозяин с удовольствием помогал ей наводить порядок. Помогал избавляться от выпавших волос. Всегда начинал с поглаживания, пробегал пальцами по её меху, пригласив к себе на колени.

Теперь ничего этого не было.

«Надо ждать», — слышала она, когда забегала к соседу во двор и старалась оказаться у него на пути.

Сосед Дмитрий куда-то всегда торопился. То что-то привозил, то увозил на своей машине. Хозяйка звала его «мой челночек». Сима недоумевала, почему он уезжает утром и вечером возвращается, а Сергеич — нет.

Приходил днем Очаровательные глазки. Но притихший и не веселый как прежде.

— Потерпи, Сима, — говорил он тусклым голосом. — Вот утихомирю болячки, поеду к нему. Вернусь, расскажу.

Потом спохватился:

— А может, тебя взять с собой, а? Возьму, пожалуй, изболелась...

Он ушёл, и опять наступила тоска. Время шло, а ничего не менялось.

Сегодня рано утром у колодца Сима наткнулась на крупную жабу. Она сидела под широким листом мокрого лопуха. Возникший азарт встряхнул было кошку. Она оживилась. Но медлительность и неуклюжесть жабы показались ей подозрительными. И она вспомнила, что в городе была у неё подобная встреча. Тогда Сима вцепилась зубами в шею похожей жабы, обнаружив её неожиданно на газоне. Получив рану, жаба выпустила яд из бугорков, расположенных по обе стороны её толстой шеи. Сима тогда тут же отбросила добычу от себя, настолько мерзко стало во рту.

Жаба плюхнулась на землю и спокойно спряталась в траве. У Симы после таких воспоминаний сейчас не было желания связываться с этой неповоротливой, коварной тварью.

* * *

Кошки не любят резких перемен в жизни.

Сима начала чувствовать неполадки в своём здоровье.

Очень хотелось видеть доброе лицо хозяина.

Одна отрада: оставшийся её единственный котёнок. Хотя ему чуть больше месяца, заботливая мать уже пыталась его кое-чему научить. Он оказался смышлёным. Малыш нравился соседу. И она, похоже, чувствовала, что, если даже на время покинет его, он не пропадёт...

Малыш ел уже самостоятельно. И был на удивление послушным. Ей ни разу не пришлось его наказывать. Он не боялся отлучаться от матери и часто выбегал из сеней во двор.

* * *

Сима понимала, что начинать искать своего хозяина надо с его квартиры в городе. С той, в которую однажды упала. Эту квартиру она хорошо запомнила.

В ней следы, запахи... Они могут помочь.

Надо действовать! Её окружают хорошие люди, но они заняты своими делами.

Она перестала бывать у соседей.

Приехавший их внук любил шумные развлечения. Часто звучала теперь веселая громкая музыка, не так, как в их доме при хозяине. Такая музыка была для неё невыносима.

...Но ноги сами привели её к соседям. Дмитрий возился в сенях.

— Не волнуйся ты, беспокойная душа. Здесь он загнулся бы, не успей мы вовремя добраться до врачей...

Она смотрела на него большими, округлившимися глазами, слухала.

— Там, где сейчас Сергеич, миллион людей. Не дадут пропасть! Город всё-таки! Иди и жди дома, — уже строго произнёс сосед.

Сима слушала его, смотрела ему в лицо...

Она не видела, чтобы он улыбался и прищурился, когда глядел на неё, как это делал хозяин. Его широкие брови, глаза и рот были суровы. Все это не давало успокоиться.

Когда шла обратно, услышала в дубраве дробный стук дятла. Но не помчалась, как раньше, на этот звук. Наблюдать за дятлом ей теперь было не интересно.

Она возвратилась в свои сени. Села у окна и стала смотреть на дорогу. Дорога уходила далеко-далеко туда, где деревья становились маленькими и земля смыкалась с небом.

Там где-то был её хозяин.

Туда его увезла машина.

Эта машина теперь стояла под навесом. Её хозяин был дома, хозяин Симы отсутствовал?

Ей трудно понять, почему это так...

* * *

Не стало в доме хозяина, и на кухню повадилась забегать большая проворная крыса.

Если бы нам и очень хотелось, все равно, о крысах ничего сказать хорошего не смогли бы. Такой уж это зверь.

И вот теперь эта крыса прогрызла с улицы нору и хозяйничала там, где лежало продовольствие.

До этого она успела загрызть у соседей кролика и двух цыплят. Сима терпеть не могла эту тварь с наглыми прищуренными глазами. И крыса избегала встречи с кошкой.

Так получилось, что они не разминулись. Сима была не только ловкой, но и смелой. К тому же защищала дом своего хозяина.

...Она с отвращением, но все же вытащила убитую ею в изнурительной схватке жирную крысу из кухни во двор и оставила в углу около изгороди.

Не могла есть эту мерзость.

Пошатаваясь, обессиленная, пошла к колодцу, где стояло корыто с водой. Её мучила жажда. Саднило в правой, крепко оцарапанной ноге, чуть выше колена.

Утром, едва рожок смуглого пастуха в выцветшей за лето шляпе заиграл в конце улицы, собирая, как обычно, буренок в стадо, умер Очаровательные глазки.

Сима почувствовала его смерть раньше всех. Ещё родня его спала, жена поднялась выгонять корову, а он лежал на верандочке в односпальной кровати с панцирной сеткой и спокойно смотрел неживыми глазами в дощатый, с большими трещинами потолок (сколько раз собирался перестелить доски, не успел). Настиг всё-таки Николая Фадеича инсульт.

Сима сначала металась в сених, не в силах успокоиться. Потом выскочила во двор и побежала к дому умершего...

Глава 15. УСПЕТЬ!

Прошло ещё три дня. Наконец-то рана у неё на ноге затянулась. Сима вышла из дома на рассвете.

...В первый день, пока Сима бежала проселком, ей удалось, почти не задерживаясь, поймать двух кузнечиков.

С жадностью, не позволив себе поиграть с ними, она съела их.

На другой день повезло больше. Около маленького стожка сена она поймала мышь. В сене попискивали её сородичи. Стожок, очевидно, был облюбован полевками для зимовки. Можно было пожить ещё. Но ей было не до того. Она пошла быстрее. Усы её были напряжены и растопырены во все стороны.

...Стоял уже конец августа, и лес заметно стал другим. Смолкли в листве птичьи голоса. Летние певцы теперь сбивались на опушках в стаи. Им предстояло лететь в дальние края.

Два следующих дня она ничего не ела.

Иногда порхали разноцветные бабочки над её головой, но она не радовалась им, как раньше, во дворе Сергеича.

В глазах её была тоска. И в то же время — решимость. Ей надо было торопиться!

Она не приближалась к людям, чтобы с их помощью подкрепиться. Надеялась только на себя. Но голод брал своё...

В пригороде, перед окнами приземистого бревенчатого дома в кустах сирени чирикали воробьи. Их оказалось много!

Сима стремглав метнулась от сложенного из железнодорожных шпал сооружения к опрокинутому ведру под кустом и затаилась. Она вся задрожала от предвкушения так необходимой ей сейчас удачи.

Сима выбрала своей целью добродушного воробья, сидевшего на самой нижней ветке. Напряженно ждала, когда лист сирени повернется так, чтобы их взгляды не встретились. Только в такие моменты она нападала на жертву.

Вдруг за спиной Симы раздался громкий лай. Лохматый и противный дворняга, лежавший до этого с закрытыми глазами у крыльца дома, опомнился. Подскочив к Симе, он зарычал. Застигнутая врасплох, она, не видя путей к отступлению, отпрыгнув от ведра, изогнула спину и зарычала, сделавшись необычно устрашающей. Пес опешил и отпрянул к крыльцу. Сима воспользовалась его замешательством и юркнула в пролом низенького зеленого заборчика.

Она не сильно испугалась нечесаной дворняги. И не упала духом. Домов с палисадниками было много. Значит есть, где поохотиться. И верно, у крайнего от железной дороги дома ей повезло.

Там, под акацией, тоже была туча воробьев. И не было дворняг. Шумливая птичья ватажка вскоре уменьшилась на одного своего нерасторопного собрата.

Но дождь воробьи всё-таки «нашумели».

Сима переждала ливень в завалившейся набок пустой темной мазанке и вновь продолжила свой путь.

И в сумраке, когда человеческий глаз теряется, она шла. Кошки лучше, чем люди, видят в темноте...

...У железнодорожной платформы с ней случилась беда.

Она оказалась между двумя грохочущими встречными составами. Сима никогда не видела поезда. Эти два длинных чудовища были похожи для неё на огромных отвратительных гусениц, пахнувших железом и чем-то ещё более отталкивающим и непривычным... Заметавшись между ними с горящими круглыми глазами, она порезала битым бутылочным стеклом левую переднюю лапу.

Долго заниматься собой, зализывать рану она не стала. Поковыляла на трех лапах в город. Кровь сочиться перестала, но Сима не решалась наступать раненой лапой. Держала её навесу.

У неё были свои ориентиры. Они ей указывали путь. Множество запахов, от которых она уже начала отвыкать, окружали её теперь.

Одни — помогали, другие — мешали.

К городу она подошла в начале второй недели своего пути. Позади была дорога длиной почти в тридцать километров. Сима сильно похудела и постарела.

Её, бывшая раньше великолепной, рыжая шерстка висела по бокам грязными клоچьями. На спине, куда она не могла достать лапами, вцепились в свалывшуюся шерсть жесткие репы. Взгляд её стал блуждающим.

* * *

Получалось так, что ей предстояло преодолеть автомобильный мост через реку.

Этот мост она никогда не видела. Когда ехала в машине в деревню, могла бы обратить внимание. Но Сергеич заботливо укладывал её в корзину на заднем сиденьи, вот и проглядела.

Направляясь по берегу вдоль воды к мосту, сообразила, что в реке могут быть рыбки.

Река оказалась странной: столько много воды, а рыбок нет. Не так, как в деревне.

Напрасно она вглядывалась, семена по мокрому песку. Добыча не просматривалась. Впереди, метрах в трех от себя, она заметила маленького лягушонка. Тут же, ступив в сторону от воды на сухой песок, притаилась, решив, что наконец-то ей повезло...

Но в следующий момент сильная боль обожгла левую пораненную ногу.

— Попал! — беспечно воскликнул кто-то.

Сима повернула голову. Мимо шли мальчишки с удочками.

— Ну и балда, что попал, — отозвался длинный в белой майке.

— Да ладно. Она бродячая, — сказал тот, который был в куртке и намного ниже ростом. — Болтается без дела.

Глядя на него, Сима издала звуки, похожие на рычание.

— Видишь, какая злюка! — как-то даже с радостью сказал мальчишка в курточке.

Рыбачки прошли мимо. Сима поплелась своей дорогой к мосту. В тени железобетонной сваи ей попались два дождевых червя. Она с жадностью их проглотила.

На мосту было много машин. Сбоку оказалась дорожка, по которой спешили люди. Их было мало. Все они торопились, поэтому не обращали на неё внимания.

В самом конце моста две женщины красили ограждение. Одна из них, круглолицая, увидела Симу и стала искать что-то в кармане куртки, но кошка шмыгнула у них между ног и быстренько, как могла, удалилась. Не верилось Симе в случайную доброту. Слишком дорого это может стоить.

* * *

После моста, на перекрестке, она чуть было не попала под колеса автомобиля.

Все решили секунды. Она удачно проскочила меж колес. Симе явно не хватало опыта городской жизни. Откуда ей было знать людские правила, да и не воспринимала она красный цвет. Различала только зеленый и голубой.

Уже начинало смеркаться. В городе зажглись фонари. И в этом сонме огней светились теперь особым светом глаза Симы. Они излучали необычный свет. Кажется, очень важный для неё. Будто в городском шуме глаза её, свет её глаз дополнительно к её кошачьему слуху и нюху помогали отбирать необходимые ей звуки и запахи.

Эти светящиеся и ночью, и днем живые источники света служили ей отменно.

Симе необходимы были звуки, присущие её прежнему, городскому дому. Они связаны были с её хозяином.

Теперь, когда она по мосту пересекла реку, ей стало ясно, что хозяин дома. Эта уверенность не давала ей задерживаться на городских мусорках, благодаря которым она могла бы утолить голод.

Долгий путь Симе непривычен, поэтому она сильно устала. От волнений и от того, что не умывалась, у неё завелись блохи. Они беспокоили её.

* * *

Она едва держалась на ногах, когда подошла к знакомому дому. Он был все такой же!

Но дверь оказалась другой, новой. И она выглядела неприступной. Сима обнюхала её. Кругом было железо. Щели маленькие. Надо спешить! А как? У неё сильно забилось сердце.

Вспомнилась труба на крыше, через которую она попала впервые в квартиру Сергеича.

Люди отгородились друг от друга железом. Что теперь делать?.. Дверь неожиданно открылась. Сима ринулась в проем. Но крепкая нога отбросила её в сторону. Выходивший грузный человек недоумевал:

— Вот ведь развелось кошар!

Её здесь не все знали. Она оказалась чужой. Грузный и громкий человек ушёл. Сима залегла за урной для мусора, стала выжидать.

...Наконец дверь открылась. Вышли он и она. Молодые. Трогая друг друга, они приостановились. Сима ползком шмыгнула в

дверь. Едва оказалась по другую сторону порога, забыв о боли, обо всем, молнией метнулась на шестой этаж.

Она увидела знакомую дверь! Старую, не прочную. Выкрашенную светлой краской.

Сима стала неистово царапать дверь и мяукать. Сергеич услышал её царапание и голос, но из-за слабости встать не мог. Он терял сознание.

...Соседке надоели кошачьи вопли, и она вышла на площадку.

Сима устала на неё свои светящиеся желто-зеленые глаза. Обе какое-то мгновение молчали.

— Ты чего балуешь? — начала было зло полная женщина, но широко раскрытые зрачки кошки заставили её замолчать.

В кошачьих глазах был страх и безмерная мольба. Схватившись за грудь, соседка выдохнула свою догадку:

— А, батюшки, неужто помер?..

Бросила своё рыхлое тело назад в квартиру. Вернулась на площадку с незнакомым Симе мужчиной, высоким и худым.

Трясущимися руками пыталась открыть дверь, приговаривая:

— Хорошо, что сын-то его, уезжая, оставил мне ключи эти. А я не передала их Сергеичу, не успела... И в больницу не успела. Скоро так выписали... Приступ стенокардии, мыслимо ль торопиться?..

Кому она говорила эти слова? Угрюмому худому мужчине или Симе? Непонятно. И зачем говорила?

Когда открыли дверь, хозяин лежал без движений. Боль приутихла. Одолевала резкая слабость. Он не в силах был подняться. Его влажные руки и лицо поражали белизною.

Он понял, что умирает и смирился.

Сима прыгнула к нему в кровать.

Скосив глаза, не двигаясь, Сергеич, не удивившись, сказал с усилием:

— А, Сима! — глаза его потеплели. — Извини, я тебя не бросил. Так получилось...

Сима придвинулась совсем близко. Её язычок нежно прикоснулся к его пальцам, потом последовало потирание головой о плечо больного. Поглаживая лапкой бледную кисть левой его руки, Сима уже знала, что её хозяин будет жить...

— Там на полу таблетки, упали, — тихо сказал он. — Не смог...

— Что же это мы? — спохватилась женщина.

Наклонилась и подняла из кучки рассыпавшихся мелких таблеток две, положила ему в рот.

Он слабо улыбнулся непослушными губами.

— Знаю, Сима, ты благодарная, но чтобы вот так?!

Сильное мурлыканье подействовало на соседку:

— Эх, ты!

Она протиснулась на кухню к телефону и стала набирать номер «скорой помощи».

— Вот ведь как бывает! — говорила она, ожидая голос в трубке. — Она его нашла. И как вовремя!

Сима, поджав под себя лапы и обернув вокруг тела хвост, сидела, излучая счастье и покой.

Хмурый и молчаливый знакомый соседки пошёл на улицу встречать врача «скорой».

— Ты, Сима, от пыли стала серой. Вот поправлюсь, искупаю тебя, — молвил хозяин. — Как тогда, в первый раз. И Малыша твоего одного не бросим.

— Воды третий день горячей нет, а он — «искупаю», — подала голос соседка.

— А мы для чего? Не нагреем, что ли? — тихо сказал Сергеич. И, взглянув искоса в окно, молча ещё раз улыбнулся.

На улице, оказывается, был светлый, солнечный день.

Жизнь продолжалась...

*г. Самара,
2006 г.*

Планета Любви

Английский язык в седьмом классе преподавал нам Пётр Петрович Саушкин. Вообще-то он был учителем немецкого языка, который постиг, как мог, на фронте. Пригодилось. Кроме Петра Петровича учителей иностранного языка в школе не было.

Говорили, что английский выучил он после ранения, когда лежал в госпитале. Ещё говорили, что служил Саушкин в разведке и имел контузию. То, что учитель контужен, видно было сразу. У Петра Петровича постоянно тряслись руки.

Часы с цепочкой он носил то в кармане пиджака, то в кармане светлой рубашки. И доставая их нетвердой рукой, всегда рисковал уронить. Все бы ничего, но он временами забывал, на каком языке говорит.

Так случилось и в этот раз. Учитель заговорил по-немецки, который половина из нас раньше учили. Но был-то урок английского.

Первым не выдержал Колька Ракитин.

— Во, дядь Петя шпихает! — громко, нисколько не стесняясь, удивился он. — А на каком языке говорить нам?

Учитель, не закончив фразу, перешел на русский:

— Ракитин, не мешай остальным, если тебе не интересно.

— Не... Не интересно! — звонко согласился Ракитин. — Зачем нам немецкий? Гитлер капут!

И тут учитель, не вполне оценив характер Кольки, как мог строго сказал, мотнув не совсем послушной рукой:

— Тогда марш из класса! Чтоб я тебя через минуту не видел! Фигляр!

Лучше бы учитель не говорил последнего слова «фигляр». Да ещё так презрительно.

Кольку оно задело, и очень. Он завелся. Сначала дернулся, но тут же, овладев собой, вежливо так поинтересовался:

— Какой футляр?

Раздался смех. Кажется, учитель не расслышал, что сказал Колька. Но требовательности в голосе прибавил:

— Немедленно, вон из класса!

— Ага, сей момент. Ван минитс, так сказать. Только засеку времечко!

Сказав так, Колька, поднявшись за партой, стал изображать, как Пётр Петрович достаёт часы. Медленно, подергивая кистью, занес он правую руку так, как это зачем-то делал учитель, над головой, как бы приветствуя кого-то. Потом также медленно и судорожно опустив её к подбородку, выровнял движение горизонтально и, быстро двинув вперед, согнул кисть и тотчас два пальца упали в оттопыренный карман рубашки. Оттуда пальцы его вернулись быстро и, расправившись перед самым носом их хозяина, явили воображаемые часы.

В классе неуверенно захихикали, озираясь то на Кольку, то на учителя.

— А где футляр? — невинным голосом спросил Ракитин, озираясь.

Артистичен Колька, но уж больно беспощаден. Пётр Петрович, побледнев, бросился к ученику. А тот, будто ожидая того, легко перескочил на другой ряд парт.

— Выйди, я сказал! — визгливо пронеслось уже на заднем ряду.

Кольке не хотелось выходить. Но куда деваться. Он уже прыгал по пустым партам вдоль стены к раскрытому окну около учительского стола.

— Догоню, по стенке размажу! — неслось ему вслед.

Последняя фраза учителя явно была преувеличением физических его возможностей. Однако преследуемый решил избежать лобового столкновения.

— Пока! — приложив ладошку к виску, спокойно произнёс Колька и выпрыгнул в палисадник, в густую кленовую поросль. Над этой порослью возвышался высокий старый клен, приютивший не весть откуда взявшихся чинных скворцов. Видно, они отдохали на начавшемся своём перелете. Птицы дружно взлетели. Колька, с шумом приземлившись, исчез из нашего поля зрения. Он вел себя, как вольная птица.

Как ни странно, учитель английского, подойдя к столу, довольно спокойно продолжил урок. Большинство же из нас сидело опустив головы. Переживали за Петра Петровича. Но и за Кольку тоже!

В тот день случился ещё один «выгон», как мы называли укorenившуюся манеру учителей выпроваживать из класса провинившихся.

Учебный наш день заканчивался уроком географии. Ох, уж эта география!

Когда учительница географии Елизавета Кирилловна входила в класс, мне казалось, что являлась сама скука. Учительница была почти всегда в светло-коричневом строгом костюме. В белой блузке с большим отложным воротничком. Глаза и волосы у неё — темные. Лицо бледное, малоподвижное. Даже не бледное лицо, а белое, без оттенков. И всё непременно строгое: прическа, голос, взгляд.

И такая фамилия: Бескровная!..

Я начинал, кажется, догадываться, почему она такая: «Она, наверное, в чем-то несчастна, ей где-то в чем-то очень важном для человека не повезло». Но мы не знали, в чем. Учительница была приезжая. Жила на квартире.

«Она отработывает положенный ей срок, никак не дожидается своего дня. А отработает — и исчезнет. Что ей такой здесь делать? Ещё молодая, а у нас инвалиды кругом да старики, — думал я, — мы ей в тягость, надоели, как горькая редька. И местные учителя почти все держат коров, овец. У них натруженные руки и усталые лица. Они ей со своей жизнью неинтересны. Мы для неё как папуасы».

Может, она нам казалась скучной от того ещё, что было с кем её сравнивать.

То ли дело учитель географии в восьмом классе Борис Григорьевич Курганов! Он давно — живая легенда в школе. Кто с ним сравнится! Мы звали его Курганом.

Он как слон, добродушный и гораподобный, заслоняет всех, кто рядом. Выходит из учительской и все преображается в коридоре. Пока он как обычно идет до нужного ему класса, успевает кого-то остановить и потрепать за чуб, кому-то погрозить пальцем.

А знаменитая его привычка: брать двумя пальцами за ухо! Это называлось «за ушко да на солнышко». При этом он обязательно приговаривал что-то вроде:

— Что же ты, голубчик, ногти не постриг? Я тебе второй раз замечание делаю. Кумекаешь?

Он делал весьма строгое лицо и пыхтел при этом. Казалось, вот-вот рассердится так, что мало не покажется, пыль пойдет! Курган!

— Неадерталец ты эдакий! — грозил он пальцем. — Вот заведу в учительскую и ногтищи вместе с пальцами твоими отчикаю ножницами. Заодно и уши поубавлю.

А порой он ловил ухо провинившегося бедолаги всеми пятью пальцами, горстью, в которой могла запросто поместиться голова любого самого крутолобого нашего отличника. Не забывал он в такие моменты слегка покручивать ухо туда-сюда, для остротки.

Были у него и свои любимчики, которым он крутил ухо чаще остальных. Мог дать и легкий щелбан, совсем не обидный, наоборот как свидетельство особого своего расположения. Те, кто попадал под внимание Кургана, даже как бы гордились таким расположением учителя географии. У многих ребят в школе отцы не вернулись с войны. Не хватало мальчишкам мужского общения, потому и отзывчивы были на внимание взрослых. Теперь-то я много лет спустя понимаю это.

Ребята из восьмого класса рассказывали нам, что учитель географии не требовал никогда на уроке тишины. Громко сам кашлял, сморкался в большущий платок. Шуму больше было от него. Тишина устанавливалась как бы сама по себе, когда ей это надо было.

Когда же это случалось с задержкой, он мог искренне удивиться. Сказать что-нибудь такое:

— Что-то вы сегодня расшумелись у меня! Как индейцы у костра! А ты вот, вождь краснокожих, — он направлял свой огромный полусогнутый указательный палец на кого-нибудь из особо резвых, — угомонись, пятки обжечь можешь... Зря я тебе на прошлом уроке пятерку с плюсом поставил, под настроение попал...

Все замолкали, ждали, что учитель скажет дальше.

Нет, уроки географии в восьмом классе намного интереснее, чем у нас в седьмом.

...Первым в тот день отвечать урок Елизавета Кирилловна подняла Женьку Карпушкина. Женька урок явно не выучил. Он пробовал что-то связать из того, что тускло мерцало в его памяти по поводу географии. Но ему это не удавалось. Все то малое, что слышал на уроке, куда-то провалилось у него, словно через крупное решето. В классе воцарилась тягучая тишина.

И тут учительница задала наводящий вопрос:

— Что влияет на развитие географической оболочки? Я вам рассказывала про Вернадского. Кто он такой? Чем занимался, особенно в войну?

Ничего себе, вопросики!

Женька молчал. Потом как бы пожаловался или попробовал удивиться:

— О Вернадском? Вы давно говорили. Это. Он был... ..Он про насекомых организмы всякие...

— Насекомые организмы? — повторила Елизавета Кирилловна. — Это как в огороде бузина, а в Киеве — дядька.

Карпушкин, пожившись, замолчал.

— Верзила какой, — вполне искренне удивилась географичка, — а двух слов связать не может! Не стыдно?!

Может, Карпушкину и было стыдно, но все равно он явно не помнил, кто такой Вернадский, да и причем он здесь?

И тут поспешил на выручку друга отчаянный голубятник, хитроватый Витька Говорухин, по-уличному — Ширя:

— Елизавета Кирилловна! — он выпрямил высоко над головой свою длинную, как складная штaketина, руку.

— Тебе чего? — спросило подозрительно учительница.

Витька встал:

— Мне это, надо очень...

Раздался сдавленный смешок: «Приспичило».

— Не туда, куда думаете, дураки, — отреагировал, ни на кого не глядя, Ширя. И взглянув просительно прямо в лицо Елизавете Кирилловне, продолжил:

— Мне корову надо подоить. Мамка в поселок уехала. Катька с битоном ждет.

Снова раздался смешок.

Кто-то с задней парты поинтересовался дурашливо:

— Чью корову-то?

— Выдумываешь, чтобы выручить дружка своего — это раз, — строго произнесла учительница. Мельком взглянув на Карпушкина, которому наверняка уже подсказали ответ, как бы мимоходом, что было обиднее всего, наставила нерадивого:

— А ты, если думалка есть, думай!

И уже Говорухину:

— А во-вторых, не битон, а бидон! Ясно?

Витька, неуклюже сложившись, нехотя сел, пробубнив:

— Меня Пётр Петрович отпускал, а вы... бидон... И про Вернадского в учебнике нет?

Похоже, ему действительно надо было идти в стадо на дойку. Я видел, как утром его мать тетка Дарья куда-то мимо наших ворот шла, явно торопясь.

Вспомнив про Карпушкина, учительница спросила, усмехнувшись:

— Отвечать будешь?

Тот молчал.

Во мне смутно росло несогласие с происходящим. Я смотрел на учительницу, на то, как она командует, и становилось не по себе. Словно кто толкнул меня. Тихо, не зная, для чего, будто самому себе, негромко, но внятно я безотчетно произнёс:

— И чего она прицепилась? Женька — партизан ещё тот! Не выдаст своих. Тем более Вернадского. Чем он занимался?!

Я не был готов к тому, что последовало потом. В классе раздался громкий, дружный хохот.

— Ватагин, встань! Вернадский — великий ученый, а ты паясничаеть!

Все ясно, веры в мою серьёзность у неё не было никакой. Ни капли! И откуда взяться этой вере, если на предыдущем уроке, рассказывая у доски об открытиях европейцами Памира, Китая и, намереваясь произнести имя великого итальянского путешественника Марко Поло, я ни с того ни с сего ляпнул: «Хрущев». И остолбенел, не понимая самого себя. С чего бы это? Зачем здесь эта фамилия? Её на радио хватает.

Хохот в классе был посильнее сегодняшнего. Но материал я знал и получил в тот раз четверку. Сейчас под грозную команду учительницы я встал.

— Что ты себе позволяешь? Шутовство на уроке?! Все вы...

Я пожимал плечами и, наверное, выглядел ещё глупее Карпушкина.

— А ты сядь! — бросила она в сторону Женьки.

— Что ты вытворяешь? — прозвучал вновь вопрос.

Ответа на него я не знал, поэтому молчал крепче Карпушкина.

— Ставлю тебе единицу! — воскликнула она. И, кажется, обрадовалась своим словам: впервые с начала урока на её лице появилась улыбка. Но неприятная такая.

— За что? — автоматически вырвалось из меня.

Последовал не ответ, а изумленно, кажется, искренне исторгнутый ею вопрос:

— И ты не понимаешь, за что?

— Нет, — произнёс я.

— Выйди из класса, тогда поймешь!

Когда я уже подходил к двери, Колька встал из-за парты:

— А ты куда? — последовал окрик учительницы.

— Я тоже уйду, — веско произнёс Ракитин, — не привыкать...

Кажется, учительница растерялась. Последовала пауза. Колька уверенно пошёл к выходу. Но когда поднялся Говорухин, она встрепенулась:

— Ты?

— Я тоже уйду.

— Всем сидеть! — опомнившись,скомандовала Елизавета Кирилловна. — Всем оставаться за партами.

Она, кажется, чего-то испугалась. Её слова прогрохотали, как пустой Женькин «битон» по школьному крыльцу. Когда мы с Колькой оказались на улице, он спокойно предложил:

— Давай бросим школу. Долбили эти...

Я опешил:

— Мне нельзя.

— Почему?

— Если из школы уйду, то из драмкружка выгонят.

— Сдался он тебе! — удивился Колька. — Кружок!

Я промолчал.

Участие в постановках, те роли, которые мне доверяли играть, было для меня самое важное в школе. Все говорили, что у меня талант. И я начал с замиранием сердца верить в это. Я не знал, как об этом сказать. Да и надо ли говорить ему о моем самом главном. Я тайно мечтал стать настоящим артистом. Непременно! Первым из нашего села!

Колька жил на нашей улице, в самом Золотом конце, поэтому шли мы вместе довольно долго.

— Не надоело такую махину носить! — спросил я, указывая на холщевый мешочек с большой фаянсовой чернильницей-непроливашкой, болтающийся, как колотушка, на бечевке у ручки портфеля.

— Другое дело, вот, — я указал на свою: из прозрачного стекла, изящную, раза в два меньше его.

— Санька Курочкин, бобыня этот, во вторую учится. Может, со своими меня подловить. У них подпуски на Самарке за коровьими ямами украли. Я знаю, кто спёр: Ванька Тумба, а они думают, я.

— Ну и сказал бы! Достанется за других.

— Ты чё! Я не доносчик! Сами разберутся.

Он вынул свою непроливашку, зажал в правой руке:

— Вот попробуй, подойди! Не хуже свинцовой бляхи. Так свистнуть можно!

Все выглядело вполне убедительно. И слова его, и жест. Я видел такие непроливашки в деле. Ими можно было отбиваться от любого недруга.

А Колька дрался всегда стойко. В нем, казалось, отсутствовало чувство страха напрочь. И часто был крепко бит, поскольку силенок в нем было не ахти сколько. И откуда им взяться в таком тощем теле. Хотя он и был почти на два года старше всех в классе, ростом не выделялся. Но в драке его не останавливала ни собственная кровь, ни количество противников. Он имел характер бойцовского петуха. Кто видел петушине бои, тот знает, что это такое. Дрался, пока стоял на ногах. Лежачих у нас не били.

Если уж упомянуты чернильницы, надо сказать и про перья, которыми мы писали. Перья у нас тогда тоже были двух видов. Мы называли их «мышками» и «лягушками». Они были съёмные, легко вставлялись в деревянные ручки с особыми металлическими наконечниками. «Мышки» были сухонькие, с твердым утолщением на кончике. Они писали без нажима, ровно, почти как теperшие шариковые ручки.

Другое дело «лягушки» — мягкие, они имели такой раздвоенный тонкий кончик, который при легком нажиме расходился, позволяя писать буквы и линии разной толщины. Получалось красиво. Мальчишки любили писать «мышками», с них реже капали чернила на бумагу и не так марали её, а баловались мы «лягушками». Если к «лягушке» приспособить оперенье из тонкой бумаги, то при броске этот снаряд летел далеко и надежно вписывался в цель.

Колька и в этом деле был не из последних.

На следующем уроке Елизавета Кирилловна подняла первым меня.

— Что вы знаете, Ватагин, о странах Восточной Африки, в частности, об Эфиопии? Поделитесь! — Её «вы» ничего хорошего не обещало.

Я читал в учебнике про Эфиопию, но все, что теперь делает учительница, мне казалось неправильным, не таким, каким должно быть. Меня это тормозило.

Почему она сразу начала сегодня с меня? В галоп, после того, как выгнала из класса. Эта её усмешка при слове «поделитесь»! И страна-то: Эфиопия!

— Я не буду отвечать.

Сказав так, я прямо посмотрел перед собой. Взгляды наши встретились. В её темных раскосых глазах вспыхнул огонек, как мне показалось, какой-то радостный даже. Пока открывала журнал и искала мою фамилию, она скороговоркой произнесла, кажется, два раза или три:

— Вот и ладненько, вот и ладненько! Ставлю единицу. Вторую, Ватагин! Заметь, несмотря на то, что все говорят мне, что ты способный.

Дневник она у меня не потребовала. Очевидно, догадалась, что я не дам его. Из принципа. Хотя дома его у меня никто никогда не проверял.

По классу прошелестел шепоток. Она быстро его погасила, подняв для ответа нашу круглую отличницу Нинку Милютину.

И поплыл над головами четкий, уверенный голосок:

— Эфиопия находится в Восточной Африке, в основном на Эфиопском нагорье. Столица — город Аддис-Абеба.

«Сдалась нам эта Аддис-Абеба, — уныло думал я, — Эфиопия находится в Африке, а где теперь нахожусь я? С этими двумя моими единицами?»

Я не знал, что будет дальше, но уже понял: отвечать я и в следующий раз не буду.

После урока Колька одобрил мое решение.

...Вскоре в журнале против моей фамилии стояли уже три единицы.

Выждав, когда я оказался один, подошла Нинка Милютинина.

— Володь, тетя Нюра хотела зайти забрать белую рубашку и не зашла. А концерт-то послезавтра.

— Помню, — буркнул я, — ты не переживай, что тебе пятерку за Эфиопию поставили, а мне — единицу. Ты не при чём.

— Я не переживаю! С чего ты взял! Я о рубашке!

О рубашке мне совсем уж не хотелось говорить. Я стеснялся. У меня никогда не было белой рубашки, как не было их и у многих в школе. Но я был артист. Мне она периодически требовалась для сцены, и моя мама брала напрокат.

На этот раз она договорилась взять у Милютинных. У Нинки был старший брат. Можно было бы попросить и не у них. Почему она так сделала, чтобы обязательно была замешана Нинка?

Нинка предложила:

— Пойдем вместе, возьмешь. Её ещё постирать надо, погладить. Я совсем сконфузился от таких подробностей.

— Нет, — заторопился я, — раз мать сказала, что пойдет, то так и будет.

— Володь, я ещё про географию, — начала Нинка.

— А что про географию? — уже от калитки школьного двора спросил я.

И сам же ответил на манер своего отца, ядрено так:

— Чему бывать, того не миновать!

И заспешил к Кольке, который семафорил, дожидаясь меня по ту сторону ограды.

Когда всем в классе стало ясно, что меня «заклинило», я не сдамся, отличница Милютина предложила идти всем вместе к завучу школы. Я наотрез отказался, они решили идти без меня. Но сложилось по-другому.

Перед очередным уроком географии меня пригласила к себе завуч Анна Трофимовна. Об этом мне сообщила все та же Нинка:

— Ты иди, пока там Борис Григорьевич, — глаза у неё округлились, — не заваривай новую кашу. Зачем тебе?.. Ты такой...

«Опять эта Нинка, — дрогнуло во мне. — Зачем она суется везде?..»

Отец Нинки, суровый, немногословный Пётр Никифорович, был у нас председателем колхоза. Начальник, и ещё какой. К нему отец иногда ходил просить лошадь, чтобы подвезти сено, дрова. Мало ли чего в хозяйстве надо. Как правило, моему отцу, вернувшемуся с фронта инвалидом 2-й группы, председатель никогда не отказывал.

Но он был отцом Нинки. Самолюбие мое было уязвлено этой явной зависимостью моего отца. Будто была какая-то ранка на моем теле, и Нинка всегда могла в неё ткнуть своим длинным пальчиком, чтобы сделать мне больно.

Меня это тяготило.

Хотелось быть независимым и самостоятельным. А она командует...

Когда я подошел к учительской комнате, дверь была приоткрыта. Я услышал сердитый голос Бориса Григорьевича — учителя географии:

— ...а из таких, как Колька Ракитин, вообще на фронте Матросовыми становятся, а мы их глушим... Затюкать любого можно...

Дальше я не слышал, дверь быстренько прикрыли.

Услышанное меня повергло в некоторое размышление, которое было прервано в учительской:

— Владимир, ты понимаешь, что делаешь? — спросила строго Анна Трофимовна, когда я подошел и остановился около стола с телефоном. Завуч стояла, положив руку на телефонную трубку. Это выглядело несколько неестественно.

«Если я отвечу, что не понимаю, она будет куда-нибудь звонить, — подумалось мне, и я невольно усмехнулся своей нелепой мысли, — в милицию, пожарку? Или моим отцу с матерью, которые телефонную трубку-то ни разу в руках не держали. А сейчас

ушли, наверное, за овцами на калду. Собирались стричь во второй половине дня, когда я приду из школы.

Я молчал.

Завуч продолжила:

— Здесь молчишь, как гогона*, а в классе пытаешься срывать уроки географии!

— Как? — невольно вырвалось у меня.

— Со второго урока в этой четверти увел всех ребят из класса на стадион?

— Увел? — не выдержала Елизавета Кирилловна.

— Но нам же сказали, что вы больны. Мы просидели пятнадцать минут, не дождалась. Я предложил — все согласилось. Пошли гонять мяч.

— У тебя каждый раз какие-то отговорки. Это носит системный характер. Ты хочешь быть всех умнее? Какой пример ты подаешь остальным? — голос у завуча начал звенеть. Она убрала руку с телефона. Села за стол.

— Анна Трофимовна, мы же... — не выдержал Борис Григорьевич.

Я встретился взглядом с Петром Петровичем, стоявшим у окна, и, показалось, что он мне одобрительно подмигнул. Так ли это было? Или просто у него обычный его нервный тик? Но мне стало легче. Я почувствовал себя увереннее.

— ...вот именно, мы договорились, — завуч укоризненно, как на школьника, посмотрела на Бориса Григорьевича. — Вернее, договоримся.

Теперь она глядела на меня в упор:

— Ты отвечаешь на уроке Елизавете Кирилловне. Не менее трех раз. Иначе будет двойка за четверть. Понял? — проговорила Анна Трофимовна. — Родителей твоих в школу не затащишь арканом. Думай, голова, сам!

— Руку поднимать я не буду. Не могу. Спросят, ответу, — заявил я.

— Почему не будешь? — географичка подошла к окну и встала рядом с учителем английского языка. — Ну и упрямец!

Пётр Петрович начал что-то ей шептать, едва не касаясь очками её неестественно белого лба.

— Хорошо, пусть будет так! Но исправляйся, Ватагин! — согласилась с моими условиями завуч и напомнила, взглянув на нас обоих: меня и Бориса Григорьевича:

— У нас школа, а не запорожская вольница.

* Гогона — здесь: болван.

«Как плохо, что среди учителей всего два мужика», — думал я, выходя из учительской.

Поднимать руку в классе я действительно не мог. Я воспитывал как раз в то время таким образом свою волю. Дал себе ещё в шестом классе зарок: отвечать только тогда, когда спросят. Так я, молча, ещё противостоял нашим отличникам. Мне не нравилось, как они тянули руки. Нинка к ним не относилась. Она была особенная. О моей этой затее знала только она. Я ей сказал, чтобы труднее было нарушить этот свой зарок. Нинка была как заслон. Теперь мне показалось, что она проговорила. Что шептал на ухо географичке Пётр Петрович? Это вопрос! И почему именно Нинку послали за мной?..

* * *

Вскоре рядом с тремя единицами по географии в журнале против моей фамилии красовались три пятерки.

— Видишь, — наставительно говорила мне Нинка на репетиции в драмкружке, где она всегда была на вторых ролях и несколько, кажется, не тужила на этот счет, — видишь? Если не своеловничать, можешь стать отличником.

А я не видел такой моей перспективы.

Ходить в школу расхотелось. Стало невероятно скучно. То, что получил три пятерки по географии мне не казалось победой. Я бредил сценой, и эта история с единицами, а потом пятерками, казалась мне глупым спектаклем, на котором меня, заставив прилюдно, на публике снять штаны, высекли. При Нинке, которая так ничего, кажется, и не поняла. Или притворяется?

Мы перестали с Колькой ходить на уроки, Последние события в школе нас сблизили.

Там, за Мижавовыми, по ходу в школу, стояла заброшенная деревянная банька. В ней мы прятали сумки и, не дойдя до школы, брали вправо, в переулочек, а там до речки — уже самая малость. Не каждый день, а так, через раз, мы оказывались на речке. Дома думали, что мы уходим в школу, в школе мы говорили, что заняты с родителями по хозяйству. Такая причина: помощь родителям, считалась временно вполне уважительной, особенно для учителей, имеющих своё хозяйство.

Вскоре у нас появились и удочки на речке. Их мы домой не носили, прятали в зарослях шиповника. Кто туда сунется?

Рыбак из Кольки оказался никудышный. Я впервые видел, чтобы на рыбалке сидели и читали. И кто? Колька Ракитин! Он

носил с собой потрепанную книжку, точнее, толстенное такое пособие по астрономии.

— Откуда она у тебя? — удивился я.

— Помнишь, жил учитель на квартире у бабки Ваньковой? Она теперь одна. Сыновья куда-то разъехались. Когда учитель уезжал, оставил на память. Мы с мамкой ходили к ним. У бабки на огороде себе картошку сажали. Ты знаешь, отчего бывает солнечное затмение? — сходу огорошил он вопросом.

— Нет, — произнёс я.

— А затмение Луны?

Я мотнул отрицательно головой.

— Ну вот, — протянул Колька, — а ещё почти как Нинка — отличник.

— Да иди ты! — отмахнулся я.

— Иди ты, — произнёс Колька с ударением на «ты». — Расскажу. Учись, пока я жив.

И он начал рисовать прутиком на мокром речном песке Солнце и Землю. С этого дня я стал познавать азы астрономии. Колька был неистощим. Он знал такое множество вещей про небо и звезды, что у меня кружилась голова.

— А телескоп, знаешь, как устроен! — восклицал он.

— Нет, — отвечал я.

— Посмотри схему, тут есть.

Я откладывал в сторону удочку и принимал в руки драгоценную Колькину книжку.

— Телескоп, — говорил тем временем мой ученый приятель, — можно сделать из линз, а можно из вогнутых зеркал. Вогнутое зеркало сделать легче. И телескоп будет сильнее. Вот если бы у нас был учитель по астрономии, можно бы попробовать. Кружок бы организовали! А не эти уроки труда: табуретки мастерить.

— Да ты что? Самим сделать телескоп?

— Самим! — уверенно подтвердил Колька. — Поляк Ян Гевелий был пивоваром, а англичанин Гершель — музыкантом. А такие телескопы соорудили! Гершель потом открыл планету Уран, представляешь? И это в восемнадцатом веке! Благодаря телескопам!

У меня многое не укладывалось в голове. Он приводил имена, названия звезд, чертил схемы на мокром песке. И все легко, свободно, будто это привычное дело.

— А Кеплер! — вдруг спохватывался он. — Бедняк был совсем, а открыл законы движения планет вокруг Солнца. Их никто ещё не проверг, законы эти. Прошло почти 400 лет. Понял?

Если бы даже приятель и не признался, что хочет быть астрономом, все равно это было ясно. Но он сказал мне об этом.

И я почувствовал под его напором собственную слабость. Желая стать артистом, я никому не говорил об этом. Таился. А он вот так, безоглядно: «Буду!» — и всё!

Что ни говори, на реке здорово. И главное: мы одни! Можно рассуждать, не оглядываясь! Тут нет прицельных беспощадных взглядов Елизаветы Кирилловны, нет упреков, пускай и справедливых. Тут некому тебя жиласть*, кроме комаров и слепней. Тут много чего нет...

Но есть огромное широкое небо.

Что бы Колька ни делал, на реке он не отвлекался от своего главного. Насаживал червяка на крючок, спохватившись, удивлялся вслух:

— Знаешь, Венера в полтора раза ближе к Солнцу, чем к Земле. Значит, там тепло! А если тепло, то есть и жизнь. Эта жизнь должна быть похожа на земную. В романах пишут, что из земноводных там развиваются разумные существа: ящеролюди. А дальше что? Из ящеролюдей могли давно уже получиться сверхумные существа, которые обогнали во всем нас. Мы не одни, понимаешь?

...В другой раз, лежа на песке и обратив лицо в небо, Колька рассуждал:

— Утром и вечером Венера всех ярче на небе. Мне кажется, что Земля и Венера раздумывают, как сблизить свои орбиты. Когда-нибудь Венера приблизится настолько, чтобы на Земле потеплело. И тогда кругом в самых зимних широтах зацветут сады.

— Как же это она приблизится? — возражал я.

— А так! — Колька смотрел на меня пристально, как географичка. — Все, что вокруг нас, кем-то создано. И продолжает совершенствоваться, улучшаться. Не враг же все получается.

Для меня сказанного было чересчур. Я подумал, что он шутит, и попробовал перевести все на доступный мне, понятный уровень:

— Чудак! Льды на полюсах растают и нас затопит.

— Не затопит. Потепление будет медленным, испарившаяся влага частью уйдет на Венеру, чтобы оросить пустыни, частью в космическое пространство. Об этом позаботятся венерианцы. Но зато представляешь: кругом на Земле зацветут сады. Не будут вымерзать! Сейчас только у Жабина и Сафронкина сады. У остальных, у кого были — вымерзли. А тогда у всех будет виноград и

* Жиласть — здесь: кусать.

все такое, разное. Все, что только может расти, — будет! В Сибири столько места. Продуктов будет сколько надо! Войны будут не нужны. Представляешь? Сколько народу сохранится. У нас половина мужиков погибла, остальные — калеки. А тогда...

Я был поражен размахом Колькиной мысли и не возражал, бесполезно. На все мои сомнения он находил уверенный ответ. Это немного настораживало.

— Тогда уж не Венере, а Солнцу надо приблизиться. Или нам к нему, — попробовал я порассуждать.

— Чудак, Солнце — не планета, не твердое тело. Оно — сток раскаленного газоподобного вещества. Может испепелить. А на Венере разумные существа. Это совсем другое дело. Венера — планета Любви. Земле необходимы тепло и красота. Чтоб кругом цвели сады и пели птицы. Ты понимаешь, тогда какие люди будут!

— Какие? — спросил я.

— Какие-какие? — рассердился отчего-то Ракитин. И не найдя точного определения, ответил: — Не такие, как Елизавета Кирилловна.

— Коль, — шагая по песчаной дорожке к реке, решил признаться я, — непонятно мне, как это наша Вселенная не имеет границ. И галактики разбегаются одни от другой?

— Как! — восклицал приятель, — вот возьми воздушный шарик, нанеси на нем химическим карандашом точки и начни надувать!

— Где тут у нас взять воздушный шарик-то? Не продают. Только на майские праздники...

— Вовк, ну ты даешь! Мысленно возьми и надувай! Что получится?

Я не готов был ответить. Отвечал Колька:

— Точки на шарике — это галактики! Надуваешь шарик: галактики разбегаются, понял? Расстояние между точками будет становиться все больше и больше. Вот и все!

— Коль, — ещё раз решил я уточнить. — Шарик когда-нибудь лопнет. Тогда что?

Ракитин смотрел на меня, как на идиота, и молчал со значением. А я, как бы оправдываясь, пытаюсь показать, что я не такой уж и безнадежный, вновь спросил:

— А почему так? Кто надувает? Нет — раздувает кто воздушный шарик, ну Вселенную, то есть?

— Сам пока не понял, — сознался Колька. — Так устроено все! Не я придумал. Вот для этого учительница по астрономии и нужна.

* * *

О запуске первого спутника Земли из-за пропуска занятий в школе мы узнали только вечером дома. На другой день, когда мы с Колькой шли в школу, он тормошил меня:

— Вот теперь, Володька, началось настоящее!

— Что настоящее-то? — допытывался я.

— Как что? — удивлялся моему непониманию приятель. — Теперь всю развернется такое... Будем осваивать космос! Нельзя остаться в стороне

После его слов и я поверил, что в школе теперь творится небывалое. В стране вон какие дела!

Когда мы вошли в школьный коридор, уборщица тетя Даша покрикивала на тех, кто, подбежав к алюминиевому бачку напиться, проливал в спешке воду на потемневший от сырости пол:

— Матусите* без конца, в глазах ажник рябит...

К ней давно все привыкли, как к почерневшему бачку с водой, и не боялись.

Борис Григорьевич в своём неизменном темно-синем добротном костюме, как ледакол, легко рассекая разноцветный ребячий поток, шёл по коридору. И улыбался. Шедшие навстречу ему ученики, тоже невольно улыбались. Некоторые из них не забывали при этом, приближаясь к учителю, прикрывать на всякий случай ухо ладошкой. Помнили его цепкие пальцы.

Никто не говорил о немедленном освоении космоса.

Вчера с утра объявили о запуске спутника. Вчера все и радовались. А сегодня в школе не было ничего «такого». Все шло своим ходом.

* * *

Уже и берега нашей речки украсились желто-янтарным румянцем осинового и березового колоса. И пролетных птиц не стало, а лето далеко не уходило. Было тепло и уютно.

Я потерял интерес к удочкам. Быть на реке и не рыбачить! Такое со мной случилось впервые.

Частенько и подолгу, запрокинув голову, глядел я в небо, такое же, как и летом, с причудливыми перьями облаков, разбросанных кем-то сверху над серебристой рекой. Глядел в хрустальную синеву, неведомо как и кем созданную. Я смотрел в бесконечность, которую стал чувствовать и к которой начинал привыкать.

* Матусить — суетиться, мотаться.

Октябрь баловал нас. Он как бы дарил нам то, что мы, ребяташки, недополучили летом, связанные по рукам и ногам постоянной нехваткой времени из-за необходимости помогать родителям по хозяйству.

...Покров день прошел, уже не видно грибников в лесу. Прозрачный, щемяще нежный день держит нас в плену. И сегодня мы одни на берегу. И вновь никто нам не помеха. Как не хочется думать, что надо возвращаться туда, где со всех сторон очерченное особыми искусственными правилами поведения, пространство, где как бы постоянно моросит надоедливый нудный осенний мелкий дождь, и размеренный бесстрастный звонок из раза в раз загоняет всех, в том числе и учителей в маленький, словно вырубленный в теле большого увлекательного мира, узкий колодец. Этот колодец — школьный класс, где всякая щель — пищит. В нем натыкаешься с особой холодностью, назидательностью, которые рано или поздно толкнут тебя чаще всего на спонтанное сопротивление, которому сам удивишься. И сам не будешь знать ему ни меры, ни толкового объяснения. Будешь выглядеть строптивцем, а то и просто хулиганом...

* * *

Саманная избенка Ракитиных в самом конце улицы. А улица упирается в луговое раздолье. С ильменьком, наполненным, как водится, всякой живностью — и плавающей, и летающей.

Мне не было особой нужды ходить на дальний конец улицы. Наш дом посередине её, а школа — почти рядом. Но там, где заканчивалась улица и распахивалась широкая желто-зеленая луговина, над головой было особое, звездоносное небо! Одно для всех. И для нас двоих с Колькой.

Возможно, эта луговина и ильменек уберегли нас от громкого скандала, связанного с нашими отлучками на речку. Мы чаще стали приходиться после школы сюда, в этот неограниченный, неподконтрольный никому, необъятный класс, являющий собой часть таинственного, бесконечного мира, название которому: Вселенная...

В октябре здесь затишье, а летом уже от Колькиной калитка, по его словам, было слышно, как в изумрудной зелени и в бездонной сини творят свой торжественный гимн солнечному дню всякие певчие птицы: от соловья и жаворонка до овсянки. Овсянку я никогда не видел. Колька пообещал мне её показать.

А пока вечерами он рассказывал мне о звездах, которым древние люди давно уже всем дали названия. Какое множество этих

названий и созвездий! Они теснились в моей голове, не давая успокоиться. Созвездия Большой и Малой Медведицы, Волопас, Гончих Псов, Медузы, Персея, Орла, Лебеда и Лиры... Я никогда раньше не слышал о таких звездах: Ригель, Сириус, Вега, Альтаир! А Колька говорил о них, не заглядывая в книжку.

* * *

Сколько бы мы ещё пропускали школьные занятия, неизвестно. Случилось непредвиденное. В очередной раз возвращаясь из отлучки на речку, мы по заведенному порядку, захватив свои сумки, пробрались к общему реденькому потоку ребят и со всеми вместе пошли степенно по домам. И тут из магазина впереди нас вышел мой отец. Он пошёл перед нами, метрах в десяти-пятнадцати.

Все бы ничего, но, обернувшись, я увидел на таком же примерно расстоянии шедшего сзади нас нашего учителя русского языка и литературы. Он двигался в том же направлении, что и мы. Учитель жил на нашей улице.

Сегодня у нас по расписанию была литература. Мы с Колькой вмиг поняли, что учитель вполне может спросить, где мы были? Почему отсутствовали на его уроке?

Я стал попридерживать шаг, стараясь приотставать, чтобы расстояние от нас до моего отца становилось больше, и тогда в случае, если идущий за спиной учитель заговорит с нами, родитель не услышит. Не узнает из разговора, что мы не были в школе.

Колька сразу понял мой маневр и жался теперь ко мне. Таким образом, сближаясь с учителем, мы сами как бы провоцировали его обращение к нам. И в то же время боялись, что разговор будет услышан, так как по непонятной причине отец мой стал идти медленнее, а наш учитель механически маршрутировал с одной скоростью.

У нашего учителя Льва Николаевича было слабое зрение, он постоянно носил очки. Брало сомнение: может, он и так бы нас не заметил? Без нашего маневра? А тут мы сами, сближаясь, напрашиваемся на вопрос. Мы на какой-то момент зависли над бездонной ямой. И вот-вот могли туда бултыхнуться со всего маху вверх тормашками.

Учитель нас заметил. С недоумением глядя на нас и на наши сумки с книжками, спросил:

— А вы, бурсаки*, откуда? Вас не было в школе. Извольте объяснить.

* Бурсаки — здесь: семинаристы.

Я растерялся. Мне показалось, что отец услышал его вопрос. Тут же представил, как он сейчас обернется и спросит то же самое. Что говорить?

У моих родителей отношение к школьной учебе детей было, как к работе. Необходимой и первостепенной. Работы и забот дома по хозяйству всегда нескончаемо много, но если я сидел за учебниками в избе или мне надо было идти в школу либо в библиотеку — этому всегда отдавалось предпочтение. Была дана обезоруживающая самостоятельность. В школу они ни по какому поводу не ходили. Оказав мне и учителям безусловное доверие, они тем самым возложили и ответственность!

Я это всегда чувствовал. Чувствовал и тогда, когда, удрав с уроков, сидел не за партой, а с Колькой на речке. Я понимал, что переступил очень важную грань в отношении с родителями. И веду себя недостойно. Но и в школу идти не хотелось. В школе, как теперь мне казалось, кроме Бориса Григорьевича, Нинки и нескольких ребят, все стали неинтересны. На всех набросили общее большущее ярмо, хомут: одни нехотя подчиняются, другие — учителя — как хотят и могут, так и погоняют — и эта бедная колымага — школа — тарахтит, кособочит тех, кто находится в ней, трясется на кочках. Душу может вытрясти!

— Я тебя спрашиваю, Ватагин? — Лев Николаевич шёл уже так близко от меня, что, обернувшись, я видел родинку на его длинной гусиной шее.

Колька не растерялся:

— Мы, Лев Николаевич, вон с его отцом работали, помогали...

— Да... — неопределенно произнёс учитель литературы. И интеллигентно поправив очки, продолжил свой путь. Мне всегда казалось, что несмотря на свои имя и отчество, он был очень похож на Чехова.

Учитель прибавил шагу, видно, чтобы заговорить с моим родителем. Но отец свернул в Ваньков проулок, а мы так и шли прямо. Я шагал как бы по инерции. То, что пережил, когда, как мелкий воришка, чуть было не попался за руку, меня лишило сил. Я всегда знал, что отец меня пальцем не тронет, какая бы провинность ни была. От этого было ещё тягостнее.

«Это все Колька», — путаясь, мысленно старался я оправдать себя, хоть в какой-то мере снять с себя непосильную тяжесть. Это его азарт, его заразительность — причина всему. И тут же недоумевал: «Но мне с ним интересно! Во всем! Его астрономия! Он может стать ученым. А с Нинкой интересно? — почему-то возник во-

прос. — Интересно, — согласился мысленно я. — Но она девчонка! И это её стремление к пятеркам! Круглая отличница, и что с того? Кроме уроков, ничего не знает. Слова роли, когда репетируем, декламирует, как стихи. Как швейная машинка, строчит, и только. Во всем ровная и правильная. Где только этому научилась?»

* * *

Что же делать: ходить или не ходить в школу? Если не ходить, все равно попадешься, рано или поздно.

Через два дня после встречи на улице со Львом Николаевичем, Колька сказал мне, что больше не будет учиться в школе:

— Матери становится все хуже. Говорит, если загнется, мне с двумя сестренками ещё тяжелее будет. Пропадем. Она уже переговорила с кем надо. Меня берут в поселке учеником в автомастерскую.

— А астрономия? — вырвалось у меня.

— А когда дождешься, что её будут изучать в школе? Кто сюда к нам приедет?

И проговорился о своём заветном:

— Я скорее, глядишь, сам телескоп сделаю!

— Где? — опешил я, — в слесарке? Там одни железки!

— Где железки, там все! — последовал вполне уверенный ответ. — Я же тебе рассказывал: Ян Гевелий! Варил пиво и в то же время соорудил сорокаметровый телескоп!

Что я мог сказать? Мне и верилось, и не верилось в Колькин оптимизм.

* * *

...И я решил уйти из школы. Но как сказать об этом родителям? Внутри меня сидел главный довод: сменился художественный руководитель в клубе. Драматический кружок, который он вел, перестал существовать.

«Буду учиться в каком-нибудь училище в городе, начну заниматься где-нибудь в драмкружке, при заводе или где. А там, может, как-то дальше... А в школе? Тупик», — так выстраивал я свои планы на будущее.

Но сказать такое родителям я не мог. Большинство наших сельских ребят после школы поступали в мореходку, в летные училище. А я задумал — в артисты? У меня долго стояло в ушах брошенное Петром Петровичем на уроке английского в адрес артистического Кольки: «Фигляр!»

И хотя там было нечто иное, я понимал это. Но... Я не решался говорить с родителями о своём заветном. Искал другую причину для них. И не находил.

Я несколько дней готовился к разговору с родителями. В школу ходил исправно. Наконец вечером, когда все были за столом, решился, как отец говорил, все разрубить одним махом. Отец разговоров долгих не любил. Едва только возникал намек на подобное, он морщился. Ему всегда было не до каляканья, как он выражался. Ему хватало обычно нескольких слов, а порой одного скупого взмаха руки, чтобы все встало на место.

— Не хочешь учиться? — строго спросил он.

То, что он не удивился услышанному, меня задело. И молчание матери, её глубокий вздох при моих словах — тоже были неожиданны. Мне показалось, что они уже все знали. Я ожидал услышать резкие слова, а отец медленно бесцветным голосом произнёс:

— Не хочешь учиться. Живи неучем.

Сказал так и замолчал.

Я сделал попытку вывести разговор на какие-то конкретные решения:

— Мне надо куда-то, где... В ФЗУ можно...

— Володя, учебный год уже идет. Зима впереди. Куда сейчас? — тихо и осторожно начала мать.

— У тебя с учебкой не ладится или с учителями? — жестко спросил отец, — шарабара в голове

Я не знал, что такое «шарабара». Но мне стало не по себе. Я смешался, не зная, как ответить. Я хотел учиться, но как-то иначе... Не так...

— Вон Нинка-то, она ко всем подлаживается, хотя и отец начальник, везде хорошая. А ты? Больна характер шершавый, — начала мать. — И Колька тебя баламутит. Держись за землю: трава обманет.

Лицо отца сделалось кислым.

— Вольному — воля. Пускай, мать, сам принимает окончательное решение. Пошли загонять скотину. На дворе темень.

Мать повиновалась. Они не спеша, в тягостной тишине оделись и вышли из избы.

Больше в тот вечер мы не разговаривали.

Утром я молча поел хлеба с молоком и пошёл в школу.

...Теперь мы с Колькой виделись редко. Он рано уезжал вахтовым автобусом, поздно возвращался. Встретившись с ним вечером на улице, я удивился тому, как он изменился. Говорить он стал

мало. Если спросишь, отвечал. И то как бы нехотя. А не спросишь: шёл молча. И начал курить.

— Коль, — не удержавшись, спросил я его, — интересно в мастерских?

— Ага, — сказал он и замолчал.

— Ну, а чем ты сейчас занимаешься? — донимал я.

Он ответил сухо:

— Аккумуляторы заряжаю и ещё разной дребеденью...

Мне расхотелось больше спрашивать его. У меня на кончике языка висел вопрос про телескоп. Но я промолчал, увидев скучные глаза Кольки.

Мне показалось: он знает, что меня больше всего интересует. И боится этого вопроса.

* * *

За неделю до Нового года внезапно для всех умер наш учитель английского языка Пётр Петрович Саушкин. Выходил из школы и около крыльца упал: остановилось сердце. Для нас это было какой-то нелепицей. Всю войну прошел, а тут...

Приехали из города военные: солдаты и два офицера. Один — полковник. Оказывается, учитель был военным разведчиком, и о нем писали даже в книге. А мы привыкли, что он не совсем нормальный: то трясется весь, то не в тот класс зайдет, куда надо... Мы не думали, что разведчики могут быть такими. Два боевых ордена и несколько медалей теперь лежали на красных подушечках около гроба. Сейчас они видны были всем.

Ещё накануне дни были бесприютно печальными. Когда я шёл в школу, студёный ветер перехватывал дыхание. А на похоронах свершилось чудо: ясное солнце в декабре и пушистый снег, падающий на обнаженные головы. Белый снег. Белые снеги, как простуженным голосом сказал учитель литературы Лев Николаевич. Белые снеги все преобразили. Произошло светлое волшебство, которое нельзя было не замечать, но которому в скорбный день не хватало сил радоваться.

Я стоял у гроба, когда подошел Колька. Встав рядом, он взволнованно прошептал:

— Выходит, когда он ушёл добровольцем на фронт, ему было всего на два года больше, чем мне!

...Прогревели залпы салюта. Я обернулся, отыскивая взглядом отошедшего Кольку. И увидел Бориса Григорьевича. По щекам у него текли слезы. Он не скрывал их. Как маленький, сильно

оттопырив нижнюю розовую припухшую губу, возвышаясь над всеми, недоумевал вслух:

— Петюша, ну, Петюша... Рано ты демобилизовался-то! Поторопился чего-то... — Он замолчал, казалось, собираясь сказать что-то самое главное, а произнёс, скривив в бессилии губы, самое обычное: — Солнышко вон светит как!..

* * *

В конце февраля наш класс взбудоражила весть. В поселке обокрали магазин. Взяли так, кое-что по мелочи. Но — кража!

Кольку забрали на глазах его бывших одноклассников два должовязых милиционера, прямо на остановке автобуса, около школы. Взяли его одного. Говорили, что в кармане спецовки у него на работе обнаружили часть украденных в магазине дорогих конфет.

Колька отрицал свою причастность к краже. И никого не назвал из злоумышленников. Мы-то в классе знали, что, если бы они и были известны ему, он вряд ли кого бы назвал. Таков характер!

...Канитель затеялась долгая. Николая Ракитина увезли в город. Был суд.

Наконец он вернулся. Говорили, что, учитывая его возраст и то, что, кроме матери, он единственный в семье кормилец, ему дали условный срок. Я не решался напрямую спросить его об этом. Все откладывал. Отпустили, и хорошо.

Теперь Колька изменился ещё сильнее. У него и походка стала другой. Шагал он теперь не спеша, резвость пропала. И взгляд! Холодный и чужой.

Нас, одноклассников, сторонился. А я при встрече терялся. Я шёл прямым ходом, казалось, к своей цели: учился, драматический кружок снова стал работать. У меня все складывалось, а у Кольки нет. Я чувствовал себя в чем-то виноватым перед ним.

Кольку стало не видно и не слышно.

Гром грянул неожиданно, в мае.

Едва растеплилось, на Рабочей улице во дворе Макеевых начали собираться на танцы. У самой калитки Макеевых в углу палисадника всюду цвела сирень. А над низким редким заборчиком со стороны ворчливой тетки Макаρχихи, возвышалась высокая, статная черемуха.

В тот вечер подул ветерок, и черемуховые лепестки запуржили в воздухе. Пока веселый народ собирался, майская вьюга прекратилась, и вполне приличных размером танцевальный круг покрылся черемуховой порошей.

К Макеевым мы приходили из любопытства. Не танцевали, а так, крутились возле. И Колька иногда появлялся. Была тому причина. Я видел, как он каждый раз выискивал глазами Таньку Кузьмичёву. Если она была, он не уходил. Толкался рядом с ней.

Густой запах черемухи и сирени будоражил, а радостный молодой голос из проигрывателя добавлял ещё ландышевого восторга:

— Ландыши, ландыши,
Светлого мая привет...

Кружилась голова. Около десятиклассницы Таньки всегда вращались, как вокруг звезды, свои планеты и спутники. Среди них были и одноклассники, и взрослые уже парни. Всех она освещала своим молодым светом. Она была самой яркой на здешнем небосводе. Как Вега — звезда Северного полушария.

Но вот с Колькой у них что-то не ладилось. Когда он, прорвавшись к ней, приглашал её на танец, она не отказывала. Но лицо её менялось. Танька становилась скованной. Не смеялась. А Колька выглядел странно, каким-то казался ручным...

...У ворот Макеевского двора в тот раз Кольке попался Валька Востриков, и Ракитин отобрал у него пугач — примитивную штуку со сплюсненной с одного конца медной трубкой и ударником из гвоздя с резинкой. В такую трубку обычно набивали серу от спичек. Никаких пуль, гвоздей, чугунок туда не закладывали. При ударе гвоздя с тупым концом под воздействием тугой резинки возникал приличный хлопок.

Колька, так, от нечего делать, крутил этот пугач в руках. Ба-луясь, Танька выскочила за край шевелящегося, как муравейник, веселого круга танцующих. И, погнавшись за кем-то, наткнулась на Кольку. В руках у него была эта глупая самоделка. Пугач выстрелил.

Зажав ладонями лицо, Танька закричала. Круг танцующих замер. Таньку подвели к воротам, с лампочкой на макушке столба и проигрывателем внизу. Лицо её было опалено пламенем. Лоб потемнел от копоти, а округлые щеки стали конопатыми от темных, вылетевших с огнем крошек. Таньку увели сначала в Макееву избу, потом домой.

После некоторого затишья танцы возобновились. Колька со двора исчез.

* * *

У Ракитиных над калиткой, на осевших в разные стороны столбах, лежала потемневшая от времени и ненастья прогнувшаяся, толщиной всего-то в руку, твердая, как кость, перекладина.

Накинув на неё брючный ремень, Колька в тот же вечер повесился. Трудно сказать, чего больше не захотел бесстрашный мой друг: снова вернуться в тюрьму или увидеть изуродованное лицо Таньки.

Утром Кольку обнаружил, собирая коров в стадо, пастух Васька Супонь.

Вместе с теткой Анной, матерью Колки, под птичью щебетню, напирющую с просыпающегося Ильменька, они его и вытащили из петли.

«Чуть-чуть одной ногой Коляй-то чиркал по земле. Мог и не свершиться этот факт. Вот свершился... А могла и жердинка-то, глоба* эта... того, не выдержать, тогда б... Во второй раз не каждый решится», — повторял Василий почти слово в слово, когда к нему подходили на похоронах мужики. И каждый раз одинаково горестно махал уцелевшей на фронте левой рукой.

* * *

Танька вышла из больницы такая же розовощекая, как и раньше. Без единого пятнышка на лице. Глаза её, кажется, смотрели ещё лучистей и зорче.

* * *

Прошло больше двух месяцев. Уже Колькина душа вознеслась, куда ей положено, а тетка Анна начала по утрам выходить на облитый лунным светом свой пустынный, заросший муравой и по краям у изгороди беленой двор и тихо разговаривать. На неё, как говорили наши, находило. Прислонившись к воротному столбу, словно потеряв разум, совсем почерневшая, она уговаривала горячего своего сына:

— Коленька, зря ты не приходишь. Где ты сейчас? Объявись... Был бы жив отец-то, конечно, он бы не одобрил. Я калитку не закрываю. И избяную дверь тоже, даже ноченькой... Приходи...

Пастух ещё издали теперь старался определить: вышла тетка Анна во двор сегодня или нет. Если вышла, он торопился, свернув вбок, прогнать стадо Бондаревым переулком.

* Глоба — тонкая жердь, перекладина.

А тетка Анна не видела никого в такие минуты. Едва шевеля иссохшими губами, шептала:

— Только торкнись. Я сразу встану. Девчата уж больно скучают по тебе. Ни разу ни одну не обидел. Конфеты ещё эти, большие... носил. Зачем? Уж лучше бы построже с сестренками-то. Теперь бы им легче было. А то плачут каждый день. Зовут... А ты что же? Никогда раньше таким не был... Молчишь...

Повернув от калитки вглубь двора ставшее совсем старушечьим лицо, спохватывалась:

— Дорожки я подмела. Не упади только, смотри, в сенях-то. Там порог провалился. Подсобить некому. Ну, ты сам поправишь... Ты умеешь... И это... не бойся перекладины-то, у калитки которая. Забуди о ней. Я оторвала её. И на гать* отнесла. Зачем она у нас была? Не нужная никому...

И начинала ходить кругами по двору, задевая подолом запылённые головки разросшейся белены, то молча, то бормоча своё.

— Вот ведь, — сокрушалась она не в первый уже раз, — это я не доглядела, я все...

Серого цвета, выдавшая виды, ночная сорочка на ней, преображенная лунным светом, мерцала жутковато. А туземный бубен луны, замерев, казалось, вот-вот обрушит на землю сверху вниз, вовлеченный в древний танец звезд, лавину оглушающих непривычных звуков.

Двор Ракитиных пугал теперь. В глубине его потемневшая, как и хозяйка, саманная избенка, ощерившись, глядела облитыми луной подслеповатыми тремя своими оконцами перед собой так смиренно и юродиво, что становилось невмочь.

А утренняя звезда Венера, на которую так любил глядеть Колька, сверкала своим великолепием. Словно через вуаль, как и подобает прекрасной даме, спокойно взирала сверху вниз. Как и раньше. И двигалась, не меняя своего пути...

* * *

В десятом классе во второй четверти у нас появилась учительница по астрономии. Пухленькая и розовощекая блондинка Ольга Васильевна приехала из города. Мы гадали: надолго ли она у нас задержится? Но её бодрый вид, непринужденная улыбка отвлекали от этой мысли. Она была всего лет на пять-шесть старше нас и не старалась выглядеть солидной и строгой. Забавно прикрывая

* Гать — свалка.

ладошками лицо, смеялась первой, когда кто-нибудь говорил нелепость. И все следом смеялись.

Учительница с первого же урока завладела классом. Её нельзя было не слушать.

— Удивительно, какие разные все звезды! — произнесла она, тряхнув золотистой прической. И мы молча разделяли это её удивление.

— Они, как и люди: рождаются, живут, стареют и умирают...

Все в классе, затаив дыхание, слушали.

— У каждой своя судьба, — продолжала Ольга Васильевна, — и эта судьба каждый раз особая! Какого бы скопления звезд, великого их множества не было...

Она говорила, а я думал о Кольке. Колька — всего лишь маленькая частичка той галактики, которую зовут человечеством. Всего лишь точка. Но ведь и наша необъятная Вселенная началась миллиарды лет тоже из одной точки, у которой не было ни пространства, ни времени. А теперь у неё нет ни конца, ни края...

«Не дается ли при рождении шанс каждому из нас стать началом такой вселенной?» — эти слова Ольги Васильевны прозвучали пронзительно. Она будто знала, что я думал о Кольке, обо всех нас.

«Колька был таким, — думал я, — из которого могло получиться что-то огромное, и мы все бы удивились. Не только наша школа и село... Страна!»

Я не заметил, как начал хлопать носом. Сидящая впереди Нинка удивленно обернулась:

— Ты что? Простудился?

Я поспешно закивал утвердительно головой.

— Тогда иди домой. Я тебя отпускаю. А то всех перезаразишь, и у самого осложнения могут быть, — она говорила так и смотрела на меня глазами моей мамы.

Когда она так глядела, я терялся.

* * *

Теперь, если Ольга Васильевна спрашивала, возникал лес рук. Мы всем классом влюбились в неё.

Вскоре, забыв о своей установке, и я поднял руку. Краем глаза я видел, как Нинка улыбнулась при виде явного краха моей силы воли. А мне было уже все равно, что она обо мне думает.

Учительница спросила меня. Я знал материал, но, отвечая, разволновался.

«Кольку бы сюда, — подумалось мне. — Он бы так ответил, все бы рты разинули...»

Раскрыв широко завораживающие светло-синие глаза, учительница слушала мой ответ. Класс удивленно молчал.

— Достаточно, Ватагин, — остановила меня Ольга Васильевна, — урок ты знаешь. Знаешь даже больше того, что дано в учебнике. Поразительно! Но следы, пожалуйста, за речью. Нельзя скакать с одного на другое. Нужна последовательность.

Её золотистые брови шевельнулись, она произнесла почти шепотом:

— И такое волнение?! Ставлю четверку. Но уверена: в следующий раз будет пятерка!

Следующего раза не получилось.

Золотистая Венера, как мы успели её назвать, неожиданно заболела и уехала. Говорили, что на время. Получилось, навсегда.

...Мы ожидали, что таким же маневром воспользуется и Елизавета Кирилловна: заболит, уедет лечиться и не вернется. Но случилось другое. Она стала нашим классным руководителем. Оказывается, она долго хлопотала, и теперь сестренки Кольки Ракитина, Надю и Любу, отданных в детский дом после смерти тетки Анны, она забрала жить к себе. Все перебрались в учительский дом, который около школы. В нём им дали аж две комнаты.

Ошибались мы, думая, что географичка — временный в нашей школе человек.

Уроков астрономии у нас так больше и не было.

* * *

На выпускном вечере Нина призналась мне, что я лучше всех. И очень дорог ей.

Что мне было делать? Я не готов был к такому. Я продолжал бредить театром и собирался, чего бы это мне ни стоило добиться своего. Честно сказал ей об этом.

...Она окончила институт, стала учителем математики. Вышла замуж. Замужество оказалось неудачным. Развелась. Во втором браке у неё родилась дочь. Живет с семьей где-то на Урале.

Татьяна Кузьмичева работает в поселке бухгалтером. Нарожала пятерых ребятишек. Столько же теперь у неё и внуков. Татьяна — крупная теперь, видная. Русская красавица. Несмотря на возраст, веселости в ней, кажется, не убавилось.

Колька не стал астрономом, а я — артистом.

После армии мне удалось поступить в школу-студию при областном драматическом театре. Начал играть на сцене.

В январские метельные дни, добираясь пешком в село домой, я сбился с дороги и чуть не замерз. Мне повезло, случайно обнаружили. Сильно простудился. Провалился в постели. Более-менее обошлось, но ноги... отморозил пальцы. На правой ноге отняли ступню целиком.

Вначале хорохорился, сцену не бросал. Все ждал своей главной роли. А тут однажды словно очнулся: понял, где я должен быть. Окончил педагогический институт и давно уже преподаю в своей школе астрономию.

Моя семья — это мои ученики в классе. Такой получилась моя орбита.

* * *

После того как наши космические станции побывали на Венере, многое прояснилось. На планете Венера, которая нам казалась раньше обителью Любви и Красоты, стоит испепеляющая жара. Атмосфера её пропитана кислотами и серой. Жизни на Венере совсем нет: об этом теперь знает любой ученик старших классов. И потепление, о котором говорил Колька, для нашей Земли может быть гибельным.

Сказка закончилась.

Но я не тороплюсь думать, что Колька ошибался по поводу планеты Любви и Красоты.

Должна быть такая планета!

По поводу Венеры целыми столетиями ученые заблуждались, не один Колька. Не только Кольке Ракитину, всему человечеству, живущему на голубой планете Земля, всегда не хватало Любви и Красоты.

Почему это так?

*г. Самара,
2008 г.*

Свирель запела на мосту

«Зачем тебе это?»

Совсем недавно я узнал, что у нас в Самаре живёт женщина, которой скоро будет девяносто и которая с первого дня своей трудовой жизни и до выхода на пенсию проработала в самарской энергетике. Захотелось мне, относительно недавно осевшему на постоянное место жительства в Самаре, побольше узнать о нашем городе от трудового человека. Шутка ли — столько лет прожить с городом одной жизнью.

Мне говорили: зачем тебе это? Она технарь... К тому же наверняка типичный «совок». В наше-то время. Что интересного?..

* * *

Я не был готов к встрече с такой судьбой.

Выходил из уютной двухкомнатной квартирки Ольги Михайловны на улице Ново-Садовой, чувствуя себя выплывающим из глубокой толщи событий, придавивших меня.

Ольга Михайловна, как оказалось, в детстве жила некоторое время в блокадном Ленинграде.

На улице, глядя на прохожих, приглушённый, недоумевал: может же быть такое спокойное течение жизни? Такая уверенность людей в этом спокойствии? Когда совсем рядом живёт человек, который так остро испытал хрупкость, незащищённость жизни на земле. Живёт и радуется жизни! Мы же, хмурые, серые, озабоченно снуём по улицами, несём в себе свои обиды, сплетни, страстишки — лелеем их в себе...

— Родственникам некогда слушать меня, — говорила она, — столько уже известно о блокаде Ленинграда. Так много жуткого. Надо ли?

— Хорошо, — соглашался я, — поговорим только о Самаре. Она задумалась.

— О Самаре?! Так это всё равно что о всей моей жизни рассказывать...

* * *

В другой раз спокойно, без видимой обиды, говорила о своём шестидесятилетнем зяте, заявившем ей: «Вы всего-то, Ольга Михайловна, восемь месяцев были в блокадном Ленинграде. А у вас и медали, и пенсия такая... А я двадцать пять лет прорубил, чтоб получить свою военную пенсию. И не где-нибудь в Москве или в Самаре, а в гарнизонах...»

— Это говорит подполковник, а что от молодёжи ждать?..

* * *

...Так я, познакомившись с Ольгой Михайловной, прикоснулся к непростой судьбе человека. И не одного, а целого поколения. Стремительно тающего. Как снег, исчезающего на наших глазах...

...Мы встречались с Ольгой Михайловной Крапивиной около месяца. Незабываемыми для меня были эти дни!

Возвращался домой, а в ушах звучал с забавной картавинкой её голос: «...Говорите, что вы себя числите теперь не писателем, а как это: переживателем чужой жизни? Мудрёно. Неужто так? Своё ещё надо прожить-пережить! А вы: чужое?»

* * *

Чтобы расположить её к разговору, дал ей почитать свои тоненькие книжки. В следующую нашу встречу, разливая по чашкам зелёный чай, рассуждала:

— ...Мне стихи ваши понравились. Больше, чем проза. Повести читать мне уже тяжело теперь. А стихи — самое то, вот из той книжки, которая вроде бы, как говорите, для подростков. Вы лукавите. Они и для таких, как я. Которые явно не из подросткового возраста. В них живая природа! И тепло! Может, я ещё не выросла, не повзрослела до сих пор?.. Не переживала такое? Вам повезло. У меня такого детства не было, как у вас. Другое было... Суть не в том, что городское...

И тут же без перехода:

— А была ли юность у меня?... Блокада Ленинграда длилась с восьмого сентября сорок первого года по 27 января 1944-го. Восемьсот семьдесят два дня. Мне досталось её совсем немного, а хватило на всю жизнь.

...Позже в одну из наших встреч сказала:

— Мы разные с вами. Не только по возрасту. Но мне легко с вами разговаривать. Вы меня понимаете?

Часть 1.

НИКТО НЕ ДУМАЛ, ЧТО ВОЙНА НАДОЛГО

На Серпуховской улице

Я не коренная волжанка, а приросла к Самаре, будто и не жила больше нигде. И мама моя в Самаре похоронена. И тётя Вера. И муж.

...Родилась я и жила почти до пятнадцати лет в Ленинграде. Мой дед по маминой линии Илья Никитич Рукавишников был архитектором, бабушка — выпускница Института благородных девиц. Мама окончила гимназию, потом институт. Тётя Вера училась в консерватории, готовилась быть пианисткой. А стала после революции машинисткой. Сначала некоторое время она работала в Смольном. Потом за какую-то досадную оплошку её уволили. Отличный удар, чёткая координация пальцев позволяли ей печатать до трёхсот знаков в минуту.

...Квартира, в которой мы жили, досталась нам от бабушки с бабушкой. Наша трёхкомнатная квартира была с высокими потолками, украшенными лепниной.

Я очень любила в гостиной печку с голубой изразцовой плиткой. Дедушка купил эту квартиру ещё до революции. Мой папа, Михаил Ильич Крапивин, по образованию был инженер-строитель. Когда они с мамой поженились, то стали жить тоже в этой квартире. Папа умер, когда мне было пять лет.

Мама говорила, что он был очень опрятным. Часто мыл голову. Любил менять галстуки. Вспоминала, что когда он переехал в их дом жить, то привёз с собой шесть костюмов и двенадцать рубашек, чем удивил всех. Папа занимался подрядами. Постоянно пропадал на стройках, может, поэтому я его почти совсем не помню...

Так получилось, что тётя Вера замуж не выходила. Мы жили вначале после смерти папы втроём. Я росла беззаботно и ухожено. Совсем не готовой к тому, что вскоре случилось.

Мороженое в хрустящих стаканчиках

20 июня мы с мамой поездом поехали на дачку под Сестрорецк. Был там тогда посёлок Лисий нос. Не знаю, цел ли сейчас. Мне четырнадцать лет, мама с тётей заботятся о моём здоровье. Нужен свежий воздух! Около посёлка в дачном массиве они сни-

мали одну комнатку. Домик небольшой, из толстых таких досок. Нам нравилось. Вокруг домика ровные дорожки. Ноготки, мальвы вокруг. До вечера мы возились с цветами. Пересаживали ноготки ближе к домику.

Возишься, а вокруг тебя белая рогастая коза Милка крутится, пёстрые куры с важным смешным петухом переговариваются на своём языке. Мне всё на даче нравилось, кроме тёплого козьего молока, которое меня заставляла обязательно пить мама.

Вечером двадцать первого начали необычно летать самолёты. Но так, не особо тревожно было. Мы не понимали, что происходит.

Ночью спали. А под утро нас разбудил мощный рёв самолётов и вспышки в небе. Пошли с мамой на станцию. Идут безостановочно эшелоны с военными. Резануло слово — «война». Народу немного. Но билетов нет. А я вижу, на перроне мороженое продают! В хрустящих стаканчиках таких, вафельных, я любила очень. Тяну маму: «Купи!» Она отмахивается, а мне обидно. Так хочется...

...Под вечер мы всё-таки в Ленинград уехали. Военные эшелоны прошли...

Начало страшной беды

Прибыли в Ленинград. В городе спокойно. В магазинах, как всегда. Всё, что надо, есть! Конечно, я многого не замечала, не понимала. Даже когда стало потом хуже со снабжением в магазинах, в нашей семье не придали этому особого значения.

В Ленинграде до войны всегда с продовольствием было неплохо. Мы обычно, например, ветчины покупали немного. Брали небольшой свежий кусочек на один раз. Всегда в продаже были фрукты...

Мама моя с тётей Верой всё же решили подстраховаться. И уже после объявления по радио о нападении Германии на Советский Союз купили пять батонов белого хлеба и насушили сухарей. Могли купить больше. Но зачем? Не было у ленинградцев тяги к накопительству. Думали, как с Финляндией война будет — где-то в стороне. Мы мало что знали. Никто не полагал, что всё надолго.

Только наш сосед по квартире Борис Петрович молча качал большой, как у лошади, седой головой.

— Это начало страшной беды, — говорил. Мы проходили мимо него, не останавливаясь.

Работал он в каких-то дальних мастерских. Видели мы его мало.

«Пускай ворчит, — думала я, — он всегда ко всему недоверчив. Бубнила. Другое дело — его молодая весёлая жена Даша».

Разница в возрасте у Бориса Петровича и Даши в двадцать лет. Это у моей тётки вызывало недоумение.

От громкого, непривычного в нашей квартире, смеха Даши моя тётка Вера часто морщилась.

Зато все мы любили их грудного сына Леру. Мама моя объявила его общим и главным достоянием нашей квартиры.

Чтобы жить да радоваться!

...Мне, когда совсем недавно Зотовых подселили в нашу просторную трёхкомнатную квартиру, стало непривычно, но интересней жить!

Тётка Вера сначала по всяким мелочам ворчала на Бориса Петровича, но постепенно поутихла.

Я слышала, как Даша один раз сказала моей маме на кухне про мою тётку:

— Она старая дева, поэтому так и сердита.

— Дашенька, ты должна быть великодушной. Не сердчай на неё, — тихо отозвалась не умеющая ни с кем ссориться моя мама.

— Надо мне — сердчать! Пусть только зря настроение не портит Боре. Он же с работы приходит такой усталый. Домой приходит! Не куда-нибудь! — громко, с напором, говорила Даша.

— Дашенька, пойми: Вера — ушибленная судьбой, у неё так много в жизни обрушилось, — мамин голос дрожал. — Долго не вышла замуж. А тут Рома! Собирались пожениться. Он военный был. Очень красивый. Началась война с Финляндией. И когда он ехал на фронт, их эшелон попал под обстрел. Рома погиб. Видишь как?..

— Была бы моя воля, я каждой бы по мужу выписала. По спецталонам! — провозгласила Даша. — Чтоб в каждой квартире от детей было тесно. И некогда выяснять отношения было! Чтобы жить да радоваться! — она высоко подняла сына над головой. Слегка его потрепала.

— Вот она, моя радость, Лерочка!

Лерочка в ответ что-то улыбочиво проурчал. Он явно был не против сказанного.

— Я поговорю с Верой, — мягко пообещала мама. — Мы подружимся все...

Когда Даша вышла из кухни, Лерочка был у неё на груди. Она крепкой поступью направилась по длинному коридору в свою комнату. Уронив светлую головку во впадину меж внушительных бело-розовых живых холмов материнской груди, Лера с упоением тянул, причмокивая, молоко. Полы Дашиного розового халата развевались, из него выглядывали крепкие розовые её ноги. Даша была как монумент. Ходячий монумент несокрушимости жизненных сил.

Ни мама, ни тётя Вера никогда не позволяли себе так разгуливать по квартире в халате.

...В тот вечер я подошла перед сном к кровати мамы. Она заснула, выронив синюю книжицу себе в постель. Мама обычно читала на ночь. У неё были свои книги. Я взяла маленький томик в руки. Бросились в глаза строчки на раскрытой странице:

*Свирель запела на мосту,
И яблони в цвету.
И ангел поднял в высоту
Звезду зелёную одну,
И стало дивно на мосту
Смотреть в такую глубину,
В такую высоту.*

Да, это был любимый мамой Блок. Она читала часто и вслух.

— Как было бы прекрасно увидеть тебе Блока, — сказала она мне недавно. — Да вот немножко опоздала родиться. А мне повезло... Я видела театральную постановку его драмы «Незнакомка».

— Ага, — ляпнула я, — была бы я теперь старухой.

Мама обиделась на меня. Сказала, что у меня примитивный юмор.

Теперь-то я думаю, она меня приобщала так к чтению. А у меня особого влечения не было. Вернее не было как у неё.

— Спи, родная мамочка, — шептала я, несмотря на смутную тревогу в душе, — спи... Всё будет хорошо. Они тоже люди. У них тоже есть поэты... Гёте... Как такое вообще может быть, чтоб убивать... Когда и у них, и у нас такие стихи. Когда у нас такой город!..

...Утихли в соседней комнате сонные всхлипывания розовощёкого Валеры. В носках, на цыпочках, накурившись в туалете, прошёл в свою комнату Борис Петрович.

— Твой муженёк очень много курит, у него ногти на пальцах левой руки от дыма пожелтели, как можно так? — недоумевала несколько дней назад тётя Вера.

— Не от дыма это, — простодушно махнула рукой Даша, — это у него грибок. Никак вот не поборет.

Лицо тётки Веры исказила гримаса. Она с потеряннным видом вышла из кухни. Бедная наша чистюля тётя Вера, знала бы она, что нас ждёт всех впереди.

— Спи, мамочка, — повторяла я, как заклинание, — Борис Петрович просто паникёр. Случилось страшное. Но это ненадолго... Ты устаёшь на работе и без этого. Не он один.

Слышно было, как на лестничной площадке пошумливает большой сибирский кот Савелий. Савелий — знаменитость на весь наш подъезд. Как и его хозяин, замечательный Аркадий Сергеевич из четырнадцатой квартиры.

Он научил Савелия ходить на задних лапах. Иногда он вешает коту на белую шею малиновую бабочку, заставляет его шагать по площадке и потешно кивать головой.

— Форменный цирк! — удивлялась каждый раз при этом Даша. И громко, на всю площадку заразительно смеялась.

Беда наступала стремительно

Первые снаряды начали врываться, как я помню, четвёртого сентября. А восьмого сентября сорок первого немцы с суши окружили город полностью. Поначалу страха не было. Ребёнок — не понимала ещё. Начали гореть дома. С ребятами из группы самозащиты при нашем ЖЭКе тушила на крыше зажигалки. Какие тушили, какие сбрасывали вниз. Так было, пока я не съехала с крыши и сильно ушиблась. После этого мама меня не стала пускать. Рука долго побаливала от плеча до самой кисти.

Над головами наши истребители вели воздушные бои с вражескими бомбардировщиками. Со страхом видела, как наш самолёт таранил немца.

...А тут такой огромный пожар случился. Разбомбили Бадаевские склады. Там хранили сахар, хлеб и ещё много чего. Я видела, как начали бомбить эти склады.

Летела целая армада немецких самолётов. Выглядывая из щели, мы видели самолёты с чёрными крестами на фюзеляжах. Летели они на разной высоте группами. Спокойно сбрасывали бомбы и улетали.

С разных сторон складов поднимались сигнальные ракеты. В городе действовали немецкие пособники. При этом немцы заняли Пулковские высоты. Город у них был как на ладони.

Наши зенитки били беспорядочно. Я не увидела ни одного сбитого самолёта.

От завода «Красная звезда» спешили люди. Кто был с баграми, ведрами, кто с чем. Мы оказались в общем потоке. Начали рушиться стены склада. И мы с Раей Ромашиной увидели, как горят мешки с сахаром.

Склады горели дня три. Пропало очень много муки, сахара. По улицам текли ручьи мутной патоки — смеси сахара, сгоревшей муки и грязи. На этих складах хранились основные городские запасы продуктов питания. Никто не знал, сколько продуктов стorerело. Но многие говорили, что теперь с продовольствием будет плохо. Как можно было всю провизию хранить в одном месте?.. Мы не особо в это верили. Люди стояли подавленные и смотрели на зарево пожара. Сделать уже ничего было нельзя.

На другой день в магазинах исчезли дешёвый кофе, соевые бобы, много ещё чего. Привоза продуктов в тот день в магазин не было. Не было и в последующие дни.

Дня через четыре после налёта на Бадаевские склады вторично уменьшили выдачу хлеба по карточкам. В сентябре она стала 600 граммов для взрослых и 300 граммов для детей. Но и эту пайку хлеба надо было ещё отovarить. Страшно было стоять в очереди за хлебом. Можно было и попасть под снаряды, и потерять карточки.

Занятия в нашей школе начались было в октябре, но в декабре потом прекратились. С питанием совсем стало туго. Появились карточки для служащих и карточки для иждивенцев.

Мы с подругами начали ездить на капустное поле собирать примёрзшие к земле листья от кочанов. Называли мы их «хряпы».

Рядом были военные позиции. Солдатики уговаривали нас уйти. Было страшно, но все продолжали ковыряться в земле. Из этих подмороженных капустных листьев мы варили щи.

Постоянно хотелось есть. Из картофельной шелухи на олифе (если повезёт раздобыть) пекли лепёшки. Вместо муки добавляли детскую присыпку.

Меняли вещи на плитки столярного клея, которые вымачивали и варили в воде. Получалось что-то вроде холодца. Деньги никто не брал. Ходили, ковыряли землю около Бадаевских складов. Ели землю маленькими кусочками. Она была сладкая. Когда хочется есть, ни о чём другом не думаешь. Пайку хлеба для неработающих сократили до 125 граммов в день. В городе на улицах не стало видно кошек и собак. Всех поели.

...Теперь часто бомбили. Мы все спали уже на кухне. На полу. Окно из кухни выходило в коридор. Темно. Но так безопаснее. На окнах — плотные занавески, чтобы не привлекать вражеские самолёты. Окна крест-накрест заклеили бумагой, чтобы не трескались от взрывов.

Перестала работать канализация, водопровод. За водой я теперь ходила с бутылками на соседнюю улицу: там специально открыли колодец. Начали выдавать противогазы.

Аркадий Сергеевич пожалел меня и угостил куском варёной курицы. Сказал, что выменял где-то. Он всегда ко мне хорошо относился. Говорил, будто у меня будет долгая и счастливая жизнь, вопреки тому, что живу я в квартире под номером тринадцать. Всегда первый меня приветствовал при встрече. Порой раскланивался и говорил разные смешные вещи. Он был школьным учителем музыки. Только не в нашей школе.

Потом я узнала, что угостил он меня не курицей. На самом деле это был кот Савелий.

...Борис Петрович раздобыл «буржуйку». Установил её на кухне, трубу вывел через форточку во двор. С «буржуйкой» нам стало легче жить.

Хлеб на Невском проспекте

Живу одна, без мамы и тёти Веры. Они на казарменном положении. Работают на ТЭЦ. Приходят домой редко.

Пошла я отоваривать хлебные карточки в магазин на Невский проспект, по-другому — «Проспект 25 октября». Там давали, как мне казалось, на карточки хлеб не такой чёрный, а коричневатенький, и помягче. И потому, думалось мне, что его побольше. И вкуснее он. Блажь, конечно.

Иду по проспекту. Обхожу огромные газгольдеры с водородом для заполнения аэростатов воздушного заграждения. Рядом движутся вооружённые отряды. Гремят взрывы. Пыль, облака дыма. Под ногами и над головой осколки стекла.

Тут же ведётся уборка кирпича, стекла. Люди работают дружно и как позволяют силы.

Лишившиеся своего жилья перебираются в другие дома, если можно. Иногда были такие длительные обстрелы, что в бомбоубежище приходилось находиться целые сутки.

И тогда прямо в них женщины мастерили тёплые вещи для бойцов, шили варежки, вязали свитера.

Теперь трамваи возили не только пассажиров. Они перемещали войска, боеприпасы. Ремонтировались корабли, выпускалось оружие, боеприпасы. Непрерывно работал в Смольном штаб города. Надежда и вера жили неистребимо. Но было и неимоверное постоянное напряжение.

* * *

На Невском начался обстрел. Вместе с прохожими поспешила через арку во двор. Рядом со мной оказался молоденький розовощёкий матросик. Он куда-то очень торопился и всё время выглядывал на улицу.

Грохнул взрыв. Матросик упал. Осколком ему снесло полголовы вместе с бескозыркой.

Шла домой и думала всё об этом матросике на асфальте. Было жутко.

А тут свернула с Невского и вижу: лежат посередине улицы веером шесть девочек моего возраста. Двоих узнала: Раечка Ромашина и Надя Колокольцева из параллельного седьмого класса. С Надей мы гоняли на велосипедах.

Бросилась, как могла, к ним. Тормошу, а они все мёртвые. Видно, стояли кружком, разговаривали либо ждали кого. Попали под осколки. Зачем они так все вместе стояли? Поползла к стене от этого адского то ли веера, то ли страшного мёртвого цветка. Нет сил подняться. Слышу, воеет кто-то, знакомо больно... Опомнилась: это же я, мой голос...

...Потом уж, позже стали вешать плакаты с предупреждением, что та или иная сторона улицы обстреливается... А когда фашисты сбрасывали бомбы замедленного действия, появились плакаты: «Опасно! Неразорвавшаяся бомба!»

...Когда добралась до своего квартала, гляжу, у соседнего дома лежит на асфальте мёртвый старичок. Крови не видно... У него так молитвенно три пальца сложены... И лицо обращено к небу...

Голод

Люди начали массово умирать от голода. Первой из наших соседей умерла жена Аркадия Сергеевича, тётя Сима. Мама сказала, что у неё был сахарный диабет. Вначале-то как было? Завыла сирена — прямиком в бомбоубежище. Наступило время, когда ноги не идут от бессилия. Какое бомбоубежище? А тут ещё при бомбежке в подвале соседнего дома заживо всех завалило... Появились

трупы на улицах. Мысли были не о бомбоубежищах, а о том, чтобы поесть.

Мы жили на третьем этаже. Когда я спускалась, то шла теперь мимо соседей, которые так и остались мёртвыми лежать на лестнице.

Хоронили трупы на Пескарёвском кладбище в траншеях. Тысячи заваливали бульдозерами.

...Семья Зотовых, которая жила с нами в квартире, вскоре вымерла вся. Первым умер наш маленький Лерочка, потом Даша. Последним — сам Зотов. Он умер у меня на глазах, на нашей кухне, за столом.

Мы сидели вместе. Борис Петрович будто просто заснул. Без единого звука скончался.

* * *

Ноябрь выдался морозным, с сильными снегопадами. Я так и обитала вместе с Борисом Петровичем на кухне... И спала там.

Нашу кафельную печь не могла разогреть: не хватало дров для неё. Топила «буржуйку» сначала мебелью, которую осилила сломать без Бориса Петровича, потом книгами, ненужной одеждой... Я безжалостно, тупо сожгла всю мамину библиотеку. Шиллер, Гёте, Толстой, Лермонтов... Остался только томик Блока. Машинально отодвинула его в сторону. Всё деревянное во дворе и в округе было разобрано на дрова. Спала я не раздеваясь, в валенках, под двумя одеялами и ковриком. Мамы и тёти не было по несколько дней.

Наступил день, когда я вышла на лестничную клетку и увидела мёртвым Аркадия Сергеевича из четырнадцатой квартиры. Теперь я ходила каждый раз мимо него. Его кто-то потом чуть перевернул. И он лежал лицом к стене. Как бы не желая никого из живых смущать. Его тоже никто не забирал. Весёлый наш сосед жил один, сын его был на фронте.

А мне не по силам вынести его.

Хотелось постоянно есть. Когда думаешь о еде, становится дурно. Слабеют ноги, кружится голова. Может, потому я не сошла с ума, что начала вести дневник.

Когда выпал снег, начали было изредка вывозить трупы, кто на санках, кто на куске фанеры, привязав к нему верёвку. Но вскоре прекратили: народ обессилел. Девушки-бойцы из МПВО занимались уборкой трупов. Но не успевали это делать.

Многие стали болеть дистрофией. Походка у людей стала замедленной. Чтобы бороться с цингой, заваривали чай с сосновы-

ми иголками. Продавали эти иголки в аптеках в пакетиках. Наступили страшные холода первой военной зимы. В январе-феврале сорок второго года ежедневно умирали тысячи человек.

Замёрз водопровод. Не работали бани.

Говорят, что в войну резко увеличилось число верующих. Я ни разу не помолилась за всё время. Нас таким образом воспитывали, что и в голову не приходило...

О Боге я вспомнила много позже.

...Там, где брали воду, выросли ледяные наросты. Ослабевшие люди падали и, обессиленные, ползали вокруг. Возникали очереди.

На казарменном положении

Мама и тётя Вера на казарменном положении. Работают на ГРЭС. Мама — в плановом отделе, тётя — в архиве и машбюро. Они совсем редко стали приходить домой. Осталась я одна. Наедине с репродуктором. Из него то и дело: «Граждане, воздушная тревога!» Потом вой сирены и стук метронома.

Немцы вели стрельбу чаще всего утром и вечером, когда народ шёл на работу или возвращался домой.

Постоянно горели дома. Всё больше стали сбрасывать на город зажигательные бомбы. Фашисты выпускали по городу до трёхсот снарядов в день.

Когда ходила, еле двигаясь, за водой, слышала разговоры о том, что немцы не будут принимать капитуляцию города. Решено население истребить поголовно. Возвращаясь с водой домой, видела, как вешали на торце соседнего здания большой плакат: «Ленинградцы! Как один, встанем на защиту родного города!»

...Я стала пухнуть от голода.

Чтобы как-то спасти меня от голодной смерти, мама упростила директора электростанции взять меня на работу. Директор пожалел нас, и меня оформили ученицей. Я переписывала деловые бумаги. Разносила их. Получала паёк, как все работники станции. Помню, был стахановский паёк: две котлетки из капусты или тарелка щей. Несказанным благом в замерзающем городе был с чуть тёплой водой душ, который можно было принять только на электростанции. Один рожок на всё бомбоубежище. И мужчины, и женщины раздевались и вместе ждали своей очереди. Не стеснясь: не было на это сил.

Спали мы в бомбоубежище. Там были кровати. За бельём ходили домой. Поднималась по лестнице, перешагивая с трудом через трупы. Потом их убрали. Не стало на кухне и Бориса Петровича.

Честное слово

...Теперь мама моя начала пухнуть от голода. Глаза у неё стали как щёлки на вздутом лице. Было видно, что она может умереть.

Директор Виктор Петрович раздобыл ей стакан «жжёнки» — жидкого горелого сахара. Того самого, что собирали с земли, когда разбомбили Бадаевские склады. И со спичечный коробок, меньше, кусочек сала.

Мама стала ходить за мной и упрашивать:

— Дочка моя, Олечка, я же потерплю ещё как-нибудь. Смотри: ты-то какая!..

А Виктор Петрович заранее ещё предупредил меня, что если мама не поест то, что он дал, она может умереть.

— Дай мне честное слово. Ты помоложе, — говорил. — А она изнасилась. Не справится. Уйди куда-нибудь от соблазна, пока она не съест.

Я дала ему честное слово, что не притронусь к маминой еде. И сдержала обещание.

* * *

А тут наш Виктор Петрович сказал маме, что нас эвакуируют по льду Ладожского озера. По «Дороге жизни». Куда — пока неизвестно...

...Вскоре мы получили эвакуационное удостоверение. Нам предстояла дорога на Волгу, в город Куйбышев.

Пианино из красного дерева

Добрались мы со станции до дома благополучно. Стали готовиться к отъезду. Нужны были какие-то продукты в дорогу.

Пригодилось нам пианино тётки Веры. Его купил ей мой дедушка, когда она ещё и не помышляла быть пианисткой. Но свою роль в её желании поступить в консерваторию оно сыграло.

Дедушка любил делать красивые подарки. Пианино было сработано из красного дерева, изящное такое. С красивыми подсвечниками. У меня замирало сердце, когда я проходила мимо него. А уж когда тётя Вера начинала играть, ещё тогда, до войны, у нас в

доме был праздник. Послушать приходили многие соседи. Иногда она играла на скрипке. Скрипка мне больше нравилась.

Про наше пианино узнал один музыкант. Известный артист в городе. Он приходил два раза к нам ещё до войны и уговаривал продать инструмент.

Тётя Вера и слушать его не хотела. Она мечтала, чтобы я начала играть. А у меня на уме — коньки да лыжи. Летом — велосипед! Всё откладывала на потом.

— Вы страшная эгоистка! — говорил артист тётке Вере. — Ни себе, ни людям. Это не по-советски! Вы же не играете на нём! И не будете уже как следует играть! А у меня публика! Поклонники!

Тётя Вера стояла с каменным лицом у окна. Молчала.

— Кто вас будет слушать? — выкрикнул гневно артист. — Вы же сгубили свои пальцы. Грустно, но факт! А я неплохо заплачу!

Он промокнул вспотевший лоб серым платком и с полным убеждением в своей правоте обратился к маме:

— Ксения Ильинична! Что же вы молчите?

Мама не успела ответить.

Тётя Вера решительно отошла от окна и открыла дверь. Насмешливо и требовательно глядя на гостя, ждала.

Тряся красивой кудрявой головой, артист удалился.

Только он хлопнул дверью, у меня вылетело:

— Индюк какой!

Сказала я так и прошла по комнате, мотая, как пианист, головой. Тётя Вера и мама нервно расхохотались.

Потом я видела, как тётя сидела в спальне и плакала.

Это было до оккупации.

...А тут идёт она в последний день перед отъездом из Ленинграда по улице, и он, артист этот, навстречу. Узнал её.

— Вера Ильинична, рад, что вы живы!

И опять про пианино разговор.

Согласилась тётя, чтоб забрал он инструмент. Через Ладогу с собой его не потащишь.

Когда он уже уходил, тётя Вера сказала ему в спину:

— Забирайте и скрипку. Всё едино теперь.

Артист утвердительно молча кивнул головой.

* * *

Пианино и скрипку забрали в тот же день. Взамен артист принёс на полкило кулёк перловой крупы и пять чёрных сухарей. Видно, доступ имел к продуктам. Или к людям, которые около них.

Дорога жизни

Вещей в дорогу с собой мы взяли мало. Кому их нести? Да и трудно представить, чтоб моя мама и тётя могли обзавестись узлами. Они и одеты были: шляпки, муфточки и прочее. Чтобы какой-нибудь платок на голову? Неинтеллигентно! Взяли мы в две сумки мамину и тётки Веры шубы. Висело у нас в каждой комнате по две картины. Вот эти шесть картин тётя Вера срезала и, свернув трубочкой, взяла. Чемоданов у нас с собой не было.

Сели в кузов «полупорки» под брезент и поехали. Ехали ночью. Был уже апрель, лёд таял. Без тёплой обуви холодно.

Это так легко я говорю: «сели». Мама не в силах была забраться в кузов машины. Шофёр взял её на руки, как маленькую, и отнёс к себе в кабинку. Там дал ей кусочек шоколадной плитки. Я запомнила этого крепкого, надёжного парня в тёплом военном полушубке. Его звали Костей.

Мама радовалась:

— Вырвались! Мы вырвались!

А шофёр басил:

— Надо ещё доехать! Больше двадцати километров!

Я сразу поверила, что мы выберемся. Такой большой и сильный у нас шофёр!

Но он не зря так говорил. У нас на глазах «полупорка», идущая впереди чуть сбоку, вместе со всеми провалилась под лёд. Немцы бомбили колонну с воздуха. Обстреливали из пушек. Нам повезло: двадцать семь километров ледяной дороги остались позади.

«Вот и ладненько!»

...Посадка на поезд шла ночью. В вагон прорваться самим нам немислимо. Нас несколько раз толпа отбрасывала в сторону.

И тут появился в длинном чёрном пальто человек, который вызвался нам помочь.

— Графинечка, вас затопчут! — прокричал он маме, белозубо улыбаясь. — Я пойду вперёд, а вы успевайте за мной! Давайте вещички!

Он галантно протянул свои длинные руки.

— Везёт нам на добрых, красивых людей, — воспрянула духом мама.

Мы отдали этому человеку наши вещи. Он шагнул в толпу. Довольно быстро наш помощник прорвался к вагону. Втолкнул нас в него, подбадривая:

— Вот и ладненько! Вот и складненько!

А сам тут же шустро с нашими сумками, картинами в трубочку шагнул в людское месиво. Толпа его отгородила от нас. Мы остались ни с чем.

— Как обидно, — сказала мама, когда мы пришли в себя. — Смуглый такой, и этот его тёмно-вишнёвый шарф! Крупной вязки. Таким, наверное, и был Артур — красивым!

— Какой Артур? — спросила тётя Вера.

— Ну, из «Овода», Лилиан Войнич... Главный герой...

— Жулик он! — внятно, с досадой на маму, сказала тётя. — И шарф у него ворованный, у этого твоего Артура. А мы вот... — тётя не договорила.

— А мы? — по-детски повторила мама.

— Ни то, ни сё мы! Вот кто!

Тётя была безжалостна:

— А если точнее... Дохлые мухи мы. Тебе же сказал пианист этот, ещё в Ленинграде!

Она поднесла свои красивые белые руки к лицу, прикрыла ими блестящие чёрные бездонные глаза:

— Боже мой, что ещё с нами будет в дороге? Куда едем? Куда попадём?..

— Ах, Боже мой, смотрите, — вдруг воскликнула мама. — Обе книжечки стихов у меня в сумочке лежат. Вот они!

Мы молчали.

— Это же Блок! Смотрите, стихи «О Прекрасной Даме». Его первая книга. Издательство «Гриф», 1904 год. Потрясающе повезло.

Тётя Вера смотрела на неё как на ненормальную. Я дёрнулась: там, в одной из сумок, которые умыкнул «Артур», был мой дневник. Его я вела последние мои блокадные полгода. Может, теперь бы пригодился. А так... многое потускнело в памяти.

* * *

Погрузили нас около восьмидесяти человек в холодный, «телячий», так его называли, вагон. Через широкие щели в полу замелькали шпалы. Люди умирали и тут, в вагоне. Спали на полу. Когда шёл поезд, через щели очень сильно дуло. Мы уже не испытывали особой радости, что вырвались. Не сильно жалели, что лишились вещей при посадке. Всё как во сне. Очень хотелось спать.

...Я видела, как измучены мои мама и тётя. Догадывалась, что они, такие слабые, решились на эвакуацию, только чтобы спасти меня.

Солёные огурчики

Ехали мы больше днём. Ночью обычно поезд стоял, эвакуационные пункты были не на станциях, а у населённых пунктов, недалеко от железной дороги. Поезд трогался без объявления. Всегда было страшно не успеть сесть в вагон. На эвакуационных пунктах давали хлеб, иногда похлёбку, кашу.

...А в вагоне... Теснота... Помыться негде. И нечем. Руки не мыли. Иногда перепадал кипяток. Кругом вши. За лацканами белые вши, в косах вши, гниды.

На каждой остановке выносили трупы.

...Рядышком с нами расположилась семья. Три человека. Тоже натерпелись в Ленинграде. Худые донельзя.

Павел Борисович — бухгалтер. Очень похожий на писателя Пришвина. С усами и бородкой клинышком. И Серафима Зиновьевна — учительница. С ними мальчик Игорёк, на год старше меня. Чёрненький такой. Курчавый, с карими глазами и большими белками навывкате.

Как они говорили меж собой! И с нами! Так внимательно, так терпеливо. И любили друг друга они. Очень.

Мы уже знали, что едем в Куйбышев. У дяди Паши его одноклассник после института по направлению уехал работать в Куйбышев. Они лет пять уже не переписывались. Но у дяди Паши был его адрес. И он надеялся его разыскать. Несколько раз говорил об этом. Хотел верить, что найдёт...

Тётя Сима больная сильно была. Они её больше себя берегли.

Где-то под Рязанью уже, наверное, на полустанке выросла за окном крупная женщина с кастрюлей. Она торговала солёными огурцами. Другие ещё что-то предлагали, но я не помню что. Огурцы эти сразу бросились в глаза нам. Мы молчали, придувленные.

Тётя Сима не выдержала:

— Пашенька, я так хочу огурчиков! Ты помнишь: я всегда любила. Снились мне они последнее время. Думала, всё. Не доживу... А вот теперь... Может, поправлюсь?

— Сима, у нас на них денег нет. Ты же знаешь...

— Я пойду сама. Поторгуюсь. У меня вот платок есть. Вдруг?

Говорит и смотрит умоляюще. Глаза тёмные, влажные. Сын Игорь молчит, а мать вот-вот, кажется, расплчется. Нам всем так жалко её.

— Попробуй, — говорит дядя Паша, — но, боюсь, бесполезно.

И она пошла.

Мы в окошко видели, как тётя Сима приблизилась, словно к горе, к этой женщине с огурцами. Видели, как они разговаривали. Как тётя Сима смущалась при этом. Не умела торговаться. Стояла, как школьница.

Торговка не соглашалась брать платок. Всё указывала на руку тёти Симы.

А она, печальная, с белым иконным лицом и мерцающими угольками чёрных глаз, всё качала отрицательно головой...

Мы догадались уже. Женщина просила у тёти Симы за огурцы кольцо с её руки.

Тётя Сима приблизилась к окошку и виновато сказала дрогнувшим голосом:

— Паша, она просит за них наше обручальное кольцо... Что делать?..

— Симочка, ну если так! Что ж теперь?..

Только он это и сказал. Ничего больше.

...Принесла тётя Сима в вагон три небольших огурчика. Мокренькие такие, с веточкой укропа. Разложила и предлагает нам всем. А нас шестеро. На три огурца, да небольших таких? И мы знали, как они достались ей. Молчим сидим.

— Я съем один, а вы кто как хотите тогда, — сказала она.

И захрумкала огурцом.

Мы не притронулись.

Её болезненное, интеллигентное, умное лицо освещено бледным отсветом затаившейся в ней безжалостной, страшной болезни. Я видела, как ей стыдно за себя такую...

Она съела все три огурца. Не могла остановиться. Никто ей не сказал ни слова. Все чувствовали некоторое облегчение, когда она их доела.

Дело, казалось, у неё шло на поправку. Глаза дяди Паши светились тихой радостью.

А к вечеру лицо, шея, руки у тёти Симы покрылись пятнами. Сначала красными, потом чёрными. Ей стало тяжело дышать. Мы не могли спать.

...Она и в ясном уме, и в бреде говорила всё одно:

— Ксения Ильинична, Вера Ильинична! Игоря, сыночка, помогите сберечь. Он талантлив очень. Ты, Пашенька, постарайся уж...

Ночью она умерла. Молча. Дядя Паша обнаружил, что она не дышит. И всё.

В блокадном Ленинграде столько видела я смертей, а эта... Когда, казалось, всё позади...

Та торговка, видно, насолила огурцов этих в цинковом ведре. Или какая другая трава была?

И что бы было, если б мы все поели огурцов этих: спасли её? Ей бы меньше тогда досталось отравы? Или все бы померли? На всех бы хватило?..

У тётки этой было целое ведро огурцов. Скольких она уморила? С других вагонов тоже некоторые брали...

Нам сказали, что поезд на следующей станции останавливаться не будет. Так и было. Он только под утро замедлил ход. Санитары понесли тётю Симу к выходу, скупо бросив: «Там подберут...» А вслед им шепоток: «Заразная, поэтому так... без остановки».

Игорь вяло, через силу, колыхнулся за санитарями к выходу, долговязый парень осадил:

— Не мешайся!

И задел его плечом.

Игорь упал лицом к стене, плечи его дёргались. Дядю Пашу, когда тот попытался встать, так мотнуло, что он, ударившись лицом о стену, затих. Все мы оказались в тот момент как бы ни при чем. Лишними.

И тут я увидела, как колыхнется перед моим лицом ставшая необычно длинной, белая, как кость, обнажённая по локоть рука тёти Веры.

Рука её совершала непривычные для меня движения. Я не вдруг сообразила: не скрываясь ни от кого, моя тётя молилась. Это для меня было необычно. Но я уже не в силах была чему-либо удивляться...

Под Сызранью

Где-то под Сызранью мы с Игорьком в очередной раз отправились на эвакуопункт за едой. С нами пошёл Владька. Он был из нашего вагона.

Мы замешкались. Поезд медленно тронулся, а мы колтыхаемся на полпути. До него каких-то пятьдесят метров, а для нас это — гигантский отрезок. Его надо преодолеть. Нам с Игорем повезло: влезли на ходу в предпоследний вагон. Владька уронил бидончик с супом, споткнулся об него и растянулся на насыпи. Поезд набирал скорость, а он лежал и провожал его молча безумными глаза-

ми. Когда мы добрались до своего вагона, Владькина бабушка Рая лежала молча на полу, рот у неё был раскрыт. Она только хрипела. Слов не было.

Оказалось, что они с моей мамой всё видели. Не пережила случившегося баба Рая. Ночью умерла. Фамилию её и Владьки я не знала. И лица её уже не помню. Помню только её голос.

Она несколько раз до того дня рассказывала нам, как у неё при посадке в поезд украли полмешка с картошкой. Я никак тогда не могла поверить, что у неё могло быть такое неслыханное сокровище. Мне казалось, что она это придумала. Или у неё что-то с головой.

Владька подтверждал кражу, но как-то неуверенно.

О Владьке я больше ничего не знала потом. Где? Что? Выжил ли он в одиночку?..

* * *

...Вскоре за окном поезда замелькали металлические ограждения. Я поднялась и прильнула к светоносному оконному проёму. Там, за окном, на весеннем просторе, внизу под огромным мостом и над моей головой властвовала необъятная, непривычная, покалывающая глаза, пронизанная солнечным светом речная и небесная синь!

Кто-то за моей спиной хрипло и буднично, будто отмечая в протоколе, произнёс:

— Проезжаем Сызранский мост. Скоро Куйбышев! Авось отмучились...

А меня необъятный простор подталкивал крикнуть:

— Здравствуй, Волга! Здравствуй, новая жизнь!

Хотелось приветствовать Волгу громким голосом, каким мы кричали однажды, добравшись на велосипедах с Надей Колокольцевой на Пулковские высоты. Нади теперь нет, и Раи Ромашинной нет. Остались лежать на Невском...

Голоса не было... Не получалось крикнуть...

Молча смотрела я, как порывистые чайки реют внизу под мостом, над бескрайней водной равниной. Похожие на оброненные белые косынки, которые подхватил своевольный ветер...

...Наш поезд пересёк величавую реку.

И завораживающая, широченная мощь Заволжья растворила нас в себе...

Часть 2. НА ПРИСТАНСКОЙ УЛИЦЕ

В мае 42-го

...Пробыв месяц в дороге, в начале мая мы оказались в Куйбышеве.

Поначалу не верилось в то, что вокруг нас. Не стреляют! Такие большие пайки хлеба! Целых 500 граммов в день!

Всех нас, весь вагон, поселили около Куйбышевской ГРЭС в барак, где совсем недавно ещё жили заключённые. Устроили на работу на ГРЭС — бабушку поволжской энергетики, которая заработала впервые аж в 1900 году. Первое электроосвещение, первый трамвай в городе — всему этому дала начало ГРЭС.

...За хлебом посылали меня. И разрешили мне съедать довесок. Я шла домой и, довольная, ела ароматный кусочек.

У магазинов очереди, но они движутся! Люди берут крупу, жир. Нормы скудные, но продукты есть. Хлеб дают каждый день свежий. В магазин, куда я ходила, его доставлял крепкий такой дядька в крытом фанерном фургоне на лошади. Хлеб ржаной, с душистой горбушкой. И с корочкой, лопнувшей от жара в печи. Видно было, что из печи он совсем недавно. Тёплый ещё!

Барак стояли прямо через дорогу, напротив ГРЭС, под горой. Пovyше от Волжского проспекта, тогда это была Пристанская улица.

Две печи по концам деревянного барака! В конце коридора один на всех туалет. В бараке никаких перегородок. Протянули верёвки и отделились группами друг от друга простынями, чем попало. Наша семья и дядя Паша с Игорем расположились рядышком. Мы стали после долгой такой поездки совсем своими.

...А тут привезли нам на весь барак бочку янтарного мёда, картошку. Картошку жарили на воде. Потом привезли масло. А мы полгода уже олифы в Ленинграде не видели.

У нас не было своей сковородки сначала. У многих не было. Жарили по очереди. Потом сковородку нам подарили. Я её храню до сих пор.

Привезли машину угля. Свалили тут же, у барака. Куча картошки и куча угля! Тепло и пища! Что ещё надо?! После ста двадцати пяти граммов хлеба в день! И не надо прятаться. Не надо бегать, кого-то отравать из заваленного бомбоубежища!..

Мы приехали в Самару приглушённые блокадой, а тут так на-дёжно... Варёные раки!.. Ела я их впервые.

Ленинград был теперь далеко, а все наши боли с нами. Самара нас приютила. Я почему-то теперь всё говорю: «Самара» — по-другому не могу. Но тогда это был город Куйбышев. Ничего мы о нём не знали. Да и о Самаре — тоже. Разве вот известная многим эта песенка «Ах, Самара-городок»...

Необычным было многое. Стоит только выйти из барака на вольный воздух — откроется сразу такая ширь Волги перед тобой! Аж в глазах рябит от серебристых волн. Необъятный простор, при-выкнешь ли?.. А повернёшься спиной к Волге — перед лицом — зелень, покрывающая огромный спуск, идущий опять же к Волге. И под этим спуском вдоль Пристанской улицы ряд бараков, от ГРЭС до другого уже спуска — по улице Полевой. У бараков разно-голосица, необычное движение. Кто роется около кучи с углём, кто возится с картошкой. Тётя Вера и Павел Борисович протягивают между клёнов верёвку для сушки белья. Всё замедленно делается, на исходе сил. Но лица — ожившие.

Прошёл слух, что на базаре продают хлеб. И даже водку. Буханка серого хлеба стоит 300 рублей, бутылка водки — 500. Удивительно! А кроме продуктовых карточек, на работе выдают, ска-зали, ордера на одежду, обувь.

Вдоль Волги сады вымерзли. А в торце нашего барака красу-ется в бело-розовом платье высокая вишня. Все почернели, а она целёхонькая. И пчёлы гудят в её цветках.

У соседнего барака местный, рыжий такой парень с деревян-ной ногой разухабисто наяривает на гармошке:

*Эх, раз, ещё раз! Варёные раки.
Приходите в гости к нам,
Мы живём в бараке!*

Ему усмешки, а нам наше новое жилище — спасение! В кото-рое ещё не верится окончательно.

Плавильный котёл

Самара, как могла, и приютила нас, и обогрела. Что мы, при-ехавшие, знали о ней? Не ведали мы, какая огромная работа ве-дётся в городе во имя победы. В городе, который назовут столи-цей эвакуации. Но Самара стала ещё и запасной столицей. Теперь известно, что ещё до войны город рассматривался как площадка

для возможной эвакуации заводов из западных и центральных районов страны. Город защищён с запада Волгой и Жигулями, недалеко от Москвы. Здесь крупный железнодорожный узел, соединяющий центр с Уралом, Дальним Востоком и Средней Азией. Волжский речной путь.

Оказывается, что ещё в 1939 году в районе железнодорожной станции Безымянка был создан Безымянлаг — один из крупнейших в стране лагерь заключённых.

Новой промышленной площадке было необходимо мощное «энергетическое сердце». Но в 30-х годах в Куйбышеве работала всего одна городская районная теплоэлектростанция (ГРЭС). Надо было создать целый каскад станций и на их основе — авиационную промышленность, машиностроительную, нефтехимическую, космическую. Это было ещё впереди. А сейчас: «Всё для фронта!»

Куйбышев стал и столицей ремесленников. В него эвакуировали со всей страны около восемнадцати тысяч детей-учащихся РУ и ФЗО. Ехали из Тулы, Одессы, Киева, Москвы. Город превратился в плавильный котёл, из которого вышел удивительный народ — куйбышевцы, а теперь самарцы. Город-коммуналка. Каждый третий работник номерных заводов был ребёнком. Низкорослые и худые от бескормизы, они работали на победу. Подумать только: к концу войны продукции стали давать в пять раз больше, а жителей в городе увеличилось почти вдвое, стало 600 тысяч. Сейчас в Самаре миллион двести. Да под боком Тольятти — почти 800 тысяч человек. Новокуйбышевск — на 115 тысяч. Ничего себе города-спутники! Отцы и матери того поколения отправили своих детей в космос!

Я многое потом узнала о жизни во время войны города на Волге, который принял роль второй столицы как честь и как неслыханный напряг.

* * *

Вечером и ночью город погружался во тьму. Окна закрыты плотными шторами или тёмной бумагой: свет не должен проникать наружу.

Специальные дежурные делают обходы, проверяя светомаскировку. Гремят чёрные раструбы громкоговорителей на столбах. И голос Левитана: «После упорных боёв...» И потом, как заклинание: «Вставай, страна огромная...»

Город трудился на победу. И мы стали его жителями: дистрофики, приткнувшиеся к энергетике...

«А мосты тут есть?»

...Нашу одежду со вшами мы сожгли. А в голове-то полным-полно насекомых. Надо бриться наголо.

Парикмахер говорит:

— Какая коса, мечта! Жалко такие роскошные волосы!

— Мы не видим выхода, — жалобно говорит мама.

Грузная тётя с ножницами в руках глянула на нас сверху своего немалого роста:

— Хорошо бы сделать ей электрозавивку. Это убьёт вшей. Но её запрещено делать маленьким девочкам.

— Нам на прошлой неделе исполнилось пятнадцать. Мы уже на работу идём, — защебетала мама. — Из Ленинграда приехали. Поэтому такие...

...Электрозавивку мне всё-таки сделали. Каштановые мои волосы отрезали до самых ушей. Мама моя шмыгала носом. А я не переживала.

После, когда шли вниз к Волге в барак, мама всё оборачивалась, смотрела по сторонам.

— Мам, ты кого ищешь?

— Я смотрю: мосты тут есть? Не видно мостов...

Ей в Куйбышеве не хватало наших ленинградских мостов. Мама моя, мама!..

В следующий раз поднимаемся с ней на базар, который на Самарской площади, теперь там монумент Славы, Белый дом. До Чкаловского спуска и выше по течению всё забито плотами. На берегу брёвна в штабелях. Мама поворачивается, смотрит из-под руки: «Гляди, Олечка, Самарская ГРЭС, как огромный крейсер! Крейсер «Аврора». Правда ведь? Очень похоже...»

На ГРЭС

На ГРЭС маму направили работать в плановый отдел, тётю Веру — машинисткой. Я попала в группу учёта. С начала войны многие работники станции ушли на фронт. ГРЭС снабжала электричеством все правительственные учреждения и весь Куйбышев, кроме Безымянки. Совсем недавно заработала Безымянская ТЭЦ. Вторая после ГРЭС в городе. Не хватало рабочих рук и у нас, и на ней.

Присылали эвакуированных энергетиков из Москвы, Белоруссии, Украины.

При отступлении в Одессе была взорвана электростанция, прибыли специалисты и с неё. И неспециалистов брали. Преподаватель музыки становился дежурным на дымососах, артистка Воронежского театра — помощником машиниста турбины. Преподаватель иностранных языков обслуживала пылесистемы котла. Шло массовое обучение профессиям. Так вставали на защиту Отечества. Здесь тыл был фронтом.

Когда мы прибыли на станцию, куйбышевских энергетиков на фронт уже не призывали. Добровольцам отказывали. Город жил с войной.

С целью защиты от возможных налётов авиации на крышах цехов станции были установлены зенитные орудия. Дымовые трубы укоротили, чтоб немецкие лётчики не могли по ним ориентироваться.

За опоздание больше чем на двадцать минут дело передавали в суд, с виновного три месяца удерживали до 20 % зарплаты, лишали всех видов премии. Чтобы попасть из цеха в цех, нужна была специальная отметка в пропуске. В каждом цехе стоял часовой. Станцию охраняли от диверсантов.

Смены у энергетиков в основных цехах длились по двенадцать часов. Приходилось работать, когда надо, по две смены подряд.

Наша жизнь налаживалась

Почти у всех, кто приехал из Ленинграда, была цинга. У мамы, у тёти моей вскоре зубы повывлетали все. У меня это началось с тридцати лет. Вся жизнь — борьба за сохранение зубов.

...На работе меня хвалили. Я пошла в вечернюю школу. Нелегко было. Целый год был потерян. И потом, только начнёшь записывать, и засыпаешь. Сил-то нет... Дистрофия.

Пошёл и Игорёк в школу рабочей молодёжи, а потом в музыкальную школу № 1. У него был абсолютный слух. Оказывается, он раньше учился в Ленинграде в музыкальной школе. Скрипач! О его игре очень хорошо все отзывались. А он своенравный такой стал, когда ожил. Мама и тётя Вера очень переживали за него. Тётя Вера уверяла, что у него впереди артистическая жизнь. Я видела, когда она смотрела на Игорька, лицо её светилось. «Хоть у Игоря пусть сложится яркая судьба! Надо помогать ему», — горячо говорила она.

Мы с мамой не возражали ей. Учился он азартно. К ним в школу на улице Куйбышева приходил сам Шостакович, его сестра там преподавала.

Когда Игорь говорил об этом, то начинал заикаться...

* * *

Наша жизнь потихоньку, кажется, налаживалась.

Поздно вечером в конце июня на улицах города завывли гудки, зазвучал, как в Ленинграде, голос из репродуктора:

— Граждане, воздушная тревога! Воздушная тревога!

Это было для нас так неожиданно. Местные бросились в подвалы, в щели. Знакомо загрохотали зенитки. Стали в небе вспыхивать разрывы снарядов. Но бомбёжки не было. Мы никуда не побежали укрываться. Набегались уже в Ленинграде.

Потом ещё разок объявляли воздушную тревогу.

...Немцы бомбили Сызранский железнодорожный мост через Волгу. Мост повредили, но опоры моста уцелели. Тогда, в 42-м году, в воздушных боях погибли наши лётчики.

Немцы рвались уничтожить мост и тем самым прервать железнодорожное сообщение Москвы с Куйбышевом, Уралом, Сибирью. Что бы было с нашими войсками на Западе без такой подмоги с тыла?..

Лето пролетело быстро

Наступила осень, а у нас тёплой одежды и обуви нет.

Дядя Коля, который жил в самом конце барака, у туалета, пожалел меня. Подарил мне немецкий френч. Серо-голубой, со съёмной подкладкой. Я, конечно, не могла в нём ходить. Мы с мамой перекроили его и сшили жакет. Носили мы его с мамой попеременно.

Купила я четыре носовых платка. Сшила их. Получился один большой, на голову.

Ещё мне выдали брезентовые туфли на деревянной подошве. До морозов ходила в них.

* * *

За хорошую работу маме дали ордер на тёплую обувь. Зима на носу. Пошли за обувью.

Кладовщица говорит:

— Есть валенки, но вы их не возьмёте.

— Почему?

— Посмотрите! Только такие остались.

И показывает. Один валенок совсем чёрный. Плотный такой, а другой — мягкий и серый.

— Возьму, — отвечаю.

Стала носить эти валенки. И когда ходила на работе в них, и в городе, прохожие оглядывались на меня такую. Понимала, что глупо обижаться. А не по себе как-то...

Люди разные. В основном, конечно, добрые.

Зарабатывали мы немного. Тётя Вера стала часто болеть. Пробовала печатать, как могла, дома. Стала она замкнутой. Уходила и подолгу гуляла вдоль Волги. Мы с мамой за неё боялись. Сердечко у неё было слабенькое.

На Пристанской улице

Иногда и я ходила с тётей Верой на Волгу. Река тогда была другая, не такая, как теперь.

...На Ново-Садовой, недалеко от завода «КАТЭК», громоздилась куча льда, засыпанная опилками. Этот лёд развозили на лошадях. Накрывали телегу со льдом мешковиной и доставляли по улицам к ларькам с мороженым и газировкой... Забавным теперь кажется. Я в Ленинграде такого не видела. Подошла, и бородатый дядечка дал мне кусок холодного слитка. Я стала лизать его. Тётя Вера ругается: «Маме расскажу!» А мне хорошо!

...Это сейчас от улицы Маяковского до бывшего завода «Кинап» стоят монументальные дома-«сталинки». И улицу Пристанскую переименовали в Волжский проспект. Вдоль Пристанской на берегу тянулись дровяные склады, пристани, лесопильные заводы, чего только не было...

У барачков вдоль берега горели костерки. Народ готовил еду на таганках. На свежем воздухе. Базар рядом — на Самарской площади. Его потом закрыли, где-то в середине пятидесятых годов. Стали на площади строить большие здания.

...Дрова были тут же, под ногами, на берегу. И в реке. Помню, как местные добывали дрова. От плотов, которые сплавляли по реке, оставались брёвна в воде. Они намокали и превращались в топляки. Их высматривали, цепляли багром, к нему вязали верёвку и буксировали лодками к берегу. Здесь распиливали на метровые чурбаки и складывали сушиться.

Вдоль воды были ряды огромных полениц. Я глядела на них и невольно вспоминала, как я через силу вырубала топором у себя в ленинградской квартире щепки из половых досок, когда сожгла все книги.

А ещё с баржи тем, кто на лодках, продавали огромные арбузы. Тут я впервые с удивлением увидела, что арбузы в воде не

тонут. Я не знала такого. И лодок таких, как на Волге, не видела. Сказочные они.

Как меня поразил первой же нашей весной в Куйбышеве ледоход на Волге! Тогда, задолго до сооружения у Жигулёвска плотины ГЭС, река была намного живее.

Напротив Чкаловского спуска льдины со скрежетом наползали под напором течения одна на другую. Поднимались на дыбки. С невероятной мощью выпирали стоймя на пологий берег, оставляя за собой в песке глубокие борозды. Стихия!

Пришло время, соорудили самую мощную на Волге ГЭС и самое крупное в мире Куйбышевское водохранилище. Гордились! Как же: высота подпора воды достигает почти тридцати метров.

Позже, потом, в шестидесятых, восхищались вместе с местным поэтом Николаем Жоголевым. Мама читала нам:

*Морской свежак на Жигулёвском море —
Свежак не черноморскому чета.*

Поэт горделиво заявлял за всех нас, грешных, о победе над Волгой:

*Но как ни была бы могуча
Стихия,
В наш сказочный,
Атомом движимый век,
В дела воплощая
Мечты вековые, —
Сильнее её человек!*

Прозрение придёт позже...

Таня Брусникина

...Вот возьмите эти листочки. Подруга моя Таня Брусникина кое-что записала, когда ей было уже за восемьдесят.

Я тоже попыталась самое главное из своей блокадной жизни закрепить на бумаге. Но глаза слабые, начинают болеть. Потом ломит в висках. Узнала, что Сергей Аксаков диктовал своей дочери, она писала. Привлекла я внучку свою таким же образом. Не пошло. Она постоянно плакала, не писала. Сноха Аня забрала у меня её. А потом они уехали жить в Сызрань. Тут операция у меня... Забросила.

...Снова начала писать было. А тут катаракта эта...

И из Татьяны писатель, как из меня балерина. Бросила она это дело. Совсем плохая стала. Память не та у неё.

Писать надо не в старости, а когда в тебе хмель бродит.

Были ещё воспоминания Ульяны Прохоренко. Она из Киева, вот так же в Куйбышев приехала. Но её уже нет. А листочки куда-то подевались. Попытаюсь разыскать вам.

...Она немножко другая была, Татьяна! Живее, чем я в ту пору, когда обе здесь оказались. Чем-то она похожа на Дашу Зотову, с которой мы жили в Ленинграде в одной квартире.

У Тани своя «блокада» была — воронежская. И ей досталось...

* * *

И вот я сижу в уютном уголке читального зала городской библиотеки. Стараюсь быть поближе к свету, ворошу листочки из ученической тетради.

Рядом ксероксы, компьютеры. Мелькают молодые сосредоточенные лица студентов...

Январь 2015 года, а у меня перед глазами события более чем 70-летней давности.

И наравне с рассказами Ольги Михайловны звучит голос незнакомой мне Тани Брусникиной.

«...В 1942 году, когда немцы стояли под Воронежем, мне было 13 лет. Я окончила 7-й класс. 25 июня около семидесяти учеников из нашей школы отправили в колхоз помогать убирать хлеб. Мужчины были на фронте. Взяли мы постельное бельё, смену одежды и поехали. Поехал с нами пожилой завуч Антон Семёнович. Он преподавал нам историю. Увезли нас на поезде километров за пятьдесят от города. Поселили в сельском клубе. Дали мешки, чтобы мы набили их соломой и на них спали. На следующий день повели нас в поле собирать рожь. Вязать её в снопы. Кто-то зерно веял, кто-то его перелопачивал. Так и работали. Первый день о стерню мы ободрали в кровь все ноги. Местные нас, городских девочек, научили обматывать ноги мешковиной. Стало легче.

4 июля в той стороне, где был Воронеж, повалил дым. Пришла весть: в городе фашисты. Поплакали о родных, но что делать? Возвращаться некуда. Проработали мы около месяца. Настал день, когда председатель колхоза сказал, что немцы приближаются. Надо эвакуироваться дальше. Перевели нас в следующий колхоз. Тут мы работали уже до сентября. Потом нас вновь собрали, погрузили в вагоны и отправили. Куда — мы не знали. Ехали медленно — недели две, уступая путь военным составам. Вагоны

то отцепляли, то присоединяли вновь. Один раз в день кормили. Приехали в Куйбышев. Высадились. Нас построили, рассортировали по возрасту. И повели куда надо.

Мы начали учиться на Станкозаводе токарному делу. Дали нам рабочие халаты. Уже было холодно. Из Воронежа мы уезжали летом, тёплых вещей не брали. Через две недели обучение закончилось. Мы начали самостоятельно токарить на заводе Автотрактордеталь. Теперь он завод клапанов. Мы делали только самые простые детали.

Началась зима. К халатам нам дали на утепление чьи-то ношенные гимнастёрки, взрослые шинели чёрного сукна и шапки. Шинели нам были очень велики. Пришлось их обрезать снизу. Дали нам и брезентовые туфли 40-42 размера. У нас, девчонок, размер ноги 34-36. Ходить невозможно, да и очень холодно в мороз. Наш мастер Сергей Петрович научил нас набивать в чулки газеты. Так и ходили мы с кусками газет в чулках. И теплее, и с ног обувь не падает. Так спасались в эту первую зиму в Куйбышеве. Никакой зарплаты нам не выдавали. Но мы бесплатно жили в общежитии завода клапанов. Нас кормили в его столовой.

Месяцев через пять нас определили в ремесленное энергетическое училище № 14. Оно было на улице Куйбышева, напротив Госбанка. Нам наконец-то выдали новую одежду: бушлатики, гимнастёрки, юбки и новые брезентовые туфли. Правда, опять они были 42-го размера. Выделили нам две новые светлые комнаты на 26 девчонок из Воронежа, там же — в здании училища. Есть мы ходили теперь в столовую напротив Куйбышевской ГРЭС.

Кормили нас дважды в день. Завтрак и обед. Ходили в столовую мы всегда строем. Наш воспитатель заставлял нас шагать непременно с песней. Это помогало легче переносить холод. У нас не было ни шарфов, ни платков. Где было их взять?..

Нам давали на завтрак овсяную кашу, 200 граммов хлеба и чай с сахаринром. На обед — суп, где плавали в воде несколько лапшичек, и 300 граммов хлеба. Варили щи с лебедой. Мы всегда были озябшие и голодные, но не злые. Помню, правда, рабочие ребята один раз взбунтовались, схватили и бросили директора столовой в окно выдачи пищи.

Вечером, чтобы как-то заглушить голод, мы, девчонки, начинали петь. Пели «Броня крепка и танки наши быстры», «На границе тучи ходят хмуры». Иногда мы продавали одну порцию хлеба на Воскресенском рынке. На вырученные деньги покупали плитку спрессованного жмыха либо семечек подсолнечника, оставшихся

после отжима масла. Жмых нам казался очень вкусным. Он стоил намного дешевле, чем хлеб. Одной плиткой могли как-то заглушить голод сразу три-четыре человека. Ненадолго, конечно. На лето нас отсылали работать в колхоз. Там было сытнее, мы иногда получали молоко, варили пшённую кашу. А на свиноферме можно выпросить тот же жмых.

* * *

В самом училище мы работали в мастерских. Научились делать инструменты: молотки, ножовки, угольники. Это нам не нравилось. Ходили в райком комсомола и просили отправить нас на фронт.

Ответ один: «Ваш фронт здесь, в Куйбышеве! Вы должны стать энергетиками».

* * *

Так и проходили теперь мои дни. В первой половине я шёл к Ольге Михайловне. А вечером читал записки Тани Брусникиной.

...Опять я на Ново-Садовой улице. Продолжаю слушать Ольгу Михайловну...

Пол-литра картошки

Таня Брусникина говорила мне, что, когда их построили сразу после приезда в Самару на перроне и стали сортировать по возрасту, кто-то из толпы, глядя на них, обронил:

— Самим есть нечего, ещё этих привезли.

Не знаю, я такого никогда не слышала.

В нашем отделе работала Валентина Ивановна. Мы все её:

— Тётя Валя, тётя Валя.

А было-то ей не более тридцати лет.

Она приносила с собой что-нибудь поесть на работу. Чаще всего пол-литровую банку варёной картошки с луком. Стала она меня подкармливать. Вначале я стеснялась.

А она на тарелку банку опорожнит:

— Как же я любила, когда мама с папой живы были, есть в компании! Я есть одна не могу. Давай, Оль, помогай!

И я старалась.

Скоро она уже литровую банку картошки стала приносить. Тётя Валя обязательно что-нибудь весёлое в обед рассказывала. Мы любили её слушать. И картошку её полюбили. Привыкли к ней.

...Лет пятнадцать назад спохватилась я. Захотелось разыскать тётю Валю. Узнать, что да как у неё...

Взяла адрес в отделе кадров станции. Поехала. А в этой квартире давно другие живут. Где тётя Валя Белова, никто не знает. Говорят, жила одна. Родственников не было. Скорее всего, нет уже в живых. А где похоронена? Поехать бы. А куда?

Вот так проходят наши жизни. В разъединении. Бездумно живём. Не сознавая неповторимости каждой судьбы.

Ни разу ничем я тётю Валю не угостила. Ладно, когда нечем было. А потом-то?.. Не помогла ни в чём...

Кошка на батарее

...Снова ворошу я записки Тани Брусникиной...

В читальном зале тихие голоса, тепло, уютно. Слева от меня огромные стеллажи книг из серии «Жизнь замечательных людей». Книги о Фолкнере, Марке Твене, Котовском, Тургеневе, нашем знаменитом и замечательном голове Самары Петре Алабине... Столько в этих книгах описано судеб! Разных и значительных.

А я не могу оторваться от небольшого серенького листочка:

«...Когда заметало железнодорожные пути, по которым на станции подвозили уголь, нас направляли на расчистку их от снега. Разгружали мы и смёрзшийся уголь. А у нас ни рукавиц не было, ни валенок.

Часто мёрзлый уголь разгружали эки. Они ссорились между собой, дрались, выясняя, кому и что делать. При мне, я видела, одному, вертлявому такому, киркой снесли полголовы.

Мы тогда не думали ни о каких трудовых подвигах. Нас отправляли — мы делали необходимое. Такое было время. И так надо было для электростанции! Позже мы сами стали шить себе рукавицы из старых шинелей. На ноги мастерили из старых одеял и шинелей сапоги, утепляли их слоем ваты. На них надевали галоши 42-го размера. Всё это мы называли бурками. Такая обувь выглядела не очень, но была гораздо теплее, чем брезентовые туфли с газетами».

Так добывалось тепло для горожан, такими усилиями доставалась электроэнергия для оборонных предприятий запасной столицы, вся продукция которых заслуживает самой высокой оценки и памяти. Снаряды и вооружение, выпускаемые в Куйбышеве, участвовали во всех крупных битвах Второй мировой войны.

Только ли Куйбышев так успешно трудился? Конечно, нет. Каждый третий снаряд, выпущенный в войну, был изготовлен на заводах Чапаевска.

Оторвусь от записей Татьяны, а не думать об открывшемся не могу. Слышится мне тихий, спокойный голос Ольги Михайловны:

— Как хорошо, что пришла кому-то в светлую голову идея поставить у проходной ГРЭС в Самаре эту прелестную скульптурную группу «Кошка на батарее». Бронзовая кошка и батарея — символ комфорта, которым нас обеспечивают энергетики Самары.

Теперь мы знаем имя изобретателя батареи — Франс Сан-Галли. Русский немец итальянского происхождения. Знаем и возраст отопительного радиатора — 150 лет. Замечательно! Памятник мне по душе. И я прикоснулась «на счастье» к кошкиному носу, ставшему блестящим от внимания горожан.

Но всё же, всё же...

Запасной столице нужен общий памятник! Так считаю я, бывшая ленинградка. Памятник тем, кто возвёл каскад электростанций, комплекс авиационных заводов, самолёто- и моторостроения. Тем, кто запустил привезённое в 41-м году оборудование авиационных и моторных заводов из Москвы, Воронежа... Нужен в Самаре мемориал...

Тем, кто за два месяца наладил выпуск штурмовика Ил-2, а потом на заводах Масленникова и «Металлист» — снарядов для установки «Катюша».

Я лежала в больнице в одной палате с Дашей Самарцевой. Она была в войну станочницей, в четырнадцать лет. Выпускали снаряды к «Катюше», работая круглые сутки. Прерывались поспать на 2-3 часа. Ели склеенные олифой опилки. Чтобы заглушить чувство голода, курили махорку. В ремонтном цехе у нас на ГРЭС делали мины. Тринадцатилетние ребяташки, чтобы доставать до станка, ставили под ноги ящики.

Дети рабочих жили в палатках, землянках, коммунальных бараках. Они не были шпаной, хулиганами. Они дети своего времени. Дети войны. Работали в тылу, но у них у всех и у каждого была своя война...

* * *

У нас с немцами армии были во время войны примерно одинаковые, допустим. Но кто и как работал на эти армии в тылу?

Вся покорённая Европа трудилась на Гитлера. Около 300 миллионов работающих стояли у станков.

У нас же в тылу работали около 50 миллионов женщин и детей. И в каких условиях трудились! Можно ли сравнивать?! А танков, снарядов, самолётов сделали больше!

* * *

Раствор, крепь для будущей победы замешивался и у нас, в запасной столице, на человеческой кровушке простого смертного...

На галёрке

В октябре сорок первого перед битвой за Москву из столицы были эвакуированы не только часть Правительства, Наркомат иностранных дел, два десятка посольств и дипломатических миссий, но и Большой театр в составе пятисот человек. Позже я читала, что в Куйбышеве до сентября 1943 года коллектив театра выпустил девять оперных и пять балетных премьер. Многие спектакли, такие как «Лебединое озеро», «Алые паруса», «Евгений Онегин», и концерты театр давал как шефские для воинов, для семей погибших бойцов.

...Театр оперы и балета взял под опеку и училище, в котором училась Таня Брусникина, стал выдавать им контрамарки. Перепадало и мне. Мы чистили вместе с её подружками ваксой свои брезентовые туфли и бежали на спектакль!

Вся площадь Куйбышева изрыта щелями и укрытиями на случай бомбёжки. Стоят зенитки. Один раз эти зенитки стреляли. Грохот стоял страшный. Вечером вокруг темнота. В густой мгле грохочет трамвай на Галактионовской улице. А в театре! Словами не описать. Как в сказке! Сверкают над головами янтарные люстры. В зале кресла, обтянутые бархатом. Много военных. Звучит иностранная речь. Дипломаты. Дамы в изысканных платьях.

Уходят куда-то и холод, и голод. Глядим вокруг, забыв обо всём, во все глаза. В партер мы садиться стеснялись, смотрели на всё это чудо с галёрки.

Слушали оперы «Иван Сусанин», «Кармен», «Евгений Онегин», смотрели балет «Лебединое озеро». На сцене: Козловский, Барсова. Очень нравился Татьяне Максим Михайлов. Его Иван Сусанин.

Звучит музыка Чайковского, Глинки... Можно умереть от восторга! Имена какие: Лев Оборин, Ольга Лепешинская, Марк Рейзен.

...Нам нравилось разглядывать с галёрки хорошо одетых зрителей, пришедших в театр. Помню, раза два из любопытства мы заглядывали в буфет. Там свободно можно было купить чудо: булочку с сыром либо с колбасой. Пирожное стоило 3 рубля, булочка с колбасой, кажется, 6 рублей. А билет на галёрку — всего 1,5 рубля, а то и 60 копеек. Но и таких денег у нас не было.

Артисты театра в виде шефства вели у Тани в училище хорошей и драматический кружки. Был там свой оркестр...

Жили артисты сначала в школе на Самарской площади, потом на улице Некрасова.

Татьяна неплохо пела. Она была выше меня ростом. И не такая, как я, доходяга блокадница, — крепкая. Это сразу было заметно, когда мы оказывались на разгрузке угля.

Я читала со сцены из тоненькой маминой ленинградской книжки Блока:

*...Идут века, шумит война,
Встаёт мятеж, горят деревни.
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней.
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?*

В праздники мы устраивали друг для друга в училище у Татьяны концерты. Я к Тане с тех пор, как познакомилась с ней на разгрузке угля на субботнике, присохла. Иногда были танцы у них в общежитии.

Ходили мы и на праздничные концерты на нашу ГРЭС. Там играл свой духовой оркестр. На этих праздниках в столовой ГРЭС мы не решались танцевать. Зато могли полакомиться праздничным винегретом с селёдкой...

Воспитательница общежития приглашала к нам бабулек, которые учили нас шить, вышивать.

На кино у нас денег шибко не было. Мы и не ходили особо.

Конечно, такие, как «Чапаев», «Свинарка и пастух», мы смотрели по несколько раз.

Когда труппа Большого театра в 43-м году уехала из Куйбышева, мы осиротели. Не стало сказочных праздников в нашей жизни.

Фиолетовое платье

Наконец-то нам на троих дали отдельную комнату в коммуналке. Целых двенадцать квадратных метров. После более чем двух лет жизни в бараках — такая радость!

Вскоре перебрались из барака и Кириллины. На двоих им дали одиннадцатиметровку, совсем рядом от нас, тоже на Садовой, в деревянном доме.

Игорь играл на скрипке в клубе Дзержинского. Всё время с музыкантами. Куда-то ездил. Получалось, у него своя жизнь, у нас с Танькой — своя, монотонная, не как у него.

Приближался Новый год. А с ним и вечера на ГРЭС. Мы с Татьяной решили подготовиться. У меня было всего одно приличное, светлое такое, платье. Она, Татьяна, моложе меня, а шустрая такая:

— Знаешь, Оль, я как увидела в прошлый раз на вечере ГРЭС женщину в платье из крепжоржета, так несколько дней успокоиться не могла. Ночью оно мне снилось. Такого тёмно-зелёного цвета. Умереть можно! Помнишь? Платье бесподобное, а женщина — воображала. Вся из себя...

— Помню, — говорю. — Ну и что?

— Что-что?! Давай твоё светлое платье перекрасим! А то скука!.. У меня нечего красить.

— А мы сможем? — сразу купилась я.

— Запросто! Только краску бы достать.

Когда поостыли немного, поняли, что, кроме как бутылки фиолетовых чернил, доступного у нас ничего нет.

— Нет так нет. Даёшь фиолетовое платье! Не всем же ходить в платьях цвета морской волны, — браво заявила моя подруга.

Неспроста она так хлопотала: это я потом догадалась уже, чуть позже...

Они с Игорем были в заговоре. На вечер мы пошли втроём. Татьяна предложила пригласить Игоря.

Я не сразу согласилась, а она напирала:

— Оля, ты чудная какая. Такой парень! Смотри, я не такая, как ты: у меня мама — казачка, проспишь — мой будет!

Мы впервые с Игорем танцевали. Наравне со всеми. Один, правда, всего танец.

Игорь был сам не свой. Не сводил с меня глаз. А у меня потекла в тепле краска с моего роскошного платья, от плеч и ниже. Грудь стала фиолетовой.

Потом нам сказали, что надо было платью после покраски прополоскать с уксусом. Но откуда мы могли с Татьяной знать это.

Под трамвайный грохот на Галактионовской с потушенными для маскировки уличными фонарями и с затемнёнными фарами машин мы проводили до общежития Татьяну. Пошли домой на Садовую.

Неожиданно для меня у нашего дома Игорь попытался меня поцеловать. Я вывернулась и убежала, хлопнув калиткой. Неделю старалась не попадаться ему на глаза.

С того новогоднего вечера всё-то у нас с Игорем и началось...

Он караулил меня у дома. Встречал, провожал. Никого ко мне из ребят не подпускал. Всё стало по-другому. Не как в бараке.

Я не была готова к такому. Наверное, не выросла ещё...

На ГРЭС был душ с горячей водой

Из записок Тани Брусникиной:

«...В конце 44-го нас стали брать работать в цеха станции. Мы должны были получить навыки работы на всех рабочих местах ГРЭС. От подачи топлива до турбинного цеха. Я поработала везде. Осталась на рабочем месте помощника насосчика питательных насосов. Позже перешла в котельный цех, там обслуживала пять котлов, чаще работало три. Смены длились по двенадцать часов.

Позже стала техником-нормировщиком. Работать вначале было тяжело. Но были и плюсы. Сотрудники как могли подкармливали меня. Я знала ребят, работавших по двенадцать часов в смену и дополнительно потом в ночь направляемых на разгрузку угля. Мёрзли, а тепло городу давали. Им готовили омлеты из американского яичного порошка, полученного по ленд-лизу. Прото, чтобы поесть мяса, невысказано было даже мечтать. В столовой ГРЭС давали болтушку из крупы и картофеля. Это было в радость.

Мне впервые начали платить какую-то зарплату.

Кроме того, на ГРЭС работал душ с горячей водой. Можно было помыться.

В училище нас водили в баню строго по расписанию. И только ночью. Днём баня всегда была занята».

Хоть в шалаше, хоть на льдине...

...Весной сорок пятого я вышла замуж за Игоря. Неожиданно для себя.

Тётя Вера очень сильно настаивала, чтобы я выходила за него.

— Олечка, — говорила она, — оглядись вокруг, где они, женихи-то? Одни безногие да безрукие. И те, которые целыми верну-

лись, не лучше... Вон меж бараков на Полевой Боря Баян... На баяне концерты у него день за днём. Репертуар один и тот же: «Шумел камыш» и «Разлука ты, разлука, родная сторона...» Или посмотри на молодую публику у пивной на Садовой?.. Чего ты хочешь? Игорь тебе все ноги оттоптал... Мы его знаем. Он — наш! Свой! Ближе Кириллиных у нас знакомых нет. И потом, он талантливый! Музыкант! Что тебе ещё надо?! Ради таланта можно отдать всё!

Так она говорила. И всё правильно, казалось, говорила. Но я чувствовала: чего-то не хватает. Всё верно, а моё сердце — холодное. Разве так должно быть?!

И когда Игорь горячо и настойчиво требовал своего, я не становилась решительней...

— Тётя, — удивилась я вслух и себе, и им обоим с мамой, — разве это так бывает? Раз талант, то надо быть у него рабом?

— Хочешь такой жизни, как моя? — нервно произнесла тётя. — Это надо пережить ещё!

Я не знала, что говорить. Мама молчала. Всё как-то решалось без меня. В силу неопровержимой какой-то истинности. Или необходимости...

...Заговорила вновь тётя, моя заботливая тётя:

— Это, может, единственный твой шанс ещё и вернуться в Ленинград! Ты понимаешь? Кириллины не останутся тут. Игорь уж точно!

— А почему ты не выходишь замуж? — выкрикнула я от бессилия. И устыдилась своих слов...

— Э... э... Деточка моя. Опять двадцать пять! Где уж нам уж выйти замуж, мы уж так уж: как-нибудь! А тебя зовут! Понимаешь?

И я, увидев её измученное лицо совсем рядом со своим, упала духом.

«Они так нянчатся со мной, как с куклой! А я — никакая! Я не знаю, чего хочу? Хлопаю круглыми глазами», — корила себя.

— Упаси тебя Бог от одиночества, — она это сказала уже бесценно.

— Помнишь, — сказала мягко мама, — помнишь, как Сима в поезде перед смертью просила нас сберечь Игорька? Об одном этом молила... Мы обещали...

...А я не готова была к замужеству. Что я знала в жизни тогда? Мне едва исполнилось восемнадцать лет.

И Таня ещё:

— Ой, Оля, Оля! Уведут его. И всё тут! Кусай тогда локотки. Это я, подруга твоя, не решилась. А так бы!.. Я бы с ним хоть на край света. Хоть в шалаш, хоть на льдине!.. С ним и с его скрипкой...

А тут — Победа! Я работала в то время в энергонадзоре на углу Ленинградской улицы и Куйбышевской. Общий восторг! Крики «ура!» Народ высыпал на улицы! Ликование. Все стали друг другу как родственники!

Тороплюсь радостная домой. У филармонии топот, там пляшут, кричат: «Ура! Мы победили!» Играют кто на гармошке, кто на балалайке... Толпы народа. Трамваи стоят...

Молодёжь ликовала, прыгала от счастья. Кто постарше, верно сказано, были «со слезами на глазах».

В эти радостные, духоподъёмные весенние дни мы стали с Игорем мужем и женой.

Я стала Ольгой Кириллиной.

Вот так и смешались два совсем разных события в моей жизни в одно единое.

Джаз отнимал у меня мужа

Тогда, в сороковых годах, в Куйбышеве было немало эстрадно-джазовых оркестров. В кинотеатрах, клубах, институтах. Они-то и отнимали у меня Игоря. Игорь, играя на скрипке, жил своими интересами. Всё больше и больше отдаляясь от семьи. В котельном цехе ГРЭС он уже давно не работал. Бесконечные «халтурки», ночёвки не дома, а не пойми где. «Халтурки» часто были выездными. Жена у него была не я, а скрипка!

У меня учёба в техникуме, а у него — концерт. У меня рабочая смена, у него — поездка в другой город. У меня мои мама, тётя Вера, у него — его оркестр.

От первого в городе биг-бенда Игорь был в восторге. В клубе Дзержинского в то время играл профессиональный оркестр. Во главе его — знаменитый на весь город Моисей Зон-Поляков. В оркестре были медные духовые инструменты, аккордеон, саксофон и вот — несколько скрипок.

После смерти Зон-Полякова оркестром стал руководить талантливый трубач Юрий Голубев. Игорёк был без ума от него. Оркестр имел большой успех! У них там уровень-то был высокий. Я, может, и полюбила бы джаз, но он отбирал у меня мужа.

Голубев играл и в филармонии. Virtuoz! Богема. Потом, когда они начали играть в кинотеатре «Молот», публика ходила не на сеанс, а послушать их игру. У раскрытых окон кинотеатра стояла толпа, слушали музыкантов.

Позже стали зажимать джаз, а тогда — нет. Даже в театре оперы и балета оркестр во главе с Голубевым по понедельникам играл на танцевальных вечерах. В фойе танцевала молодёжь, оркестр играл на антресолях.

И в клубе имени 1905 года был джазовый оркестр. Говорили, что распался он только с началом войны. Этот оркестр состоял полностью из девчат!

Танцевали в «Дзержинке», в клубе швейников на Некрасовской улице. Был такой фокстрот «Линда». Играли духовые оркестры. До сих пор в памяти песенка с пластинки Утёсова «Моя Марусечка»...

Самарский Бродвей

Игорь любил танцевать. Тянул меня на джаз. Тогда в клубе ГРЭС, который располагался на территории закрытого Иверского женского монастыря, был любительский ансамбль. Как говорили, там «лабали» джаз. Молодёжь отрывалась на модных фокстротах и румбах. Бывали мы и в филармонии на танцах...

Но тут было ближе.

Когда-то улица Куйбышева была Казачьей, потом Дворянской, затем Советской. В наше время она была местным Бродвеем, неофициально, конечно. Бродвей, Струкачи — места скопления тогдашней молодёжи. Особый шик был — обтягивающие бёдра мини-юбки, узкие брюки дудочкой, «кок» на голове вместо полубокса, узкий галстук «селёdochка». Манерно развязанная походка. Словечки «чуваки», «чувихи», «хилить». Всё это пришло с появлением «стиляг» в нашем городе.

У меня забот полон рот: сын, техникум, работа. Но всё было перед глазами. Песенка про Чатанугу из кинофильма «Серенада Солнечной долины», танцы... Это пришло из Америки.

«Голос Америки» ещё не глушили после войны. Молодёжи нравились передачи о джазе. Город закрытый. Привозили джаз, записанный на рентгеновские плёнки, название которым было «скелет моей бабушки» или «джаз на рёбрах».

Я замаялась с Игорем. То он где-то вельветовые брюки раздобыл, их срочно надо заузить до дудочки, то из грубого брезента подогнать, как надо, куртку. Сыну Роме не шила, а мужу — куда денешься? Он был такой требовательный. Ругались. Обвинял меня, что я не понимаю его артистическую натуру. Куда уж мне...

Тогда, в середине пятидесятых, в трамваях, на улицах, в троллейбусах много было калек-нищих. Без ног, они передвигались на

тележках. Пели жалобные песни, им бросали деньги. Многие молодые ребята ходили в сатиновых шароварах. Пёстрое было время. Курили сигареты «Дели».

В конце 50-х развернулась оголтелая борьба со стилягами. За буги-вуги водили в милицию. Начали контролировать, кто как одет, какая причёска. Как танцуют.

«Сегодня он любит джаз, а завтра родину продаст», — таков был лозунг тех, кто боролся со стилягами, этими отважными денди страны Советов.

Посыпались на комсомольских собраниях выговоры, отчисления из техникумов, институтов. Выгоняли из комсомола. Особо ярые комсомольские активисты стравливали целые группы.

Были дни, когда на Куйбышевской улице ватаги ребят из ремесленных училищ и ФЗО стали вылавливать тех, кто в узких брюках, и бить. В ходу были бляхи, ремни. Стиляг теснили с их Бродвея — Куйбышевской улицы. «Стиляги», сплотившись, давали отпор. Доходило то того, что особо рьяных с бляхами бросали через парапет в Волгу. Борьба шла с переменным успехом. Но стиляги вернули себе свой Брод.

Стиляги вздохнули позже, только в 57-м году, после фестиваля молодёжи и студентов в Москве...

Игорёк мой, Игорёк...

Я продолжала жить с мамой и тётей Верой. Игорь редко бывал в доме своего отца.

С рождением сына Ромы техникум пришлось мне пока отложить. Работу тоже. Тётя Вера не жалела себя, помогая мне возиться с сыном. Это по её желанию мы называли сына Романом. В честь её жениха, погибшего в финской войне.

Игорёк мой оказался лёгким в отношениях с женщинами. Влюбчивым.

Одно увлечение на стороне, другое...

...Узнала, что у него был роман, когда я ходила беременной. Он клялся, что это случайно всё. Так сложилось. А мне от этого ещё противнее было: «Случайно»...

Божился, что такого больше не будет.

А вскоре вновь его занесло. Ни у отца, ни у нас его нет...

Мы жили разными жизнями с ним.

Путано говорил, что у артиста такая жизнь... Что от этого не уйдёшь. Я начинала понимать, что он просто меня дурит. Не зна-

ла, что делать. Он мнил себя в будущем звездой, что ему многое должны прощать. И помогать!

Всё в доме, заботы о сыне Роме лежали на нас, на трёх женщинах. Двое из которых часто болели.

«Перебесится, пройдёт, — успокаивала меня Татьяна, — будь мудрой».

Ей легче было так говорить. А у меня всё в сердце. Чуть не каждый день что-нибудь. То легко ко всему относился, а то капризничать начал, по мелочам психовать...

Мой муж стал мне мерзок. И сам, и его джаз...

Плакала я часто...

Пыталась терпеть.

Но жизни такой не хотела, чувствовала, что долго не выдержу...

«Мне мало Куйбышева...»

...Кириллины начали готовиться к отъезду в Ленинград. Не сразу, но дали им там однокомнатную квартиру. Оказывается, Павел Борисович занимался этим, не сказав нам, давно уже. Игорь уверенно мне говорил, что скоро весь Ленинград будет оклеен афишами о его концертах. Он готовился под руководством Игоря Голубева к поступлению в консерваторию. «Мне мало Куйбышева», — заявлял он. Обещал, что приедет за мной, как только всё утрясётся на месте.

Я чувствовала фальшь в его словах. Этот отъезд был для меня хоть каким-то, но выходом.

...Моя непрактичная мама несколько раз писала в Ленинград по поводу нашей квартиры. В последний раз ей ответили, что надо приезжать и заниматься на месте вопросом предоставления нам другого жилья. Поскольку в нашей квартире живёт заслуженный военный, освобождавший блокадный город.

Притом надо иметь местную, ленинградскую прописку. Как это всё увязать, мама не знала. Надо было где-то временно жить в Ленинграде. Но мама работала. Тётя Вера уволилась по инвалидности. И с её-то сердцем?.. Павел Борисович не проявлял желания помочь...

Когда тётя Вера, отстранённо наблюдавшая за хлопотами мамы, заявила, что она возвращаться никак не намерена, мама перестала этим заниматься. А я-то видела: маме очень хотелось в Ленинград. Это был её город.

...У Тани Брусникиной сложилось по-своему. Она не переставала искать свою семью, жившую в начале войны в Воронеже. Думала, что все погибли. Писала на все адреса, какие помнила, родственникам и соседям.

Наконец нашла своего брата с женой, которые вернулись в Воронеж из Сибири. Взяла отпуск и поехала к ним.

Воронеж, говорила она, почти весь разрушен. На месте её дома только печка и осколки от посуды.

Выяснилось, что мама её с сестрами живёт в Свердловске. Все думали, что она погибла, ибо её долго не могли отыскать. Она напилась воды на перроне и заболела дизентерией. От лекарств, которые ей кололи, ослепла. Зрение восстановилось только через четыре года.

Отпуск кончался. Перед отъездом в Куйбышев родственники собрали ей пару кофточек, сапоги, белые туфли на каблуке.

Так у неё впервые за четыре года появилась какая-то одежда, кроме казённой.

Через два года вышла замуж.

Тут уж она окончательно осела в Куйбышеве, приросла до конца жизни к Волге.

Сколько таких, как мы, в нашем городе?!

Как я могла уехать?

Игорь через год приехал в Куйбышев. Звал в Ленинград. Но странно так. Как по обязанности...

Как я могла оставить слабенькую маму и уже полуслепую тётю Веру? Уехать мы могли только все вместе.

Но тётя Вера вновь наотрез отказалась возвращаться в Ленинград. «Ленинград — мой любимый город, но жить я там не смогу», — так сказала.

Я не видела большого желания Игоря забрать нас с сыном. Что-то, вернее кто-то у него в Ленинграде был. Так я чувствовала. Не знал он, чего хочет...

Отказалась.

Мама настаивала:

— Оставь нам Рому и езжай с Игорем. Разве можно на нас с Верой оглядываться. Мы отработанный материал (так моя мама и сказала: «отработанный материал»). А у тебя жизнь впереди! Мы поправимся. Глядишь, всё и образуется.

— Я никогда к нему не поеду. Он мне противен, — сказала это впервые вслух. И мне стало легче...

Обрадовалась, что останусь. Боялась за тётю Веру. Мы её чуть было не похоронили этой зимой.

Как получилось? Когда она моложе была, всё гуляла вдоль Волги. А тут с соседкой стали они ходить в Струковский сад, по Вилоновскому спуску. А там разбитная ребятня каталась: кто — на деревянных санках, кто — на металлических, гнутых, из толстых таких железных прутьев. Отчаянно спускались с самого верха и — в сторону Волги. Со свистом, гиканьем. Тётю Веру и сбила одна такая лихая повозка.

Подруга её, тоже больная, как-то увернулась, переходя дорогу, а тётя Вера попала под полозья этих самых гнутых железных саней.

Привезли её домой из больницы никакую. Переломов не было, но тело всё в синяках. Так она стонала по ночам...

* * *

— Глупенькая, может, у тебя кто-то есть? — всё пыталась понять меня мама.

— Нет никого, — отвечала. — Я вообще никогда больше не выйду замуж!

— Разве так можно?

— А если и выйду, то за дряхлого старика... Для формальности. Мне противны мужчины. Особенно как Игорь! Они все такие! — я сорвалась в истерику. — Красавчики!..

Мама поймала мою головку. Прижала к себе.

— Маленькая моя! И глупенькая ещё...

Мы опустили на диван. Обе в слезах.

* * *

...Потом Павел Борисович, отец Игоря, писал письма маме. Жаловался, что Игорька никак не может вырвать из беспорядочной жизни, из постоянной пьянки... Что он силой едва вытолкнул его за мной в Куйбышев. Надежда была на меня: может, я верну Игоря.

До того, живя в Куйбышеве, Павел Борисович ничего не сделал, не помог маме в хлопотах о нашем жилье в Ленинграде. Думаю, намеренно. Не хотел такой хвост тащить за собой: маму мою, тётю Веру, меня с Ромой. Сколько забот. Ненадёжный он был, неискренний... Как и Игорь...

Уезжал он из Куйбышева с молодой женой, до нас ли?

Не мы ему судьи...

В каждой жизни своё...

Самара-городок

По городу снова поползли слухи о «чёрной кошке», как в первые годы, когда мы приехали в Куйбышев. Тогда, в 44-м, большую банду обезоружили во время засады в бараках на Полевой, рядом от нас. В 45-м на Пионерской застрелили одного из главарей, как говорили, Ваську Графа. Его банда убивала и взрослых, и детей.

Притихло чуть, а года через три вновь всплеск бандитизма. Были районы, в которых нельзя было появляться. Говорили позже, что в городе было до трёх десятков бандитских групп.

Ещё бы, если учесть, что в течение четырёх последних месяцев 41-го года в Куйбышев были эвакуированы десятки промышленных предприятий из западных районов СССР. С ними приехали рабочие и служащие. Нехватка жилья, продовольствия делала своё дело. Возникли спекуляция, воровство...

...Через «Безымянлаг» прошли десятки тысяч заключённых. В бандах были бежавшие из заключения уголовники, дезертиры с фронта, уклонившиеся от призыва. Всего хватало. Аукалось до 50-х годов...

* * *

Таня Брусникина стала встречаться с Костей Звягиным. Он приходил к ней в общежитие. Рассказал разок нам о своём товарище. Кажется, Гришей его называл.

Познакомился этот матросик Гриша с девицей, а она жила, как оказалось, в Запанском: это район за улицей Ленинградской, ближе к Самарке. Пошёл он её провожать. А ещё не знал, что за район такой? Или знал? Да уж больно фартовым был матросик. Служил на крейсере «Молотов» Черноморского флота. В 45-м во время проведения Ялтинской конференции Григорий видел Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. А в 47-м году, в августе, по-моему, у них на крейсере был Сталин. Они доставляли главнокомандующего из Ялты в Сочи.

...И вот направился он эту девицу провожать вечером в Запанской.

— Идёт, — рассказывает Костя про Гришу, — и чувствует, что-то не то... Ни души. И полумрак.

А девица игриво говорит:

— Гриша, ты что-то отстаёшь? Боишься, наверное?

— А чего мне бояться? Не из робких.

А сам оглядывается, обстановочку осваивает...

Пришли они к небольшому деревянному домику. Гриша не торопится заходить. В окнах света нет. Угрюмо так всё. Тусклый фонарь на столбе.

— Я живу с мамой, она на два дня уехала в Рождествено. Мы будем одни, — воркует спутница.

Шагнул он в сени.

«Я, — говорит Гриша, — сразу обратил внимание, что уж очень какая-то большая обувь у порога стоит. В полумраке всё... Показалось?.. Живёт с матерью. Зачем им такие огромные галоши? Неужто мамаша у неё такая большая?»

Зашли в дом. Усадила она его в центре комнаты за стол с клеёнкой, с линиялыми снегирами.

«Сейчас чай принесу», — сказала и ушла на кухню.

Сидит Гриша.

И тут из соседней комнаты выходят двое. Верзилы такие! Один финкой так ловко поигрывает. Непростая, видит, финка. Тёртые, не уличные горчишники.

— Давай, — говорит, — снимай костюмчик.

— Я не успел испугаться, — рассказывал Гриша. — Мысль мелькает: вот, оказывается, чьи такие галошки!

— Шевелись, — торопит другой, — и ботиночки, и рубашку белеенькую...

В бою под Феодосией крейсеру, на котором служил Гриша, торпедой оторвало двадцать метров кормы. От смерти команду спасли водонепроницаемые перегородки и оставшиеся винты. Они позволили уйти из зоны обстрела. Была возможность манёвра на море. А здесь, в этой уютной комнате, какой манёвр?

— Оценил я, — говорит, — обстановочку. Никудышная она для меня. Начал раздеваться.

Когда уже в сенях одевал на босую ногу галоши не менее 46-го размера, подал ему тот, что с финкой, какую-то прелую бечёвку:

— Подвяжи, кавалер!

И второй с жёсткой ухмылкой:

— Ежели обули мы тебя, ступай с миром.

Хорошо «обули». Ботиночки-то на нём, которые сняли, были брата старшего.

Пришёл он домой в одних трусах, едва рассветать начало. Потом узнал: не одного его так. Промысел был такой в этом районе.

Когда Костя ушёл, подумали: не про себя ли он рассказывал? Был ли Гриша? Уж больно подробности знал...

Таня за Костю замуж потом вышла.

Он на крейсере машинистом-турбинистом служил, а после вот в цехе, где Таня работала, — машинистом-котельщиком. Мы с ним вместе потом учились в вечернем техникуме.

* * *

...Самара. Она — разная.

— Какие странные порой бывают совпадения, события, — говорила Ольга Михайловна мне при следующей встрече.

О бандитах слышали, а о тех, о ком надо, нет.

Алексей Толстой, наш самарский Толстой, жил во время войны в Куйбышеве. А учился до войны в нашем Ленинградском технологическом институте.

5 марта 1942 года в Куйбышеве на сцене Куйбышевского театра оперы и балета в исполнении оркестра Большого театра впервые была исполнена Седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича.

Исполнение её передавалось всеми радиостанциями Советского Союза. Великий композитор жил в Самаре.

В октябре-ноябре 42-го состоялись два авторских концерта, в которых принимал участие сам композитор.

Толстой слушал в театре оперы и балета великую симфонию. Писал о первом её исполнении. Мы тогда уже были в Самаре, только приехали. Мы дышали одним воздухом.

Когда позже слушали Ленинградскую симфонию, меня трясло. Я боялась за маму и тётю Веру. Слушали всего один раз. И достаточно. Это было потрясением, второй раз могли не выдержать.

В студенческом переулке

И я чуть было не попалась одно время... Это уже много позже. На краю была.

Иду в ночную смену на ГРЭС по Студенческому переулку. Вечером. А тут — двое. Откуда они взялись только... Хватают меня и чуть не волоком вниз, по ходу, в лесочек. Не знаю, как я отреагировала. Сразу как заору:

— Помогите! Помогите!

А кругом пустынно. В некоторых окнах свет, но что с того?

Один-то мне рот зажимает, я укусила его за палец. Да крепко так. Он выmaterился. А я опять заорала что есть мочи.

Повезло мне: бегут солдатики сверху. Рядом оказался военный патруль.

— Отпустите! — кричат.

Тот, который волочил меня, так нагло, совсем взаправду будто, говорит:

— Это моя жена. Она дурит! Я с ней замаялся. Домой не идёт, шалава!

Но патрульные не купились. Допрос учинили. Потом проводили меня до проходной ГРЭС.

Дня через два идём с Татьяной. Она говорит:

— Давай посмотрим, где это было.

Подошли, показала я где... Из окон дома жильцы выглядывают.

— Что же вы? — говорит им Таня. — Не вышли, когда она кричала?

— Выйди, попробуй, — отвечают. — Хлопнут разом. Там посмотрите, вон, у того дерева. Поймёте, что к чему...

А под деревом большое тёмное пятно.

Тётя с балкона поясняет:

— На следующий вечер, как она кричала, — показывает на меня, — женщину убили. Не только убили. Не случилось патруля рядом.

Больше вечером одна я на работу не ходила.

* * *

Вспомнила ещё про Таню и Костю.

Потом уж, когда они поженились, идём втроём по Садовой. У подворотни стоят ребятки. Шпана. Лучше не останавливаться... Правда, они в своих дворах тут не трогали: особый кодекс был.

Танька и говорит так, мимоходом, когда прошли уже. Вспомнила случай в Запанском:

— Костя, ты мне покажи как-нибудь те большущие галоши, в которые тебя в Запанском обули.

— Зачем? — спрашивает.

— Брат приехать должен, может, ему подойдут. У него сорок четвёртый размер.

— Как я их покажу тебе, когда я эти скороходы нашей вахтёрше в общежитии подарил.

Сказал так и враз осёкся. Сообразил, что попался. Нам-то всё говорил, что это не его, а дружка Гришу в такие галоши обули!

Смеялись мы, помню, с Таней. И он с нами. Называл нас Брусника с Крапивой.

* * *

Таня и Костя поженились и жили некоторое время в Рабочем городке. Располагался этот городок на территории Иверского монастыря, почти напротив пивзавода, принадлежавшего когда-то австрийцу Альфреду фон Вакано. Монастырь задолго ещё до войны был закрыт. В бывшие кельи монашек заселили самарский пролетариат. Это были в основном работники пивзавода, ГРЭС и бондарной мастерской, которая недалеко была.

Помню, было около двадцати корпусов. Среди них помещение, в котором собиралась молодёжь на танцы. Драки были там, доходило до поножовщины.

Таня и Костя жили в коммуналке, сооружённой в бывших покоех игуменьи монастыря. Во дворе были теперь сараи, погреба. Вокруг куры, козы. Туалеты устроили и в здании, и во дворе. Иные стояли прямо на склепах.

А до революции в обители была, я знаю, часовня. Был некрополь, монастырское кладбище. На нём покоились достойные люди Самары. Там похоронен глава нашего города Пётр Алабин.

Но монастырь был закрыт, некрополь разрушен...

* * *

Теперь-то монастырь восстановлен, в нём стоит храм-часовня во имя царственных страстотерпцев — Государя Николая II и его семьи.

А в алтаре храма-часовни замурована земля с Ганиной Ямы, где тела убиенных императора и его семьи были облиты кислотой и сожжены.

В этом году, кажется, заканчивается строительство колокольни Иверского монастыря.

Если идёшь от Волги вверх по Вилоновской улице, красота открывается: дух захватывает! Позолоченный купол не даёт отвести глаз!..

Часть 3. ПОРА ЛЕТНИХ ДОЖДЕЙ

Саша

Прошло более двух лет после того, как Кириллины уехали в Ленинград.

У Жигулёвска строится Волжская ГЭС им. Ленина, Братская ГЭС — на Ангаре, город Братск. На глазах бурно растёт самарская энергосистема. Масштабы! А я маюсь с маленьким Ромой. Тётя Вера совсем плохая.

От Кириллиных ни слуха, ни духа.

Техникум я забросила.

Чтобы полегче было с Ромой, перешла работать в столовую ГРЭС посудомойкой. Резала хлеб, разносила его по столам. Мыла посуду. На такой работе было посвободнее со временем. Могла сбежать домой, чтобы посмотреть, как там тётя и Рома.

Живу и чувствую себя щепкой, соринкой, прибитой большим потоком в заводь с камышами...

Очнулась я от беспросветности, когда появился в моей жизни Саша.

Он пришёл обедать в нашу столовую. Увидел меня и зачистил к нам. Обедал и смотрел на меня. Молча.

Первое, что он сказал мне, не зная, как зовут ещё, кто и что я:

— Эта работа не для тебя. Ты должна учиться.

— А кто вас кормить будет тогда? — сказала так, не желая говорить на эту тему. Я тогда сильно жалела, что пришлось бросить учёбу в техникуме.

...Мы стали встречаться.

Оказывается, его Самара тоже и приютила, и обогрела.

Приехал Саша после окончания лесного техникума из Бобруйска. Отец — лесник, мать — домохозяйка.

Странно: он полтора года уже работает на деревообрабатывающем комбинате, что под Чкаловским спуском, недалеко от завода «Кинап» и рыбоконсервного завода, до которых мы с тётей Верой иногда доходили. Живёт тут же в бараке, а мы ни разу не видели друг друга.

Саша Белозёров!

В его имени и фамилии столько для меня солнечного и радостного!

Я не узнавала себя. Я оттаяла! Ждала каждой нашей очередной встречи. Ждала и боялась. Себе не верила. И судьбе не верила. За что мне такое?

Каково будет, когда откроется, что я была замужем и у меня ребёнок? Катастрофа. Ему это надо?

...Мы встречались почти целое лето, и Саша ни разу не попытался меня поцеловать... Поцеловала его я, первая. Неожиданно для себя...

Он был большой, добрый ребёнок!.. А я столько уже видела... Как такое может быть после всего...

Два билета в театр

В тот день Саша довольный прибежал ко мне в столовку. Показывает два билета:

— Идём сегодня в театр оперы и балета на «Лебединое озеро». Я решил тебя познакомить с моим двоюродным братом.

Я растерялась.

— Ты о брате мне не говорил.

— Вот сейчас говорю. Он будет с женой. Совсем недавно выписался из военного госпиталя на Мологвардейской. Они у меня замечательные. Сама увидишь! Ты можешь пойти? Как со временем?

— Конечно, — отвечаю.

Не говорю, что я три раза уже видела «Лебединое озеро». Не знаю, как быть. Ведь это смотрины. Он меня будет показывать своим. А я — матрёшка. Во мне сидит ещё одна Оля, о которой он и не подозревает. Что же будет? Что я делаю?

...Вошли с Сашей в фойе оперного театра. У ступенек стоит пара.

— Вон они, — возбуждённо говорит Саша.

Она — лёгонькая такая, светлая и улыбочивая! Похожая на Любовь Орлову. Белое платье. Около неё вполоборота к нам лет тридцати её спутник, похожий на Сашу. Только чуть повыше ростом и смуглый. И... на костылях. Правой ноги у него нет выше колена.

Познакомились. Всё легко и празднично!

Прозвучал звонок, мы пошли в зал.

...В перерыве в фойе не пошли. «Наверное, из-за Димы, — думала я, — чтобы с костылями не путаться между рядами, не мешать людям».

Завязался разговор, не помню уж о чём. Говорили больше Саша и Соня. Брат Саши улыбочиво слушал.

И тут Соня говорит непринуждённо:

— Олечка, нам Саша все уши о вас прожужжал, какая вы замечательная! И правда ведь! Чудо какое! Прелесть! Приходите к нам в выходной в гости. Будет пирожное, я напеку пирожков.

Во мне что-то сработало. Сама не ожидала:

— Я не могу, — говорю.

— Ну, почему же? — удивилась Соня. — Часика на два? Мы живём на Галактионовской, около Троицкого рынка. Можно на трамвае.

— Я не могу, потому что у меня ребёнок, а мама приболела, — сказала я, словно продекламировала.

Насчёт мамы я не придумала. Но разве в этом дело?

Я сказала так, не глядя ни на кого. В пустоту. Лиц я их не видела. Все молчали.

Началось второе отделение. Я сидела, опустив голову. Слёзы мешали видеть, что происходит на сцене. Начала шмыгать носом. Не в силах привести себя в порядок, встала и неуклюже направилась в фойе.

В гардеробе меня догнал Саша.

— Оля, подожди! Надо же успокоиться и поговорить.

— Я хочу домой! — по-детски выскочило у меня.

Схватив плащик, я выбежала на улицу.

Саша в скверике слева от театра вновь догнал меня. Схватил за плечи, что-то говорил. Я не слышала что...

Вывалась. И побежала на остановку трамвая. Не помня себя.

Опять всё, весь мир был против меня. Блокада.

* * *

...У меня не было ни телефона его, ни адреса, где он живёт.

Да разве бы я смогла начать его разыскивать?! Я гордая была, вернее глупая совсем.

Изревелась вся...

Букет белых роз

Саша не появлялся около месяца. А тут вечером, когда я была в зале нашей столовой, он пришёл с букетом белых роз.

Сидевшие за столиками подняли на него лица.

Помню, как у меня застучало в висках. Общий гул в зале как-то стих. Или это мне только показалось. Я поплыла в какой-то невесомости.

Вернул меня в себя чёткий голос Саши:

— Оля, выходи за меня замуж!

Это было первое, что он произнёс.

И не успела я сказать ни единого слова, как за ближними столиками захлопали в ладоши.

— Вот видишь, все одобряют! — на осунувшемся лице Саши заиграла привычная его улыбка:

— Куда против общества?!

А я молчала. Им что, хлопающим в ладони?! Они видели только цветы... Не знала, что говорить, что делать...

...Я направилась со своими тарелками через весь зал, неуклюжая, как комод.

Мы так и двигались: впереди я с тарелками, сзади — Саша с букетом.

И нам аплодировал, казалось, уже весь зал.

Моя неожиданная опора

...Настало время, когда я перебралась жить к Саше в его барак. Это было недалеко от того места, где когда-то мы начинали жить в Куйбышеве. Только наш барак стоял ближе к Маяковскому спуску, а его — к Чкаловскому.

Сын Рома был то с мамой и тётёй Верой, то у нас.

Саша дал мне новую жизнь!

Самара меня спасла после Ленинграда, Саша — отогрел. Мама, тётя Вера и я жили на Волге, в Куйбышеве, работали. Но были словно квартиранты. Иногда гуляли вдоль реки.

А Саша сделал так, что я полюбила Волгу. Город и река теперь вошли в мою жизнь.

Смешно сказать, какие мы были до Саши.

Один только случай: купили мы с мамой у рыбаков, гнавших плоты, небольшого осетра. Разделали рыбину, а икру выбросили. Мы никогда не видели прежде чёрной икры. И нам показалась эта чёрная масса очень подозрительной.

...У Жени Корсакова была самодельная старенькая лодка с мотором от машины. Я узнала, что такое Шелехметь, Проран, Винновский затон, Кресты, Чапаевские лиманы. От ночёвок на Волге я была в изумлении. Но была неумёха. Не могла сноровисто чистить рыбу. Саша и тут нашёл выход. Он был по натуре изобретатель. Отпилил у старого стула в четверть длиной ножу, к торцу этого обрезка прибил гвоздём металлическую пробку от пивной бутылки. Протянул мне:

— Возьми инструмент!

...И впрямь — чистилка. Так здорово!

В бараках мы жили с соседями дружной некуда. Варили на плитах, без каких-либо претензий друг к другу. Если кто-то пёк пирожки, то заранее готовил тесто, чтобы хватило на всех ребяташек, которые будут в это время около. И они знали своё право. На запахах быстро слеталась дружная стайка.

...Около барака кто лук, кто капусту посадит.

Саша удивлял и тут всех. Раздобыл три бочки, засыпал их перегноем вперемешку с навозом. И посадил тыквы.

Некоторые посмеивались над его затеей.

А тут появились жёлтые цветы, заботливые пчёлы... Саша приладил около бочек досточки на камушках. И на них закрасовались вскоре добродушные тыквы.

У тех, кто посадил тыквы в грунт, были чахленькие плоды, скукоженные. А у него как на подбор — толстушки. Около Саши всё становилось интереснее, самое, казалось, простое...

В детстве и потом меня окружали мужчины, которые руками мало что умели делать.

Я запоздало узнала и оценила таких, как мой Саша.

Пора летних дождей

Теперь я полюбила не только реку Волгу. Около Саши я полюбила воду. И раньше её не боялась, но я её не замечала. Была равнодушная к ней. Не задумывалась о её значении. Но ведь жизнь и вода взаимосвязаны. Неразделимы. Водную гладь, её пространство я стала чувствовать постоянно и остро. Подсознательно начала воспринимать Волгу как заслон от всего злого, что могло быть в мире, что настроено против меня. Мне и Саша стал казаться частью окружающей доброй стихии. Когда я говорила Саше об этом в наших вылазках на природу, он посмеивался надо мной:

— Нашла Дерсу Узала. Я технарь. Имею дело всё больше с железками. А ты маленькая ещё. Самарянка!

А я и не хотела теперь расти. Зачем, когда мне стало так уютно быть с ним, в таком ладу с природой...

Теперь я поражалась таинству дождя, падающему снегу, догадываясь о каком-то особом смысле их в моей жизни.

В присутствии Саши во мне возникало ощущения прихода долгожданного уюта — как при неожиданном майском тёплом дожде... Саша снял с меня блокаду...

Я полюбила летние дожди, запах земли после них. Это осталось на всю мою жизнь. От Саши. Такие дожди наполняют всё вокруг жизнью...

Появилась уверенность, что ты можешь многое сделать. Что всё вокруг этому способствует...

Ощущение глубинной связи со всем земным — это было ново для меня. Ничего подобного раньше я не чувствовала.

Мысленно соглашалась с Сашей: я ещё не выросла, мне некогда было расти. Моя жизнь раньше шла замедленно... Теперь, оттаяв, начала нагонять упущенное.

Вернулась, по его настоянию, к учёбе в вечернем техникуме, а Саша поступил на вечернее отделение в институт.

Когда в пятидесятом у нас родился сын Коля, нам дали на Самарской улице в деревянном доме в коммуналке одиннадцатиметровку. Саша работал мастером. Я же перешла на ГРЭС в производственный отдел.

Теперь удивляюсь: как мы всё успевали?

Характеры

...Борис Кожин — один из замечательных наших самарских журналистов, признаётся, что всю жизнь ломает голову над вопросом: какой он, самарский характер? Мучается, бедняжка! Почитайте его воспоминания. А я всего-навсего расскажу один случай из моей жизни... Один? Нет, два!

Могу и больше. Нет, пусть два будет.

Это было, кажется, в пятьдесят седьмом году.

Я тогда после окончания техникума работала инженером по технике безопасности в нашем управлении. И довелось мне лететь в командировку в Москву.

Я знала уже многих в нашей системе.

Случилось так, что моими попутчиками оказались директор одной из промышленных ТЭЦ области Михаил Михайлович Первушин и, я забыла теперь его фамилию, Муртаза, снабженец с нефтеперерабатывающего завода.

Обрадовалась я такой компании. Оба весёлые. Муртаза — высокий, смуглый азербайджанец. В элегантном белом костюме. Приземистый, скуластый Михаил Михайлович — в строгом синем костюме, при галстуке.

При посадке в самолёт обнаружилось, что мы летим с большой командой знаменитых артистов. У меня голова кругом по-

шла. Все — народные: Борис Бабочкин, сыгравший Чапаева, Борис Андреев — тут не перечислишь всего. Это и «Трактористы», «Два бойца», «Кубанские казаки», «Сказание о земле Сибирской». Только перевела дух, вижу за Андреевым идёт артист Большого театра, знаменитый бас Максим Дормидонтович Михайлов, за ним — Рашид Бейбутов. И много ещё кто. Невероятно!

В области тогда широко праздновали Дни урожая. Они были приглашены.

В самолёте мы оказались рядом. Наш маленький самолётик набрал высоту. Борис Андреев и Первушин сидели рядом друг с другом, через проход. Не помню уж как, но завязался у них разговор. Всё слышно, рядом же.

Когда Андреев узнал, что Михаил Михайлович энергетик, да ещё директор большой ТЭЦ, стал расспрашивать: что да как?..

Слышу, Первушин говорит Андрееву:

— Скучное это дело — говорить о работе на сухую, когда продукт прокисает.

— Какой продукт? — спрашивает артист.

— А вот, — отвечает Михаил Михайлович. И достаёт из-под ног канистрочку такую металлическую. На два литра спирта, причём медицинского. — Прокисает! Ай-яй-яй! Жалко! — и качает головой.

Наступила немая сцена.

Мне показалось, что народный артист малость опешил. Директор! Солидный товарищ, чинный, при галстуке...

Первушин, видимо, кое-что понял: махнул рукой по голове. Прилизанные аккуратно волосы взъерошились задиристым хохолком. Он противным голосом пропел:

*Я в детстве был горчичник,
Носил я брюки клёш,
Сало-мин-ную шля-пу,
В кармане финский но-ж!*

Борис Андреев тут же подыграл местному артисту. Крякнул озорно и громко, оглядывая небольшой салон, и, подняв огромную кулачину на уровень виска, пророкотал:

— Разлука ты, разлука, чужая сторона!

Я видела: всем становится интересно. Борис Бабочкин сзади меня похохатывал, сидевший впереди Михайлов широко улыбался.

Как-то быстро всё организовалось. В проходе положили чемодан. У Муртазы оказалась целая авоська с антоновскими яблока-

ми. Ещё кое-что нашлось у артистов. У бортпроводницы попросили посудинку и одновременно позволения на затеваемое действо. И то, и другое было выдано. Куда денешься? Такие пассажиры не каждый день бывают!

Сгрудились поближе к чемодану. А тут выяснилось, что Борис Андреев и Борис Бабочкин — оба из Саратова, волжане!

Прозвучал тост за волжскую землю!

Кто выпил, кто только крякнул. Оказалось, что Михайлов — тоже волжанин. Между первой и второй — промежуток небольшой! Очень понравились Максиму Дормидонтовичу малосольные огурчики...

Вдруг Муртаза встал и, приветственно протянув руку в сторону Рашида Бейбутова, который оставался со своей женой сидеть на своём месте, высоким голосом запел. И ладно так:

*Я встретил девушку,
Полумесяцем бровь.
На щёчке родинка,
А в глазах любовь.*

Всё было будто отрепетировано. Тут же в ответ зазвучал золотой, божественный голос Бейбутова:

*Ах, эта девушка меня с ума свела,
Разбила сердце мне, покой взяла.*

Стояли два красивых человека. Оба в белых костюмах и самозабвенно пели.

Потом Муртаза сел. А Рашид Бейбутов продолжал:

*Песня первой любви в душе
До сих пор жива.
В песне той
О тебе все слова.*

Он было попытался подойти туда, где чемоданчик. Жена его не пустила.

Андреев широким жестом манил его к себе. Бесполезно.

Потом в нашей жизни будут замечательные Магомаев, Бюль-Бюль-Оглы, но для меня Рашид Бейбутов — непревзойдённый певец!

...Вдруг он, по-мальчишески сверкнув большими тёмными глазами, запел песню «Аварая» из индийского кинофильма «Бродяга». Пел он на хинди.

Салон самолёта заполнился овациями.

Я потом слышала, что будто в фильме «Бродяга» вместо Раджи Капура эту песню пел он. Верно ли, не знаю...

...Около чемоданчика в проходе вершилось своё. Когда влаги в баклажке поубавилось, решили померяться силой. Взгромоздили чемоданы один на другой. Подходили и те, которые не артисты. Всех желающих Борис Андреев безжалостно и вольготно перебарывал. Настал момент, когда вопросительно сверху вниз Андреев посмотрел на Первушина.

— Ну нет, мне рано! Рано ещё, — отнекивался Михаил Михайлович, — в канистре ещё на один перелёт влаги! Непорядок это... Недобрал горючего.

Его хитрющие глаза были совсем трезвы.

Наконец его уговорили. Сдался:

— Ну, смотрите! Как хотите. Нам-то что?

Оба они, уперев локти в чемодан, выставили, как рычаги, свои правые руки.

Муртаза сделал отмашку, и борьба началась.

Случилось невероятное: массивная рука Андреева стала клониться-клониться и враз тыльной стороной ладони припечаталась к чемодану.

Наблюдающие оторопели. Казалось, исход поединка был заранее предрешён. Андреев перед Первушиным выглядел глыбой. Недоразумение!

— Максим Дормидонтович, — гудел Андреев, — выручайте, горчичники одолевают.

Все захотели повторения поединка.

Борис Фёдорович вновь выставил руку на чемодан.

Первушин не пошевелился. В окружении шумнули.

— Я же Илью Муромца сыграл в прошлом году! В первом широкоэкранном фильме. Вся страна смотрела. Богатырь! Понимаешь ли... Как такое может быть? — шумно недоумевал артист.

— Не знаю, — беспечным голосом отозвался Первушин. — Без меня дело было...

— Давайте! — напирал Андреев, продолжая держать поднятой руку на чемодане. — Реванш!

— Как хотите! Нам-то что? — отозвался его соперник.

Первушин во второй раз также безжалостно дождал руку именитого противника к чемодану. Никаких бодрых возгласов одобрения. Поражение было всеобщим.

— Чёрт те знает что! — гремел любимый всеми артист, разволновавшись, как ребёнок. — Как такое может быть? — повторял он, виновато озираясь.

По щекам его текли слёзы. Большой ребёнок и большой артист плакал. Я не могла понять: всерьёз это или игра.

Первушин выглядел виноватым.

Из самолёта они выходили обнявшись.

Максим Михайлов нас всех троих пригласил в Большой театр. Через два дня мы смотрели оперу «Князь Игорь», где он пел арию Кончака.

...Борис Андреев тянул потом нас к себе в гости. Он стал нам как родственник. Но у нас уже не было времени. Пообещали в следующий раз. Да как-то потом не сложилось...

Казалось, что жизнь вечна, встретимся ещё...

На Чапаевке

...Я с нетерпением ждала каждой нашей с Сашей поездки на Волгу. На Волге рыбачить с лодки мне было трудновато. Саша нашёл выход. Мы стали ловить в озёрах сорожку. Спокойная рыбалка поплавочной удочкой в затоках была по мне. Особенно мне нравилось ловить краснопёрку. Это неопишное удовольствие: утречком на солнышке выдернуть искрящееся, золотистое, в оперении красных плавников, чудо!..

В этот раз подались мы на речку Чапаевку. Там поспокойнее, чем на Волге. Судов нет, волна поменьше.

Настроились. Забросили один якорь с кормы лодки, а второй Саша не стал бросать — закрепил лодку с носа длинной бечевой за коряжину, лежавшую на берегу у воды. Красота! Лодка наша метра в двадцати от берега, полное безветрие, течение в самый раз. Такое, что приманный мешочек с отрубями и жмыхом, опущенный метра на два в воду, тут же заработал: видно было, рыбка подошла. А я всё неловко задевала чем попало о борт лодки, мелочь тут же реагировала в воде всплесками. Такая я рыбачка.

Саша, по обыкновению, подтрунивал надо мной. Грозил, если не успокоюсь, он меня высадит на берег.

...И тут начались поклёвки. Совсем небольшие, как Саша говорил про щучек с карандаш и поболее, подлещики затрепыхались в нашем металлическом садке.

Мы увлеклись. Кроме нас, до поворотов реки впереди и за спиной — никого нет. Мы и река!

Да, сноровкой на рыбалке, признаюсь, я не отличалась. В тот момент, когда вынимала леску из воды, намереваясь посмотреть, цел ли червяк на крючке, за наживкой выскочил из воды на скорости небольшой шурёнок, ударился о борт и, изогнувшись, словно бумеранг, стремительно исчез в воде. Он так азартно гнался за червяком, что не видел ни лодку, ни нас.

Я от неожиданности завизжала. И выронила из рук удочку.

Саша сдавленно смеялся.

И тут случилось невероятное. За нашими спинами раздался сильный треск и гул. Мы враз оглянулись.

Из-за поворота реки вышла вниз по течению прямо на нас огромная самоходная баржа. Она, видимо, была пуста. Её борта были высоки, нос задран вверх.

Никогда, ни до, ни после этого случая, большегрузных барж мы на Чапаевке не видели. Величина баржи и ширина реки были неподходящи друг для друга. Посудину развернуло на повороте, и треск шёл от кормы баржи, которой она ломала прибрежные кусты. Нос её шёл прямо на нас. Он мог вот-вот начать бороздить противоположный от кормы берег.

Баржа шла не по судовому ходу. Двигалась бортом, перекрывая всё русло реки. Она была явно неуправляема.

На посудине дали продолжительный, запоздалый гудок. Очевидно, включили задний ход, баржа замедлила движение, но продолжала по инерции и по течению надвигаться неотвратно на нас.

Оставалось каких-то метров двадцать. Надо было срочно уходить. Саша пытался вытащить якорь. Он за что-то зацепился на дне. Бросился развязывать узел на верёвке. Бесполезно.

— Нож, где нож? — закричал он.

Нож всегда лежал у нас во время рыбалки на транце* лодки. Сейчас его там не было.

Саша заметался по лодке.

— Прыгай! Прыгай в воду! И к берегу! Я за тобой! — прокричал он.

— Саша, я же не умею плавать!

На борту баржи мелькали несколько человек, что-то крича. И странно: только женщины.

Потом Саша говорил, что в тот момент понял: без меня он прыгнуть из лодки не сможет. Значит, такова судьба... И я об этом тогда подумала. И испугалась за него.

* Транец — здесь сиденье на корме лодки.

...И тут он метнулся к рюкзаку. Это были молниеносные движения. Они и спасли нас обоих.

Как он успел достать топорик из рюкзака и обрубить верёвку, соединявшую лодку с неподатливым якорем, я не могу объяснить... И вновь его команда:

— Тяни за верёвку к берегу!

А как это сделать, когда у меня не слушаются ноги? Я не могу встать!

Он прыгнул, как кошка, на нос лодки, она закачалась. Саша тут же лёг и стал быстро тянуть лодку за бечеву к берегу.

Высокий нос баржи был уже над нашими головами. Мы выплывали из-под громадной многотонной железной посуды. Лодка стремительно ткнулась в песчаный берег. То, что нос нашей лодки был не на якорю, нас спасло.

Баржа прошла от нас кормой метрах в пяти, закрыв собой наискосок почти весь просвет между берегами.

...Я сидела в лодке, не веря ещё, что мы остались живы.

Саша отрешённо смотрел на удаляющуюся по течению реки тёмную громадину баржи. В руках у него был нож, неведь как завалявшийся так некстати под слань лодки.

Радуга

...Хотя мы с Сашей и получили однокомнатную квартиру, всё равно я часто прибегала к маме и тётке Вере. А Рома почти постоянно жил у них.

Тётя Вера уже не печатала. У неё от длительной работы на пишущей машинке руки часто пронизывала от пальцев до локтей боль, наступало онемение. Врачи говорили, что причина этого в сдавливании нервов кистей рук и последующем застое кровообращения. Ей сделали операцию. Но неудачно. Она получила инвалидность. И стала невыносимой брюзгой, категоричной. Маме от неё доставалось. Тётя стала в самых мелочах неуступчивой. Мама в силу своей обычной уравновешенности не возражала ей. Чаще замолкала.

И я не решалась с тётей спорить. Моего чахлого здоровья хоть и хватило на то, чтобы окончить среднюю школу, а потом много позже техникум, всё же я была образована очень узко. Читала тогда чудовищно мало и бессистемно. Тётя же, не имея законченного высшего образования, знала столько всего конкретного, что я поражалась. Мне было стыдно за себя такую. Когда она начинала го-

ворить, я чувствовала, что не во всём она права. Но она приводила цитаты, называла громкие имена.

И потом, тётя Вера постоянно возилась с моими сыновьями. Ей и маме я обязана и тем, что сама выжила, сыновья были здоровы. Как я могла их обоих не любить!

Жили мы как бы отдельно от них, а всё равно у нас была общая семья.

...В тот вечер я забежала к ним после работы, они были обе на кухне. Разговаривали. Я слышала их голоса из прихожки, пока раздевалась. Как всегда, мама говорила сдержанно. Тётя Вера — наступательно:

— Вот послушай! Не меня, гения!

И она начала читать стихи, поднеся очень близко листок бумаги к глазам. Очки ей уже почти не помогали.

Я остановилась в дверном проёме, не решаясь шагнуть дальше, в тесноту. Боялась пропустить хоть одно слово, звук из завораживающего потока.

Голос у тётки был хриловатый. Она давно и много курила. Но слова! Стихи какие!

*Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своём минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла —
Она полнеба охватила
И в высоте изнемогла.*

*О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его — лови скорей!
Смотри — оно уж побледнело,
Ещё минута, две — и что ж?
Ушло, как то уйдёт всецело,
Чем ты и дышишь, и живёшь.*

Я была поражена. При мне тётя Вера никогда не читала стихи. Более того, она не раз выражала недоумение по поводу привязанности мамы к поэзии. Говорила: «В поэзии так много тумана и шаманства. И всё рождается из ничего. Придуманная жизнь».

— Это стихи Тютчева, — сказала тётя, закончив читать. — Они не о радуге. Они о жизни. О том, что мы родились для того, чтобы умереть. Но надо успеть прожить жизнь ярко! И радостно! Мы же маемся в тяготи. У нас обрезаны крылья. И на всю жизнь теперь! Это не стихи! Это музыка! А музыка — начало всех начал!.. Роскошь и в смыслах, и в звуках...

— Откуда это у тебя? — спросила не сразу мама. Она смотрела по-детски широко раскрытыми глазами.

— Откуда? — тётя Вера мотнула покалеченной правой рукой с жёлтым листком бумаги. — На Маяковской, бывало, заходила в городскую нашу библиотеку.

— Нет, вот это? Твоё такое новое восприятие жизни?

Тётя на сразу ответила. Кивнула мне приветственно-сдержанно головой.

— Оно не новое, оно давнее. Старое! Только завалено катастрофически непомерными, непреодолимыми глыбами! Ну ладно, революция! Не нужны пианистки... А потом: финская война — не стало моего Ромашки... И опять война! Блокада — никому не нужны миллионы жизней. Не только не нужны — мешают! Как такое может быть? Когда каждая жизнь — это Радуга! Она и так быстротечна — жизнь человеческая! А её под бомбы. Всё! Казалось бы, миновало страшное. Укрылись в этом городе. Так ждала своего! И вот оно! — она подняла обе руки. Поднесла их к окну, на свет, рассматривая свои пальцы, как чужие.

Гримаса исказила её лицо:

— Я — инвалид! После всего перенесённого — инвалид! А мне бы ещё жить да жить! Не жила ведь!.. Ксюша! Сестрёнка...

— Верочка, миленькая моя, даст Бог, всё встанет на свои места. Не торопись выносить себе приговор.

— Приговор? — повторила севшим голосом тётя. Упрямый взгляд её упёрся в пол.

— Не приговор! Диагноз! Нет, и это не то, — она мотнула головой. — Просто конец! Последний проигрыш в моей жизни. В которой у меня не было мужа, своей семьи не было... Я всю жизнь была замужем за нелюбимой работой! То я машинистка-стенографистка, то машинистка-насосчица! То то, то сё... Давала на станции свет людям. А мне что осталось?

Она говорила это, не поднимая на нас глаз.

— Где моё в моей жизни? Оно должно было быть! Не было моего — не было и моей жизни... Так ведь?.. Будто метка на мне. На всех нас!..

Тётя замолчала. Казалось мне, она поняла, что сказала слишком сильно. Лишнее сказала. Ни к чему так...

Она подняла глаза, посмотрела пристально поочерёдно на меня, на маму. И уже вяло, обессилив от ранее сказанного ею, словно выронила жестяную кружку из рук на пол. В тишине негромко задребезжало:

— Родненькие! Я чувствую, что скоро умру... Как жить, коль не хочу?.. Устала я...

На площади Куйбышева

Трудолюбивый, ровный характер жителей запасной столицы порой не выдерживал.

Вспомнила приезд главы государства Никиты Сергеевича Хрущёва в наш город в 1958 году.

Встреча с жителями Куйбышева была запланирована, кажется, на 11 августа.

Саша принёс специальное приглашение на митинг. Как потом оказалось, помимо разнарядок парткомов, многих пропускали на площадь без приглашений. Мы решили идти втроём: Саша, мама и я.

Прибыл в Куйбышевскую область Никита Сергеевич в связи с пуском крупнейшей в мире Волжской ГЭС в Жигулёвске.

Митинг в Куйбышеве должен был начаться в 14 часов, но народ стал стекаться на площадь намного раньше.

Жара на площади. Уже 14 часов, а высокого гостя нет.

Народ на взводе. Люди волнуются. Несколько десятков тысяч собралось! Некоторые с детьми.

Говорили тогда, что задержка вышла из-за того, что, направляясь из Жигулёвска в Куйбышев, Хрущёв заехал по пути посмотреть под Жигулёвском кукурузные поля и не рассчитал со временем.

С опозданием минут на сорок глава правительства вместе со своей свитой вышел из дверей здания Дворца культуры. Поднялся на трибуну.

Задние ряды решили подойти ближе, чтобы лучше видеть. Сказалось нетерпение, началась давка. Масса народа неуправляемо напирала на передние ряды. Те — на военное оцепление, прижимая военных прямо к трибуне.

Дальше я плохо видела и слышала. Маму подхватило людской волной, как пёрышко. Она оказалась от нас метрах в десяти. Мы

никак не могли с Сашей пробраться к ней. Нас мотало из стороны в сторону.

Слышались крики: «Мяса! Масла!»

Потом уж, в перестроечное время, писали, что из толпы начали бросать тухлые яйца и помидоры. Я этого не видела. Мы спасали маму. На какой-то момент я потеряла её из виду. Исчез и Саша.

Из толпы кричали так, что рядом стоящих не было слышно. Мне было не до трибуны, где Хрущёв пытался что-то говорить. Из-за шума его не было слышно. Видно было, когда толпа отступала волной в сторону, как он разводил руками с микрофоном. Это длилось не более пятнадцати минут.

Неразбериха закончилась, когда он со своим окружением спустился с трибуны и скрылся во Дворце культуры. Митинг не состоялся. Когда толпа схлынула, я увидела своих. Саша вёл ковыляющую маму. На левой ноге у неё не было туфли. Нога от колена и ниже была окровавлена. Она попала под чей-то тяжёлый ботинок в толпе, который прошёлся сверху вниз, изуродовав голень.

Площадь начала освобождаться от народа.

Кругом валялась обувь. Толпа так несла людей, что нельзя было остановиться и поправить ботинки: людская махина могла раздавить.

Саша снял свою майку, и, порвав её, мы перевязали маме ногу.

Не стали искать мамину обувь. Хотелось скорее покинуть площадь.

«Миша, ты же не пьёшь!..»

Побывал в тот приезд Никита Хрущёв и в Новокуйбышевске. На нефтеперерабатывающем комбинате и на заводе синтетического спирта. Об этом нам подробно не раз рассказывал Сашин друг Женя Корсаков: он уже был начальником одного из цехов этого завода. С ним они частенько на Волге под Новокуйбышевском вместе рыбачили. Они крепко сдружились, когда учились на вечернем отделении в политехническом институте.

...Завод синтетического спирта — первенец большой химии в Поволжье.

Тогда три таких завода: в Новокуйбышевске, Уфе, Грозном — кроме ещё нескольких небольших, обеспечивали всю нашу страну сырьём для производства резины.

Вся автотракторная техника, и не только, обеспечивалась шинами, которые делали из каучука. А его получали из этого самого синтетического спирта.

В стране была единая цепочка заводов, производящих спирт: из спирта — дивинил, из дивинила — каучук, из каучука — шины. Покупать природный каучук за золото было не по силам, да его в таких масштабах и не было.

После войны при нехватке продовольствия делать спирт из картошки, свёклы, пшеницы было неразумно. Выручала химия. Пустили завод в самом конце пятьдесят седьмого года. Строила и потом возглавляла его Анна Сергеевна Федотова. Она когда-то училась вместе с Хрущёвым в Промышленной академии.

Первый секретарь ЦК КПСС СССР прибыл на завод в сопровождении Сулова, Брежнева, Аристов и других.

В головном цехе заводские девчата вручили гостям букеты цветов.

Потом секретарь парткома начал дарить гостям сувениры и мензурки с предварительно очищенным спиртом.

Женя слышал, как Хрущёв живо поинтересовался:

— Что в них?

— Наш заводской спирт, — ответила директор завода Анна Федотова.

— Так мало? — глава государства разглядывал на свет содержимое в небольшой мензурке.

— Его пьют? — спросил он. И в упор хитро посмотрел на стоящих рядом рабочих.

Один из слесарей со знанием дела подтвердил:

— Никита Сергеевич, пить можно!

Хрущёв невозмутимо, залпом выпил содержимое.

Тот же рабочий обронил:

— Надо бы в качестве пыжа глоток воды...

Кто-то предусмотрительный протянул стакан с водой.

Хрущёв не торопился.

Взглянув с прищуром на Сулова, произнёс:

— Миша, ты же не пьёшь. Дай мне твою посуду. Я не разобрался.

Взял протянутую мензурку со спиртом и также невозмутимо церемониально выпил. Потом уж не спеша принял стакан с водой.

Выпив, по-хозяйски спросил:

— А что, нельзя ли этот спирт сделать пищевым?

— Мы проводим лабораторные опыты, — откликнулась с готовностью Анна Сергеевна.

— Сколько будет стоить, чтобы довести до ума?
Директор назвала сумму.
— Подготовьте документы. Деньги будут!
С завода Никита Сергеевич уехал довольный.

* * *

После отъезда высоких гостей в Москву все ожидали, что руководство города и области будут наказаны за сорванный митинг на площади.

Этого не случилось. Никого не тронули. Оценили горожан по труду.

А директор Анна Федотова получила за успехи своего завода звезду Героя Социалистического Труда.

* * *

Такая наша Самара и самарский край.

...Второе Баку — самарская нефть. Уже с самого начала войны забила её мощная энергетическая жила, питающая фронт. Огромна роль Сызранского нефтеперерабатывающего завода, а также завода, который под Самарой, на 116-м километре.

Авиакосмический комплекс, самарские запасы мирового уровня Кашпирских горючих сланцев под Сызранью — это всё здесь, в Самаре и под Самарой.

Вода и небо!..

...Сама удивляясь, я стала многое замечать и вокруг себя, и в себе.

Куда подевались моя заторможенность и сдержанность. И летняя ночь, и день, и туман над луговиной — всё стало для меня осязаемо. Я и утреннего тумана, и сочного пения соловья в короткую майскую ночь не видела и не слышала до Саши. Откуда ко мне это могло прийти в городскую коммуналку в окружении моих потомственных горожанок — мамы и тёти Веры? Ни в Ленинграде, ни в Куйбышеве не было такого.

Одно дело — пройтись вдоль Волги по Пристанской улице, другое — оказаться на целый выходной день с Сашей на Волге. Поначалу у меня после таких поездок на моторке кружилась голова.

Вечером ложились дома спать, а меня всю покачивало, будто я в лодке на речной волне. И ныряющие поплавки перед глазами...

Я часто вспоминаю, спустя столько лет, с подробностями все наши вылазки на природу. Вспоминаю то наше с Сашей время света и тёплых дождей. Которое, казалось мне, пришло ко мне не совсем заслуженно, случайно как бы. Не зайди Саша в ГРЭСовскую столовую, ничего бы не было...

И сильнее бьётся сердце.

* * *

Те, кто не имел моторок, кто не был заряжен страстью лодочников, тот многое на Волге не увидел.

Вскоре я при Саше стала как бы юнгой, готовой к исполнению любых поручений. И сама стала инициатором дальних поездок.

Одно дело — Волга в районе Рождествено, Прорана, Шелехмети. Другое, если, минуя их, спустишься вниз в сторону Новокуйбышевска и махнёшь по течению в сторону Винновки, Чапаевских лиманов, доберёшься до завораживающего своим безлюдьем и дремучестью местечка Крутец, где Саша открыл для себя азартную охоту со спиннингом на щук. Эта охота стала его страстью.

Рыбаки — особые дети природы. Я это видела по Саше.

...Я теперь думаю, что первые годы нашей совместной жизни, дали мне мощный энергетический толчок, отгородили от всего, что накопилось гнетущего во мне, увели от того, что встретилось мне враждебного, отягощающего мою жизнь. От моего прошлого отгородили, которое, как медведь, топталось за моей спиной...

Стало легче дышать.

Новые краски, новые звуки и смыслы раскрепостили меня.

Прежде всё больше смотрела под ноги. Теперь же подняла голову. Я стала видеть небо! И думать о нём.

Небо зимой — как бы отстранённое от тебя, летом — начинающееся прямо от тёплой земли или волжского плёса — оно огромно! Небо — значительно! Бесконечно! И этой своей значительностью небо очищает и поднимает.

Пришла моя пора! Я это сначала почувствовала...

...Потом поняла...

* * *

Тот случай на Чапаевке, когда нас с Сашей чуть было не раздавила баржа, не охладил меня. Я ещё больше привязалась к Саше. Стала бояться отпускать его одного.

Мама и тётя Вера не давали мне того, что исходило от Саши. Саша вырвал меня из узкого нашего быта и подарил новое и необычное...

...Полюбила я полевые цветы. Ему нравилось мне их дарить. Я раньше и не замечала это чудо! Будто их и не было, этих неярких деточек природы. Пока не оказалась с Сашей в лесу, в луговине. Пока не ступила босыми ногами на землю, родившую их!..

Брамс. Венгерский танец № 5

...Это было уже в начале семидесятых. Саша позвонил мне на работу и радостно доложил:

— Олечка, я купил билеты в филармонию. Приехали к нам в Самару твои ленинградцы. Будут играть симфоническую музыку Брамса, я по афише помню: концерт номер 2 для фортепьяно, мне сложно... Но там будут венгерские ещё танцы. Ты мне рассказывала, как тётя Вера твоя их любила. И как ты любила! Там, в Ленинграде!

Боже мой, Саша, Саша. Разбередил сразу столько в моей памяти... Я прямо с работы прибежала в филармонию, ускользнув с собрания в отделе.

...Целый зал светлых лиц. Полумрак! И ожидание праздника. Предвкушение восторга! Венгерские танцы Брамса! Прошла вечность...

Тётя Вера когда-то играла их на скрипке. Я восхищалась!..

Чего стоили для меня имена, которые она тогда называла: Мендельсон, Лист, Шуман. Где всё это?..

В головке моей как-то после всего пережитого, где-то в потаённых уголках её, в памяти моей, сохранился молодой голос красивой тёти Веры и даже названия симфоний Брамса: Первая симфония до минор, Четвёртая симфония ми-минор. Никогда я их не слышала, а помнила странные названия, недоумевая, почему такая сухая нумерация? Как в бухгалтерии: первая, четвёртая?

...И теперь я слушала эту музыку! То следила во все глаза за чудодейственными движениями рук дирижёра, то закрывала временами лицо ладонями и всё ждала... Ждала, когда заиграют венгерский танец № 5 Брамса.

Так захотелось мощи, огня, всепобеждающего напора жизни!.. Хотелось жить, полной грудью дышать весенним ветром, видеть счастливые лица! И быть счастливой! Рядом был мой Саша!

Он посматривал на меня и тихо улыбался.

...Танец № 5 в тот раз так и не прозвучал. Был венгерский танец № 2. Прекрасный танец, но не пятый...

Исполняли его несколько скрипачек. Они расположились в одном ряду на сцене. За ними в глубине сцены за фортепьяно еле просматривался грузноватый артист.

Стройный молодой человек, казавшийся около него школьником, переворачивал ему ноты. Он же легко так и грациозно чудодействовал. По-другому не скажешь.

Когда музыка смолкла и скрипачки опустили скрипки, пианист встал и... я узнала его? Это был К., да, тот самый артист, к которому в 42-м перекочевало из нашей квартиры в Ленинграде пианино красного дерева. Ему было, видимо, за шестьдесят. Голова его стала крупнее. Вьющиеся серебряные волосы украшали её. Породистый, истовый. Он мягко шагнул из глубины сцены и сдержанно, галантно поклонился.

Ведущий назвал его фамилию и звание.

Зал бурно аплодировал народному артисту.

Я хлопала в ладоши, а у самой всё лицо расквасилось от слёз. Время враз так уплотнилось... И я барахталась в нём, теряя равновесие...

— Что с тобой? — допытывался Саша, когда мы выходили на улицу. — Ты стала такой чувствительной. Я хотел сделать тебе приятное. Объясни хотя бы в двух словах!

А как объяснить сразу, да ещё в двух словах?..

...Шла и думала: рассказать тёте Вере о концерте? Или не стоит этого делать? Так и не решилась волновать её.

У неё могла быть иная судьба.

Опять около меня ворочалось медведем наше блокадное прошлое...

Дом культуры

— Как получается? — удивлялась моя мама. — В Куйбышеве одни улицы тянутся вдоль Волги, другие — вдоль реки Самары. И реки под прямым углом друг к другу. Самара и Волга! И получается свой порядок, особенный. Красиво! Правда? И Жигули вдали!

У тётки Веры своё:

— Ксюша, как можно оставаться такой восторженной? Знаешь ли ты, что на одной из этих прекрасных улиц убили родного дядю Александра Блока?

— Что ты говоришь? — громко воскликнула мама.

— Самарского губернатора Блока Ивана Павловича убили в Самаре на углу улиц Степана Разина и Пионерской. Они тогда не так назывались, эти улицы, — повторила тётя и едко усмехнулась.

— Разве такое может быть? — мама выглядела потерянной.

— Говорю, что знаю. Его приговорили к смертной казни на своём съезде самарские эсеры.

— Откуда ты это взяла?

— Книжки читаю. Бомбу, нашпигованную мелкими гвоздями, бросил под экипаж губернатора эсер-боевик Фролов.

— Может, ты перепутала что-то? — проговорила мама.

— Что? — переспросила сухо тётя Вера. — Что перепутала?

— Убить дядю Блока?!

— А какая ему была разница? Что за человек в карете? Задурили голову молодому столяру. Он и бросил. Он, скорее всего, о твоём Блоке ничего не слышал. Зачем ему?

Тётя Вера, уставившись глазами в пол, спросила, не взглянув на маму:

— Ты Блока хорошо читала?

Не дождалась ответа.

— Знаю, знаю. Многие стихи его помнишь наизусть. А сколько раз читала его поэму «Двенадцать»?

— Два, три раза от начала до конца. Она меня несколько утомляет, — доложила мама.

— Утомляет! — дёрнулась тётя Вера.

— Ты читала? — удивилась мама. — Его поэму читала?

— Да! И несколько раз! Мне пришлось время во многом разобратся. Уяснить для себя. Не понимаю я: как можно было воспеть «мировой пожар», в огне которого надо сжечь весь старый мир. И как ты можешь восхищаться такими стихами? Гимн разрушению. Бессмысленному разрушению...

Она перевела дух. Сказала зло: — Написал он поэму в 18-м году, а ведь ещё в 1906-м убили губернатора Блока. Бессмысленно убили. И поэт ничего не понял? Не понял, чему это начало:

Пальнём-ка пулей в Святую Русь...

И пальнули! В Святую Русь стрелять?.. И во главе тех, кто стрелял:

*В белом венчике из роз
Впереди — Иисус Христос.*

— Так у твоего поэта! Для моего ума непостижимо это! Понимал ли сам поэт до конца то, что ему привиделось?..

Мама, закрыв ладошками глаза, слушала.

— Вера, мне в последнее время тяжело не только говорить с тобой, слушать тяжело, — сказала она и отвела руки от глаз.

Я вздрогнула, увидев измученное мамино лицо.

— Вера, ты хочешь в этом разобраться? Надо ли? Велик поэт! Можно рухнуть под обломками. И потом... — она невольно понизила голос: — Ты с кем-либо ещё так разговариваешь?

— Что ты имеешь в виду? — усмехнулась тётя.

— Ты уже один раз за длинный язык получила. Тогда, в Смольном. Легко отделалась. Хочешь большего? Это в тебе застарелая обида говорит.

— Когда это было? Чуть не полвека прошло.

— Себя не жалко — нас пожалей. Добром не кончится всё это...

Тётя Вера будто не слышала этих слов мамы, продолжала:

— У нас в цехе слесарь один кое-что рассказывал мне. На площади Куйбышева раньше стоял в Самаре красивейший храм во имя Христа Спасителя. Его в тридцатом году начали разрушать вручную, потом взорвали. Взорвали ночью. Жители, которые жили недалеко, вскакивали с постели от страшного грохота. Многие, прощаясь с храмом, плакали. Он, Иван Денисович, жил на Вилоновском спуске. Таясь жил. Убежал из своей Кротовки, скрываясь от раскулачивания. Работал потом на разборке завалов, оставшихся от храма, знал кое-что. Потом из материалов храма был построен Дом культуры, нынче он Театр оперы и балета. Теперь там пляшут и поют... Площадь называлась Коммунальной. Каково? А ещё из останков Кафедрального собора строили погребя, печи жилых домов... Соорудили на площади Революции и ещё где-то в двух местах, не помню, общественные туалеты.

— Вера, ты для чего мне всё это говоришь? Пожалей...

Тётя не унималась:

— Храм-то во имя Христа Спасителя построен был!

Она умолкла, устав от сказанного. Как же Христос мог быть впереди всего этого?.. Впереди революционного патруля? В этом Блок увидел преображение мира? Это не Богово, это Блока заблуждение...

Взмахнула рукой, как подбитым крылом. И лицо её показалось мне одним большим птичьим клювом.

Произнесла совсем уж саркастически:

— Согласна! Велик поэт! Но зачем же так? Мне его не понять!..
И вас тоже, кто остаётся...

* * *

Вскоре после этого разговора с тётёй Верой случился инсульт. Была прекрасная пора бабьего лета. Живи и радуйся!..

...У тётёи парализовало ногу и руку. Стало плохо с речью. Учились заново говорить, читая по слогам вслух русские народные сказки. Дела шли на поправку.

...И всё бы ничего, но она упорно сбивалась на разговоры о пережитом. Глаза её тогда вновь лихорадочно блестели. Получалось невнятно, непонятно нам. Она плакала...

Не стало её под самый новый 1975 год. Тётя Вера так и умерла — не в ладу с окружающим её миром...

«Будто метка на мне?» — помню, так она сказала, ещё до инсульта.

Это её всю жизнь мучило.

С этим и ушла...

Болотная черепаха

...С Сашей часто случалось что-нибудь забавное или смешное. Он был непоседлив. Всё ему надо было куда-то ехать, что-то посмотреть, с кем-то встретиться...

Саша и Женя Корсаков построили своими руками добротную деревянную лодку, купили в складчину лодочный мотор «Вихрь-25». На лодочной стоянке под Липягами обустроили место. И мы стали на этой лодке совершать дальние поездки по Волге.

Цена на бензин была чудная. Не было таких, как сейчас, заправок. Приезжал бойлер с бензином на лодочную станцию, мы заправлялись.

Часто Саша выходил на дорогу и голосовал. Редко из шофёров кто отказывал. Двадцатилитровая канистра бензина стоила тогда, в семидесятых годах, полтора рубля. Дешевле газировки.

Если спуститься вниз от лодочной станции по речке Криуше, и, не выходя на Волгу, свернуть вправо в протоку, то окажешься на замечательном Двубратном озере. Здесь обычно тихо. Гудят где-то на Волге пароходы, слышны звуки работающих лодочных моторов, а здесь — идиллия. Кроме нас, только два-три рыбака либо на лодке, либо на берегу да пёстрое стадо коров жителей посёлка Гранный. И пугливые цапли у камышей.

Тут, среди кулижин камышей на ровненькой озёрной глади я впервые поймала первого своего линя. Да такого здорового! Уже этого одного мне хватило бы с лихвой, но в ту поездку нас ждало ещё одно чудо!

Наша лодка ткнулась в поставленную кем-то сетку в воде, около самого борта показалось на миг и вновь ушло под воду необычное, зелёное, никак не похожее на рыбу существо. Саша приподнял веслом верх сетки, и мы увидели запутавшуюся в снасти крупную, как потом мы узнали, болотную черепаху.

Мы достали зелёное чудо из сетки. Черепаха несколько нас не боялась. Привезли домой, совсем не зная, чем её кормить, как поступать с ней дальше. Начали жалеть, что зря привезли её в город, лишили нормальной жизни на природе. Но было сомнение: разве у нас в Поволжье водятся черепахи? Может, её просто кто-то случайно оставил на озере? Скорее всего, она домашняя. Мы бы бросили её, и она могла погибнуть. Так мы думали.

Черепаха у нас дома обжилась. Ела кильку, капустные листья.

Никто из знакомых не верил, что черепаха не домашняя.

Саше почему-то было очень важно установить: живут ли в наших краях на воле черепахи.

И установил! Пошёл с сыном Колей, захватив черепаху с собой, в школу. Там они втроем с учительницей биологии нашли подтверждение у самарских учёных: да, болотные черепахи водятся в Поволжье. Но человеку на глаза попадаются редко.

Нам с Сашей повезло на Двубратном.

Черепаху Саша подарил школе. Она жила у них долго, всё время, пока Коля учился там. Потом уж, не знаю, какова её судьба.

Я рассказываю сейчас о той поре, когда мы только-только начинали с Сашей наши путешествия. Потом-то были походы на лодках по Жигулёвской кругосветке, в село Ширяево, где Репин писал своих «Бурлаков на Волге», в Астрахань! Много чего было...

* * *

...Сашу интересовало порой самое неожиданное.

Когда начал учиться в институте, увидел в одном из учебных его корпусов копию картины Перова «Тройка». Большая картина такая, висит на стене лестничной площадки меж этажами.

Саша поразился: «Тройка» Перова и знаменитые «Бурлаки на Волге» Репина — обе картины об одном. О подневольном, невы-

носимом труде. Только в одном случае — о детском, в другом — о взрослом.

«Знать бы, — говорит мне, — кто первый из них написал свою картину, идея одна?»

— Зачем тебе это? — спрашиваю.

— Интересно! — отвечает. — Как это бывает у художников.

Были они знакомы? Обсуждали или нет сюжеты?

Вот у учёных бывает же такое, когда они независимо друг от друга открывают законы, изобретают одинаковые конструкции. Почему так происходит? Кто из них родился раньше? Репин или Перов?

Он ринулся в библиотеку, разыскал биографии художников. В библиотеке его надоумили сходить в областной художественный музей: там должны быть картины Репина. Это для нас обоих было неожиданным.

В музей на улице Куйбышева, 92, мы пошли вместе. То, что мы увидели, поразило! Как мы могли жить совсем рядом и не знать об этом чуде!

Я никогда и в голове не держала, что у нас в Самаре есть подлинные произведения Поленова, Саврасова, Куинджи, Васнецова, Сурикова, Тропинина, Боровиковского, Брюллова... Не думала об этом. Привыкла: Эрмитаж в Ленинграде, Третьяковская галерея в Москве...

Картины Репина «Король Альберт» и «Композитор Рубинштейн» привлекают в музее взгляд сразу. Мимо них трудно пройти. Отыскали мы и «Пейзаж с лодками» Репина, который он написал на Волге, у села Ширяев Буерак.

Ошеломила коллекция более чем из тысячи экспонатов бывшего владельца Жигулёвского пивоваренного завода Альфреда фон Вакано. Среди них скульптуры из бронзы и мрамора. Из Китая, Японии. То, что увидели и узнали мы в музее, окрылило нас. Мы оба чувствовали гордость за город, в котором живём.

Зримо ощутили себя причастными вместе с городом к мировой цивилизации. Не менее того!.. Звучит высокопарно? Но это так! Такими мы были.

Когда приехали в село Ширяево, где Репин писал своих знаменитых «Бурлаков на Волге», Саша так уже много знал о художнике, что мог рассказывать о нём не хуже тамошних экскурсоводов...

На Самарской ТЭЦ

...Вот ещё о самарском характере.

Там, где раньше было озеро Ветлянное, где охотились горожане на уток, мы строили Самарскую ТЭЦ. Новым микрорайонам города необходимо было тепло. Ей теперь, этой ТЭЦ, уже более 40 лет. Пустили в семьдесят первом.

А тогда?.. На станцию меня перевели за полгода до её пуска.

...В двенадцать часов ночи зажгли факел. Разожгли первый котёл. Ликование! Ведь город ждал пуска. Ждал тепла. А наутро ураганный ветер. У семидесятиметровой высоты дымовой трубы одна из трёх фиксирующих её металлических растяжек оторвалась. На самом верху. Металлическую трубу раскачивает из стороны в сторону, как гигантскую тростинку. Внизу котельный цех, цех химочистки, продуктопроводы. Если труба рухнет на всё это... Жуть!.. Что делать?..

Прибыло руководство станции, монтажники, которые возводили эту трубу. Никто пока не знает, что делать...

Никаких приказов, распоряжений. Общее оцепенение...

И тут из толпы отделяется небольшая фигурка — начальник котельного цеха Михаил Иванович Бурдин. Негромкий такой. Всегда приветливо улыбающийся. Молчком лезет на самый верх трубы. На ней были такие скобы. Труба качается — он лезет. Я закрываю глаза. Мне страшно. Кажется, что сейчас он, как щепка, слетит вниз на свой цех. Либо труба рухнет вместе с ним. И его не найдёшь в завале.

Открываю глаза, а он уже спускается вниз. Как кошка! Втроём: он, сварщик и слесарь — крепят конец растяжки за верёвку, лезут вверх. И тянут её за собой. Тянут ещё и сварочный кабель.

Там, наверху, они приваривают к трубе крюк. На него, изловчившись, набрасывают петлю растяжки и так ловят «гуляющую» многотонную трубу.

Что это? Подвиг? Трудовые будни? Характер!

* * *

Самарская теплоэлектроцентраль. Это та удача в моей жизни, которая свела меня с друзьями, сослуживцами. За время её строительства я тесно была связана с монтажниками, слесарями, наладчиками. С самыми простыми работниками.

Школа жизни. Круглосуточно работали. Трудились, чтобы дать тепло городу! Я особо, ещё и по-своему понимала, что такое тепло в доме. По блокадному Ленинграду помнила.

Говорят, что это были годы застоя. И связывают их напрямую с одряхлевшим Брежневым.

У меня не поворачивается язык так говорить. Когда мы приехали в Самару (у меня теперь никак не выговаривается: «Куйбышев»), была на всю область только одна старушка ГРЭС, работавшая на угле. А потом до перестройки появились, кроме Самарской, Безымянская ТЭЦ, Сызранская, Тольяттинская, две Новокуйбышевских, ТЭЦ ВАЗа и несколько больших котельных. Они что? Сами выросли? Была успешно создана мощная энергетическая база для промышленного узла всей страны. Это уж потом потащили всё по углам. И при каждой ТЭЦ: детские бесплатные садики, профилактории, рабочие общежития. Приличный жилищный фонд, который ежегодно пополнялся новыми домами...

* * *

По три миллиона в год почти прирастала страна населением. Не вымирала! Прирастала! И «хрущёвки» сыграли свою роль. Они дали такой толчок! Знаю, что говорю. После бараков и коммуналок и в «хрущёвке» жила. Народ вздохнул. Вселялись миллионы людей бесплатно в новые квартиры. Находились силы и воля для этого у Державы.

И это после недавней войны, в условиях навязанной гонки вооружений. И когда мы кому только не помогали за рубежом? А ведь в то время были самые низкие цены на нефть!..

И не только «хрущёвки» строили. Возьмите Волжский проспект. На его месте находились пристани, рынок, хлебные амбары, склады строевого леса и дров. И вдоль всего этого тянулась Пристанская улица. Я уж говорила об этом...

И вот началось на моих глазах строительство «сталинок» и благоустройство набережной. До 50-х годов не было вообще набережной.

Первые «сталинки» начали заселять, помню, уже в 1955 году. Чудо, а не дома по тем временам! Монументальные сооружения от Маяковского спуска до завода «Кинап» — завод киноаппаратуры, хотя главная задача его была выпускать противогазы. Его закрыли вот уж в 2000 году. Теперь на этом месте развлекательный центр.

А «сталинки»!.. Большие подъезды, высокие потолки в комнатах. Много света во дворах. И много зелени. Верилось, что идём к коммунизму! И жить будем все в таких домах!

...Потом пришло время, начали громоздить «стекляшки». Ни уму, ни сердцу. Сплошные спальные районы. Забыли про «сталинки».

Теперь они ветшают. Эти когда-то монументальные сооружения. Слух пошёл, что подлежат сносу... Знать, кому-то понадобилось место у Волги под новострой. Строим теперь новое. И сами не знаем: что строим? Для какого будущего?

Ветшает и 1-й корпус СамГТУ — последний образец, как говорит мой зять, сталинского ампира в Самаре. Проектировал его московский институт «Гипровуз». Этот институт проектировал и здание МГУ на Воробёвых горах.

Мой Саша учился в 1-м корпусе СамГТУ, он тогда назывался индустриальным, потом политехническим институтом. Мне нравился он очень! Парит над Волгой!

Была у меня мечта после техникума поступить в политехнический. Не сложилось...

...Вот бы такого застоя ещё на 2-3 десятка лет. Нарастить бы мускулы, а уж потом — реформируй! И не всё сразу... Надсадились...

Я так сказала совсем недавно меж своих, а один мой дальний родственник мне:

— Вы, Ольга Михайловна, перепутали что-то.

— Что, — спрашиваю, — перепутала?

— Страны, — отвечает, — перепутали. Мы с вами живём в России, а не в Китае. С географией у вас не того...

И довольно лыбится. Что ему скажешь?

На сорок лет моложе меня, а... Всё ему по барабану, как говорит мой сын Коля.

Каждый свой разговор начинает анекдотом, анекдотом и заканчивает... Где мужики-то сейчас основательные? Вывелись в стекляшках этих?..

Чёрные дни

Осенью 76-го не стало моего Саши.

Как случилось? Я до сих пор не могу понять. Поехали они с Корсаковым на рыбалку. Всё как обычно. Но без меня. Дел дома накопилось. Уж больно торопились они в тот раз. Дотемна после работы хотели добраться к месту. Я отговаривала, будто предчувствовала. Говорила, чтоб утром ехали, без ночёвки... Но где там, разве их остановишь?

До Крутца они не добрались. Заночевали где-то в стогу сена на полпути, за Крестами. Там и рыбачили утром. Больше никуда не ездили. Прошло, наверное, около недели, и началось с ними обоими...

Высокая температура, головная боль. Насморк, кашель. А у Саши до того ещё давление начало скакать. Я гнала его в поликлинику, это ещё до рыбалки. А ему всё некогда. Он работал тогда механиком цеха на Четвёртом ГПЗ. Отмахивался.

Когда у обоих начались похожие боли в пояснице, в животе рвота, — опомнились. Пошли к врачам. Женя у себя, в Новокуйбышевске, Саша — тут, в Нефтянку. Их положили в стационары.

У Саши накануне температура подскочила до тридцати девяти градусов, он стал плохо слышать. Всё как-то очень быстро развивалось.

Оказалось, геморрагическая лихорадка. Очаговая инфекция. Раньше мы слышали, что есть такая зараза от мышей. Но почему-то считали, что она обычно бывает весной. А тут — октябрь месяц.

У обоих у них пошло сильное осложнение на почки. У Саши ещё возникло воспаление сердечной мышцы и внутреннее кровоизлияние.

Это были самые чёрные дни в моей жизни. Самые погибельные.

Через две недели Саша умер. Женя промаялся ещё столько же и выжил, но остался с одной почкой.

Жизнь моя остановилась. Я не хотела жить без Саши. Не знала, что делать с собой...

Апельсин на двоих

Всякое было и в «застойные» годы, и после.

Наш бывший первый директор ТЭЦ рассказывал, я оказалась невольной слушательницей. Уже перед самым пуском только что построенной станции поехал он в Москву на Старую площадь на окончательное утверждение в должности.

Попутчиком оказался главный инженер Безымянской ТЭЦ, он ехал на утверждение директором всей Волгоградской энергосистемы. Расположились в купе. Принесла им проводница чай.

Попутчик говорит:

— Слушай, Борис Фёдорович, давай разъедем вот это!

И достаёт один-единственный апельсин. А что такое апельсин в Самаре в 70-е годы? Страшный дефицит! Оранжевое чудо! Ребятишки годами не видят.

— Как можем? — отвечает. — Дети дома! А мы, два таких здоровых мужика, будем есть?

Задумался главный инженер на минуту. И махнул рукой:

— Нам простят. На такое дело едем.

Наш директор в то время тысячами людей командовал. Огромными денежными средствами распоряжался в пределах, конечно, дозволенных смет. А тут апельсин этот...

Так вот жили. Жалко, свидетелей той жизни всё меньше остаётся. Некому возразить теперешним говорунам.

Я почему вспомнила этот случай? Это тоже характер самарский. Самара и до войны, и после неё трудилась на Державу. Забывая о себе. Это у неё в крови! На то она и столица, пускай и «запасная».

Самаре, самарскому характеру я обязана тем, что нашла себя в жизни, многое увидела, многому научилась... За это ей спасибо! Спасибо самарцам! Многократное!

Оглядывалась на храм...

Оба моих сына окончили политехнический институт.

Рома несколько лет проработал в Куйбышеве. Потом познакомился с москвичкой, приехавшей к нам в город. Женился и подался жить к ней в столицу.

Не прилеплялась порода Кириллиных к Волге никак.

А Коля, мой младший, — волжская душа. В отца. Без Волги, без рыбалки — будто и не он.

Он Рыба по гороскопу. Вот и говорит: «Куда ж мне, Рыбе, от большой воды? Никак нельзя отрываться!»

Вся моя жизнь, которая без Саши осталась, держится теперь на моём Коле.

Рома, если раз в месяц позвонит — и то хорошо! А Коля каждый день либо в обеденный перерыв заходит, либо после работы. А если не удалось зайти, то обязательно позвонит...

Иногда прибежит просто так. «Как хорошо-то, — говорит, — в нашей квартирке, побуду у тебя — как в детство окунусь своё! Молодею душой!»

Просит, чтобы я ничего не меняла без него в квартире. А я ничего после Саши и не меняю, сколько лет.

Сын сам кое-какой ремонт сделал к моему 85-летию. Доволен был больше, чем я.

* * *

В начале девяностых стали мы с Колей ездить к святым источникам. У нас в Самарской области их, оказывается, около трёх десятков. В село Ташлу Ставропольского района и в Свято-Троицкий храм, где хранится явившаяся когда-то людям бесконечно почитаемая икона Божьей Матери «Избавительница от бед», мы ездили ещё когда не было там ни стоянки для машин, ни столовой, ни гостиницы.

...В этом году в конце мая, перед самой Троицей, наконец-то выбрались мы с сыном в Утёвку. В Троицкий храм. Уже и туристический маршрут туда открыт. А мы так, своим ходом. Свободнее. Прочитали вашу тонюсенькую книжицу «Радостная встреча» о жизни безрукого и безногого художника. И потянуло побывать в Троицком храме — захотелось поболее узнать о Григории Журавлёве.

Я, может, и рассказываю так подробно о своей жизни потому, что поверила вам. Книга ваша помогает.

Ну вот.

Подъехали мы к церкви в Утёвке, а она закрыта. Что делать? Смотрим, молодой человек в простенькой одежде такой, траву косит. Вручную. Валки свежескошенной травы веером расходятся.

— Скажите, как нам побывать внутри храма?

Остановился, смотрит карими глазами открыто и внимательно. На смуглом лбу капельки пота.

— А зачем вам в храм? — спросил.

— Как зачем? Интересно посмотреть. Про безрукого художника Журавлёва читали вот с сыном, — отвечаю.

— Любопытствующих много, — сказал с лёгкой досадой человек с карими глазами. — Помолиться приехали? Или как туристы?

Я ступевалась под его внимательным взглядом.

— И помолиться, — говорю.

— Не видно, что помолиться. Вы же в брюках? Вы не в храм приехали. Когда подошли к храму, не перекрестились...

И тут только я смутно начинаю соображать, что этот, ещё молодой по сравнению со мной, человек не просто рабочий... И эта густая, как смоль, чёрная борода...

«В брюках»!.. Я просто замешкалась, когда подъехали, увидев большой амбарный замок на двери храма. Думала, неудачный

день у нас получился. Ведь я же готовилась ещё дома. И юбку с собой взяла, и платок.

Сын рядом стоит с нерешительным видом.

А молодой человек:

— Я священник этого храма. Приезжайте в следующий раз в подобающем виде.

— У меня всё есть, только в машине, — говорю. — Я просто растерялась, увидев закрытую дверь храма.

— Откуда приехали? — спрашивает.

— Из Самары, — отвечаю.

— Тогда идите, приводите себя в порядок. Я в храме буду, только переоденусь.

Побежала я к машине. Вот неумеха!

Больше часа он с нами пробыл в храме. С виду требовательный, а оказался доступным таким. Много рассказывал о Журавлёве. Подарил нам открытки с его работами. К дому, где жил художник, к могилке его сводил.

Коля потом в удовольствие вместе с отцом Анатолием траву покосил вокруг храма. Её там целый стадион. Дочка священника принесла нам в цветных кружках чай, кое-что пожевать.

Когда отъезжали, я всё оглядывалась на храм. Крестилась. Давно у меня такого покоя и просветления на душе не было, как тут, в этой простоте. Такая она, наша Держава, — дом Пресвятой Богородицы, Иерусалим Нового завета.

...Мне кажется: начнись моя жизнь с начала, ходила бы я по святым местам. Или жила бы где-нибудь возле, около монастыря. В простоте народной, со всем русским людом! Вместе, едино... Часто об этом думаю...

В рубашке нарядной...

*На Волге широкой, на стрелке далёкой
Гудками кого-то зовёт пароход.
Под городом Горьким, где ясные зорьки
В рабочем посёлке подруга живёт.*

Бывало, как запоют эту песню, я и встрепенусь! Последние десятилетия её не слышно уже... Не поют такие песни. Некому. Эта песня не только про город Горький. Народная она. Про народную реку Волгу, про жизнь нашу. Ей ни телевизоры, ни магнитофоны не нужны были. Лучшие песни наших лет были народными, как

эта. Они сами пробивали себе дорогу к сердцу, без ходулей. Как изумительно пел её Георг Отс!

Был и другой её исполнитель — Владимир Нечаев. Нечаев жил в этой песне. У Саши был голос. И он часто пел «Сормовскую лирическую». Мне так и казалось всегда, что Владимир Нечаев и Саша Белозёров с одного волжского города, а может, с одной самарской улицы. Так всё было в их пении близко и знакомо сердцу. Каждый выдох-вдох в песне, каждая интонация — родная!

*В рубашке нарядной к своей ненаглядной
Пришёл объяснить хороший дружок.
Вчера говорила, навек полюбила,
А нынче не вышла в назначенный срок.*

Когда мы собирались за столом компанией, пели песни. Непременно кто-нибудь просил спеть Сашу «Сормовскую лирическую». У нас был свой Владимир Нечаев.

Была наша Волга, была своя проходная ТЭЦ либо завода, без которой мы не мыслили свою жизнь. Была наша Родина! Такая, которой уж и нет теперь...

*...А утром у входа родного завода
Влюблённому девушка встретится вновь.
И скажет: «Немало я книг прочитала,
Но нет ещё книжки про нашу любовь».*

Совсем недавно услышала, как поёт эту песню Олег Погудин, из молодых. Первый раз за последние лет двадцать слышала. Живёт песня! Спасибо. Может, не всё уходит бесследно?!

* * *

Я который год ношу в себе сопротивление, несогласие с тем, что сказал когда-то Державин:

*Река времён в своём стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.*

*А если что и остаётся
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрётся
И общей не уйдёт судьбы.*

Уж больно безжалостно заявил классик!

Наивной выгляжу?.. Но ведь это и молодёжь читает... Ей жить и вершить!.. Я вот о чём, о жизни после нас говорю...

...Мы не исчезаем без следа. Раз я помню маму, тётю Веру, Сашу, Кириллиных, Таню Брусникину, друзей, то они — живы! И мы живы!

Как у родника

Коле захотелось побывать в тех местах, где жил, рыбачил и охотился Сергей Аксаков — автор книжек про рыбалку и охоту. Сын их читал несколько раз. Повесть «Записки об ужении рыбы» он ценил ещё и как память об отце, подарившем её ему в третьем классе. Охотником Коля не стал, но... «Записки ружейного охотника Оренбургской области» у него на полке стоит среди любимых книг... Сейчас-то мы далеко уже с ним не вырываемся. У меня камешки в желчном пузыре. Иногда сильные боли бывают. Врачи категорически против моих поездок, а операцию делать не решаются: «Сердечко слабенькое». А у кого оно сейчас при такой жизни железное? Я настаиваю на операции — они откладывают.

Мы с Колей наметили крайний срок: этой осенью избавиться от камней. Добьём врачей.

...Теперь у Коли машина с кондиционером. Разузнал он, как добраться до села Аксаково Бугурусланского района, мы и махнули.

И как хорошо получилось! Столько увидели мы. Село Аксаково основано было Степаном Михайловичем Аксаковым, дедом писателя. Аж в восемнадцатом веке.

Детство писателя прошло в этом селе. Это здесь ключница Пелагея рассказывала ему русские сказки. Здесь от неё он услышал историю про аленький цветочек. И записал эту сказку.

Я ходила, старая, не дыша. Всё было такое своё до слёз. И так было отрадно на душе. Как у родника!

* * *

...Оказывается, столько замечательных людей выпорхнуло из родового гнезда в селе Аксаково. Сам Степан Михайлович, дед писателя, жил во время восстания Пугачёва в Самаре, потом вернулся в село.

В селе Вишенки было имение Сергея Тимофеевича. Его сын, Григорий Сергеевич, не только был самарским губернатором, но и

почётным гражданином города Самары. В этом году будет 195 лет со дня его рождения. В Самаре жила внучка Сергея Тимофеевича — Ольга Григорьевна.

...Недалеко от Аксаково в селе Державино стоит храм Смоленской иконы Божьей Матери. Храм построен в восемнадцатом веке на деньги Гавриила Державина.

Кто из нас не помнит со школы пушкинское:

*...Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил...*

Надо же, благословил будущего первого поэта России, можно считать, наш земляк! Раз когда-то Самара входила в Оренбургскую область.

В этой поездке мне стало не по себе, от того, что так мало знаю.

...В селе Языково покоится внучка Сергея Тимофеевича — Ольга Григорьевна. В Страхово — прах Григория Сергеевича, жены его Софьи и сына Сергея Григорьевича.

Как не почитать такую землю?!!

* * *

В наших с Колей планах на этот год побывать в селе Павловка на родине Алексея Толстого и в Гундоровке — у Гарина-Михайловского. Имена-то какие!

Я по-настоящему их открыла, когда уже подрастал мой Коля. Вместе с ним читала «Детство Никиты», «Детство Тёмы». Какое времечко было... Самое — моё!

В замочную скважину

Моей мамы не стало в 90-м. Она лёгкой сделалась к концу жизни, как пушинка. Мою стройную маму едва бы кто узнал из прежних знакомых. Ноги у неё согнуло колесом, стала она маленькая ростом.

Тётя Вера собрала все болезни. У неё болели сильно руки, глаза. Страдала желчно-каменной болезнью. И всё это на фоне сахарного диабета. Последние три года была на инсулине.

Мама ничем вроде и не болела. Пошаливало иногда сердце. Моя хрупкая, слабенькая мама просто износилась. Легла вечером спокойно спать, а утром не встала. Сердце остановилось во сне. Жила, никого никогда не обременяя, и умерла незаметно.

Прошло года два — и захотелось мне побывать в Ленинграде, в Санкт-Петербурге по-теперешнему. Посмотреть город, походить по его улицам.

* * *

Поехали мы с сыном Колей и дочкой его Ксенией.

— У вас бывает такое горячее желание — побыть там, где родились?

— Бывает, — отзываюсь я. — У меня родители жили недалеко от Самары. Я частенько бываю в родных местах.

— И в доме, где родились, бываете?

— Конечно. Там живут чужие, не родственники — Абдряшитовы.

— Не русские?

— Татары. Мясум Тагирович и Файля Исмаиловна — однокашники моего брата. Очень гостеприимные. Когда прихожу, всегда принимают с радостью. Недавно горе у них случилось. Умер зять. Хороший был человек. И врач хороший.

— А у меня всё по-другому с моим домом.

Ещё когда готовилось торжественное открытие мемориала в память о погибших ленинградцах, в мае 1960 года, мы с Сашей собирались поехать, но у него с отпуском не получилось. Так всё и откладывали.

...Приехали. Удалось удачно устроиться в гостиницу.

Сразу направились в первый день на Пискарёвское кладбище — самое большое захоронение жертв Второй мировой. В ста восьмидесяти шести братских могилах покоятся 420 тысяч жителей города, погибших от голода, бомбёжек, и 70 тысяч воинов — защитников Ленинграда.

Больше всего умерло в зиму 41-42 годов — около двадцати тысяч.

Я видела, с каким лицом читала моя внучка перед входом на кладбище текст на мемориальной доске. Там указано, сколько с сентября 1941 года по январь 1944 года на город было сброшено авиабомб, выпущено снарядов. Сотни тысяч. Трудно представить...

Десятки тысяч убитых и раненых.

Более шестисот тысяч человек умерли от голода. Больше почти в пять раз, чем жителей города Новокуйбышевска. Пять городов таких!

Мне и то трудно было видеть эти сдавливающие сердце строки... Трудно враз вообразить масштаб содеянного...

...Встретиться с Игорем Кириллиным ни у кого из нас желания не было. Знала я от Ромы, что большой артист из него не получился. Был директором музыкального училища какое-то время. Потом, уж не знаю, кем работал. Я у Ромы не интересовалась больно-то.

* * *

Как только город на Неве не назывался. Санкт-Петербурх — при Петре, ещё Санкт-Петербург, Петербург, потом Петроград, затем — Ленинград. С 1991 года — Санкт-Петербург снова. А для меня он Ленинград на всю жизнь мою.

К новому-старому названию «Самара», которое вернули городу в том же 1991-м, сразу привыкла. Не привыкла — сроднилась. А вот к «Санкт-Петербургу» — никак!..

* * *

К концу третьего дня, когда пробежкой побывали в Эрмитаже, в Исаакиевском соборе, возникло у меня, не утерпела, желание зайти на нашу квартиру на Серпуховской. Посмотреть! Живы ли наши печки с изразцовой плиткой, которые я нет-нет да и вспоминала в Самаре? Как всё теперь там?

* * *

...Вошли в подъезд, поднялись на нашу лестничную площадку — сердце запрыгало в груди. Коля тронул за руку:

— Мам, успокойся.

— Да я ничего, — говорю.

— Ничего, — пищит внучка, — у тебя лицо, как не твоё, — белое-белое...

Смотрю на дверь. Наша дверь, ещё довоенная. Только перекрашенная в более светлый коричневый цвет. И звонок другой.

Ладно. Нажимаю на звонок. Не сразу отозвались. Видно, кто-то шёл из дальней комнаты.

— Кто там? — прозвучал хриловатый немолодой голос.

— Откройте, — прошу, — мы здесь до войны жили. Это наша бывшая квартира, — зря я, конечно, сказала слова: «наша бывшая квартира». Можно было бы по-другому...

За дверью — молчание.

— Глянуть бы одним глазом... — чувствуя какую-то свою вину, попросила я.

Отозвались за дверью не сразу:

— Мой отец эту квартиру получил на законном основании. Какие могут быть вопросы? Он освобождал город...

— У нас нет вопросов. Мы всего лишь, — поспешил мне на выручку Коля, — посмотреть...

— Я только что выписался из больницы, мне трудно всё это. Оставьте в покое, — уже более твёрдо прозвучало за дверью.

Послышались удаляющиеся шаги.

Мы безнадежно переглянулись.

Я всё больше и больше начинала чувствовать нелепость своей затеи. Внучка потянула меня красноречиво за рукав.

И тут я неожиданно для себя, к изумлению своей внучки, нагнулась и прильнула к замочной скважине.

— Бабушка, ты что? Подглядывать нельзя! Стыдно...

Мне было не до неё. Я видела в большом длинном коридоре нашу мебель. Наш книжный шкаф! И массивное кресло, которое я тогда, в холодном 42-м году, не осилила разломать на дрова для буржуйки.

Ксюша нетерпеливо дёргала меня за руку.

Я выпрямилась.

— Какой смысл им открывать нам? — нелепо произнесла я. — У них своя жизнь.

В голове крутилось: «Мне ещё повезло: я увидела кусочек своей прежней жизни. Пусть хотя бы так — в замочную скважину!»

Мы вышли на улицу и подались к метро.

* * *

...Потом-то, когда в компании сына ребята пели:

По несчастью или к счастью,

Истина проста:

Никогда не возвращайся

В прежние места...

Думала: может, так и есть. Так правильнее...

А у меня — моё. Нельзя жить всю жизнь с необрезанной пуповиной... Верно. Но... Слов не подберёшь, чтоб, что чувствую, сказать...

* * *

...После того случая с «замочной скважиной» меня ещё крепче потянуло на наши волжские просторы.

Стала я Самару осознанно воспринимать, как свой дом. Единственный. И так хочется, чтобы он был уютным.

Начали мы с Колей и внучками собирать вырезки о Волге, нашей Самаре, Жигулёвской кругосветке, Самарской Луке...

Столько нового открылось нам. Успеть хотя бы часть посмотреть...

Есть, конечно, и горестное в теперешнем нашем знании. Но куда от этого деться? Стоит ли прятать голову в песок?

Все всё знают...

...Вот возьмите из моей подшивки о Волге. Или давайте я сама прочитаю: «Что-то неизмеримое, вечное и питающее. Русским Нилом мне хочется назвать нашу Волгу. Придёт время, и бассейн Волги сделается территорией такой же цветущей, хлебной и счастливой цивилизации, как и побережье великой африканской реки».

Это написал Василий Розанов.

Как только ни называли нашу Волгу. В древности — Ра, то есть «щедрая». Арабы в средние века дали ей имя Итиль, что означает река рек. Нынешнее название — Волга — вроде бы финское, означает «светлая, священная».

Волга — центр России, где проживает почти половина населения нашей страны.

...Когда-то мы с Сашей прошли на лодке до Астрахани. А в середине восьмидесятых уже с Колей, сыном, на теплоходе «Валериан Куйбышев» проплыли до устья Волги. Смешанное чувство. И радостно, и горестно от увиденного. Хотя что больно-то увидишь с борта теплохода. Но и этого хватило. И не по себе стало...

Все всё знают. И какая Волга была до вмешательства человека, и какой стала после создания рукотворных морей на Волге. Сколько водилось и добывалось рыбы прежде, чем река из могучей полноводной превратилась в цепь водоёмов со слабопроточной водой. Сколько было вырублено леса перед затоплением плодородных площадей, сколько затоплено населённых пунктов... Всё более-менее известно...

...Теперь стоячая вода, потеряв способность к самоочищению, не только не может давать человеку силы для жизни, для выживания — она становится антисанитарным водоёмом. Вот вам и морской свежак, о котором писал самарский поэт. Когда ещё под натиском собственной неразумности начала заболачиваться наша жизнь...

Сейчас Волга молит о помощи! А мы видим, слышим... И только говорим... Дела нет!..

Мне, кажется, понятно, почему только говорим. Слишком уж много наворочали, возомнив себя всемогущими. Теперь в бассейне Волги более сотни гидроузлов воздвигнуто. Это водохранилища, плотины, каналы. Река не река уже, а соединённые друг с другом водохранилища. Шутка ли: только на самой реке, не считая притоков, сооружено восемь плотин.

Взять бы и спустить некоторые из них! Допустим: Куйбышевское, Саратовское... Вернуть естественное состояние реке. Но никак теперь этого делать нельзя! Уже как-то что-то сформировалось, живёт по своим теперь законам. Вернуться к прежнему — такое же получается варварство, как необдуманное строительство водохранилищ без расчёта последствий.

Вот и идут дебаты. А река гниёт...

Ладно бы только с главной нашей рекой так поступили. С самой нашей жизнью, с укладом её — то же самое. И вперёд неведомо как идти? И назад нельзя!..

Как хорошо, что одумались в своё время в 70-х годах и отказались от полоумной затеи повернуть северные реки на юг. Взбредёт же такое в голову. Так же вот теперь бы корёжило всех от последствий затмения в собственных головах...

...Порой вздрогну. Покажется, что Волга знает всё про нас. Всё помнит. Терпение у неё такое... И судьба... Она свидетель...

...Что бы теперь сказал о нас, о Волге нашей Розанов? Сравнил бы с африканцами?

Говорю так, а у самой перед глазами увиденное с сыном Колей. Не на Волге, на младшей сестре её — реке Самаре.

Только мы в тот раз подъехали к Сорочинскому водохранилищу, сразу я почувствовала что-то неладное. Метров на пятьдесят влево-вправо у плотины поверхность воды словно кипит. Пригляделись: подлещики, распухшие от глистов, в агонии бьются, пытаясь уйти в привычную глубину. И не могут. Обречены. Запруда сделала своё дело...

...На наших глазах двое из местных подъехали на мотоцикле. Не обращая на нас никакого внимания, один из них черпаком с длинной такой ручкой, войдя по колени в воду, начал черпать сразу по два — по три полукилограммовых и более рыбин. Другой деловито набивал уловом большие, какие бывают у «челноков», сумки. Мы подошли поближе.

— И куда товар? — спросил Коля.

— Куда? — легко отозвался тот, который с черпаком. — Сегодня воскресенье. На рынок!

— Можно разве? — ужаснулась я. — Солитёрные они...

— Можно. Мы и для себя. В СВЧ-печку — и всё нормально! Обычное дело.

«Обычное дело»... Они уехали, а мы всё стояли ошарашенные.

...Не верю я, что подобное станет обычным. Не могу представить, чтоб так загнила наша жизнь...

Быстрины

...До самой пенсии проработала я в энергетике. Вначале на ГРЭС, потом на Безымянской ТЭЦ, на Самарской, позже в энергонadzоре. Около сорока лет была счастлива замужем. У Тани Брусникиной восемь, у меня шесть внуков и правнучек. Больших должностей не занимали. Но у нас была любимая работа. Хорошие семьи. Мы обе знаем этому цену.

...Свои блокадные восемь месяцев по-прежнему я забыть не могу... Что ни делай...

Хлеб для меня и сейчас не просто еда либо часть бутерброда. Хлеб — основа всему. Режу я его тоненько-тоненько. Например, «Бородинский» или «Дарницкий». Люблю есть ломтики просто так. Без ничего! Чтобы ощутить тот вкус и аромат, которого не хватало в блокадную зиму.

Сентиментальной старушкой стала. Мама моя не была такой. Она и в старости не хлюпала носом.

...Часто, как наяву, слышу её ставший глуховатым голос:

*Свирель запела на мосту.
И яблони в цвету!..*

* * *

Этим летом правнучка моя Вера приезжала из Германии погостить. Вышла замуж за немца. Живут в Мюнхене.

Когда ехали по Волжскому проспекту, Коля — её дед показывает на старенькое, обшарпанное здание бывшей столовой ГРЭС и говорит:

— Вера, вот здесь твоя прабабушка Оля трудилась в сорок седьмом году подсобной рабочей.

Вера искренне так удивилась:

— Бабушка! Как ты могла? В этой развалюхе, подсобнице? Ты такая у нас интеллигентная...

Смотрю на неё... И теряюсь: не глупая ведь. Совсем не глупая.
А что говорит?

Другая жизнь настала... Песни другие, кино — другое...

...Спохватишься вдруг: нет рядом сверстников... Обмолвиться
бы с кем душевно...

...И через столько лет слышится молодой Блок:

*Смотри, какие быстринь,
Когда ты видел эти сны?..*

* * *

Вчера, когда вы ушли от меня, был звонок из администрации района. Власти определили порядок: таким, как я, попавшим под блокаду Ленинграда, выделять на похороны по двенадцать тысяч рублей.

Спасибо, конечно.

Но вот беда: не готова я пока помирать...

Обветшала, а от жизни не устала...

Пожить охота!..

*г. Самара,
2015 г.*

О творчестве Александра Малиновского

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЭПОХИ

I

Рождение Александра Станиславовича Малиновского, как и вся его дальнейшая биография, было весьма замечательным.

Во время Второй мировой немало поляков было интернировано в Россию, где расселялись они вдали от крупных городов. Так в русской глубинке, в селе Утёвка Самарской области, оказался Станислав Малиновский. Появился он в селе в белой рубашке, пуловере и шляпе. Так и ходил потом по утёвским улочкам, вызывая у местных жителей удивление. По всему было видно, что человек он совершенно инородный для привычного русского деревенского быта. Был он красив, черноволос и голубоглаз. К тому же отличающая его от местных интеллигентность не могла не покорить. Станислав и местная русская девушка Катя полюбили друг друга и стали жить у её отца. Вскоре, когда стало формироваться Войско Польское, Станислав был призван в армию. А через несколько месяцев на центральной утёвской улице в крепком деревянном доме, таком же прочном, как и вернувшийся с сибирских заработков хозяин — Иван Дмитриевич Рябцев, отец Екатерины — родился мальчик, которого нарекли Александром. Будущий писатель.

Может, именно от рождения, когда столько совершенно разных людей приняли в нём участие, и получилась обширной и разносторонней дальнейшая жизнь Александра Станиславовича Малиновского.

А Станислав сгинул на войне, оставив после себя только фамилию да воспоминания о пуловере, шляпе и голубых глазах.

Вряд ли нужно подробно рассказывать, что такое послевоенная деревня. Об этом тяжелом времени написано немало. Впрочем, и по сей день сельский труд вряд ли стал много легче, но тогда тягот и невзгод было в избытке. Труд, труд и труд. Порой изматывающий, но только так добывался хлеб насущный. И как великая награда — рыбалка, охота и книги. Книги тогда читались запоем, собирались в избах по несколько человек и кто-нибудь читал вслух. Молодого же Александра настолько увлекли книги, что он прочитал всё, что имела местная библиотека. И позже, когда восемнадцатилетним парнем поступил в институт, оказался намного начитаннее многих городских.

И вообще сельская закваска в уехавшем из родной деревни парне останется на всю жизнь, и именно она будет помогать выдюжить, смочь преодолеть трудные её перипетии — в конце концов стать тем, кем стал Александр Станиславович сегодня.

Сам он о своём воспитании говорит так: *«Я и сейчас считаю, что надо родиться в сельской местности и лет до четырнадцати жить там. Именно к этому возрасту у человека формируется характер, мировоззрение и он начинает вполне осознанно понимать живую душу природы. В селе и смерть, и рождение человека на виду. Так было раньше. Ничто не меняется и теперь. Детство помнится и тем, как нас воспитывали. Меня ни разу в детстве не поцеловали, но и ни разу не ударили, над нами не смеялись. Нас не воспитывали в нынешнем понимании этого слова, мы сами видели, кто чего стоит — дед, отец, мать, соседи».*

...Но манила большая жизнь. По какому бы пути пошёл тогда деревенский паренёк оказавшийся в городе? Мало того, что это был грамотный, крепкий физически юноша, но и тонкая артистическая натура. Александра так и тянуло поддаться внутреннему своему влечению. Очень хотелось стать артистом. Потом, уже во время учёбы в институте, было желание всё бросить и поступить в Литературный институт. Но Александр сдерживал себя.

Тогда много писали и говорили о необходимости создания в стране «большой химии», это стало на определённом этапе главной задачей страны, и Александр пошёл по тому пути, который был наиболее значим для Родины. Эти слова могут показаться сегодня высокопарными, но так было. Потому, что именно так воспитывали. В 1962 году А.С. Малиновский поступил на химико-технологический факультет Куйбышевского политехнического

института, а по окончании его был направлен на Куйбышевский завод синтетического спирта, где, начав рабочим, в 1984 году стал его генеральным директором. А в 1998 году возглавил ещё одно крупное предприятие — Новокуйбышевский химический комбинат. И можно смело писать дальше одну линию закоренелого «технаря», опубликовавшего десятки научных работ, имеющего несколько уникальных изобретений, ставшего доктором технических наук, академиком Российской инженерной академии, если бы постоянно не вмешивалось в жизнь Александра Станиславовича Малиновского, одно «но» — его артистическая, художественная натура.

II

Книги, которые увлекали с детства, не отпускали. Но сочинять самому... Писательство казалось чем-то нереальным, недостижимым. Но творчество влекло и не отпускало. Уже становилось мало только книг, хотелось какой-то ещё более тесной связи с любимыми писателями. Так Александр совершает паломничество в Константиново, ошалело бродит по тем местам, где ступал Есенин, видит то, что видел великий поэт, разговаривает со стариками, которые помнят своего знаменитого земляка и даже (сейчас это уже воспринимаешь не иначе как чудо!) встречается с сестрой Есенина...

Прорвало где-то к концу института. Должно быть, сыграла свою роль городская жизнь, её контраст с жизнью сельской. А тут как раз заговорили о «неперспективных сёлах» и всей душой захотелось сохранить родную Утёвку, какой она есть, сказать о ней то, что теплится в душе.

Сочинял в тайне, назвать себя писателем представлялось невымыслимым, невозможным. Никто из домашних и не заметил, как и когда писались первые стихи и рассказы. А они копились. И только после окончания института, уже работая на заводе, Александр отправил первые стихи в редакцию газеты и сразу в областную. Стихи, подкупавшие тёплым светом и добротой, не могли не понравиться, и в 1969 году на страницах областной молодёжной газеты «Волжский комсомолец» состоялся дебют молодого автора. Там же вскоре стали регулярно печататься и рассказы Александра Малиновского.

Но завод, ставший уже родным, и дело, за которое тоже болела душа, не дали тогда в полную меру увлечься литературой. Надо было осваивать новые производства, надо было писать кандидат-

скую, после докторскую... И всё же — что удивительно — несмотря на эти «технарские» будни, которые, кажется, должны были поглощать всего и полностью, у Александра Станиславовича всегда оставался уголок в душе, хранивший верность творчеству. Впрочем, разве изобретение уникальных технологий, кандидатская, докторская — не творчество? Просто не перестаёшь удивляться всеохватности А.С. Малиновского. И даже не тому «откуда берутся силы?», а тому: «когда он всё это успеваает?» А ведь успевал и за заводскими буднями, всё складывал и складывал в папку, словно грибы в лукошко новые рассказы, новые стихи. И вот уже стало не хватать одной папки... Нет, Александр Станиславович продолжал печататься в областных газетах, в альманах, в литературных сборниках, но папки копились...

И как это положено, переход количества в качество дал взрыв. И взрыв произошёл в 1992 году, когда сразу три (!) совершенно разные книги А.С. Малиновского увидели свет. Это поэтический «Светлый берег» (Издательская группа INDEX) и два сборника рассказов «Степной чай» (Самарское книжное издательство) и «Разговор с сыном» (Издательская группа INDEX). Книги сразу понравились чистотой, своей искренней верой в русскую деревню, в её быт, в то, что именно там и находятся истоки народной мудрости.

В 1994 году вышел новый поэтический сборник А.С. Малиновского «Я любить не устану» (Самарское книжное издательство). Все собранное, накопленное за многие годы теперь находило отражение в стихах и прозе А.С. Малиновского.

Своеобразным итогом этого творческого этапа стал выпуск сборника лучших стихов, лирических миниатюр, рассказов «Горница». И выпущенный не где-нибудь, а в Париже издательством «SorArt editions». Так эхо русской Утёвки через всю Европу докатилось до Парижа.

А то, что творчество А.С. Малиновского доходило не только до Парижа, но и до читателя по всей России говорит вот это письмо в журнал «Панорама нефтехимии»:

«Дорогая редакция! В первом номере «Панорамы нефтехимии» вы, вопреки отраслевому названию, много говорили о людях и куда меньше — о нефтехимии. И правильно сделали! Но особенно нас потряс новокуйбышевский поэт, директор завода синтетического спирта Александр Малиновский. Какие чудные стихи! Какие ёмкие и умные новеллы! Короче! Вам нужно продолжить разговор журнала с Малиновским. Пусть он вспомина-

ет, рассказывает, сравнивает — мало сегодня таких директоров! Спасибо за Малиновского!

А. Баев, В. Серегина,

3-й цех, Ангарскнефтеоргсинтез, Иркутская область».

А кто знает, может, как раз это пожелание «вспоминать, рассказывать, сравнивать» и подтолкнуло А.С. Малиновского к той прозе, которую мы теперь можем прочитать.

Середина 90-х — это новая ступень в творчестве А.С. Малиновского. Это уже не просто восторгающийся своими земляками, русской природой ученик, это уже человек, сам много переживший, передумавший, многим переболевший. Теперь автор и сам уже напоминает одного из своих героев, русских мужиков, на которых, собственно, и держится-то Россия, сильных своей простой мудростью и болью за любой недогляд в доме, на улице, в деревне, в стране.

В 1996 году в Самарском отделении Литературного Фонда России выходит повесть А.С. Малиновского «Чёрный ящик». В ней Александр Станиславович очень выверено и точно смешивает документальную прозу и художественные формы, создавая, таким образом, потрясающе достоверную атмосферу реальности всего, о чём говорит.

Приём «документальности» в творчестве А.С. Малиновского требует особого разговора. Пока же стоит отметить, что именно тесное переплетение художественного и фактически точного, именно творческое осмысление жизненной конкретики, явленное в повести «Чёрной ящик», станет для Александра Станиславовича определяющим последующее творчество художественным методом.

«Чёрный ящик» получил огромную прессу. Трагическая судьба директора завода Виктора Сергеевича Стражникова, страстно болеющего за свой завод, за свою страну, взволновала многих, от простых читателей до учёных.

«Глубокоуважаемый Александр Станиславович! Прочитал Вашу книгу «Чёрный ящик» с удовольствием и, не скрою, с болью. Именно с болью за Россию, её прошлое, настоящее и будущее». (Д.С. Чернавский, доктор наук, сектор математического моделирования развивающихся систем ФИАН)

А.С. Малиновскому, знающему не понаслышке о заботах и проблемах, отечественной экономики, удалось точно, до мельчайших деталей передать атмосферу времени и атмосферу сегодняшнего завода. Вообще можно смело сказать, что за последнее время

это первая художественная проза на так называемую «производственную тему». Слова «производственная тема» взяты в кавычки потому, что у многих это вызывает воспоминание о том, как «рабочий класс мужественно преодолевает трудности, осваивает новую технику, и заодно борется со всякими тунеядцами, приписчиками и бюрократами, мешающими построению светлого будущего». Конечно, в прошлые годы бравадной халтуры на эту тему написано достаточно. Но были же и прекрасные произведения о рабочем человеке. И вот ведь что примечательно: после поворота от социализма, отказа от социалистических ценностей, в том числе и от метода социалистического реализма, рабочий человек совершенно выпал из литературы. Словно нет его и не должно быть при новом экономическом строе. Так вот, «Чёрный ящик» А.С. Малиновского ценен ещё и тем, что вернул в литературу рабочего человека, вернул на страницы художественной прозы производство. И сделал он это не в том слащавом виде, который справедливо теперь вызывает разве что ироничную улыбку, а показал реальную жизнь предприятия и реальных людей со всеми своими бедами, тревогами и надеждами. Одни разговоры директора Стражникова с рабочими в курилке чего стоят!

Впрочем, повесть «Чёрный ящик» вызвала столько добрых и благодарных откликов ещё и потому, что Александр Станиславович никак не мог остановиться только на производственной теме. Главный герой — не просто директор завода, поглощённый заботами предприятия, это ещё и тонкий лирик, который тянется своими воспоминаниями в детство, стремится к матушке, у которой приходится бывать всё реже и реже, в деревню.

И вот эта двойственность природы — с одной стороны расчётливый прагматик-производственник, с другой — чувствующий и любящий природу, свои сельские корни, лирик — и создала запоминающийся образ директора завода Виктора Стражникова.

III

Вообще А.С. Малиновский, о чём бы ни писал, всегда остается лириком, верно преданным своему родному краю, людям, которые его воспитали. И потому совсем не случайной, а, наоборот, как бы продолжающей (вернее сказать — начинающей) повесть «Чёрный ящик», стала следующая повесть Александра Станиславовича — «Под открытым небом», выпущенная Самарским отделением Литературного Фонда России в 1997 году. Это повесть о детстве славного паренька Шурки, который вполне возможно,

когда вырастет, и станет директором завода, тем самым Виктором Стражниковым. Но пока мы окунаемся в атмосферу конца пятидесятых—начала шестидесятых годов, снова очень точно и умело воссозданную на страницах повести А.С. Малиновским.

Вот что писал об этой повести самарский прозаик Иван Никольшин:

«...Открытость предполагает не только откровенность и не столько её, сколько сопричастие ко всему, что рядом с тобой, что тебя окружает. А ещё она предполагает сопричастие чужому горю, сострадание человеку, попавшему в беду, и всей его судьбе.

Вот этим чувством сопереживания и напитана новая повесть Александра Малиновского «Под открытым небом».

Почему под «открытым»? Это объясняется просто. В наших заволжских деревнях когда-то было принято летним вечером на свой семейный ужин собираться где-нибудь на зелёной лужайке вокруг костерка с таганом; на вольном воздухе, как говорили у нас, или «под открытым небом», по выражению Шуркиной бабушки.

...В этом деревенском обычае, между прочим, тоже есть элемент открытости, а значит, и сопричастности ко всему сельскому миру. Семья, собираясь вечерить на виду у всей улицы, как бы подчеркивала этим: вот, глядите, мы люди открытые, ничего от вас не таим. А вас милости просим к нашему столу перекусить, чем Бог послал.

Со страниц повести перед нами открывается простая и естественная, как сама деревня, жизнь с её по-старосоветски бесхитро-сно-совестливыми людьми.

Это и есть позиция автора и его главная правда. Не та, которой ныне ежечасно пичкают нас с голубых экранов, не бандитская правда кулака и крови, а правда непридуманного мира деревенской жизни: тихой, обыденной, подчас протекающей среди сплошной человеческой нужды и всё же несмотря ни на что удивительно совестливой.

Впрочем, по иному в деревне просто и нельзя жить. Здесь все на виду, все знают друг друга, все «под открытым небом». Потому и приглядываясь к взрослой жизни, маленький Шурка постоянно думает не только о своей доле, но и о своём окружении, о своих близких.

...Сопереживать же приходится не только Шурке, но и его матери, бабке, деду, отчиму. В книге есть и другие запоминающиеся персонажи, но эти всё-таки главные.

С большой любовью выписан образ Шуркиного деда, мудрого деревенского человека, вечного конюха, крестьянина до мозга костей, степняка и немного романтика. А от образа Шуркиной бабушки так и веет добротой и состраданием ко всему живому.

Все эти люди, а вернее герои, и составляют костяк того времени, о котором рассказывает автор...

Вообще повесть «Под открытым небом» со своей немного ностальгической грустью оказалась очень близка многим читателям и довольно широко разошлась не только по нашей стране, но за рубежом. Из многочисленных откликов на эту повесть приведём, пожалуй, отрывки из письма жителя Германии А. Бурдта, пришедшего в адрес издательства:

«Я — эмигрант. Я — поволжский немец. Я — бывший житель поволжской земли.

...Не помню, как у меня оказалась маленькая серенькая книжечка, которую долго не замечал: А. Малиновский «Под открытым небом». Но как только начал читать, не мог оторваться. Повяло чем-то родным и знакомым и имя этому родному — детство и моя первая жизнь.

Шурку полюбил сразу. Читая, мысленно играл с ним в лапту, ходил на рыбалку, танцевал, влюблялся, работал в клубе и просто жил в волжской деревне.

Кто этот Малиновский? Откуда? Какая простота и какая сила творчества!..

Оказывается, есть ещё в России таланты, и это несмотря на то, что происходило и сейчас происходит в России, несмотря на то, что книжные прилавки завалены гангстерской, эротической и бульварной продукцией. Передайте г-ну Малиновскому большую благодарность и пожелания больших творческих успехов».

IV

И опять, думается, читательские письма и отклики послужили толчком для Александра Малиновского в его творчестве. А может, позволили обрести уверенность, что он на правильном пути. Дело в том, что Малиновский уже задумывался над большим эпохальным полотном, которое показало бы жизнь целого поколения. Но, наверное, брала оторопь от масштабности задуманного. И тут Шурка Ковальский, отец Василий, мать Катерина, дед Головачев, да, почитай, все сельчане так полюбились читателям, что дальнейшее жизнеописание Шурки Ковальского требовало продолжения.

В девятом и десятом номерах литературного альманаха «Русское эхо» года была опубликована повесть «Зеленый чемодан», в которой уже повзрослевший Шурка Ковальский впервые по-настоящему соприкасается с тем, чему придется посвятить всю свою жизнь — с нефтехимией.

Надо сказать, что первая встреча оказалась не столь радостная: из неуправляемой скважины рванулся фонтан, и Шурке, ездившему поглазеть на столь невиданное в их окрестностях дело, попало на светлую рубаху жирное, нефтяное, грязное пятно. Как отметина времени.

И эти постоянные разговоры взрослых: нужна нефтехимия или нет? Что она принесет больше: вреда или пользы? Не погубит ли эта выпущенная на свет бездушная сила всё живое вокруг?

Пересказывать все аргументы «за» и «против» дело неблагоприятное — всё это есть в повести. К тому же каждый такой взрослый спор — это и характеры людей, их отношение к жизни, их философия. Всё это впитывает Шурка, замечает, сравнивает, сам просиживает в библиотеке, стараясь найти ответы в книгах и газетах.

А в передовицах газет становится модным лозунг: «Коммунизм — это советская власть плюс химизация всей страны». И всё подается с такой мощью, с таким напором, что невольно захватывает, затягивает, как бурный водоворот в весеннюю воду.

А тут ещё появились новые люди. Сильные, мужественные. Другая порода. Шурке всё надо знать. И он, сам того не подозревая, увлекается этим мощным потоком — он едет, а точнее сказать, летит на работаге-«кукурузнике» в город поступать в политехнический институт...

Продолжение рассказа о поколении, выросшем в суровые послевоенные годы, а затем с молодой энергией за несколько десятков лет выведшем страну в число передовых промышленных держав, состоялось в следующей книге Александра Станиславовича Малиновского «Совмещение».

Оставили мы Шурку Ковальского улетающего из родного села в новую жизнь, «на новый материк», как он сам замечает, а встречаем его приземлившимся в аэропорту областного центра.

Вот тут и приходится Александру (это уже не Шурка теперь) называться, для многих, скорее всего, сейчас непонятным словом, «совмещённый». Правительство решило тогда, что будущие инженеры должны первый период своего студенчества отработать на производстве. Прочувствовать, так сказать, нефтехимию изнутри. Наверное, было в этом и рациональное зерно. Но Шурка

оказался «совмещёнником» не только потому, что пришлось совмещать работу на заводе и учебу на вечернем отделении в институте. Многое пришлось совмещать внутри себя. Городская жизнь и сельская. Один учёный говорит, что прогресс несет благо цивилизации, другой спорит с ним. И это вечное: что первичнее дух или материя?

И подошла пора любви. Влюбчив Шурка. И в тоже время остаётся верен одной женщине. Вот где уже не просто душевные переживания, а — душевные муки.

Малиновский рассказывает о поколении верно и, что очень важно, художественно выразительно передаёт дух шестидесятых годов.

Мы были вправе ждать от А.С. Малиновского продолжения биографии Шурки. Семидесятые годы, когда, судя по всему, Александр будет работать на заводе (а пока знакомство с его жизнью заканчивается для нас, когда он получает после успешного окончания института вызов на завод), тоже интересны.

А наши восьмидесятые, которые вновь удивили мир!

Нет уж, читатель не даст Малиновскому оставить так полюбившегося всем героя. А, как мы уже знаем, читатель для Малиновского — это во многом творческий двигатель. А уж душевного горячего автору не занимать.

Три самостоятельных произведения — «Под открытым небом», «Зеленый чемодан» и «Совмещение» — составляли трилогию, которая впервые полностью и вышла отдельным томом в 2003 году в московском издательстве «Российский писатель».

V

Но вот в 2007 году в том же издательстве «Российский писатель» вышел двухтомник А.С. Малиновского с общим названием «Под открытым небом», в который помимо уже известных повестей, объединенных главным героем Александром Ковальским, вошли две новые — «Встречный ветер» и «Противостояние». И пред нами предстало полновесное эпическое полотно о России второй половины XX века, которое автор не делая никаких публичных заявлений, не раскрывая планов, творил более десяти лет.

Две новые книги составили второй том, разлив и завершив эпохальную картину. В них перед нами предстаёт уже возмужавший главный герой. Теперь Александр Ковальский полностью втянут в производство. Мы видим не только его карьерное про-

движение по служебной лестнице (мастер, начальник цеха, а в последней книге — генеральный директор), но уже цепкий волевой характер, который помогает жить порой вопреки складывающимся обстоятельствам.

Неслучайно одна из книг названа — «Встречный ветер». Вообще надо отметить у Александра Малиновского ещё одну замечательную особенность — он не просто удачно подбирает названия к своим произведениям, но даёт точный образ, причём многоплановый, за которым всегда открывается гораздо больше, нежели кажется на первый взгляд.

Взять, например, это словосочетание «встречный ветер». Первые возникающие лично у меня ассоциации: весна, молодость, романтика, желание идти навстречу этому встречному ветру. Такой и есть Шурка, становящийся всё более Александром, укореняющимся в городской жизни. Но ведь «встречный ветер» — это ещё и сопротивление, которое надо преодолевать, чтобы двигаться вперёд. Более того, встречный поток необходим самолёту, чтобы взлететь. А при прочтении повести (хотя уж это и не повесть вовсе, а роман) открываются всё новые и новые смыслы...

Именно во «Встречном ветре» А. Малиновский предстал не просто бытописателем, но и тонким лириком. Впрочем, это не вызвало большого удивления: в предыдущих повестях, как некое обещание большего, нет-нет да и проблёскивали весенними ручейками мальчишеские и юношеские переживания Ковальского. И все эти ручейки вдруг вылились в полноводную реку отношений Ковальского с Руфиной, которая порой грозила затопить само повествование о производственных перепетиях главного героя.

И здесь автору удалось показать не только состояния главного героя (что само по себе и должно было получиться хорошо, потому что автор в отношении Ковальского всегда предельно искренен и правдив), но и Руфины — её женская судьба вызывает не меньший трепет и отклик у читателя. Любовный роман Руфины и Александра — это как бы отдельная повесть в романе (кстати, уже в следующей книге Александр Малиновский успешно использует этот приём, уже не маскируя его, а органично включив ранее известную повесть «Чёрный ящик» в повествовательную ткань романа «Противостояние»). Причём, трагическая повесть. «Такая красивая пара», — восхищаются все вокруг. И семья Шурки приняла красивую спутницу сына, но... Руфина не может иметь детей, а Александр не мыслит семейного очага без детского много-

голосья. И Руфина решается на подвиг (да, это настоящий подвиг любящего человека) — приносит себя в жертву будущему счастью любимого человека. Когда ты не просто готов на жертву, но и приносишь её — это и есть настоящая Любовь.

Здесь, правда, вдруг скользнула некая тень — уж слишком не заладилось у главного героя с женщинами. Точнее, у них с ним. Погибает Рогожинская, умирает Анна, теперь вот драма с Руфиной...

Но эта жертвенная Любовь Руфины умиряет и утишает всё вокруг Ковальского. Бурная весенняя река разливается всей своей мощью и переходит в срединное спокойное течение и теперь Ковальский обретает именно то счастье, которое грезилось ему — Настю, несколько лет терпеливо ждавшую своего суженного. Ждать и терпеть — это тоже жертва.

На фоне этой жертвенной великолепно показанной любви (что она может и как преобразует человека), спохватившись, отмечаешь, что и Ковальский-то сам проходит через настоящие жертвы: авария в его цехе унесла жизни нескольких человек, а восстановление цеха, которым руководил Ковальский, — это титанический труд, сравнимый разве что с ратным трудом. И автор, наверное, мог бы более выпукло и ярко описать это, но он умышленно отодвигает своего героя в тень, как бы говоря нам: не Ковальский главный герой, главным героем является сама жизнь во всех её проявлениях.

Разные люди, разные судьбы, соприкасаясь с Ковальским, так или иначе оставляют свой след на его характере. И он предстаёт перед нами уже полностью сложившимся в последней книге.

VI

Так неужели город и производственные заботы и впрямь полностью поглотили Александра Ковальского? Ни в коей мере. Александр всё так же, как и раньше, рвётся в родное село, где у него теперь растёт сын, только встречи эти редки, но от того они ярче, сочнее. Родная земля помнит и любит своего уехавшего Шурку и потому в каждую его побывку старается передать ему как можно больше тепла и мудрости. Земля питает его, как былинного героя, которому нужно было припасть к земле, чтобы получить новые силы.

И Александр Ковальский понимает это. Неслучайно и Руфину, и Настю он привозит на родину, на своеобразные смотрины не только своей семье, но и всего села, потому что понимает — это

оселок. Примут сельчане — значит, правильный выбор у Ковальского, правильная дорога. А село приняло.

И вот в книге, завершающей рассказ об Александре Ковальском, главный герой предстаёт уже сложившимся человеком, который сам способен принимать на себя ответственность за судьбы даже и незнакомых людей. Его предприятие одно из градообразующих, а потому ответственность его не только за свой завод и трудовой коллектив, но и за город.

Опять у Малиновского очень точное и многоплановое название — «Противостояние». Ну да, в романе рассказывается о противостоянии в обществе, которое вылилось в девяностые годы в разруху.

Но название открывает нам более глубинный смысл: не просто противостояние в обществе, производстве и умах, а противостояние мировоззрений. Это противостояние людей, для которых «я» всегда было на первом месте (не важно, художник ты, производственник, чиновник) и которые, вдруг почувствовав свободу (в первую очередь от служения обществу, а не себе), хлынули на просторы матушки-России, как гной из лопнувшей раны, и людей, для которых «я» всегда было ценно не само по себе, а только в контексте общего дела. «Дело надо делать», — не раз повторяет главный герой. И делает. И ведь именно он, такие, как он, не кричащие и не скачущие по трибунам, удерживают Россию.

Что же помогает главному герою стоять и не ломаться? Вера. Пока только вера в Россию. И это хорошо подчёркивает завершение рассказа о Ковальском.

Конец девяностых. Тяжелейшие для российской экономики времена и Ковальский снова вырывается в родное село, уже вместе со своим выросшим сыном. Старик Бочаров, рассказывает им свою историю жизни, проецируя таким образом нынешнее время на эпоху Гражданской войны, а затем все собираются за огромным сельским столом — под открытым небом — и поют русские песни. Душа поёт, а значит она жива. Можно развалить страну, развалить заводы, оставить людей нищими — душу убить нельзя!

И как поют! После этого нельзя не верить в Россию.

Об «открытом небе», этом символе, проходящем красной нитью через все повествование о Ковальском, уже сказано много. И, наверное, было бы чудесно и весьма оптимистично, если бы автор на этом и закончил свою повесть, но Малиновский — правдописатель, и он возвращает нас в суровую действительность — в город.

На заводе появляются несколько чёрных машин, из них выходят люди и по описаниям понятно, что они вооружены, люди, рвутся в директорский кабинет. Ковальский даёт команду пропустить их, при этом добавляет: «Авось прорвёмся!»

И вот почему-то после этого нашего русского «авось», сказанного только что после русских песен и открытого неба России, безусловно веришь, что прорвёмся. Обязательно прорвёмся!

Этим «авось», который не смогла победить ещё ни одна армия мира, автор подчёркивает веру именно в Россию, в его народ. Ведь мог бы написать Малиновский: «Даст Бог, прорвёмся». Это, кстати, весьма польстило бы ныне многим столичным писательским кругам, где неизменно при встречах троекратно лобызуются и потреникуют на пальцах чётками. Но Малиновский даже не задумывается: «польстить — не польстить», он пишет правду, так, как есть — и его герой произносит «авось». Ковальский ещё не верит в Бога (Малиновский прекрасно чувствует и понимает это), но он уже верит в Россию так, как дай Бог нам каждому. А это немало. Это уже — путь.

VII

Этот путь и раскрывается перед нами, когда охватываешь всю «Историю жизни одного человека» (таков подзаголовок пяти объединённых книг, данный издателем), написанную Малиновским. Это — путь воскрешения России, когда роль Библии взяла на себя русская классическая литература, которую так полюбил Ковальский, а роль духовных водителей, сохраняющих и обучающих Преданию — отец, мать, дед, бабка, все окружающие люди. И мы видим, как вместе с мужанием главного героя, поднимается и Россия. Ведь не одно село так жило — Малиновский нам Россию показывает. А трудное время для России неизменно наступает, когда, казалось бы, она уже всё преодолела, расправила плечи и вышла наконец-то на широкий путь. Но не широкими путями входят в рай. Так и для России не кончаются трудные времена, но деятельный путь её развития, который показал Александр Малиновский — это, видимо, и есть русский путь.

Перечитывая эти пять книг о Ковальском, собранные в единое прозаическое полотно, удивляешься и радуешься огромному труду писателя, создавшему настоящее эпическое полотно жизни русского народа. Ведь, если присмотреться, то не только о второй половине прошлого века рассказывается в этом эпосе. Сколько проекций даёт Малиновский на весь двадцатый век! Он загляды-

вает и в ещё более глубокое прошлое, а в беседах многие его герои говорят о будущем. Могучая книга получилась.

«История жизни одного человека» закончена, но сама жизнь продолжается.

VIII

Но не только через судьбу Шурки Ковальского А.С. Малиновский рассказывает о современной России. В 3-м томе четырёхтомника избранных произведений, выпущенного московским издательством «Российский писатель в 2009 году, опубликованы две крупные вещи совершенно разноплановые и по форме и по содержанию, но написанные с одинаковой болью за Россию и с любовью к ней — это повести «Отклонение» и «В плену светоносном».

«Отклонение» была напечатана впервые в 1999 году в авторском сборнике, изданном в Самарском отделении Литературного фонда России. А повесть «В плену светоносном» опубликована в журнале «Наш современник» в 2005 году. В последствии она вышла отдельным изданием.

«Отклонение» соединена единым сюжетом и героями. Здесь Малиновский снова более близок к не оставляющей его равнодушным производственной теме. Хотя как можно говорить о сегодняшнем производстве и не думать о судьбе России. В этой повести он находит новый авторский взгляд: если раньше все его герои непосредственно работали на заводах, то здесь мы знакомимся с ушедшем на пенсию главным инженером завода Касторгиным. Человек отправлен на пенсию полный сил, энергии и открывающийся ему житейской мудрости. И вот он остался без Дела...

Касторгин одинок. Как и многие из нас, вдруг почувствовавших себя одинокими в девяностые годы. Но это вынужденное отклонение от повседневных забот неожиданно открыло для героя возможность переосмыслить и порой переоценить многое из того, что происходило в стране, на заводе, в личной жизни.

В этой книге уже больше внутренних диалогов героя. И его внутренняя напряженная работа дает плоды: Касторгин понимает, что вот таким, без сомнений, обновленным, он становится востребованным. И не это ли его обретение себя дает многим из нас веру и надежду на общую востребованность России.

Повесть «В плену светоносном» менее обременена сюжетом: плывут себе на резиновых лодках по красивой реке Самарке два слепых, один глухой, сердечник да увязавшийся за ними про-

изводственник-технар (каков состав компании!) и происходят с ними разные приключения. А главное — это новое открытие родного края. Столько любви в описании природы, людей, которые встречаются на пути. А сколько интереснейшей познавательной информации сообщает нам автор по ходу, как бы невзначай. Удивительная книга, которая тепло была принята читателями. Особенно благодарны Александру Станиславовичу за эту книгу земляки: она настоящий гимн Самарскому краю, Нефтегорской земле.

IX

Но, наверное, наиболее сильное впечатление в Самарской области, да и в России, произвела совсем тоненькая книжечка Малиновского «Радостная встреча». И если говорится, что мал золотник да дорог, то это как раз об этой документальной повести, имевшей небывалый резонанс.

Ещё с начала 60-х годов Александр Станиславович начал собирать материал об уникальном своём земляке, жившем в конце XIX — начале XX века самоучке-иконописце Григории Журавлёве. Родившийся без рук и без ног, Григорий Журавлёв писал иконы, зажав кисть в зубах. Иконы же его были весьма знамениты, они украшают и поныне Троице-Сергиеву Лавру, следы их удалось обнаружить в Боснии и Герцеговине, сельскому самоучке поручили в своё время писать икону для Самарского Кафедрального собора, да что там — сам царь приглашал дивного художника к себе, и тот писал портрет царской семьи. И надо же — о такой замечательной личности почти забыли. Вернее, старались забыть: всё-таки иконы писал.

Но Малиновский, со своей неумной любовью и гордостью за свой край, за своих земляков, за их веру, что сделала их такими, уже уехав в город, работая на производстве, неустанно собирал материал о великом земляке. Такова преданность родному краю этого человека!

Он отыщет несколько уникальных икон Григория Журавлёва, раздобудет не менее уникальные фотографии самого художника, будет записывать воспоминания тех, кто помнил иконописца, кто говорил с ним, беседовать с батюшкой местного прихода о. Анатолием, съездит в Троице-Сергиеву Лавру и своими глазами увидит икону, писанную своим земляком из заволжской Утёвки.

Так создавалась эта «Радостная встреча». Но если сказать, что книга посвящена только уникальной судьбе утёвского мастера-

иконописца Григория Журавлёва, нельзя. Вот где сработало художественное мышление автора и его творческий подход к любым точным фактам и документам. Книга представляет собой осколок той эпохи, который автор держит на ладони и, вглядываясь в него, пытается осмыслить прошлое и определить свои отношения с настоящим и будущим, понять, что значило и значит для русского человека, для становления его характера, его судьбы — православие. Сама же книга заканчивается такими размышлениями автора:

«Огромная часть нашего народа неверующая, так вот получилось с нашим обществом. Но я, как и большинство, верю в свой народ, в будущность его. Здесь многое ещё надо понять, но начинается это понимание с бережного, пристального отношения друг к другу. К нашему прошлому и настоящему».

Епископ Самарский и Сызранский Сергей благословил публикацию словами: *«Слава Богу, что в наше время восстанавливается историческая действительность и воздается должное таким талантам, как иконописец Григорий Журавлёв. Рождённый с недугом, но имевший глубокую Веру и Силу Духа, он творил во имя Бога и для людей. Его иконы несли Божественный свет, помогая людям. Призываю Божие благословение на автора и на его повесть, открывающую людям путь к Свету и Правде».*

Воистину сильно пастырское благословение! Сейчас по материалам, опубликованным А.С. Малиновским в книге «Радостная встреча», в музее при епархиальном училище открыта специальная экспозиция, а в самой епархии идет сбор необходимых документов для канонизации Григория Журавлёва, как местночтимого святого.

А ещё найдена и приведена в Божеский вид могила Григория Журавлёва...

...Сегодня в Утёвку в Троицкий храм, к могиле народного иконописца приезжают тысячи людей, в Самарской епархии действует специальный православный паломнический маршрут. Сколько новых находок и открытий произошло за то время, когда тоненькая книжечка расшевелила жителей губернии! А как изменились сами люди! Всё это просилось на бумагу и у «Радостной встречи» появилось продолжение, такое же увлекательное и познавательное, а самое главное — пробуждающее те же чувства христианской любви к окружающему миру.

Александра Малиновского нельзя представить кабинетным писателем. Он много ездит и по Самарской области, и по стране.

В Москве в РГАЛИ в архиве десятого губернатора Самарской губернии Александра Дмитриевича Свербеева писатель обнаружил письма Григория Николаевича Журавлёва. Да какие! В трёх из них, обращаясь к губернатору, художник перечисляет более десятка икон, созданных им по просьбе А. Свербеева. Многие из них выполнены на золоте.

Четвёртое письмо художника было написано лично цесаревичу Николаю с просьбой принять икону святителя Николая Чудотворца. Известно теперь, что будущий император принял эту икону. Об этом писала газета «Самарские губернские ведомости (№ 1, январь, 1885 г.).

Придёт время и А. Малиновский отыщет эту икону в Государственном Эрмитаже.

Во время той поездки в Санкт-Петербург ему удалось установить местонахождение ещё одной иконы Г. Журавлёва «Избранные святые», которая с недавних пор хранится в музее «История религий».

Вообще в последние годы А. Малиновским сделано несколько знаковых для творчества Г. Журавлёва находок. Теперь мы знаем, что одна их знаменитых икон безрукого мастера «Спас Нерукотворный» находится в Паисиево-Галичском женском монастыре, расположенном в Костромской области.

Другая удивительная находка была сделана в нашей области в храме Вознесения Христова села Кинель-Черкассы. И об этом он подробно пишет в книге «Радостная встреча». Эта икона святителя Алексия, митрополита Московского, покровителя города Самара. Она была написана Г. Журавлёвым по просьбе губернатора А. Свербеева и находилась в иконостасе кафедрального собора Самары. В советское время собор взорвали, икона затерялась. И вот более чем через восемьдесят лет она обрела новую жизнь.

И очень хочется верить, что будет ещё продолжение «Радостных встреч». Что случится долгожданное для нас событие, когда будет возвращена миру одна из самых знаменитых икон Григория Журавлёва «Утёвская Мадонная», которая, по сведениям Малиновского, находится где-то среди жителей города Самары

Здесь уместно сказать, что Александр Малиновский награждён медалями Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского и Серафима Саровского.

Александр Малиновский часто встречается с читателями. Это и детские аудитории, и студенческие, и профессорско-преподава-

тельские коллективы. И сельский читатель, и городской. От того очевидно книги о творчестве А. Малиновского пишут и авторы с академическим образованием, как, например, кандидат филологических наук А. Молько («Нету мне в жизни покоя. Судьба и творчество А. Малиновского». Самара, «Агни», 2001), и журналист из «глубинки» А. Бердникова («Светоносный плен. Очерки о жизни и творчестве А. Малиновского». Самара, «Русское эхо», 2014). О книге Бердниковой можно сказать, что эта самобытная книга по сути посвящена исследованию восприятия творчества А. Малиновского широким слоем населения «малой» родины автора — читателями Нефтегорского района. О книгах Малиновского писали и пишут известные писатели России: В. Ганичев, Н. Дорошенко, В. Дементьев, К. Кокшенёва, Н. Коняев, Н. Переяслов, С. Шуртаков, В. Крупин, И. Ляпин и другие.

По его книгам не раз снимались документальные фильмы. Так московская Отечественная киностудия документальных фильмов сняла фильм «Дар веры» (режиссёр Б. Криницын), на самарских киностудиях снимали фильмы Б. Свойский, А. Игнашов, Ж. Жалынина и другие.

Х

Видимо, по контрасту, что ли, но от серьезной литературы для взрослых, где мыслям тесно, Александр Малиновский обратился к литературе для детей. Хотя — что может быть серьезней детской литературы? Его две небольшие повести «Под старыми клёнами» (московское издательство «Русский писатель») и продолжение её «В зимние каникулы», помещённая в третьем томе четырёхтомника избранных произведений, вроде, и незамысловаты на первый взгляд, но это на наш, взрослый взгляд. Я сам видел, с каким интересом слушают дети истории про Настеньку и её друзей. Малиновский в этих повестях не только учит детей добру, показывая, как выходить из тех или иных ситуаций, как вести себя, но и помогает познавать мир, рассказывая о том, чего городские дети нынче и не увидят нигде.

Это очень хорошие и светлые книги, которые раскрыли в писателе ещё одну грань его творчества. И ещё одну грань души. Ведь для того, чтобы писать для детей, помимо особого искусства надо обладать такими свойствами ребёнка, как искренность, любопытство, доверчивость. И если в первых двух качествах автор убедителен всегда, то открыть в нём трогательную чёрточку доверчивости было приятно.

Но надо сказать, что «детские» повести (так будем их называть) тоже помогли Малиновскому как автору. Известно, что письмо для детей должно быть исключительно чистым с точки зрения языка и выверенным по мысли. Детская литература не должна быть перегружена метафорами и образами (в первую очередь потому, что сам ребёнок ещё только строит мировоззрение) и потому она прозрачна и простодушна.

Работая над «детскими» повестями, Малиновский смог уловить прозрачность стиля присущую детской литературе и перенести её в следующие свои повести: «Сергей Сергеич и Сима» (первые вышла в свет в Самарском отделение Литературного фонда России под название «Новое имя» в 2007 году) и «Планета любви» (журнал «Русское эхо», № 2 за 2008 год).

В этих маленьких повестях, используя ту же прозрачность детского стиля, Малиновский смог рассказать о трагизме мира с присущей ребёнку искренностью и доверчивостью к этому миру. А самое главное о Любви в нашем, казалось бы, уже окончательно погибельном мире. Удивительно добрые и светлые повести. И это не смотря на трагическую концовку в той же «Планете любви». Хотя нет, концовка-то как раз светла и чиста, это сюжет трагичен. Но в том и чудо русской литературы (настоящей русской литературы), что она гораздо шире и глубже просто сюжета. Наверное, большинство из нынешних литераторов так бы и закончило повесть на смерти одного из героев. А что, весьма эффектно и в духе времени. Но Малиновский не гонится за эффективностью, для него важнее эффективность. А она в том, что раздвигаются земные рамки сюжета и мысль и чувства читателя устремляются ввысь, к небу. И если человек, после прочтения произведения, задумался о горнем — значит, цель достигнута. По крайней мере, такая задача всегда была у подлинной русской литературы.

Впрочем у детской литературы всегда была ещё одна задача: помочь ребёнку познать мир. И не только духовно. Ребёнок любопытен, ему хочется многое узнать. И как рассказать ему об окружающем мире, чтобы чтение ещё захватывало и увлекало — вот задача художника. Мне кажется, именно такую задачу поставил перед собой Александр Станиславович, когда писал повесть «Путешествие трёх смельчаков». Книга вышла в 2010 г. в самарском издательстве «Просветительский центр «Пересвет» и нашла добрый отклик у юных читателей. По большому счёту это книга о любви к окружающему миру. Звери, растения, река — всё,

что нас окружает, подаётся автором как единое целое не только между собой, но и с человеком. Конечно, А.С. Малиновский по ходу повести сообщает массу интереснейшей информации о тех или иных обитателях флоры и фауны, но не это всё же главное, а то чувство общности нашего мира, которое, уверен, передаётся ребёнку.

Эта книга была отмечена Всероссийской премией имени П.П. Ершова.

XI

Александр Малиновский не оставил и поэтический жанр. Причём пробует он себя и в новых формах. Так в 1998 году в Самарском отделении Литературного Фонда России вышел его сборник четверостиший «Звездное коромысло». От кратких по форме, но ёмких по содержанию четверостиший этих веет восточной мудростью и спартанским лаконизмом.

В Москве в издательстве Московской организации Союза писателей России в 2000 г. вышел сборник стихов А.С. Малиновского «Не так живём».

И вот, как некое признание поэтического творчества А.С. Малиновского в том же 2000 г. в самарском издательстве «Парус» вышел сборник песен на его стихи «Окошко с геранью». А в 2002 г. увидели свет музыкальный диск (18 песен) и аудиокассета (21 песня) с тем же названием, что и сборник песен на стихи А.С. Малиновского «Окошко с геранью».

Согласитесь, когда стихотворение становится песней и люди начинают её петь — это признание и величайшая радость для поэта.

И, конечно, не мог оставить без лирики Александр Станиславович и юных читателей. Для детей старшего, среднего и младшего возраста вышли две его поэтические книги «Даль без края» («Российский писатель», 2011) и «Принесу вам хлебных крошек» (АНО «Просветительский центр «Пересвет», 2012). Все они не только пронизаны добром и светом, но и рассказывают об окружающем мире, стараются, чтобы окружающий мир стал частью мира ребёнка. А чтобы это случилось, нужно лучше и больше знать об окружающей действительности. И вот это знание и старается передать Александр Малиновский в лёгкой, наиболее доступной, поэтической форме.

ХИ

Особо надо сказать ещё об одной форме, которую активно осваивает А.С. Малиновский в своём творчестве — дневник. Конечно, это не дневник в обычном его понимании, когда лист бумаги используется в качестве жилетки, в которую можно поплакаться, или как хронометр прожитого дня.

Малиновский, говоря о своей манере письма как-то заметил: «...каждая книга писалась как вполне самостоятельная, со своей творческой задачей. И всегда что-то оставалось недосказанным, и потом появлялось уже в пространстве другой книги. Приходилось и дневник писать, и что-то надиктовывать на магнитофон. А затем строить из этого книгу. Наверно, обычное это дело, если отталкиваешься не от сюжета, если хочешь осмыслить, понять на примере своего поколения, какими мы были, какими мы стали». Мне кажется всё-таки не все, пришедшее по ходу работы над книгой удаётся вместить в неё. Многое из написанного остаётся за бортом произведения. А так порой бывает жаль набранного материала или пришедших мыслей, которые никак не втискиваются в рамки того над чем работаешь сейчас. И не факт, что станут они частью нового произведения. Но если есть, чем поделиться с читателем, разве можно держать это под спудом? Так родился цикл лирических миниатюр «Колки мои и перелесья».

Причём любопытная вещь, кажется, «Колки мои и перелесья» это не просто собрание разных «вкусностей», не вошедших в художественные произведения, они помогают писателю создавать новые произведения. Так, например, записи о Г. Беляеве и М. Алексееве — это самостоятельные художественные очерки. Что, кстати, и подтвердила редакция журнала «Русское эхо», поместив отрывок «А избы горят и горят» (о М. Алексееве) как отдельный очерк в журнале «Русское эхо» (№ 1, 2008 год).

При этом следует отметить: А. Малиновский чётко различает, что из написанного ложится в копилку «Колок», а что становится самостоятельным произведением. Ведь неслучайно циклы рассказов «Степной чай» и «Философ» существуют отдельно. Первый цикл — это низкий поклон селу, его быту, это можно сказать, предвестник повести «Под открытым небом», которая потом вылилась в многотомный эпос. Предвестником чего станет сборник «Философ»? Наберемся терпения и подождём.

Главное, что автор работает, не останавливается в своём творчестве, продолжает искать и открывать нам новые грани своего таланта.

ХІІІ

И вот такая новая грань открылась. И она свидетель уже окрепшего таланта, и более того, укоренившегося метода «документализма» в творчестве Малиновского, нежели что-то совершенно новое. Подходы к этому были уже в повести «В плену светоносном», в котором автор вроде бы просто рассказывал о сплаве на лодках по Самарке, но вместе с тем в разговорах, в ситуациях, которые случались во время путешествия, раскрывались люди с их непростыми судьбами, а за их судьбами стояла судьба России, неразрывно связанная с жизнью каждого человека. Потом были «Коли мои и перелесья», где автор уже точно вышел на документальное многоголосье своего произведения, дав каждому герою как бы высказаться, рассказать свою историю (а у каждого человека есть обязательно заветная история, которая порой во много определяет его жизнь), причём герои эти совершенно разные — от крестьян до учёных. Тут задача автора сродни задаче дирижёра: сделать так, чтобы каждый голос звучал в этом хоре органично, и чтобы ни один голос не заглушался другими, подхватывал и дополнял. И это в полной мере удалось. Близка по стилистике к этой манере повесть «Краносамарские родники». Здесь дед ведёт внука по местам своего детства, где есть место и воспоминаниям, и встречам, и столкновениям с современными реалиями, и просто душевной радости от окружающей красоты. Но это больше всё-таки мир деда, к которому автор приобщает внука. Мы слышим и другие голоса, но они как бы являются дополнением к той картине мира, которую разворачивает перед внуком много поживший дед.

И теперь в повести «Голоса на обочине», давшей название этой книге, этот приём «многоголосья», кажется, доведён не только до совершенства, но и действительно применяется автором именно как осмысленный приём. Если повесть «В плену светоносном» больше всё-таки относится к жанру «путешествий», когда главным сюжетом является само путешествие, а «Колки мои и перелесья» ближе к жанру «запасника», когда всё приметное в жизни откладывается, копится, и вдруг перерастает в самостоятельное произведение. Таких примеров в русской литературе мы знаем немало. «Голоса на обочине» — это осознанное возвращение к первоисточнику. Это как бы не описание Волги в её среднем течении, где она предстаёт во всей красе и полноте, а открытие её начала — вот откуда она! Вот где рождение той красоты и полноты, которая явится много позже, когда и другие родники вольются в неё. Вот этим родникам и даёт звучать Малиновский.

Но мы видим не только искусную работу дирижёра, образующего из разных голосов единое звучание, тут, мне кажется, открывается нечто большее. Поэт Евгений Винокуров написал:

*...Трагическая тень лежит
Под каждую травинкой в поле...*

И вот тут мы подходим к интересному моменту: Малиновский как бы направляет на каждого человека некий приближающий нас к этому человеку прибор (ему как инженеру-«технарю» более известно, что это за прибор, но, дерзну предположить, что это сострадающее сердце), и мы вдруг переживаем боль или радость этого человека здесь и сейчас во всей её полноте и трагизме. Вот она любовь к ближнему человеку, каким бы, казалось, маленьким и незначительным, он не представлялся. Вот то сострадание, к которому призывает нас Бог. Когда всё общее любить легче, а ты полюби ближнего! Каждого, кто оказался рядом с тобой. А тут Малиновский укрупняет каждого человека, ставит его судьбу рядом. Вот он — ближний. Сострадай ему! Конечно, вряд ли возможно как-то материально, физически помочь каждому из героев этой повести, но сопереживать с ними мы должны. Это сопереживание откладывается в нашем сердце, оно не забывается. Оно лечит душу, очищает её.

В этом, наверное, и есть развитие того приёма «документализма», который присущ большинству произведений Малиновского. Только теперь, скорее всего, нужно говорить об «укрупнённом документализме», что ли, об «увеличительном стекле»...

Кстати, обращение к судьбе так любимого русской литературой «маленького человека» весьма характерно для творчества А.С. Малиновского. Но здесь мы видим тот же приём, который им использован в эпопее о Ковальском: через судьбу человека показывается судьба страны. Только если в романах, объединённых одним героем Ковальским, было множество разнообразных проекций на жизнь страны, то в повестях, вышедших в последние годы («Хромоножка», «За тучами чистое небо», «Дом над Волгой», «Запела флейта на мосту»), мы ощущаем жизнь страны как бы изнутри, переживаем её вместе с бедами и радостями частной жизни героев разных возрастов. И тут уже понимаешь гораздо глубже тесную связь судьбы каждого человека с судьбой Родины. Они как капля отражают всё её существо. А Родина вбирает в себя эти капли и живёт ими, и они, эти капли и делают её такой, какой мы её любим.

XIV

В заключение, наверное, имеет смысл, чуть подробнее поговорить о литературном приёме, ставшем чуть ли не визитной карточкой Александра Малиновского, как писателя, а именно — о «документализме», ибо, может быть, как раз именно он в своём творчестве как никто близко откликнулся на мысль Льва Толстого, что «придёт время, когда не будут сочинять литературу, а будут писать её с жизни».

Наверное, первым документалистом в литературе можно считать, жившего два тысячелетия назад сборщика податей Матфея, если, конечно, относится к Евангелию не как к Святому писанию, а как к литературе. На Руси же первые письменные памятники стоит признать чисто документальным — это наши летописи. И вот тут стоит заметить, что летописи наши — это всё-таки художественное литературное произведение, а не чисто беспристрастное перечисление фактов и документов. Почему же мы склонны относить летопись к произведениям литературы, а не к фактологическим памятникам? Известно, что порой отдельные эпизоды, описанные в летописях, не подтверждаются исторически. Дело в том, что каждый летописец, излагая те или иные факты, оставался художником по сути, со своими пристрастиями и со своим индивидуальным взглядом на происходящие события и собственной попыткой объяснения того или иного случая. Поэтому так порой и разнятся в изложении событий, скажем, киевские и новгородские летописи. Чтобы донести и своё миропонимание времени, каждый автор выстраивал имеющиеся у него факты в определённом порядке, более того, те факты, которые имели место быть, но не укладывались или мешали концепции автора, опускались вовсе, другие же факты могли получать некоторое изменение, а к большинству вообще прилагалось эмоциональное отношение автора в виде эпитетов («окаянный», например, или «милостивый» — и у читателя сразу создается определенное отношение к персонажу), а то и прямая оценка.

Суть приёма «документализма» заключается не в точном фактологическом изложении материала, а в таком отборе, обработке и выстраивании имеющегося материала, который позволяет максимально выразить идею автора.

Именно к такому «документализму» всё чаще и больше возвращается не только русская литература, но и мировая. Как это ни покажется странным, дело тут видится в том, что в последнее время резко усилился интерес к индивидуальной личности чело-

века, к его личному восприятию мира. То есть индивидуальность понимается через то, как она воспринимает те или иные фактические события, происходящие в мире, и через её реакцию на эти события. Внутренние переживания и внутренне отношение конкретного человека к происходящему могут более полно рассказать о происходящем, чем просто точное фактическое описание. Это, конечно, при некотором условии: чем богаче внутренний мир человека, чем более сформирован он как личность, тем интереснее и познавательнее может получиться литературное произведение. Конечно, если будет творчески осуществлен, как уже говорилось, отбор, обработка и выстраивание имеющегося материала.

XX век, ставший в буквальном смысле веком земных катастроф, предоставил в распоряжение художников столько событий, сколько, пожалуй, не имела и вся предшествующая мировая история. И порой действительно ловишь себя на мысли, читая, например, «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, или, погружаясь в фильм М. Ромма «Обыкновенный фашизм», что никакой художественный мозг просто не в силах был выдумать это, никакому вымыслу не поднять этот материал, и Раскольников, кажется, уже лишь бледной тенью нынешних событий (правда, надо заметить, что тень эта как бы предваряет и даже предопределяет в какой-то мере весь XX век).

То есть важнейшее значение приобретает личность самого автора. Это очень похоже на «А судьи кто?», ибо действительно автор, пропуская через себя происходящие события и пересказывая их, становится судьей веку своему.

Все вышесказанное во многом относится к произведениям А.С. Малиновского. И если в одних повестях читатель, как бы сразу попадая, в исповедальную атмосферу произведений, невольно ассоциирует главных героев — Стражника и Шурку — с автором и сразу верит в действительность происходившего, то в «Отклонении» автор намеренно дистанцируется от главного героя К. Касторгина, несмотря на множество внутренних монологов, такой исповедальной атмосферы не создается. Но автору очень важно, чтобы читатель воспринимал описанные в повести события, как фактически происходящие, и он добивается этого путем досконально точного описания мест, где происходят те или иные события, или сами события (например, приезд Высоцкого в Самаре), в которых участвует и главный герой. Все это сплетается в одно целое и, если мы никак не можем отрицать действительный приезд Высоцкого в Самару и многие могут подтвердить нам, что именно

так, как описано в повести, он говорил и вёл себя на сцене, то уже невозможно становится отрицать и реальность пребывания Кирилла Касторгина на этом концерте и его переживания и отношение к этому событию воспринимаются читателем как реальные, то есть документальные.

Вот как сам Александр Станиславович говорит о своих произведениях:

«За каждой страницей моего рассказа чаще всего — реальная жизнь. Не обязательно моя личная, ведь у меня чуть не вся страна — знакомые. Тридцать пять лет я проработал на заводах, семнадцать из них — директором. Сейчас преподаю в вузе. Со столькими людьми повстречаешься, стольких переслушаешь, пока сидишь, например, в ожидании совещания или приёма.

Жизнь вообще великий режиссёр и сценарист, так что я не трачу времени на «придумывание». Хватило бы его на художественное осмысление того, что услышал или увидел... Я однажды понял, что суть жизни часто сводится к очень, казалось бы, простым вещам — к тем отношениям, которые движут человеком: кто как посмотрел, что сказал, как тронул-изуродовал душу или, наоборот, помог подняться над обыденным и низменным. Поэтому хотя и мог бы я напридумывать и писать о сложных коллизиях, мне ближе эти простые вещи, показанные самой жизнью...»

Кстати, о режиссёрах, в своё время Андрей Тарковский называл идеалом киноискусства, хронику, понимая её как особый способ достоверного запечатления реальности, восхищаясь случайно зафиксированным на пленке диалогом: «Люди разговаривали, не зная, что их записывают. Потом я прослушал запись и подумал: насколько же это гениально «написано» и «сыграно!»»

«Документализм» как явление прочно входит в нашу жизнь, не случайно хроника новостей куда больше захватывает многих, чем «мыльные оперы». Но ещё раз заметим, что очень многое зависит от того, кто, что за личность выстраивает эту хронику. И оттого, что произведения этой книги написаны исключительно талантливым и поразительно разносторонним человеком, уже немало сделавшим полезного и доброго в своей жизни, ценность и значение их огромна.

XV

Завершить свой рассказ об удивительном человеке Александре Станиславовиче Малиновском, писателе, изобретателе, учёном, производственнике, профессоре хотелось бы его же словами, сказанными в самый разгар нашей перестройки:

«Я пытаюсь теперь многое заново осмыслить для себя. Но, признаюсь, часто не нахожу ответа. И говорю об этом с горечью. Но я, кажется, вижу спасительную соломинку, за которую, схватившись, человек может обрести душевное равновесие. Это созидание, физическое и духовное. Это, кажется, понимают уже многие...»

Время сейчас пришло такое, что хватит уже разбрасывать камни. Пора собирать их».

Александр Громов,
член Правления Союза писателей России,
г. Самара

«ДОРОГА ПРАВДЫ И ДОБРА»

Большой конференц-зал Самарской областной научной библиотеки полон. Добрые, интеллигентные лица. В зале — писатели, краеведы, ученые, обычные любители словесности. На стенде — полтора десятка книг. А над ними слова: «Дорога правды и добра». У людей, собравшихся в зале, праздник. Праздником для них стали книги писателя Александра Малиновского, на чей творческий вечер они собрались. А приурочен он к 65-летию писателя и выходу в свет его четырехтомника, который выпустило одно из самых авторитетных отечественных издательств «Русский писатель».

Малиновский — личность многогранная. Выходец из села Утевка, он прошел путь от рабочего до директора крупнейших нефтехимических заводов. Стал доктором технических наук, академиком Российской инженерной академии, заслуженным изобретателем России, профессором Самарского технического университета. «Во всем мне хочется дойти до самой сути...» — это и о нем, о Малиновском. И к литературе у него тот же подход. Может быть, поэтому и здесь он достиг высот, став лауреатом Всероссийских премий «Русская повесть», имени Э. Володина, А. Толстого, П. Ершова, И. Шмелёва.

«Мать подарила целый мир»

Для первой книги он сначала хотел взять псевдоним. Фамилию Малиновский, казалось ему, читатель может посчитать нарочитой, придуманной. К счастью, его тогда отговорили. Но откуда у деревенского парня такая нетипичная для самарской глубинки фамилия? Все дело в отце-варшавянине, который накануне Великой Отечественной вместе с сотней других поляков оказался в Самаре. Трое из них — в Утевке. «Говорят, отец был красивым, голубоглазым, черноволосым. По деревне ходил в белой рубашке, пуловере, шляпе. Разговаривать мог на нескольких языках. Что было, конечно, необычно». Здесь, в Утевке, Станислав Малиновский и нашел себе жену. Но в конце 1943 года, за четыре месяца до рождения Александра, был призван в Войско Польское. Отца Александр

так никогда и не увидел. Загадка его судьбы притягивала к себе. Около сорока лет сын искал своего отца. И не напрасно. Не так давно Малиновский побывал в Польше, на родине отца, который в звании капрала участвовал в освобождении своего родного города. Был в Варшаве на его могиле. «От отца мне остались фамилия и, видимо, в какой-то степени гены. Понимая, что я деревенский, в то же время смотрел на сельскую свою жизнь порой как бы со стороны». Верно сказал на вечере маститый самарский писатель Иван Никульшин: «Александр Малиновский начинается с детства, с клена под окном, с песни матери. Вот так и литература начинается с простого искреннего слова. То, что искренне, то правдиво». «Я люблю деревню, её быт, — говорит Александр Станиславович. — Мать у меня была крестьянкой с одним классом образования. По дедовой линии все мои предки — крестьяне. Быт был связан с лошадьми, с охотой, рыбалкой, землей».

Дед был конюхом. А ещё — рыбаком, охотником, бондарем, печником, скорняком. Когда накатил в Поволжье голод, уехал в Сибирь вместе с семьей. Из девяти детей в живых остались лишь трое. В Сибири он сколотил немного денег; вернувшись в Утевку, построил на Центральной улице бревенчатый дом.

Александр родился в доме деда. Роды принимала старая повитуха. А потом жил то в дедовом доме, то в избе матери своей и отчима. «Это была саманная изба, — вспоминает Малиновский. — Потолка не было, сразу крыша. Поднимешь голову: наверху хвост, а на нем — солома. Дед обслуживал в райбольнице, в райкоме выездных лошадей. Огромный мерин Карий заскочил и в мою повесть «Под открытым небом». Норовистый был. Помню, падал я с него два раза. К старости Карий ослеп на один глаз. Лошадей нужно было кормить, а значит — заготавливать сено. И я с двенадцати лет участвовал в сенокосе. Его обычно поэтизируют. А это и тяжелая работа. К середине дня все плывет перед глазами. В детстве, когда ещё не мог на лошадь с земли залезть, забирался с колеса рыдвана. И — в галоп. Часто уезжали с дедом в лес либо в степь недели на две траву косить. Дед едет за продуктами, я остаюсь один. Утром проснусь — лошадь стреноженная рядом, птички поют. А я лежу себе под тулупом. Хорошо! Знаю, вокруг на десяток километров никого нет. Но вовсе не страшно. Золотая пора!»... Ощущения сельского быта остались в нем на всю жизнь. «Мать родит не писателя, не инженера или кого-то ещё, — размышляет он. — Матери дарят нам весь мир сразу. И в нем ты можешь стать кем угодно. Но ощущение большого мира приходит через малую

родину. У неграмотного крестьянина — огромная вековая тяга к культуре, желание учиться. Многие мои односельчане рисовали, играли на музыкальных инструментах. Мои родные — дед, бабка — были людьми малограмотными. Но они боготворили книгу. Это и мне передалось. Я помню свои яркие детские впечатления от книг. От Конан Дойля, от Элизы Ожешко — там такие страсти, мурашки по коже. А «Дерзу Узала» Арсеньева! И когда сам стал писать, было такое ощущение, что пишу за них всех, за всех моих родных, которые не знали грамоты, но чувствовали, может быть, ещё глубже, чем я. Берешь в руки произведение иного писателя — и не ощущаешь его корней. Как будто он в пробирке родился. Он мне такой неинтересен. По сути, писательство — это сохранение духа и образа жизни поколения».

В кабинете А. Малиновского висит картина с видом родной Утевки. На первом плане — разноцветье трав. И бабочки! Автор картины — двоюродный брат Малиновского, тоже уроженец Утевки Владимир Рябцев. Он окончил Строгановское училище. Когда Александр Малиновский писал повесть «Под открытым небом», наполненную детскими впечатлениями, эта картина все время была перед его рабочим столом.

«Копать в полный заступ»

На творческом вечере Малиновского Александр Громов, председатель Самарского отделения Союза писателей, сказал так: «К литературе Александр Станиславович относится трепетно». Точно сказано.

«Чем отличается писатель от других людей? — размышляет Александр Малиновский. — Он тоньше чувствует и зорче видит. Но нужно, чтобы читатель чувствовал: автор не все сказал, он знает ещё многое. Чтобы читателю захотелось вновь и вновь возвращаться к книге. Начинаешь писать, и будто открывается дополнительный канал. В такие мгновения ты более всего приближаешься к самому себе. Порою пишешь и не понимаешь ещё себя. Не знаешь, что с тобой произойдет через две-три страницы. «Пробираешься» к этому пониманию. Шаманить, заниматься словесным украшательством — не по мне. Когда нечего сказать — вот тогда шаманство и начинается». Малиновскому есть что сказать. Жизнь его так богата событиями, встречами, размышлениями, что даже если только маленькую часть их отразить на бумаге, это будет уже немало для читателя.

Валерий Ганичев, председатель Союза писателей России, однажды сказал так: «Читая Малиновского, ещё раз убеждаешься: не бывает чистого писательского таланта, писатель по-настоящему интересен только тогда, когда он сам является яркой, незаурядной личностью».

В предисловии к четырехтомнику известный прозаик, секретарь Союза писателей России, директор издательства «Российский писатель» Николай Дорошенко написал: «Александр Малиновский — писатель глубоко народный. И по степени близости его авторских эстетических и этических идеалов к многовековой русской традиции, и по мере адекватности его художественных образов не только народному идеалу, но и народному миропониманию».

А старейшина самарских писателей Михаил Толкач, выступая на творческом вечере, сказал: «На литературном огороде Малиновский копает лопатой в полный заступ. Оттого и урожай богатый». Самый большой участок на этом «огороде» — цикл повестей, которые составили две первые книги четырехтомника. Сорок лет российской жизни, начиная с 1957 года, вместились в эту эпопею, которую открывает повесть «Под открытым небом».

Это целый срез сельской и городской жизни, попытка разобраться, как и почему менялось сознание людей в последние десятилетия. Главный герой цикла — Шурка Ковальский. «Сельский паренек Сашка Ковальский, — пишет Николай Дорошенко в предисловии к четырехтомнику, — как и многие его ровесники, становится студентом, затем крупным ученым, организатором производства. Но... не утрачивает народности своего характера, все его ответы на вызовы стремительно меняющегося времени — это ответы умного, рачительного, с развитым чувством ответственности русского крестьянина».

Составной частью в эпопею вошла повесть «Черный ящик». Это тот случай, когда дневниковые записи одного человека вырастают до уровня обобщения, портрета целого поколения. «Я 37 лет проработал на заводах, — говорит Малиновский. — И в моем поколении столько директоров, воспитанных в державном духе... Людей, которые несли на своих плечах огромный груз... Когда у директора в подчинении четыре-пять тысяч человек, он действует через подчиненных. Он должен создать механизм, который мог бы работать и без него. Но в этом механизме есть люди, которые что-то недопоняли, есть лентяи, есть неумехи. И вот дело сделано,

окружающие говорят: «Это задумка нашего генерального». А ты недоумеваешь: «Мать честная! Это же не я! Это все — испорченное!» Думают иногда: руководитель — самый свободный человек. Нет, он зависимый человек, закабаленный».

Из статьи московского литературного критика Капитолины Кокшеновой: ««Чёрный ящик» потому написан, чтобы сохранить (и докричаться до будущих историков) тот простой опыт, который переживал так называемый «директорский корпус»... Конечно же, принцип переустройства всех оснований нашей жизни работал на разрыв, на потери, на разлад. Но, пожалуй, самым ценным в «Черном ящике» является описание такого человеческого типа (в лице директора Стражникова), который не позволил разорвать времена...»

Из книжки жизнь должна выпирать, считает Малиновский. «Меня особо тронула с самого начала чтения Малиновского предельная естественность его повествования, — заметил как-то известный писатель, лауреат Государственной премии Семен Шуртаков. — Ничего не придумывается. Течет словно бы сама река жизни, и роднички бьют. Здесь свободное течение жизни... У нас сейчас очень много опытных литераторов, которые умеют что-то крепко завернуть, но не показать так, как в жизни. Ухо через голову почесать. Ошеломить... Малиновский далек от этого. Он как родник, который дает живую воду».

А вот что сказал писатель Николай Коняев: «В литературе все так устроено, что не надо обязательно быть размером с Шолохова. Надо быть только настоящим. Как Малиновский».

Конечно, не только из личных воспоминаний строил свою эпопею писатель. Случайно услышанная где-то фраза порою так точно ложилась к месту, что лучше не придумаешь. «Тогда я писал роман «Противостояние», — вспоминает Малиновский. — Там есть русская женщина, крестьянка Аксюта. Красивая в молодости. Но судьба её не сложилась: муж спился, и с детьми не все, как хотелось... И в конце романа она — битая жизнью, но все равно не теряет жизнелюбия. Я долго думал: как закончить? Чтобы было емко и лаконично. Какими словами? А тут зуб разболелся. Пошел в поликлинику. Стоматолог, изящная горожанка, рассуждая о жизни, говорит: «А что жизнь? Бабы маются, а девки замуж собираются». Откуда она взяла эту фразу? Не знаю. Может быть, генетически заложено. Вот эти слова и произносит у меня Аксюта в конце романа. Это ведь не только о женской доле сказано — о всей нашей жизни, и горькой, и сладкой...»

По своей неутомимой натуре Малиновский — изобретатель. Около пятидесяти научных работ, два с половиной десятка изобретений, многие из них внедрены. Идти по чужому следу ему неинтересно. И в литературе он тоже изобретатель, хоть и привержен традициям великой русской словесности.

«Радостная встреча»

Писатель — человек, который делает открытие, так считает Малиновский. И он хочет, чтобы каждая его литературная вещь была открытием. По сути, он открыл нам уникального иконописца Григория Журавлёва. Своего земляка, жившего столетие назад. Родившегося без рук и без ног и писавшего картины и иконы, держа кисть в зубах. Ещё лет сорок назад он начал собирать сведения о нем. Писатель провел настоящее исследование, разузнав все, что только было возможно, о своём земляке.

«Как рассказать о художнике, человеке, жившем простой и бесхитроной жизнью? Я решил написать документальную повесть о том, как разыскивал материал. А удалось найти немало. Нашел иконы со словами: «Писано Григорием Журавлёвым», фотографию художника с братом Афанасием, где Григорий изображен в полный рост. Беседовал со стариком, который видел художника, записал его воспоминания. Никаких легенд, никаких фантазий. Зачем? Жизнь Григория Журавлёва и так фантастична...» Так появилась повесть «Радостная встреча», ставшая для многих читателей потрясением.

До сих пор в судьбе Журавлёва остается много загадочного. Малиновский — человек упорный. Он наверняка не оставит свои поиски, и читателей, я думаю, ждут новые открытия, связанные с именем живописца из Утёвки. Кстати, недавно вышел в свет XIX том «Православной энциклопедии», где есть статья о Григории Журавлёве. Написал её Александр Малиновский. Книга об утёвском художнике выдержала пять изданий.

«Работа над повестью многому меня научила, — говорит писатель. — Главное — не надо врать».

Глазами Симы

Вот с этим посылом и ещё с желанием сказать своё, нечто новое Малиновский приступал к одной из лучших, на мой взгляд, своих вещей — повести «Сергеич и Сима». В ней переплетаются

судьбы человека и кошки, которая, в конце концов, спасает его от смерти.

«Я много наблюдал за поведением кошек. У нас всегда был полный двор и кошек, и собак. Сколько времени я писал про Симу? Можно сказать — месяц, а можно — тридцать лет. Потому что первый толчок к повести был давно, когда я проходил по одной из улиц в Баку. Я увидел убегающих мальчишек и у забора — маленького желтенького котенка, которого они пришибли кирпичом. Тогда я был потрясен этим, хотя к тому времени видел в жизни всякое. Я пришел в общежитие и стал писать рассказ. Но работа не шла. И только потом, с годами, я понял, что надо писать не только о гибели котенка. Надо писать о том, что мы убиваем природу, её способность к самовосстановлению. Вот река течет — там турбулентное движение, слои воды перемешиваются, насыщаются кислородом. А нет этого — река начинает зеленеть, загнивать. Надо дать реке жизни течь свободно. И тогда природа, нас породившая, спасет, как спасла Сима Сергея Сергеевича. Сима — это сама природа. Это не умозрительный образ. Когда я писал повесть, перед глазами был тот желтенький котенок. Некоторые жизненные ситуации я додумал. Но, тем не менее, там все — правда. Я так проникся ощущениями кошки... Почему отказался от трагического финала? Литература, по моему убеждению, должна усиливать желание жить. В конце туннеля должен быть свет».

«В плену светоносном»

Лет до тридцати Малиновский был заядлым охотником. А потом как отрезало. Пожалуй, его отношение к природе определяется названием одной из книг — «В плену светоносном». Это путевые очерки, написанные под впечатлением путешествия на резиновой лодке вниз по реке Самаре — от её истоков до устья. «С детства для меня было всего желаннее пойти на рыбалку, — вспоминает писатель. — Сейчас вырвешься к реке Самаре — никого нет. А раньше обязательно три-четыре плоскодонки было видно. Это бригада плыла веники вязать. И продавали их потом. Или кто-нибудь ракушки собирал, ими кормили свиней... Природа была частью быта». Проплыть на лодке по всей реке — давняя мечта Малиновского, которую он воплотил вместе с друзьями, когда ему было уже около шестидесяти. Повесть насыщена размышлениями о природе, о жизни и полна примет самарского степного пейзажа, с его «терпким настоем запахов каленого желтого самар-

ского песочка, развесистых лопухов, ивняка, ольхи, осинника по берегам у воды...». Очарование этому путешествию придали незапланированные, порожденные природной стихией «лирические отступления». Не случись на Сорочинском водохранилище шторма, где ещё и когда довелось бы увидеть на заброшенном понтоне гнездовые белокрылых крачек?.. Непредвиденные остановки дали возможность автору вместе с читателями книги оглядеться вокруг, подумать, вспомнить былое, подышать степным простором... И эта повесть-путешествие, как и книга об иконописце Журавлёве, тоже была открытием. Многие читатели так и говорили: «Вы открыли нам Самарку заново». В книге была ещё и любовно составленная автором карта Самарского края, с помощью которой можно мысленно вместе с ним совершить путешествие по реке.

Нет одной правды на всех

Другое путешествие — в мир детства — в повести «Под старыми кленами», удостоенной премии «Лучшая книга России». И это тоже книга — открытие. На презентацию четырехтомника Малиновского в Самару приехал известный московский критик и поэт, секретарь Союза писателей Алексей Шорохов. Любопытно было узнать, чем ему интересен самарский писатель. «Малиновскому, — сказал Алексей Шорохов, — хорошо удаются произведения в редком в сегодняшней литературе жанре — жанре повести. Мне нравятся его детские вещи, особенно «Под старыми кленами». Они живые. Ну, нельзя же, чтобы целое поколение воспитывалось только на «Гарри Поттере» и подражаниях ему. В своей повести, как и в других, Малиновский предельно честен. У него своя, непридуманная интонация. Он открыт, распахнут перед читателем. Хороший писатель не может быть плохим человеком. «Гений и злодейство — две вещи несовместные». Своим опытом Малиновский подтверждает эту пушкинскую формулу».

...Писатель даже придумал свой жанр — колки, это такие прозаические миниатюры, вошедшие в четвертый том его собрания сочинений. Кólки — так называют небольшие лесные островки. И писатель вместе с читателем путешествует от одного к другому. От одного воспоминания — к другому... Говорит о событиях, больших и маленьких, которые формировали его как личность. О людях, известных и незаметных, которые оставили след в его жизни.

«Что больше всего отталкивает в людях?» — однажды спросил я его. Ответ был неожиданным: «Категоричность. В людях, мне

кажется, надо поддерживать терпимость, чувство меры. Единой правды, правды для всех — нет. Я это понял ещё в школе, когда мне было лет четырнадцать. Когда смотрел на своих учителей, которые говорили часто менторским тоном. Я вспоминаю разговор своего деда с приятелем. Они едут на возу с сеном и беседуют. Дед рассказывал, как во время Гражданской в Царицыне убежал от белых, не хотел воевать. А приятель деда, Михаил, удрал от красных. «А чего ты удрал? — спрашивает дед. — Может, командиром стал бы». А тот отвечает: «А что толку? Побыл бы в командирах, а потом — голова в кустах. А так еду сейчас — смотрю в небо, звезды над головой». Не нужна нашим дедом была война. Они были её пленниками. А я пионером тогда был, мне доверяли пионерские костры разжигать. А тут такое слышу. Не мог не доверять своему деду и его приятелю. Тогда ещё начал догадываться, что в жизни правды мало. Нужна истина. Но вот идешь, идешь к ней — и до сих пор никак не дойдешь».

Стихи как голос природы

Сейчас Александр Станиславович преподает в Самарском техническом университете. Он много общается с молодежью, пытаясь привить студентам экологическое мышление. Задача почти неподъемная. «Начав читать лекции, я понял: ни твой опыт, ни твои знания, ни твоё умение видеть главное и частности не способны изменить поток жизни, который проходит мимо тебя. И самой природой заложено: истину молодые будут постигать через собственные ошибки. Это давно известно. Но когда видишь подобное зримо... У нынешних студентов — своя правда. И свои заблуждения, которые связаны и с материальными ценностями. Я убежден: материальные потребности ограничены, а духовные — безграничны. Надо, чтобы дела вершились во имя чего-то главного. Третьяков, поняв это, собирал картины. Однажды вижу на лекции — студенты устали, говорю: «Давайте свои стихи прочитаю». Прочитал — они неожиданно мне овацию устроили. Был у меня экологический цикл, два стихотворения из него опубликованы в журнале «Наш современник». Вот такое, например, стихотворение. Называется оно «С ружьём»:

*Вскрикнет ли выть на болоте заросшем,
Или кукушка прольет свою грусть —
Все-то мне кажется, будто о прошлом,
Будто о давнем грустит моя Русь.*

*Руку кладу на цевье замираю,
Но не стреляю, молчу. Отчего?
Словно боюсь, что сейчас расстреляю
Себя самого, себя самого...*

Стихи Малиновского певучи, мелодичны. Кажется, они сами ложатся на музыку. И песен на его стихи немало. Каждая из них, по словам дирижера Самарского академического симфонического оркестра Георгия Клементьева, «родилась с такой простотой и естественностью, как рождается трогательный и безыскусный напев в голосах природы...».

Стихи как голос природы... Может, оттого и в прозе его герои часто поют старые душевные песни? А автор задается вопросом: какие песни мы будем петь через десять, пятнадцать лет? И этот вопрос тянет за собой другой: что останется после нас? Не дело писателя давать однозначные ответы. «Человеческий мозг не в силах ответить на многие вопросы», — размышляет Малиновский. — И все же он всю жизнь мучается «вечными вопросами». И, может быть, прав главный библиограф Самарской областной научной библиотеки Александр Завальный, сказавший на презентации книг Малиновского: «Этого писателя люди будут читать и через сто лет. И будут удивляться ему...»

Вадим Карасёв,
член Союза писателей России,
г. Самара

«МОЛЧАНИЕ СТАЛО ПРОРЫВАТЬСЯ...»

Что-то такое появилось в современной литературе, чему и названия нет. Какая-то тяга к тому, чтобы услышали, прочитали. Своеобразная исповедальная проза. Выговориться за долгие годы молчания.

В шуме и многоголосице нашего дня, в вихре информации, как ни странно, человек чувствовал себя одиноким, брошенным. Витии вроде бы и талдычили о народном благе, но в их глазах сквозил хитрый прищур рвачей и выжиг. Никому был не нужен человек со своею болью. Словно рыба в аквариуме, он смотрел на мерцающий экран телевизора и молчал, молчал, молчал...

И наконец, это молчание стало прерываться. Торопливо записывая свои впечатления, стремясь объяснить с невидимым собеседником, поведать ему личное, затаенное, люди стали доверяться бумаге. Выплескивать в не оформившейся ещё прозе, в поэзии острое, всё в иглах проблем и противоречий, содержание.

Нечто подобное, думается, произошло и с Александром Малиновским, автором нескольких книг прозы, поэзии и публицистики. Сам он родом из Самары, из среды, как говорили раньше, технической интеллигенции. Сейчас директорствует на двух крупнейших химических предприятиях. С его литературным талантом (а к слову его тянуло с ранних лет) в прежние годы он бы издал, скажем, в «Новом мире»; «Записки директора завода». Проблемная публицистика на злободневную рабочую тему. Такие воспоминания любил отыскивать в редакционном «самолетике» Твардовский. Тут же бы откликнулись в «Лит. России» «аналитики темы» типа Бровмана или Медникова. И на этом автора благополучно бы «закрыли».

Но в случае с Малиновским все серьёзнее и сложнее. Уж, казалось бы, какой интересный материал — будни современного производства. Какие конфликты, характеры, реалии!.. Что там происходит, так сказать, изнутри, после всех этих реформ? Но если человек, даже директор, не разобрался в самом себе, если он не выговорился (ибо некогда, некогда...) о том, что произошло

в стране, то и его записи не могут касаться лишь производственных вопросов, он пишет вроде бы обо всем, но прежде всего о себе. Стремится понять себя, определить и защитить своё. «Что надо, чтобы жить с умом? — спрашивал тот же А.Т. Твардовский. И отвечал: — Искать свою планиду. Найти себя в себе самом. И не терять из виду». Александр Малиновский, казалось бы, давно «нашёл себя», вся жизнь по заводскому гудку, но и в чем-то себя «потерял», ведь ещё в молодости мечтал поступить в Литературный институт. Спустя многие годы он находит себя и в писательстве. Как он сам выводит формулу существования: «Смысл всему придает человек, его искать надо в себе. Разобраться в себе. Поставить цель себе и сделать её смыслом жизни».

Стержнем всего творчества Александра Малиновского стала какая-то одухотворенная, прямо-таки восторженная любовь к родной земле. Много повидав, автор вновь и вновь возвращается к своему селу Утёвка. Возвращается не только в воспоминаниях о детских счастливых временах. Возвращается весьма деятельно. На несколько лет Александра Малиновского увлекла история своего земляка художника-иконописца Григория Журавлева. Поистине широк русский человек, поубавить бы его! Почти забытый Григорий Журавлев в буквальном смысле от природы был «поубавлен» — не имел ни рук, ни ног. И, несмотря на такой безжалостный выверт судьбы, нашел в себе силы выучиться, сжимая зубами кисть, на прекрасного живописца, чем заслужил великое уважение земляков.

Но и эта судьба — героическая! — в трагедиях XX века забылась. Понимая всю несправедливость такого беспамятства, Александр Малиновский поставил своей целью собрать всё, что было возможно, о Журавлеве, записать воспоминания о нем, найти разбросанные по стране иконы его письма. В результате получилась очерковая книга «Радостная встреча», где в бесхитростной форме сложилась мужественная сага о народном таланте. Малиновский нашёл и фотографию своего героя, восхищаясь достоинством его лица, одухотворенностью взгляда. Всматриваясь в такой лик, не замечаешь и природного уродства человека.

Человек никогда не должен сдаваться — такому девизу следовал и дальше Александр Малиновский. Его размышления и наблюдения над современной жизнью вылились в прозаическую трилогию, полностью вошедшую в книгу «Повести». Здесь и деревенское детство героя, и трудовые будни руководителя крупного

завода, и неустроенность личной судьбы. Публицистика перемежается с лирическими воспоминаниями, заграничные впечатления — с горестными раздумьями о путях-дорогах Родины. И вырисовывается портрет нашего современника, задерганного, усталого, разочарованного, но хранящего в глубине души надежду, что «всё пройдёт, всё перемелется». Только вот когда и как?

Вадим Дементьев,
*профессор Литературного института
имени М. Горького,
г. Москва*

«ОН КАК РОДНИК...»

...Я хочу обратить внимание на то, как автор пишет.

Вот у нас есть высокое слово «искусство». Но есть и производное от него: «безыскусственность». Похвальное слово? Да! А «искусственный»? Отрицательное? Да. Но не странно ли? Вроде бы тот же самый корень. Но «искусственно», значит, неорганично.

К чему я это говорю? Меня особо тронула с самого начала чтения Малиновского предельная естественность его повествования. Ничего не придумывается. Течет словно бы сама река жизни и роднички бьют. Вот он сел за стол — и пошло, и пошло. Здесь свободное течение жизни. В этом, я считаю, уникальное свойство таланта Александра Малиновского. И герой его открытый, естественный, природный человек. Не придуманный.

Добиться естественности трудно. Паустовский всегда нам говорил: «Не надо, чтоб вы что-то придумывали, выжимали что-то из себя, пишите так, как видите. Постарайтесь человека в живом виде показать, и своими словами». У нас сейчас много очень опытных литераторов, которые умеют что-то крепко завернуть, но не показать так, как в жизни. Ухо через голову почесать. Ошеломить... Малиновский далек от этого. Он как родник, который дает живую воду.

Малиновский много сделал, и сделает ещё больше. О нём ещё будет сказано как о прекрасном, истинно русском писателе.

Семён Шуртаков,
*член Союза писателей России,
лауреат Государственной премии СССР
в области литературы,
г. Москва*

У МАЛИНОВСКОГО НЕТ СЛУЧАЙНЫХ ТЕМ...

...Меня с Малиновским связывает довольно многое. Я помню, мы вместе получали премию «Русская повесть». Я часто бываю в Самаре. Вот недавно был, несколько недель назад. Хотя с Малиновским вижу только в Москве.

Мы любим вспоминать на таких обсуждениях о Шолохове и Белове. Конечно, это замечательные писатели. Но помните, Маяковский сказал, что когда-то рядом с Толстым Лесков был виден только через большой телескоп. Но, например, сегодня не без Толстого я жить не могу, а без Лескова. Хотя и Толстой остаётся Толстым. В литературе все устроено так, что тебе не надо быть размером с Шолохова. Надо быть только настоящим. Как Малиновский.

Для меня Малиновский начинается с повести о Журавлёве. Очень много духовной энергии нужно проявить, чтобы этот художник стал явен всем. И вот: двухтомник о трагедии целого поколения. Колоссальное разочарование в конце многопланового и очень объемного произведения. Герой терпит полное фиаско. И тут надо вроде бы опустить руки. Но Малиновского (точно так же и Ковальского) художник Журавлёв подхватил, как ангел, передал им свою духовную энергию. Вот тут-то и обнаруживается духовное единство между Журавлёвым, которого многие воспринимают как святого, и Ковальским, который вовсе не святой, между героями Малиновского и самим Малиновским.

...У автора нет случайных тем, случайных сюжетов. Помните, в книге есть эпизод, где отец Ковальского ремонтирует печь, стоя на косяках. И он говорит замечательные слова: «Мне работать надо, значит держава, крепость нужна особая». Не понимая того, что нужно человеку, чтобы переступить через себя, Малиновский никогда не смог бы сказать о Журавлёве того, что он сказал. Вот эта органичность — самое главное качество прозы Малиновского. И он как писатель, независимо от его величины, будет существовать самостоятельно.

Николай Коняев
член Союза писателей России,
г. Москва

«РОССИЮ МОЖНО ПОНЯТЬ ПО КНИГАМ МАЛИНОВСКОГО»

Все согласятся, что если историю пугачевского бунта понять по «Капитанской дочке», то полувековую историю России с её основными смыслами можно понять по книгам Малиновского. Разумеется, имею я в виду степень исследовательской добросовестности и художественной ответственности.

Но при том, что интерес к истории у современного читателя остается самым живым, почему двухтомник не стал проектом какого-нибудь коммерческого издательства?

Увы, даже «Преступление и наказание» сегодня таковым не стало бы, хотя этот великий роман можно издать, например, в популярной детективной серии. Потому что коммерческие издательства сегодня делают ставку на несоответствии реальной жизни и её отражения в литературе. Миллионы людей унижены нищетой, стало привычным сексуальное и всякое прочее рабство. Коммерческая литература делает ставку только на то, что человеку, будь он бизнесменом, знающим, что законы его не защитят ни от произвола чиновников, ни от черных риэлторов, или сельским жителем, лишенным школ и больниц, ему надо от своих мрачных мыслей отвлечься.

Характер прозы Малиновского не соответствует и стремительно меняющемуся взгляду на человека, который при новом мировом порядке утрачивает право не только на защиту со стороны государства, но даже и на обыкновенное человеческое сострадание. И в этом несоответствии нашего идеала и новых реалий жизни трагедия не только писателя Малиновского, а и всей нашей христианской цивилизации.

А если все же исходить из того, что Бог есть, что и человек у человечества — это высшая ценность, то следует нам упрямо полагать, что не Малиновский не соответствует времени, а само нынешнее время опустилось ниже Малиновского.

Нас поставили перед выбором: переступить через нравственный закон и добиться успеха, или нести свой крест, оберегать в себе человеческое достоинство. Вот мы и выбираем...

Александр Малиновский — наш национальный писатель. В его героях мы узнаем своё прошлое и настоящее, своих бабушек и дедушек, своих родителей, самих себя. И потому нам очень хочется, чтобы нашим детям и внукам книги А. Малиновского тоже были понятны и дороги. И — только в этом нашем столь вроде бы обыкновенном, «бытовом» желании обнаруживается бытийный, метафизический страх перед «концом времен», перед тем «царством», в котором извечная наша «душа-христианка» ощутит себя неприкаянной. А значит, нам сегодня будет весьма трудно найти для художника более высокую задачу, чем та, которую ставит перед собой Александр Малиновский.

Николай Дорошенко,
секретарь Правления Союза писателей России,
г. Москва

ОБРЕТЕНИЕ ДЕТСТВА

Почему людям, даже самым взрослым, по ночам снится детство? Родители, школа, друзья и подруги самой первой, школьной поры жизни? Почему зелёный листок на дереве несёт в себе информацию о том, как светило солнце именно в первые дни его появления на свет? Почему само дерево в своей толще хранит память только о первоначальной, самой нежной поре своего бытия?

...Потом всё это уходит вглубь, обрастает кольцами лет, покрывается толстой корой, деревенеет. И уже ничего не пробьётся через эту кору, если уж только сама жизнь не отметит её неизгладимым рубцом.

Если бы деревьям снились сны, им, наверное, снился бы удивлённый мир маленького кленового ростка, а не обыденный шум семиметрового взрослого клёна.

Впрочем, когда под старыми деревенскими клёнами вдруг зазвучат весёлые детские голоса, даже эти клёны, привычно шумящие своей могучей кроной, в светлой полдневной дрёме незаметно погружаются в зелёный мир своего детства. А вместе с ними и мы, благодаря книге Александра Малиновского, которую писатель так и назвал — «Под старыми клёнами».

Оно, детство, у всех нас было и есть разное. У большинства, как у героя повестей Малиновского «Под старыми клёнами» и «Однажды в зимние каникулы» москвича Алёшки — городское, едва ли с пышными клёнами, скорее с чахлыми и уродливо обрезанными городскими деревцами под окнами. Но детство — категорический враг всякой обыденности и никогда не смирится со скучным и пыльным порядком вещей. Даже на десятом этаже высотного дома оно всегда будет уноситься мечтами к далёким синим морям и нетронутым тёмным лесам. И что за чудо, когда эти мечты сбываются! Как сбываются они в книге «Под старыми клёнами». А ещё большее чудо в том, что обступают тебя в этом мире не пластмассовые радости заокеанского Диснейленда, а самая что ни на есть настоящая, тысячелетняя русская жизнь. С бодливой коровой Жданкой и ловлей раков в небольшой речушке Ветлянке, с таинственной птицей «козодой» и зимними грибами на деревьях, наконец, с Новым годом под морозным звёздным небом около

замётённой снегами ёлочка. И главное — с настоящими детскими радостями и горестями, теми, из которых навсегда вырастает наше уже взрослое чувство добра и зла. И только спустя годы и годы понимаешь, что впервые пробудилось оно у тебя в душе, на родине деда, в степной русской деревушке...

* * *

Герои этих («Под старыми клёнами» и «Однажды в зимние каникулы») повестей — дети. Они как бы взяты из жизни целиком, как бывает только в подлинной литературе. Маленький читатель неминуемо становится полноправным членом той пёстрой стайки детворы, что населяет страницы повествования. Рассказы об их похождениях и жизненных открытиях начисто лишены какой-либо нарочитой назидательности. И это очень важно! Потому что маленькие жители нашей земли необыкновенно чутки к любой фальши и великовозрастной снисходительности.

Более того, умудрённый жизнью повествователь сам становится полноправным членом их шумного, живого и непоседливого мира. Вообще, в этих двух повестях практически нет людей среднего возраста, только пожилые и маленькие, что называется «старый да малый». Поэтому и язык у разновозрастных обитателей этих страниц оказывается общий, и близки они друг другу — по сути ещё нежившие и уже прожившие целую жизнь, — и интересны. Вместе стоят пожилой писатель и десятилетний мальчишка над напрасно подстреленной птицей, и чувствуют одно и то же. Вместе борются за жизнь попавшего в беду голубя, и для них эта беда, беда, мимо которой, скорее всего, прошёл бы, не заметив её, «взрослый» человек, для них она становится центром маленького и такого необъятного мира под старыми клёнами.

И, несмотря на то, повторюсь, что сами повести начисто лишены какой-либо отталкивающей назидательности, они нравственны. А не это ли, наряду с увлекательностью, сегодня, да и всегда наиболее важно в литературе для детей?

* * *

Повесть Александра Малиновского «Сергеич и Сима» — это классическое повествование о человеке и его бессловесном четвероногом друге. Хотелось бы сказать — классическое русское повествование, но перед глазами встают незабвенные рассказы о животных Сеттона Томпсона, выучившие не одно поколение людей, и не только русских, любви и жалости к «братьям нашим меньшим»,

и понимаешь — нет, это наше, людское, общее. И ответственность за весь мир с его лесами и реками вырастает из ответственности за жизнь маленького, подобранного тобой под дождём щенка.

Правда, у Малиновского речь идёт вовсе не о щенке, а о кошке...

Просто так бывает в жизни, что встречаются брошенная кем-то кошка и одинокий, а, по сути, тоже брошенный, проживший свою жизнь человек. Просто сваливается тебе на голову — в прямом смысле на голову — взъерошенный и испуганный комок шерсти, а оказывается, ты друга нашёл. Просто понимаешь, что мир есть добро, и оказанное хотя бы раз кому-то, даже бессловесному и несмышлёному — оно не уходит из мира. И не уходит от тебя. Просто ждёт где-нибудь за поворотом твоей судьбы. И когда с человеком происходит беда, добро возвращается, оно преодолевает десятки километров, чтобы в нужный момент оказаться рядом. Как делает это обыкновенная беспородная кошка Сима в повести Александра Малиновского.

Грустно, что на помощь человеку первой приходит кошка, а не люди. Тем не менее, это реальность современной городской жизни с её разобщённостью и безразличием. Но есть и другая реальность, превосходящая нашу грустную повседневность. Только этой реальностью всё ещё держится мир. Малиновский нигде не произносит слова «Бог», но, поверьте, везде говорит о Нём.

Алексей Шорохов,
член Союза писателей России,
г. Москва

Библиографический указатель

I. Основные издания произведений Александра Малиновского

1. Светлый берег: Стихи. — Самара: Издательская группа INDEX, 1992. — 22 с.
2. Степной чай: Рассказы. — Самара: Издательская группа INDEX, 1992. — 64 с.
3. Разговор с сыном: Рассказы. — Самара: Издательская группа INDEX, 1992. — 92 с.
4. Я любить не устану: Стихи. — Самара: Самарское книжное издательство, 1994. — 126 с.
5. Горница: Проза. Поэзия. — Paris: CopArt editions, 1994. — 220 с.
6. Чёрный ящик: Повесть. — Самара: Самарское отделение Литературного фонда России, 1996. — 224 с.
7. Радостная встреча: Документальная повесть. — Самара: Самарское отделение Литературного фонда России, 1997. — 48 с.
8. Под открытым небом: Повесть. Рассказы. — Самара: Самарское отделение Литературного фонда России, 1997. — 224 с.
9. Звёздное коромысло: Стихи. — Самара: Самарское отделение Литературного фонда России, 1998. — 160 с.
10. Повести: Проза. — Самара: Самарское отделение Литературного фонда России, 2000. — 480 с.
11. Не так живём: Стихи. — М.: Библиотека современной русской поэзии журнала «Поэзия», 2000. — 64 с.
12. Окошко с геранью: Сборник песен на стихи А. Малиновского. — Самара: Парус, 2000. — 90 с.
13. Радостная встреча: Повести. — М.: Палей-Мишин, 2001. — 372 с.
14. Избранное. В 2-х т. — М.: Издательский дом «Русский писатель», 2003. — 976 с.
15. Отклонение: Повесть / журнал «Молодая гвардия» (Москва). — № 1, 2, 3. — 2001.
16. Под открытым небом: Повесть / журнал «Молодая гвардия» (Москва). — № 5-6. — 2001.
17. Колки мои и перелесья: Отрывки из повести / журнал «Москва» (Москва). — № 4. — 2001.
18. Радостная встреча: Повесть / журнал «Роман-журнал XXI век» (Москва). — № 3. — 2002.

19. Зелёный чемодан: Повесть / журнал «Русское эхо» (Самара). — № 1, 2. — 2002.
20. Под старыми клёнами: Повесть. — М.: Издательский дом «Российский писатель», 2004.
21. В плену светоносном: Повесть / журнал «Наш современник» (Москва). — № 2. — 2005.
22. Окошко с геранью: Стихи. — Самара: Самарское отделение Литературного фонда России, 2006. — 76 с.
23. Радостная встреча: Повесть / журнал «Всерусский собор» (Санкт-Петербург). — № 2, 3. — 2007.
24. Новое имя: Сборник прозы. — Самара: Самарское отделение Литературного фонда России, 2006. — 64 с.
25. Сергей Сергеич и Сима: Повесть / журнал «Наш современник» (Москва). — № 2. — 2007.
26. Радостная встреча: Повесть / журнал «Русское эхо» (Самара). — № 1. — 2007.
27. Под открытым небом: Сборник прозы в 2-х т. — М.: Издательский дом «Российский писатель», 2007. — 1 т. — 600 с. — 2 т. — 580 с.
28. А избы горят и горят: Очерк / журнал «Русское эхо» (Самара). — № 1. — 2008.
29. Далёкое и близкое: Очерк / журнал «Роман-журнал XXI век». — № 1. — 2008.
30. Планета Любви: Повесть / журнал «Русское эхо» (Самара). — № 3. — 2008.
31. Собрание сочинений. в 4-х т. — М.: Издательский дом «Российский писатель», 2009. — 1 т. — 534 с. — 2 т. — 602 с. — 3 т. — 530 с. — 4 т. — 518 с.
32. Даль без края: Стихи для детей среднего и старшего возраста. — М.: Российский писатель, 2011.
33. Под старыми клёнами. Однажды в зимние каникулы: Повести. — М.: «Аквилегия-М», 2012.
34. Принесу вам хлебных крошек: Стихи для детей младшего и среднего возраста. — Самара: АНО «Просветительский центр «Пересвет», 2012.
35. Дом над Волгой: Повесть / Сборник прозы «Восстани, что спиши». — Нижний Новгород: Родное пепелище, 2012.
36. Красносамарские родники: Повесть / журнал «Русское эхо». — № 9. — 2012.
37. Радостная встреча: Документальная повесть. 5-е изд. — Самара: Русское эхо, 2013.
38. Хромоножка: Повесть / журнал «Русское эхо». — № 4. — 2013.

39. Голоса на обочине: Отрывки из повести / журнал «Русское эхо». — № 2. — 2014.
40. Дом над Волгой: Сборник прозы. — Самара: «Русское эхо», 2014.
41. Голоса на обочине: Повесть / журнал «Русское эхо». — № 2. — 2014. — № 1. — № 2015.
42. За облаками чистое небо: Повесть / журнал «Русское эхо». — № 5. — 2014.
43. Свирель запела на мосту: Повесть / журнал «Русское эхо». — № 2. — 2016.

II. Литературно-критические публикации о произведениях Александра Малиновского

1. Шарлот В. Путь далёк лежит: Рецензия на книги, выпущенные в 1992 г. — Волжская коммуна.
2. Костин Г. Истоки: О сборнике «Горница». — Самарские известия. — 17.02.1995.
3. Карасёв В. «Сшибить меня трудно»: Интервью с А. Малиновским. — Моя газета. — 30.05.1995.
4. Харитонов Т. Директор и его музы / журнал «Яблоко». — № 23. — 1995.
5. Вятский А. В этой горнице чистой: Рецензия на книги А. Малиновского. — Волжская коммуна. — 13.02.1996.
6. Молько А. «Здесь многое ещё надо понять...»: Рецензия на книгу «Чёрный ящик». — Волжская коммуна. — 16.07.1997.
7. Вятский А. «Как ладья без весла...»: Рецензия на сборник «Горница». — Седьмой канал. — 23.11.1996.
8. Ярыгина Е. Что в «чёрном ящике» генерального директора. — Число. — 06.06.1997.
9. Время собирать камни. — Волжская коммуна. — 16.07.1997.
10. Кан Д. Радостная встреча: Рецензия на книгу «Радостная встреча». — Благовест. — № 14. — 1997.
11. «Писал, зажав кисть зубами»: Рецензия на книгу «Радостная встреча». — Вестник Союза писателей России. — Апрель. — 1998.
12. Баранов Ю. Что жаждет душа: Рецензия на сборник стихов «Не так живём». — Роман-журнал XXI век. — № 6 (18). — 2000.
13. Молько А. «Нету мне в жизни покоя...»: Судьба и творчество А. Малиновского. — Самара: Агни, 2001. — 176 с.
14. Сохрина А. Тайна Малиновского: Рецензия на книги. — Волжская заря. — 20.10.2001.
15. Сохрина А. «Коль мог бы я сто раз на свет родиться...»: Интервью с А. Малиновским. — Волжская заря. — 11.04.2002.
16. Толкач М. На стремнину могучей реки: Рецензия. — Волжская коммуна. — 25.12. 2002.
17. Иванов В. Счастливый человек: Заметки о творчестве А. Малиновского. — Самарские известия. — 15.03.2002.
18. Молько А., Игошин П. Возможность невозможного // Российский писатель. — № 8 (35). — Апрель. — 2002.
19. Кокшенёва К. Хлебная корка: Рецензия на «Избранное в 2-х т.» Александра Малиновского. — Российский писатель. — № 5 (56). — Март. — 2003.

20. Дорин А. Время тихого героизма. — Российский писатель. — № 21(72). — Ноябрь. — 2003.
21. Александр Малиновский — творческий портрет писателя: Сборник статей и рецензий. — М.: Издательский дом «русский писатель», 2004. — 155 с.
22. Анашкин Э. Светоносный плен самарской глубинки. — Русское эхо. — № 1. — 2006.
23. Игнашов А. И вновь — радостная встреча. — Российский писатель. — № 17-18 (165-166). — Сентябрь. — 2007.
24. Гордеева И. Повесть о Григории Журавлёве. — Благовест. — № 3(345). — Февраль. — 2008.
25. Иванов В. Оставаться самим собой. — Самарская губерния. — № 71(5299). — Апрель. — 2008.
26. Кан Д. В оппозиции к пошлости: Интервью с А. Малиновским. — Вечерняя Самара. — 06.09.2008.
27. Карасёв В. По пути добра и света. — журнал «Самарские судьбы».
28. Окружнов А. От начала круга / В книге «Живёт родник». — Самара: ООО «Книга», 2012.
29. Молько А. В середине неба / В сб. «В моей душе одна любовь...» — Самара: Русское эхо, 2012.
30. Бердникова А. Светоносный плен: Очерки о жизни и творчестве А. Малиновского. — Самара: Русское эхо, 2014. — 208 с.
31. Крупин В. Портрет России: Рецензия / журнал «Русское эхо». — № 4. — 2015.

Содержание

<i>Владимир Крупин. Портрет России.....</i>	5
Голоса на обочине. <i>Повесть</i>	9
За тучами чистое небо. <i>Повесть</i>	180
Сергей Сергеич и Сима. <i>Повесть</i>	228
Планета Любви. <i>Повесть</i>	272
Свирель запела на мосту. <i>Повесть</i>	301

О творчестве Александра Малиновского

<i>Александр Громов. Свидетельство эпохи</i>	393
<i>Вадим Карасёв. «Дорога правды и добра»</i>	421
<i>Вадим Дементьев. «Молчание стало прорываться...»</i>	431
<i>Семён Шуртаков. «Он как родник...».....</i>	434
<i>Николай Коняев. У Малиновского нет случайных тем... ..</i>	435
<i>Николай Дорошенко. «Россию можно понять по книгам Малиновского»</i>	436
<i>Алексей Шорохов. Обретение детства</i>	438

Библиографический указатель

I. Основные издания произведений Александра Малиновского	441
II. Литературно-критические публикации о произведениях Александра Малиновского	444

Литературно-художественное издание

Александр Станиславович Малиновский

ГОЛОСА НА ОБОЧИНЕ

Повести

Подготовлено издательствами:

«Русское эхо»

Самарской областной писательской организации

Адрес: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179,

телефон (846) 333-48-01

и «Российский писатель» (г. Москва)

Подписано в печать 25.01.2016. Формат издания 60х90/16.

Объём 28,0 печ.л. Гарнитура Georgia .

Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Медиа-Книга»
443070, г. Самара, ул. Песчаная, 1; тел.: (846) 267-36-82
e-mail: izdatkniga@yandex.ru